

НОВАЯ
МИРА

НОВАЯ
МИРА

1952

11

1952

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVIII

№ 11

Ноябрь 1952 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ДМИТРИЙ ОСИН — С первых дней Октября, стихи	3
А. ТВАРДОВСКИЙ — К портрету, стихи	5
РЕВАЗ МАРГИАНИ — Вестники шестидесятых годов, стихи. Перевод с грузинского А. Межирова	6
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — Первая должность, рассказ	7
М. ИСАКОВСКИЙ — Новый Свет, стихи	41
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Товарищи по оружию, роман. Продолжение	43
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Два стихотворения	183
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
С. МАРШАК — Из Роберта Бернса	185
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
А. СТРУЧКОВ — Первый том трудов Мао Цзе-дуня	196
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ	
Б. ПЕТРУШЕВСКИЙ — На разведке пустыни	203
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЗАЛЕССКИЙ — Тема борьбы за мир в советской драматургии	216
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	230
Л. Михайлова. По страницам «Советской Украины». — Т. Трифонова. Роман об алтайской деревне. — А. Тарасенков. Пути лирика. — А. Караганов. Поучительный опыт. — И. Нуруллин. Татарские рассказы. — В. Коротеев. Неудавшиеся мемуары. — В. Гоффеншефер. Традиционный образ и современность. — Е. Русакова. Серые слова. — П. Вершигора. Добросовестно, но с орехами. — А. Ерёмин. Сборник статей о Л. Толстом.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	265
Доктор технических наук А. Черкасов . Путь к улучшению природы. — В. Левачёв . Стройки коммунизма и транспорт. — Кандидат географических наук И. Забелин . Создатели карты нашей Родины. — Н. Ляшко . Воспоминания рабочего-революционера. — Н. Щербиновский . Иранские впечатления. — Ю. Арбатов . Правосудие доллара. — Кандидат исторических наук М. Соловьёв . История археологии Европы. — О. Эрастов . Небесные камни.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (сентябрь—октябрь 1952 года).	283

ДМИТРИЙ ОСИН

★

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ОКТЯБРЯ

С наших ясных высот,
Как на самом большом перевале,
На столетья вперёд
Открываются дальние дали.

Богатырский простор:
Оглядишься — захватит дыханье!
Снеговые вершины заоблачных гор,
Вновь рождённых морей колыханье,

Молодые сады
В белой пене цветенья,
Отступившие к северу льды
Перед смелой мечтой вдохновенья,

Обновлённые русла сдружившихся рек
И в пустынях безводных каналы,
Что Отчизна навек
По великому плану создала,

Заповедных дубов пояса,
Говорящих с ветрами открыто,
Наших нив плодородных краса
И живая защита,

Городá, городá,
Заводские предместья,
Где затмили сияние звёзд навсегда
Новостроек высотных созвездья,

И космический свет
Гидростанций на Волге, Днепре и на Каме,
Что и с самых далёких планет
Будет виден,
как свет Коммунизма, —
веками.

Если б не было наших огней,
Что бы к счастью вело человека?
Стала б ночи темней
Середина двадцатого века!

И, наверно, не раз
Нам завидовать правнуки будут.
Наших дел вдохновенных и нас
Никогда на земле не забудут.

В каждом шаге вперёд,
В каждом новом свершеньи
Будет нынешних замыслов наших полёт,
Нашей крови живое биенье.

С первых дней Октября, с первых Ленинских вех
Мы глядели в те дальние дали,
И бессмертный наш век
Светлым Сталинским веком назвали.



А. ТВАРДОВСКИЙ

☆

К ПОРТРЕТУ

Глаза, опущенные к трубке,
Знакомой людям всей земли.
И эти занятые руки,
Что спичку с трубкою свели.

Они крепки и сухощавы,
И строгой жилки вьётся нить.
В нелёгкий век судьбу державы
И мира им пришлось вершить.

Усов нависнувшей тенью
Лицо внизу притемнено.
Какое слово на мгновенье
От нас под ней утаено?

Совет? Наказ? Упрёк тяжёлый?
Неодобренья горький тон?
Иль с шуткой мудрой и весёлой
Сейчас глаза поднимет он?



РЕВАЗ МАРГИАНИ

★

ВЕСТНИКИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

С грузинского

Время могучей стремниной течёт
Над корпусами завода.
Наши товарищи трудятся в счёт
Шестидесятого года.

Слышат грядущего пламенный зов,
Голос живой и весёлый,
Вестники шестидесятых годов,
Будущих лет новосёлы.

Слышит напевы грядущего дня
Наша Отчизна большая.
Десятилетье глядит на меня,
В будущее приглашая.

Я по-иному живу и дышу
И, за рабочими следом,
В шестидесятые годы спешу,
Радуюсь новым победам.

И круглосуточный грохот цехов
В душу врывается с ходу.
Разве на лоне уютных стихов
Можно дремать в эти годы?!

Наши товарищи на́ десять лет
Время в труде перегнали.
Воздух Отчизны движеньем согрет,
Близкими сделались дали.

Пусть же в кипеньи великих работ
Слушает сердце народа
Песни поэтов, рождённые в счёт
Шестидесятого года.

И над заводами всех городов
Песня встаёт величаво:
Вестникам шестидесятых годов,
Нашим ровесникам — слава!

Перевод А. Межирова.

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

ПЕРВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Рассказ

Сразу после окончания института Нина Кравцова получила назначение на строительство высотного дома. Нина жила вместе с родителями в одном из тихих, мощённых булыжником московских переулков. Хотя через несколько дней после защиты дипломной работы Нина и отпраздновала своё двадцатитрёхлетие, но при первом знакомстве многие считали, что она учится на первом или втором курсе, и давали ей не больше двадцати лет. Трудно сказать, отчего это происходило. Может быть, оттого, что за время, проведённое в институте, она так и не отвыкла полностью от школьных повадок и называла усатых студентов «наши мальчишки», а может быть, людей путали её большие доверчивые глаза и маленький тупой нос со следами детских веснушек. И только хорошо знавшие Нину замечали, как за последние годы созрели её ум, сообразительность и практическая смётка.

О высотном доме в тресте Нине сказали: «Объект недавно начат и не полностью ещё укомплектован инженерно-техническими работниками. Мы надеемся на вашу помощь, инженер Кравцова», — и в последних словах Нина уловила знакомые ей нотки снисходительной насмешливости взрослого человека, разговаривающего с девочкой. Но на этот раз Нина не обиделась.

«Ничего, — думала она, возвращаясь из треста домой. — Вот начну работать, тогда разговаривать со мной станут по-иному. Начальник строительства ждёт меня через месяц. Он будет доволен, что я отказалась от своего последнего студенческого отпуска».

На следующее утро она надела светлое шёлковое платье, босоножки, взяла свою белую сумочку, первый раз в жизни наняла такси и поехала на стройку. В белой сумочке лежали документы: комсомольский билет, обёрнутый в целлулоид, паспорт, в котором была устаревшая надпись «учащаяся», и новенький инженерный диплом с шестизначным номером и красным оттиском «с отличием».

Стальной каркас высотного дома, похожий на огромную этажерку, был виден издали, но ехать пришлось долго, по разным улицам, то приближаясь, то словно удаляясь от него.

— Вы там работаете? — спросил шофёр.

— Да, — подумав, ответила Нина.

— Много этажей будет?

Этого Нина ещё не знала.

— Двадцать шесть, — сказала она небрежно, но, спохватившись, что шофёр, может быть, задал вопрос, чтобы проверить её, добавила: — если не считать башни.

Наконец они подъехали, и Нина направилась к ворстам. На стройку въезжали тяжёлые самосвалы, шли женщины в брезентовых шта-

нах. У ворот её остановил дедушка в коротком пиджаке, отдал честь и виновато проговорил, что посторонним входить нельзя. Немного обидевшись, Нина объяснила, что она не посторонняя, и показала диплом.

— Такой документ для нас недействительный, — вздохнул дедушка. — Пройдите в проходную, возьмите пропуск.

«Все идут без пропусков, а мне обязательно пропуск», — ещё больше обиделась Нина.

— Мне к начальнику строительства, — сказала она с неумелой строгостью.

— Всё одно. Хоть к начальнику, хоть куда, а надо пропуск, барышня, — грустно сказал дедушка. — Звоните по тридцать седьмому.

Через полчаса ей дали розовый талончик, и она вошла на строительную площадку с совершенно испорченным настроением.

Высоко в небо уходил металлический каркас, состоящий из горизонтальных стальных балок — ригелей и вертикальных — колонн. Отсюда, снизу, он уже совсем не был похож на этажерку; стройная, словно вычерченная в воздухе конструкция уходила ввысь, в синее небо. По небу плыли облака, и от этого казалось, что огромный каркас медленно заваливается. Гремя стальными кузовами, ехали самосвалы с песком, с бетоном, с контейнерами, ехали грузовики с железобетонными плитами, с чугунными трубами. Над головой Нины щёлкнул репродуктор, и женский голос с украинским акцентом проговорил: «Начальник третьего участка, немедленно дайте заявку на транспорт. Повторяю. Иван Павлович, главный инженер требует заявку на транспорт. Повторяю. Иван Павлович, пожалуйста...» — но что ещё повторяя репродуктор, не стало слышно: где-то, на большой высоте, по колонне начали бить кувалдой, и весь каркас, снизу доверху, загудел, как гитара. Множество людей что-то делало, куда-то торопливо шёл парень с красным сигнальным флажком, а за ним — монтер с контрольной лампочкой, ввёрнутой в патрон и словно сорванной вместе с проводами. А возле забора стояла девушка с медными серёжками и прибивала сделанный по трафаретке плакат, на котором было написано: «Монтажник проверь рабочее место», и после слова «монтажник» не было запятой. Нина в душе пожалела девушку за то, что на таком интересном строительстве она выполняет такую пустяковую работу, и пошла к конторе.

Начальника на месте не оказалось. Молоденькая секретарша довольно равнодушно посоветовала Нине пройти в отдел кадров, третья дверь налево, и заполнить анкету. Начальник отдела кадров встретил Нину тоже без особого удивления. Он достал из несгораемого шкафа бланки анкеты, предупредил, что прочёркивать, зачёркивать и писать «нет» нельзя, и попросил завтра принести фотокарточки, на которых видно два уха. «Ничего нет особенного, — старалась Нина утешить себя, — сюда каждый день поступают люди. Почему, действительно, ко мне должно быть какое-то исключительное отношение?» Потом она сидела в приёмной, ожидая начальника до тех пор, пока секретарша не посоветовала ей зайти к главному инженеру Роману Гавриловичу.

— Может быть, вы доложите обо мне? — спросила Нина, значительно поджав губы.

— Зачем о вас докладывать? Идите так.

Кабинет главного инженера был беден мебелью. На совершенно пустом письменном столе лежал кирпич, обыкновенный розовый строительный кирпич с дырками. Сидящий за столом высокий сухощавый человек с тонкими загорелыми руками говорил по телефону. «Нервный», — подумала Нина, увидев на столе скрепки для бумаг, сцепленные цепочкой.

— А теперь найдите чертёж ка-эр двести семьдесят два, — внимательно разглядывая Нину, говорил кому-то главный инженер хрипловатым голосом. — побыстрее. Нашли? Видите, там слева, у оконного проёма, цифра двенадцать сорок. Ну вот, прибавьте высоту стойки — это и будет отметка ваших лесов. Нет, ниже нельзя. И на десять сантиметров нельзя. — Главный инженер сдвинул мохнатые брови, взгляд его остановился на белой сумочке, и Нина мысленно выругала себя за то, что взяла её с собой. — Как же так не к чему подмоститься? Надо самому соображать, дорогой мой. Найдите-ка чертёж ка-эр двести двадцать один... Вот, вот, выпустите консоли... подложите подушечки...

Главный инженер положил трубку и удивлённо спросил:

— Вы ко мне?

— Да... — Нина хотела назвать его по имени-отчеству, но забыла отчество. — Я направлена к вам на работу.

Он раскрыл диплом и углубился в чтение оценок по предметам.

— Диплом без пятнышка, — сказал главный инженер. — Надеюсь, он всегда останется таким?

— Надеюсь, — солидно ответила Нина.

— Это не так просто. — Главный инженер мельком взглянул в анкету и повторил: — Это не так просто, Нина Васильевна. У нынешних молодых образованных людей много законных претензий. На одном месте не нравится одно, на другом — другое. И, естественно, такой молодой человек начинает бегать с работы на работу и всюду предъявляет диплом с отличием... Ну, бывает, захватывают, запачкают...

— Я думаю, что... — начала было Нина.

— Где вы проходили преддипломную практику? — бесцеремонно прерывая её, спросил главный инженер, и по тону его Нина поняла, что она уже подчинённая, а он уже начальник.

— В Ярославле, — ответила она. — Мне надо было собирать материалы для дипломной работы, поэтому на ответственную должность я прсыла меня не назначать. И мне поручили дело, не имеющее отношения непосредственно к строительству... даже стыдно сказать...

— Что вам поручили?

— Технику безопасности.

Позвонил телефон. Главный инженер сказал: «Звоните позже. Я занят», повесил трубку и заметил:

— Это очень кстати.

— Что кстати? — не поняла Нина.

— Видите ли, на должность инженера по технике безопасности мы обычно назначаем людей с опытом. Седых и лысых. Но наш инженер на днях заболел, и у нас нет выхода — придётся на это дело посадить вас.

— Развешивать плакаты с грамматическими ошибками?

— В частности и это. Только без ошибок. Вообще, как вы понимаете, на такой должности ошибки совершенно недопустимы.

«Если сейчас же решительно не отказаться от этой работы, — подумала Нина, — то чем дальше, тем труднее будет пробиваться к настоящей, строительной деятельности» Она сжала в руках сумочку и, сразу сбившись с официального тона, проговорила:

— Ой, нет, что вы! На эту работу я не хочу.

— Почему? — спросил главный инженер, почти вплотную сдвигая брови, и стал быстро перебирать длинными тонкими пальцами цепочку скрепок.

— Ну сами посудите, что это за работа, Роман Гаврилович. — Нина вспомнила его имя-отчество, но от волнения даже не заметила этого. —

Меня учили строить, и я хочу строить. А на такой работе — только портить отношения с людьми. Нет, нет, я не хочу...

— Ну, вот и претензия номер один. — Главный инженер устало усмехнулся. — Тогда я вам предлагаю компромисс: пока наш старик в больнице — вы поработаете на его месте. А за это время присмотритесь, выберите себе дело по вкусу, и я обещаю учесть ваши склонности. Кстати, этих склонностей пока мы не знаем. Вы пока что для меня — кот в мешке. Впрочем, и для себя тоже.

— Вы не забудете ваше обещание?

— Мы с вами не в детском саду, Нина Васильевна.

Они вышли на площадку. Стараясь не занозить руку о перила стремянки, Нина поднялась вслед за главным инженером в огромный зал, почти не имевший потолка. Подёрнутые свежей ржавчиной, тянулись к небу двутавровые колонны. Во всех направлениях шли провода в смолистой изоляции, в разных местах лежали кучи сырого песка. Тут же стоял высокий ящик, покрытый толем, с множеством предупреждающих надписей: «вверх», «не кантовать», «осторожно». В углу виднелась наскоро сколоченная из горбыля будочка — на дверцах её был нарисован череп с костями и чернела надпись: «Смертельно. Высокое напряжение». К главному инженеру подошёл человек в шляпе, сдвинутой на затылок, удивлённо взглянул на Нину и спросил:

— Как же, Роман Гаврилович, с бетономешалкой?

— Возьмите трайлер и тащите её сюда, — приказал главный инженер.

Нина остановилась возле железного сундучка на колёсах и взглянула вверх, в головокружительную высоту, туда, где на тресах крана покачивалась и медленно плыла колонна. Вдруг сундучок затрещал и забился, как в лихорадке. Нина вздрогнула и отошла.

— Не бойтесь, — улыбнулся главный инженер, — это сварочный трансформатор. Когда сварщик варит, трансформатор включается — только и всего.

— Я несколько не боюсь, — слукавила Нина. — Я просто отошла, вот и всё...

— Это — зал для банкетов, — продолжал главный инженер, охватывая широким жестом и кучи песка и ржавые колонны. — Вон там будет оркестр. Отсюда станут носить замороженное шампанское и прочие вкусные вещи. Это наш центр работы — третий участок...

Нина услышала тихий свист, и какой-то предмет с силой пробил крышку ящика.

— Что это такое? — удивлённо спросила она.

— Это сказывается отсутствие инженера по технике безопасности, — сказал главный инженер. — Видите, на отметке шестнадцатого этажа работает сварщик? Ну вот — он сжёг электрод, а огарок бросил вниз.

— Но так можно убить человека.

— Пожалуй. Нам на время придётся прекратить разговор, Нина Васильевна. Такие случаи надо пресекать сразу.

— Вы к сварщику?

— Нет, к начальнику участка.

— А я тогда — к сварщику. Хорошо?

Нина разыскала лестницу и побежала вверх. Ступени, сделанные из толстой металлической сетки, звенели под её ногами, лестница казалась прозрачной, и было хорошо видно, кто идёт внизу. «Наверное, я проскочила шестнадцатый этаж», — спохватилась она и остановилась отдышаться. Навстречу, напевая под нос, шла девушка с медными серёжками.

— Это какой этаж? — спросила Нина.

— Девятый. А вам какой надо?

— Шестнадцатый. Там работают сварщики?

— На шестнадцатом только Арсентьев работает.

Откуда-то с небес загремел репродуктор: «Начальник третьего участка, в вашей конторе вас ожидает главный инженер. Повторяю. Иван Павлович, немедленно идите в свою комнату— вас требует главный инженер...».

Считая этажи, Нина поднялась до шестнадцатого и остановилась на узкой площадке.

В расстоянии двух пролётов от неё верхом на ригеле сидел парень в куртке и штанах, сшитых из толстого брезента. Под ним, между колоннами, летали птицы. Лицо его, словно забралом, было покрыто щитком со сплюснутым окошечком, и, внимательно склонившись над узлом, он «прихватывал» сваркой горизонтальные косынки. Опоясавшись широким монтажным поясом и прицепившись крюком-карабином за серьгу колонны, парень, видимо, чувствовал себя на этой высоте как дома: кепка его висела на одном болту колонны, сумка с электродами — на втором.

— Здравствуйте, — сказала Нина.

Парень поднял забрало, и Нина увидела его прищуренные серые глаза, тонкие, нетерпеливо сжатые губы, подвижные ноздри, нечёсанные волосы. Парень насмешливо осмотрел Нину и ответил:

— Здравия желаю. Вы что, к нам на экскурсию?

— Нет, не на экскурсию. Как ваша фамилия?

— Петров.

— Имя и отчество?

— Пётр Петрович. С двадцать восьмого года. В белой армии не служил, не судился...

— Если так будете продолжать работать, товарищ Арсентьев, придётся, возможно, вам и судиться, — сказала Нина, стараясь сдвинуть брови так же, как это делал главный инженер. — И ваша биография станет не такой героической.

— А вы кто такая? — удивлённо спросил Арсентьев и положил на балку электрододержатель.

— Возьмите это... — Нина не знала, как называется инструмент, и замялась. — Возьмите эту ручку. Если она упадёт кому-нибудь на голову — кто будет отвечать?

— Да вы кто такая? — ещё больше удивился Арсентьев.

— Неважно кто. Я инженер по технике безопасности.

— А-а-а!.. Вот вы и будете отвечать, — спокойно проговорил сварщик. — Сетки надо вешать.

— Ну, конечно. Почему это я буду отвечать?.. Во-первых, я работаю первый день, — начала было Нина, но, спохватившись, что сбивается на объяснительный тон, резко закончила: — а во-вторых, вы будете отвечать за то, что бросили вниз огарок электрода.

— Не может быть.

— Огарок пролетел в двадцати сантиметрах от головы главного инженера.

— Не может быть, — снова сказал Арсентьев. — Я все огарки складываю в сумку.

— Значит, вы считаете, что он упал с неба?

— Скорее всего. У меня все огарки в сумке. Идите пересчитайте, если не верите.

«Он думает, что я никогда не решусь пройти по этой балке, — бледнея от возмущения, догадалась Нина. — Ну ладно», — и она ступила на узкую полосу ригеля.

При других обстоятельствах Нина, конечно, не сделала бы по ригелю, под которым летали птицы, и двух шагов, но она была вспыльчива, а ироническое отношение сварщика к серьёзному происшествию окончательно вывело её из себя. Она прошла первый пролёт, быстро обогнула колонну, прошла по второму ригелю и спохватилась только тогда, когда далеко-далеко внизу, словно в перевёрнутый бинокль, увидела маленькую машину, груженную кирпичиками, и маленького дедушку, отдающего кому-то честь. У неё сразу закружилась голова, и она схватила обеими руками колонну. «Обратно мне не пройти, — была её первая мысль, — не пройти до тех пор, пока здесь не настелют полы».

— Не прислоняйтесь к колонне, — предупредил сварщик, — выпачкается.

— Не беспокойтесь, — услышала Нина свой голос.

Она решила привыкнуть к высоте и заставила себя смотреть вдаль. Она увидела множество крыш, красных, чёрных, зелёных, серебряных, и тысячи выбеленных извёсткой труб, и яркую зелень между домами, и чисто выметенные делянки дворов, и серебряную тюбетейку планетария. От моста шла кривая широкая улица, разлинованная белыми полосками, и Нина узнала ту улицу, куда каждый день ходила покупать батоны. По улице двигались троллейбусы с ячно-жёлтым верхом, и длинная процессия грузовиков тянулась за город. Иногда из-за углов выползали трамваи, казавшиеся отсюда почему-то чёрными, и медленно-медленно, словно их тянули за ниточки, пересекали улицу, и на перекрёстках стайками скоплялись «победы». На мосту Нина увидела платформу трайлера, наверное того самого, который поехал за бегономешалкой, и недалеко от моста — ослепительно блестящую стеклянную крышу вокзала. А далеко за вокзалом, за домами, за заводами, словно нарисованное на краю неба, виднелось белое здание университета. Смотреть вдаль было не страшно и даже интересно. Но как только Нина видела ворота, проходную, дедушку, у неё начинала кружиться голова, ужас высоты охватывал её, и она закрывала глаза.

Между тем Арсентьев снял сумку с болта и достал несколько электродов.

— Вот смотрите, товарищ инженер, — сказал он, — было взято со склада двадцать пять штук, можете свериться по накладной. Осталось целых вот сколько... — Он стал пересчитывать, а Нина, не открывая глаз, думала: «Как же всё-таки я доберусь до лестницы?».

— Видите, девятнадцать штук, — проговорил Арсентьев, — а огарков пять. Смотрите: раз, два, три, четыре, пять. Один в держалке. Сальдобульдо, ажур.

— Откуда же упал огарок? — спросила Нина.

— Не знаю. Может, Митька уронил, — и Арсентьев посмотрел вверх.

Этажом выше сидел рыжий парень в кепке, надетой козырьком назад, и тоже варил узел.

— Митя! — позвал Арсентьев.

Парень поднял щиток и посмотрел вниз. Нина увидела его широкое добродушное лицо с широким носом, с широко расставленными, немного припухшими, как у всех сварщиков, глазами.

— Чего тебе? — спросил он.

— Ты огарки в начальство кидаешь?

— А что?

— А то, что вот из прокуратуры пришли, — Арсентьев подмигнул Нине, — вот обожди, сейчас она пойдёт вниз, сообщит куда следует, и отрубят у тебя лег десять. Будешь тогда аккуратней...

— Я извиняюсь, конечно, — сказал Митя, поняв, что его приятель шутит. — Бывает, забудешься за работой. Вот в прошлом году, ещё на том вон доме, работал у нас монтажник-высотник, дядя Ефим. Так он говорил: «Когда на высоте работаю, с меня всё осыпается, как с гнилого дерева». И хотите — верьте, хотите — нет: кепка у него ниткой привязана, карандаш привязан, носовой платок привязан, спички и папиросы привязаны. Весь — как ёлка в игрушках... Вот вы ругаетесь — огарок упал. А у человека на высоте, если вы хотите знать, переключается внимание. Он следит только за работой и за собой. Если на каждую деталь отвлекаться, можно загреметь на низ. А чтобы ничего не падало, надо сетками пролёты перегораживать. Об этом руководство должно думать.

— Вы сейчас на низ? — спросил Нину Арсентьев.

— Не знаю ещё...

— Будете на третьем участке — скажите про сетки.

— Хорошо.

— Или прямо главному инженеру.

— Хорошо, Пётр Петрович.

— Меня Андреем зовут. Это я так... А вас как спросить, если придётся?

— Нина Васильевна.

— Будём знать. А я думал, вы к нам на экскурсию. Но когда вы сюда пришли — сразу понял, что нет. По нашим-то панелям редко кто ходит. Так не забудьте про сетки... — напомнил он ещё раз, опустил щиток с чёрным слюдяным окошком и принялся за работу.

«Что же мне теперь делать? — подумала Нина. — Можешь, не можешь, инженер Кравцова, а надо идти... Обо мне даже и приказа, наверное, не успели написать». Она посмотрела вниз, страшно завидуя ходящим по земле людям, и, собрав всю свою волю, попыталась оторваться от колонны. Но сразу же у неё закружилась голова, защекотало в пятках, и она поняла, что не сможет сделать ни шагу.

А вокруг обычным, спокойным порядком шла работа: глубоко внизу сигналили машины, гремела арматура, раздавалась барабанная дробь пневматических ломов, и метрах в десяти от Нины, в стеклянной комнатке подъёмного крана, молоденькая синеглазая девушка двигала рычаги, и тень огромной сквозной стрелы, как тень самолёта, то и дело мелькала по колоннам.

— Вы ещё здесь? — спросил Арсентьев, поднимая щиток.

— Она, если ты хочешь знать, боится, — крикнул сверху Митя и засмеялся. — Извиняюсь, конечно...

— И ничего в этом нет смешного, — с отчаянием проговорила Нина.

— Я и сам знаю, что ничего смешного. Тут надо одно: считать, что ты на низу, — и тогда всё в порядке. Вот один американец проложил между небоскрёбами доску, сказал, что пройдёт по ней на спор с завязанными глазами. «Не вижу, — говорит, — разницы. Если у меня завязаны глаза, мне всё равно, где доска, — на земле лежит или висит на высоте двести метров». Ну, завязали глаза, и пошёл. И, конечно, загремел оттуда...

— Высказался? — сердито спросил Арсентьев.

— А что?

Арсентьев растерянно посмотрел на Нину, подумал и проговорил:

— Долго вы так думаете простоять?

— Не знаю.

— Вот ещё новое дело. На руках, что ли, вас донести до лестницы?

— Нет, нет. Не надо!.. Придумайте что-нибудь, пожалуйста.

— Я понёс бы, да дело серьёзное. Не могу брать на себя такую ответственность. Ты вот байки только рассказываешь, — обратился он к Мите, — людей мугаешь. А ты посоветуй что-нибудь.

Они долго молча смотрели друг на друга.

— Ребята, я сейчас упаду, — сказала Нина, пытаясь закрыть дрожавшие веки.

— Если бы настало было — она прошла бы, — наконец проговорил Митя.

— Высказался? — снова оборвал его Арсентьев, но вдруг встрепенулся, встал и закричал синеглазой девушке, сидящей в рубке крана:

— Маруся! Попроси сигналиста срочно подать в мой пролёт две плиты пятый номер! Спускаюсь — прорабу объясню.

Нина увидела, что девушка кивнула, поговорила по телефону, двинула рычаги, в небе проплыла огромная стрела, и вскоре прямоугольная железобетонная плита закачалась над головой Арсентьева.

— Майна, ещё майна! — кричал он, поднимая руку.

Плита осторожно легла на ригеля, и Нина вдруг очутилась на широком бетонном полу, на котором навеки застыли следы чьей-то большой подошвы. Минут через пять такая же плита была уложена во второй пролёт, и, стараясь не смотреть на Арсентьева, Нина побежала вниз по прозрачной лестнице.

«Сейчас же обязательно ещё поговорю с главным инженером, — думала она, — и, пока не поздно, откажусь от этой беспокойной работы».

Но внизу, на твёрдой, надёжной земле люди занимались делом, никто не обращал на неё внимания, а в прохладном коридоре уже висел приказ, в котором говорилось, что инженер Кравцова Нина Васильевна зачислена исполняющей обязанности инженера по технике безопасности с испытательным сроком в один месяц.

Почти весь следующий день Нина потратила на ознакомление с проектом организации работ, с длинной пояснительной запиской и с десятками огромных чертежей, которые было легко разворачивать и трудно складывать. Главный инженер, прекратив приём посетителей, долго рассказывал ей об опасности открытых проёмов, пьяных лесов и неисправных такелажных приспособлений, и Нине по началу показалось несколько преувеличенным значение, которое он придавал её работе. Но к концу разговора, когда главный инженер пожал ей руку и заметил: «Надеюсь — на вашей совести не будет ни одного калеки», Нина вдруг поняла, что её работам поручаются жизни сотен людей, и даже испугалась, поняв это.

А ещё через день она получила в канцелярии казённый блокнот и карандаш и начала свой первый обход участков.

На втором этаже, в том самом помещении, где будет зал для банкетов, она увидела сбитые на скорую руку леса. Судя по тому, что рядом возился с проводами Арсентьев, леса предназначались для сварщиков. С устройством лесов и подмостей Нина хорошо ознакомилась ещё на практике и теперь сразу же заметила непорядок. Возле лесов стояли начальник третьего участка Иван Павлович и плотник, только что заколотивший последний гвоздь в это шаткое деревянное сооружение. «Подходить или не подходить?» — подумала Нина, боясь, что насмешливый Арсентьев не удержится, чтобы не намекнуть о позавчерашнем случае на шестнадцатом этаже. «В конце концов, не сегодня, так завтра мне придётся встретиться с ним. Надо подойти», — решила она и, остановившись, спросила Ивана Павловича:

— Что это такое?

— Вспомогательное сооружение под названием «леса», Нина Васильевна, — снисходительно объяснил начальник участка. — Вот стойки, вот раскосы...

— Это жёрдочки, а не раскосы, — сказала Нина, стараясь не встречаться взглядом с Арсентьевым.

— Какие же жёрдочки! — похлопывая по самому толстому горбылю, так же снисходительно возразил Иван Павлович. — Сечение согласно проекту.

— Вот жёрдочка. И вот... — всё больше и больше раздражаясь от его снисходительного тона, сказала Нина и отметила крестами негодные раскосы. — Прошу заменить.

— Да что вы, Нина Васильевна, вы ещё не в курсе дела.

— И стойки не вертикальные. Совсем пьяные леса.

— Где же вы увидели не вертикальные стойки?

— А вот — посмотрите отсюда.

— Это отсюда. А если взглянуть с другой стороны, то очень даже вертикальные.

Арсентьев и плотник, собравшиеся было уходить, со строгими лицами ожидали, чем кончится разговор начальства.

— Как хотите, — сказала Нина, — если кто-нибудь полезет на эти леса, запишу нарушение.

— Нет, зачем же писать, — быстро проговорил Иван Павлович, сразу сделавшись серьёзным. — Поправим, всё исправим. Что же это ты, Вася, жёрдочек наколотил?

— Какой материал дали, из того и сбивал, — хмуро объяснил плотник.

— Надо требовать материал согласно проекту. Что это у тебя за стойки? Разве это стойки? Чтобы через час всё было исправлено.

Плотник начал отбивать раскосы, а Арсентьев спросил тоскливо:

— А мне что этот час делать?

Нина ушла. Проводив её глазами, Иван Павлович подошёл к плотнику и тихо сказал ему:

— Погоди.

Плотник посмотрел на него из-за плеча с недоумением.

— Забей обратно. На всякое чиханье не наздравствуешься. Арсентьев, лезь наверх.

Через полчаса Нину по радио вызвали во второй этаж. Возле злополучных лесов стояли главный инженер и Арсентьев.

— Вы были здесь? — спросил главный инженер Нину.

— Была.

— Смотрите, — он легко сломал ногой тоненький раскос, — на такие вещи надо обращать внимание.

— Что же это вы, товарищ Арсентьев? — растерянно спросила Нина. Она всегда терялась, когда видела, что ей лгут или обманывают её.

— Это он вас должен спрашивать: «Что же это вы?», — сказал главный инженер. — Надо быть внимательней. От вашей внимательности зависит его жизнь. Понимаете?

— Понимаю, — тихо ответила Нина.

— Разрешите объяснить, товарищ главный инженер, — начал Арсентьев, но Нина не дала ему договорить.

— Главному инженеру не надо ничего объяснять, — медленно проговорила она. — Всё и так достаточно ясно. Пойдите к начальнику участка и предупредите, что через час я приду проверять леса.

С трудной должностью Нина освоилась быстро. Правда, она считала своё положение временным и ничего не меняла на письменном столе,

принадлежавшем большому инженеру, не трогала даже его «шестидневки», исписанной давнишними записками, и только возле чернильницы поставила стаканчик с цветами. Однако ожидание перемены должности не мешало ей трудиться, как говорили про неё, «на полную железку».

Кабинет, в котором работал прежний инженер, представлял собой маленькую, в одно окно, комнату. Окно выходило на стройку, и, высунувшись из него, можно было видеть весь каркас, до самого верха. Но Нина почти не сидела за столом, и начальники, даже не пытаясь звонить ей по телефону, сразу заказывали диспетчеру, чтобы её вызывали по репродуктору. В кабинете Нина не засиживалась потому, что никому не соглашалась доверить проверку исполнения своих распоряжений, и ещё потому, что её раздражал Ахапкин, техник отдела снабжения, каждый день заводивший разговор об облицовочных плитках № 92, до сих пор не присланных харьковским заводом. Недели через две она прочно вошла в должность и, проходя по лестницам стройки, машинально загибала торчащие в проходах концы проволоки.

Однако к концу второй недели Нина чувствовала себя на стройке такой же одинокой, как и в первый день, — друзей у неё не появилось. Начальники участков отъяснились к ней, как к временному неудобству, которое кончится так же, как кончается дождь или ветер, посмеивались над тем, как она ходит по ригелям, и снисходительно поругивали её на оперативках. А рабочие, понимая это, откровенно не подчинялись Нине и за глаза называли её не по имени-отчеству, а просто: «техника безопасности». Но всё-таки Нина добилась того, что все проёмы были ограждены перилами, а люки и отверстия перекрыты сетками или временным настилом.

Впрочем, количество мелких травм не уменьшалось. Несколько раз Нина ездила в рабочее общежитие, пыталась собрать молодёжь на беседу о правилах техники безопасности, но, несмотря на нажим комсомольской организации, почти никто на такие беседы не приходил. Нина возмущалась, обвиняла ребят в недисциплинированности, просила воспитателя рабочего общежития Ксению Ивановну принять меры. Ксения Ивановна только грустно улыбалась, качала головой и говорила, что Нина не видала ещё здесь настоящей недисциплинированности, за которую действительно приходится взыскивать — иногда даже писать письма от имени бытового совета на родину молодых строителей, их отцам и матерям: этого ребята не любят больше всего. В конце разговора Ксения Ивановна советовала устроить вечер танцев и, когда ребята соберутся, провести беседу.

Нина сердилась и доказывала, что техникой безопасности должны заниматься без всяких приманок, и уезжала домой. Ничего не добившись от Ксении Ивановны, Нина решила развесить на строительстве плакаты с короткими выдержками из инструкций. По этому поводу она завела разговор с Ахапкиным; объяснила ему, что плакатов явно недостаточно, да и те, которые есть, неряшливо сделаны. Плакаты должны быть прочными, из жести, буквы должны быть написаны масляной краской на красивом фоне, текст нужен броский, запоминающийся. «Может быть, даже в стихах», — неуверенно добавила она.

— Сколько вам надо таких плакатов? — спросил Ахапкин.

— Самое малое — триста пятьдесят штук.

— Сколько?

— Триста пятьдесят.

— Вы что, смеётесь? Вы знаете, сколько будут стоить ваши плакаты? — Он вырвал из блокнота листок бумажки и, быстро бормоча: «жести — сто листов, олифы... краски тёртой... рабсила... транспорт...»

накладные расходы...», составил калькуляцию и сказал: — Тринадцать рублей будет стоить один плакат.

— А сколько стоит человек? — спросила Нина.

— Какой человек?

— Сколько стоит человек в нашем государстве?

— Я не знаю, сколько стоит человек, а триста пятьдесят на тринадцать — это около пяти тысяч рублей! Никто вам не разрешит тратить на всякую чепуху такие деньги.

Нина взяла калькуляцию и пошла к главному инженеру. С Романом Гавриловичем договориться удалось. Он не разрешил только составлять стихотворные тексты. И через несколько дней девушка с медными серёжками, по имени Нюра, развешивала красивые плакаты, но не на заборе, а на указанных Ниной рабочих местах. Надписи, над которыми две ночи сидела Нина, обложившись инструкциями, получились короткие и лаконичные: «Неисправный инструмент коварен и опасен»; «Не смотри на огонь электросварки».

Однако скупая рука отдела снабжения дала себя всё-таки знать: вместо трёхсот пятидесяти плакатов изготовили всего пятьдесят, и на каждом из них, в нижнем углу, видимо по специальному указанию Ахапкина, маленькими буквами было написано: «Цена 13 рублей».

На следующее утро после того, как развесили плакаты, Нина отправилась обходить участки. Её уже не пугала высота, но ходить по ригелям она опасалась. На седьмом этаже она заметила рыжую голову Мити. В этот день он производил газосварочные работы.

— Когда кончите, не оставляйте остатки карбида в генераторе, — предупредила Нина.

— Я никогда не оставляю, Нина Васильевна. — Митя обернулся к ней.

— Ой! А почему вы работаете без очков, Яковлев?

— Сломались, — ответил Митя и улыбнулся. — Лежали утром в кармане, а я забыл, сунул туда же плоскозубцы — стекло и кокнулось... Вот, пожалуйста.

Он достал из кармана очки-консервы, одно стекло было немного надтреснуто.

— Вполне можно работать, — осмотрев их, сказала Нина.

— А вдруг стекло в глаз попадёт, — возразил Митя. — Ведь сами знаете — неисправный инструмент, он коварный и опасный.

Нина вспыхнула. До каких же это пор, в конце концов, все её предложения будут считать чепухой, а замечания поднимать на смех.

— Если вы боитесь за свои глаза, так должны давно бы сбежать на склад и сменить очки, — сказала она, стараясь казаться спокойной. — Без очков запрещаю работать.

— Куда же мне с седьмого этажа ходить да обратно на седьмой!.. А план? А выработка?

— Доложите прорабу, что я вас сняла с работы, — Нина достала записную книжку и стала записывать нарушение.

— Зачеркните, Нина Васильевна...

— Нет, не зачеркни. У вас уже два нарушения. Если так будет продолжаться дальше, я... я напишу вашим родителям, как вы ведёте себя на стройке.

— А я вам адрес не дам.

— Ничего, найду в отделе кадров.

Нина, конечно, и не думала писать родителям Мити и не понимала, как эти слова сорвались у неё с языка, но репродуктор из поднебесья вдруг заговорил: «Через десять минут — оперативное совещание... По-

вторяю...», и она побежала в контору третьего участка, где стоял динамик и где можно было всё услышать.

По пути она обогнала незнакомую быстроглазую девушку. Не отпуская руки от перил, девушка потихоньку поднималась по металлической лестнице, часто останавливаясь, и глядела на движущуюся стрелу крана. «Наверное, из новеньких», — подумала Нина, пробегая вперёд.

В конторе, временно размещившейся на четвёртом этаже высотного здания, в неизменной своей шляпе, заломленной на затылок, сидел начальник участка Иван Павлович. Шляпа совсем не шла к его широкому, грубоватому, покрытому бурым загаром лицу и даже казалась мала ему, но он и в конторе не снимал её, каждую минуту готовый сбежать на участок от надоедлых бумажек и телефонных звонков.

Перед начальником стоял Арсентьев.

— Нам бы четырёх человек, и был бы ажур... — говорил он начальнику участка.

Дверь приотворилась, и в контору заглянула девушка, которую Нина обогнала на лестнице.

— Ну где я тебе возьму людей? — спрашивал Иван Павлович тоскливым голосом. — Ну где?

— Да нам не надо квалифицированных. Нам хотя бы таких матрёшек, чтобы ходили по указанию сварщиков на низ, если надо принести что-нибудь, за трансформаторами смотрели, провода проверяли. Чтобы сварщик сам не бегал — не терял время.

— Может, вам и бутерброды носить? — спросил Иван Павлович Арсентьева.

— А чего особенного? И бутерброды, — спокойно ответил тот.

— Можно? — снова приоткрыв дверь, спросила девушка и, не дождавсь ответа, вошла и остановилась возле письменного стола.

— Вы что, хотите, чтобы у вас прислуга была? — спрашивал Иван Павлович, не обращая на неё внимания. — Где я тебе возьму людей?

— Я бы на вашем месте сидел, так нашёл бы.

— А ты садись. Я уступлю.

— Что я, дурной, что ли...

Иван Павлович задумался, крутя в руках карандаш. Видимо, думы его были невесёлые, потому что он решил перебить их и, остановив уставшие глаза на девушке, спросил:

— Ну, а вам что?

— Я сюда на работу направлена. Чего мне делать?

— А-а-а, на работу! Это хорошо. Как ваша фамилия?

— Родионова. Лида Родионова.

— Хорошо, Лида Родионова. Посидите вон на диване, отдохните.

— Устала я отдыхать, — сказала Лида, — и так два дня отдыхаю. Как с поезда слезла, так и отдыхаю.

— Эту беду мы поправим... Ну как, нравится наш домик?

— Ничего. Больно высокий только. Кабы не упал.

— Не упадёт. На века строим.

— Так как же насчёт людей, Иван Павлович? — снова спросил Арсентьев.

Но тут включился динамик, и хриловатый голос главного инженера произнёс: «Начинаем оперативное совещание. Начальник первого участка на месте?», и голос начальника первого участка ответил: «На месте». В ответ на такой же вопрос другие голоса, мужские и женские, отвечали: «Здесь» или «На месте». Когда очередь дошла до Ивана Павловича, он тоже проговорил: «Я на месте, и Нина Васильевна здесь» — и подул в трубку.

Лида подошла к канцелярскому шкафу и, смотрясь в стекло дверцы, поправила косыночку.

— У вас тут позавтракать можно? — спросила она Арсентьева.

— Тут только вопроса решить нельзя, а остальное всё можно, — с досадой сказал он и сел рядом с ней на диван.

Лида достала из чемодана лепёшки-пряженики, сыр, расстелила на коленях косынку и стала есть.

— Из Сибири? — спросил Арсентьев.

— А вы почём знаете?

— Наши сибирские пряженики не дадут соврать. Из какой области?

— Из Омской. Недалеко от Ишима живу. А вы?

— Я из Новосибирской.

С любопытством и грустной завистью Нина прислушивалась к их разговору.

«Вот как у неё всё попросту, — думала она, — пришла сюда первый раз и сразу расположилась как дома. И, наверное, завтра у неё появятся подруги и приятели... Скорее бы мне перевестись с этой несчастной должности и начать делать что-нибудь настоящее».

— Говорят, новосибирские загару не принимают, — говорила между тем Лида. — А ты вон какой закопчённый.

— А чего же. Мы, сварщики, ближе к солнышку, чем ваш брат. На самом верхотурье. Курсы какие-нибудь кончала?

— Нет.

— В строительной технике разбираешься?

— Нет.

— На сварке работала?

— Нет.

— Значит, ничего не понимаешь?

— Ничего ещё не понимаю.

— Ну и хорошо. Просись ко мне в подсобницы. Пойдёшь?

— Не знаю. Куда начальство поставит, там и буду... А чего у тебя делать?

— Ничего особенного. Бывает, надо что-нибудь снизу принести, так вот ты и будешь наша... как бы это сказать... уполномоченная, ходить да носить, чтобы нам не отвлекаться.

— Я чего-то не пойму. Это, значит, такая уполномоченная, чтобы вниз-вверх бегать? — спросила Лида.

— А ты что хочешь? Сразу проекты подписывать?

— Обутки дадут?

— И обувь дадут и комбинезон.

— Не знаю. Тебе на это дело матрёшек надо, а меня Лидой звать. Лучше погляжу, куда начальство поставит...

Дальше Нине почти ничего не удалось расслышать, потому что Иван Павлович сильно раскричался в трубку.

— Кран таскает кирпичи, а монтажники по целому часу ждут секции колонн, — кричал он, грозя динамику. — Площадки первого участка завалены кирпичом, а на главных работах монтажники простаивают из-за отсутствия деталей... Пусть главный инженер скажет, что это — порядок?

— А нам, первому участку, что, товарищи, без кирпича сидеть? — послышалось в ответ. — И так Иван Павлович считает себя главным командующим центрального крана.

— Подождите, первый участок, — раздался хриловатый голос Романа Гавриловича. — Разверните-ка лучше график организации

работ. Развернули? — И, хотя это не касалось Ивана Павловича, он тоже достал из ящика письменного стола график.

— Найдите точки установки кранов, — продолжал главный инженер. — Нашли? Номер два нашли? Почему до сих пор вы не освободили место для установки полутонного крана номер два у левого фасада?

— Куда же я бункер дену? — заговорил первый участок. — Хотел на угол поставить, Нина Васильевна не разрешает... Запрещает бункер ставить.

— Да, запрещаю, — сказала Нина, взяв трубку из рук Ивана Павловича. — Почитайте инструкцию, товарищ Решетов. Под поднимаемым грузом работать запрещено.

— Подождите, Нина Васильевна, — резко прервал её главный инженер. — Товарищ Решетов, почему вы до сих пор не докладывали об этом? Достаньте-ка чертёж о-эр двенадцать. Смотрите. Почему вы не можете поставить кран в середину здания, вон туда, в осях п-эр и десять-одиннадцать... А это уж вы сами подумайте, как установить раму. А центральный кран полностью передать в ведение начальника третьего участка.

Иван Павлович щёлкнул пальцами и, подмигнув изумлённой Лиде, сказал: «Порядок».

— А начальнику третьего участка, — продолжал главный инженер, — следует учесть, что через двадцать дней мы спросим с него готовый каркас. Ясно?

Иван Павлович дунул в трубку, как в самовар, и закричал:

— Роман Гаврилович, Роман Гаврилович, я же вам докладывал: за двадцать дней мы кончить не сможем.

— Это ваше мнение?

— Все так говорят. Любого рабочего спросите. Вот, пожалуйста, тут у меня случайно Арсентьев... А ну-ка, сообщи начальству свои соображения, — тихо добавил он, передавая Арсентьеву трубку.

— По-честному сообщить?

— Конечно. Не бойся. Раз невозможно, так что уж тут.

Арсентьев взял трубку и проговорил:

— Если руководство участка учтёт наши требования — сделаем.

«Он молодец всё-таки», — подумала Нина, а поражённый Иван Павлович даже сел от неожиданности.

Оперативка окончилась, и Нина пошла к себе в кабинет. Там она увидела Митю. Ожидая её, он разговаривал с Ахапкиным.

— Как же я сейчас в отпуск поеду? Из-за нас строительство отстаёт, а я уеду. Дело-то ведь государственное, — говорил Митя.

— Не беспокойся. Ты о себе заботься, а государство о себе как-нибудь позаботится, — сказал Ахапкин.

— Нет, я так не согласен, чтобы я — об себе, а государство — об себе. Лучше я об государстве, а государство пускай обо мне.

— Почему вы не на обеде? — спросила Нина.

— Ещё успею, — сказал Митя. — У меня к вам дело.

— Какое дело?

— Будете матери писать — не пишите, что я на высоте работаю.

— Почему?

— Не пишите, и всё, — потупившись, потребовал он. — Вам разве не всё равно, что писать? Мать не виновата.

— Я чего-то не понимаю вас, Митя.

— Чего ж тут не понять? Она и так в войну пуганая, спит плохо. Узнает, что я на высоте работаю, вовсе спать перестанет. Будет ей нивесть что мерещиться.

— У вас отца нет? — спросила Нина.

— Нет отца. Мать одна себя и троих ребят оправдывает. Больная, скоро совсем сносится. Вот они у меня на карточке сняты, — Митя вынул бумажник и достал фотографическую карточку с обтрёпанными краями. — Вот она — мать, в колхозе работает, на сортоучастке, вот она — Люська, вот он — Васька, вот она — Алёнка, самая младшая.

Дети были худенькие, и от этого все похожи друг на друга.

— Я им помогаю, сколько могу, себе оставляю только на столовку да на кино, а на одежду, и то не беру — бюджета нехватает... Со следующего снижения цен буду на одежду оставлять.

— Ничего я не стану писать, Митя, — сказала Нина. — Я пошутила.

— Ну и ладно. А за меня вам нечего беспокоиться. Если человек на низу твёрдо ходит, он и наверху не оступится.

Нина не заметила, как ушёл Митя. Она сидела за своим письменным столом, глядя на стаканчик с цветами, и ей представлялись митины брат и сёстры, такие же рыжие, как и он, и его мать, потерявшая мужа во время войны, представлялось, как Митя ходит на почту заполнять бланки переводов.

— Когда будут остальные триста плакатов? — спросила она Ахапкина так внезапно, что он вздрогнул.

— Когда жёсть будет, тогда и плакаты будут.

— Слушайте, товарищ Ахапкин, для кого строится это здание? — спросила она снова, едва сдерживая негодование.

— Для Моссовета.

— Для людей, а не для Моссовета. Вы любите людей, товарищ Ахапкин?

— Смотря каких людей. Директор харьковского завода не даёт девяносто второго номера, что, по-вашему, и его я должен любить?

— Я говорю не о такой любви. Я говорю о любви к человеку в общем, о заботе о человеке... о том, что и вы, и я, все мы должны заботиться о людях...

— Не кричите на меня!

— Я не кричу. Когда будут плакаты?

— Я сказал вам: когда будет жёсть — тогда будут и плакаты.

— Хорошо. Я передам это главному инженеру.

Она быстро пошла по коридору, собираясь сейчас же рассказать главному инженеру и о Мите, и о его матери, и о вольнке отдела снабжения с изготовлением плакатов, и о своём тяжёлом положении на строительстве.

Роман Гаврилович был чем-то озабочен. Он рассеянно пригласил Нину сесть и, вертя в руках продолговатую печать, долго читал небольшую бумажку.

— Вы там, я слышал, опять кого-то спустили вниз, — сказал он, закончив чтение. — Учтите, Нина Васильевна: хорошая работа инженера по технике безопасности должна помочь строителям увеличить производительность труда.... Увеличить, — повторил он так, словно оттиснул это слово своей продолговатой печатью.

— Я считаю, что лучше, если они сойдут, чем упадут на землю, — волнуясь, возразила Нина, — а насчёт производительности труда — это вы правильно говорите, только до сих пор я ни от кого не вижу помощи. И от вас не вижу. Сколько раз просила собрать рабочих на беседы, сделать плакаты... и ещё...

— Ну, что ещё? — спросил главный инженер, внимательно посмотрев на Нину.

На глазах её показались слёзы, и она отвернулась. Роман Гаврилович вышел из-за стола, подошёл к ней. Она отвернулась снова.

— Трудно? — спросил Роман Гаврилович.

Нина стояла молча, повернувшись к нему спиной.

— И мне нелегко, Нина Васильевна, — продолжал он. — Я вот тут подсчитал, как обстоит дело с каркасом. Получаются тоскливые цифры. На сегодняшний день отстаём на неделю. Просил начальство добавить монтажников и сварщиков, получил бумажку — отказали. А тут ещё вы их каждый день с работы снимаете.

— Я не буду снимать, — проговорила Нина.

— Да нет, я не к тому. Вы не снижайте требований... Да, и ещё. Я бы на вашем месте поостерёгся по балкам ходить.

— Вы тоже ходите.

— И мне не следует. Увидите — гоните меня оттуда, — сказал Роман Гаврилович и резко закончил: — А вам по балкам ходить запрещаю. Нина, кивнув головой и не сказав больше ничего, вышла из кабинета.

Постоянные жители столицы, да и те, кто навещал Москву в последние годы, не один раз любовались высотными стройками. Они видны со многих улиц, видны и днём, и вечером, и ночью. И все, кто смотрел на них поздним вечером, когда затихает шум работ и замирают подъёмные краны, когда стройная громадина словно дремлет под гудки автомобилей, все, конечно, обращали внимание на электрический свет, одиноко горящий в окне где-нибудь на восьмом или девятом этаже недостроенного дома. Ещё только до половины высоты поднялись необлицованные, кирпичные стены, темнеющие пустыми проёмами окон, над стенами тянется сквозной металлический остов, — а одно застеклённое окошко светится до поздней ночи. Что это за свет? Забыл ли выключить лампочку прораб, уходя домой, или какой-нибудь мастер остался заканчивать срочные работы, или нетерпеливые строители отделали одну из бесчисленных комнат, чтобы посмотреть, каким будет здание в недалёком будущем?..

В один из вечеров такой свет можно было видеть и на третьем этаже дома, на котором работала Нина Кравцова. Свет этот горел в будущем двухкомнатном номере, временно оборудованном комсомольцами под красный уголок. Строители имеют обыкновение по-хозяйски использовать не готовые ещё помещения для своих нужд, и, бродя по первым этажам, часто можно встретить среди штабелей труб или растворных ящиков новую дверь с надписью «буфет» или «контора 3-го участка», и будущий житель гостиницы вряд ли подумает, что не так давно в его номере шофёры покупали молоко и лимонад или прорабы проводили оперативное совещание.

В красном уголке в этот вечер комсомольцы собирались обсуждать вопрос о социалистическом соревновании. Нина пришла минут за десять до начала и села в уголок. Никого ещё не было. Нюра принесла графин, скатерть, стакан и вышла. Через некоторое время красный уголок стал наполняться людьми. Ребята входили по-трое, по-четверо, парни — отдельно, девчата — отдельно, весёлые и горластые, но, увидев Нину, начинали говорить тише, издали здоровались с ней и садились в отдалении. Нина с грустью вспомнила, как в прошлом году в институте вот так же, со стайкой весёлых подруг, ходила она на комсомольские собрания, и все вокруг были её друзья и все звали её сесть рядом.

Вошёл Арсентьев, встал у входа, осмотрелся, небрежно поздоровался с Ниной и прошёл в первые ряды. Хотя в красном уголке становилось тесно, несколько мест возле Нины так и оставались незанятыми. И толь-

ко Лида Родионова, протиснувшись вперёд, села рядом с ней. «Через неделю и она будет сторониться меня, — с грустью подумала Нина. — Её научат».

— Это вы за рабочими следите? — спросила Лида, усаживаясь поудобнее на узкой скамейке.

— Я слежу. А что?

— А где вы по-настоящему работаете?

— Как по-настоящему?

— Ну как бы вам сказать... Ну, что вы делаете? Или на каркасе, или на бетонном заводе, или на кирпичной кладке?

— Я занимаюсь только техникой безопасности, — несколько смутившись, ответила Нина. — Слежу, чтобы не было несчастных случаев.

— Смотрите-ка, какая у вас работа! — с сожалением проговорила Лида и замолчала.

К столу подошла девушка-украинка, секретарь комсомольской организации, та самая девушка, которая работала в диспетчерской и говорила в репродуктор «повторяю», и собрание началось. Быстро выбрали президиум, и двое парней бросились к столу, каждый стараясь занять председательское место и избежать скучной обязанности вести протокол. Тот, кому посчастливилось стать председателем, пошушукался с украинкой и объявил, что на собрании присутствуют гости — представители соседнего высотного дома. Они пришли вызывать коллектив на соревнование. Все встали и захлопали в ладоши, и к президиуму, сильно смущаясь, прошли два парня и девушка. Парни встали по бокам, а девушка прочла текст обязательства. Обязательство содержало несколько пунктов, среди которых были пункты о качестве работ, о количестве рационализаторских предложений, о выполнении норм на 120—130 процентов.

— Вопросы есть? — спросил председатель.

— Есть, — раздался голос Мити. — Сколько вам платят за метр потолочного шва?

Девушка ответила.

— И у нас столько же, — разочарованно проговорил Митя.

— Ещё есть вопросы? — снова проговорил председатель. — Только по существу.

— Как у вас ночные работы контролируются? — спросила крановщица, и все почему-то засмеялись.

— Это вопрос не по существу, — сказал председатель и предложил начать прения.

Первым выступил Арсентьев. Он сказал, что вызов, конечно, надо принять, тем более, что пункт о рационализаторских предложениях уже выполнен, и, в пику гостям, предложил давать сто сорок процентов нормы. Все, кроме Нины, ему бурно захлопали.

— У меня есть вопрос к Арсентьеву, — обратилась она к председателю, дождавшись тишины. Все обернулись в её сторону.

— Почему, товарищ Арсентьев, вы назвали цифру сто сорок, а, например, не сто шестьдесят?

— Да разве сто шестьдесят сделаешь! — зашумели комсомольцы. — Это легко только говорить — сто шестьдесят...

— Ну хорошо, — продолжала Нина, — тогда почему не сто десять?

Собрание озадаченно молчало.

— Вот мы принимаем на себя красивые обязательства, — сказала она, — и совершенно не думаем о том, что по графику последняя колонна каркаса должна быть установлена через девятнадцать дней. И, прежде чем принять нам эти сто сорок процентов, надо подсчитать, хватит ли их для окончания монтажа каркаса в срок.

— А если нехватит? — спросил Арсентьев насмешливо.

— А если нехватит, надо работать ещё лучше. Вы, товарищ Арсентьев, с апломбом заявили, что берёте сто сорок процентов. Вы уверены, что выполните сто сорок, вот и берёте. А обязательство надо брать не для того, чтобы показать, какой вы герой, а для того, чтобы закончить строительство в срок.

— Это неправильно, — закричала крановщица. — Начальство должно обеспечить стройку рабочей силой. Тогда во-время кончим...

— Хватает у нас рабочей силы, — поднялась девушка-украинка. — Если бы все работали с самого начала в полную силу, не надо было бы нам и ста сорока процентов. По-моему, правильно говорит Нина Васильевна. Если понадобится двести процентов — надо взять двести. Как думаешь, Андрей?

— Надо изучить этот вопрос.

— Дипломатически отвечаешь. Как на ассамблее.

— А что же ты думаешь? Я газету не для курева покупаю.

— Выходит так, — прервала его Нина, — обязательство выполним, а дом в срок не построим. Это не обязательство, а болтовня, товарищ Арсентьев.

— Болтовня? — Арсентьев встал и вышел к столу. — Тогда давайте, я ещё поболтаю. Если проследить по нарядам нашу работу за последние две недели, то получится, что выработка высотников снизилась. Какие были к этому причины? Много было причин, но основная, я считаю, заключается в том, что о нашем здоровье последнее время стали проявлять чересчур много гуманизма, чересчур сердечную заботу, вроде того, как в санатории.

Все молчали. Чуть побледневшая Нина стояла у стены.

— Если подсчитать, — продолжал Арсентьев, — сколько раз от этого гуманизма нашим ребятам пришлось на низ бегать, если подсчитать, сколько мы теряем времени, когда по всяким пустякам закрывают работы и мы спускаемся на низ с шестнадцатого этажа, а потом забираемся обратно наверх, получится несколько рабочих дней. Я думаю так: если у человека есть талант на санаторную работу, ему и надо наниматься в санатории. Там и глядели бы, чтобы никто на крыши не забирался. А тут — агитируют за выполнение плана, а сами... Да что говорить... — Арсентьев сел и, уже сидя, закончил: — У меня всё.

— Вредная профессия, — услышала Нина чей-то отчётливый голос. Ребята зашумели. Слово попросил Митя.

— Вот когда меня перебросили сюда с того дома, — начал он, — так я сперва здесь работал, эти балки варил. — Он указал на потолок, и все посмотрели на балки. — Один раз варю шов, вижу, идёт дяденька, сивенький такой, в калошах. Подошёл и спрашивает, у какого я работаю прораба. Я, конечно, сказал. Он что-то записал в свою книжечку и пошёл дальше. Часа через три меня на другой этаж перебросили; тогда порядка ещё не наладили, перестанавливали нас раз по пять на день. Работаю на другом этаже — гляжу, обратно дяденька в калошах. Смотрит на меня и спрашивает: «Вы у какого прораба работаете?». Я, конечно, снова сказал. И третий раз перед самой шабашкой, когда я на низу варил, — то же самое: подошёл дяденька в калошах, спрашивает: «Вы у какого прораба работаете?».

— Закругляйся, — сказал председатель. — Это ты врешь, что он тебя третий раз не признал.

— Хотите — верьте, хотите — нет. Кончил я работу. Подходит ко мне прораб Иван Павлович. «Так и так, — говорит, — мне из-за вас записано три замечания по технике безопасности. Трое, — говорит, — сварщиков работали сегодня с оголёнными проводами. Странное, — говорит, — сов-

падение». Вот это был инженер по технике безопасности, — вздохнул Митя. — Никогда к рабочим не приставал, даже фамилию не спрашивали, а нажимал в основном на начальство. А Нина Васильевна недопонимает свои функции. Я думаю, она учтёт это.

— У вас есть что-нибудь? — спросил председатель Нину.

— Да, есть, — сказала она и прошла к столу президиума. — Кроме того, что я предложила, я прошу в наше обязательство включить пункт о полной ликвидации производственных травм на всех участках. Выполнение этого пункта я беру на себя... — сказала она дрожащим голосом и, глядя на Арсентьева, закончила: — Вот и всё.

Андрей и Митя, так же как и большинство других молодых строителей высотных зданий, жили в общежитиях, километрах в пятнадцати от Москвы. И каждый день, часов с семи до десяти вечера, в широкие вагоны электрических поездов, стоящих у Киевского вокзала, шумной ватагой влетали весёлые парни и девушки и, не обращая внимания на недоброжелательную воркотню дачников, пробирались к окнам, теснились в проходах, занимали места для опаздывающих приятелей или бесцеремонно усаживались на чужие занятые места. Девушки устраивались тесными стайками, вынимали вязанье, шушукались о своих делах, читали друг другу письма, полученные из дому, и обычно, проехав полпути, засыпали, уронив головы на плечи подружек или незнакомых соседей. Парни хохотали на весь вагон, донимали девчат солёными шутками и, услышав голос продавца: «А вот брикет, рубль двадцать пять штука — твёрдый, как лёд, сладкий, как мёд», — покупали сразу по шесть штук и щедро наделяли своих приятельниц. Контролёры, по каким-то им одним известным признакам, безошибочно узнавали строителей, не спрашивали у них билетов и на последнем перегоне будили заспавшихся. Впрочем, многие не нуждались в этом и за пять минут до выхода просыпались сами, как от звонка, торопливо поправляли кепки, платки и причёски, засовывали в сумочки рукоделье, загибали углы в книжках, доставали папиросы «Беломор» или «Ракету» и в затылок друг другу выстраивались в проходе.

Собрание по поводу договора на социалистическое соревнование затянулось, и комсомольцам пришлось ехать домой одним из последних ночных поездов. Пассажиров было немного. В темноте проплывали освещённые окна невидимых домов и фонари подмосковных станций. Митя скучал в одиночестве. Потомившись немного, он встал и отправился к соседней скамейке, где, надвинув на глаза кепку, дремал Андрей. Против Андрея сидела Нюра и вязала салфетку. Митя часто видел Нюру в этом же, третьем от хвоста, вагоне, на этом же месте, за этим же рукодельем.

— К пятьдесят четвёртому году довяжете? — спросил Митя, усаживаясь рядом с ней.

— Если бездельщики со счёту сбивать не будут — довяжу, — ответила Нюра.

— Подумаешь, она разговору не переносит! Если бы я тебе за нитку дёргал, а то, гляди, разговоры ей помешали.

— Восемь, девять, десять... — шептала Нюра.

— Позавчера утром, шестнадцатого, собрался я наверх, косынки приваривать, — продолжал Митя. — Надел монтажный пояс, зацепил карабин за кольцо, цепь, как шашка, по боку стучит. Вдруг слышу, зовут: «Товарищ Яковлев!». Я, конечно, правое плечо кругом. Гляжу — стоит наша техника безопасности в новом комбинезоне, кармашки белой ниткой прошиты, ровно собралась сниматься на карточку. «Сейчас, — ду-

маю, — начнёт проводить среди меня воспитательную работу». Так и есть. «Простите, — говорит, — товарищ Яковлев, подойдите, пожалуйста, сюда». А сама стоит вот так вот, как от нас до двери. «Так, — думаю, — сейчас очки проверять будет». А у меня, как нарочно, двое очков в кармане, одни — для себя, другие — для Андрея Сергеевича. И так я заторопился от радости, что номер у неё не пройдёт, да побёг, что нога в цепь попала — я и кувырк ей в ноги. Ну, встаю. Она говорит: «Как вы думаете, товарищ Яковлев, отчего это у вас получилось?». Я говорю: «Ноги у меня короткие. Это, — говорю, — у меня с детства: живот растёт пропорциональный, руки тоже, а ноги не растут. Наверно, — говорю, — от сидячей жизни».

— Восемь, девять, десять, — шептала Нюра.

— «Нет, товарищ Яковлев, — говорит техника безопасности, — это получилось оттого, что вы не зацепили карабин за кольцо, как положено по инструкции». И тут начала читать лекцию, что, мол, если бы я так забрался наверх, да пошёл бы по ригелю, да зацепился бы за цепь, да загремел бы на низ... Разговаривает она разговоры, разыгрывает строгость, а время идёт, и работа, между прочим, стоит. Я слушал её, слушал, а конца всё нет. «Ну что вы к нашей бригаде прилепились? — говорю. — Хотите, мы все вам расписку дадим, что, мол, в смерти просим технику безопасности не винить». Она как крикнет: «Товарищ Яковлев!». Я — цепь в кольцо и ходу наверх, как мартышка... Это к чему я говорю? Да! Вот ты распытелась, что тебе разговоры мешают пэтли считать, а тут нам план не дают выполнять, на низу держат — мы и то ничего... Вот к чему я говорю.

— Это ты про Нину Васильевну? — спросила Нюра.

— Про неё. Она, конечно, ещё молодая, нигде не работала. Ну вот на нас и учится. Конечно, каждому охота свою зарплату оправдать... Одни строят, другие ломают, третьи работать мешают. Кому что назначено. Одно дело — план не выполняем, а другое — получка не та. В эту получку мне триста шестьдесят три рубля вывели. И всё из-за неё... Как тут с ней быть, прямо не знаю...

— Вы шарахаетесь от неё, ровно она заразная. А ты попробуй заведи с ней дружбу — вот тебе и вся техника безопасности кончится.

— Ты что, смеёшься?

— Никакого тут смеха нет. Пригласил бы её по-культурному в кино или на танцы... Бестолковые вы тут все...

— Я думал, ты чего-нибудь деловое предложишь, — с досадой сказал Митя. — Разве она со мной пойдёт? Первое дело — рыжий. Второе — ноги короткие, ростом ниже её. Танго, например, прикажет танцевать, — разве у меня получится танго?

— Не обязательно танго, — сказала Нюра. — Рассказывал бы ей что-нибудь. Когда не надо, так голова шумит от твоего разговора.

— Разговор у нас тоже с ней не выйдет. Она такие слова произносит, что и не поймёшь не пообедавши. На собрании сегодня сказала «апломб». А ты знаешь, что такое апломб?

— Апломб — это когда дурак считает себя сильно умным, — вдруг сказал Андрей.

— Вот кому с ней надо дружбу завести, — встрепенулся Митя. — Правда, Андрей Сергеевич. Парень ты рослый, слова знаешь...

— Ты это всерьёз? — спросил Андрей.

— Конечно, всерьёз, Андрей Сергеевич, мы всем нашим коллективом будем тебя просить.

— Прекрати эти разговоры, — оборвал его Андрей и ещё больше нагнул на глаза кепку.

Но разговор в вагоне Андрею пришлось вспомнить через несколько дней, когда построиком организовал культпоход молодёжи в цирк. Строителей пошло много, и, когда стали рассаживаться, получилось так, что места Андрея и Нины оказались рядом. Было ясно, что перед выдачей билетов Митя провёл солидную организационную работу. «Ладно, завтра я с ним поговорю», — подумал Андрей.

Представление началось. На арене бегали сытые лошади, гулко стуча ногами о парапет и забрасывая опилки в зрителей первого ряда. Дирижёр махал палочкой, смотрел вниз, и в паузах музыканты переворачивали валторны и вытряхивали из них слюни.

Андрей рассеянно смотрел то на оркестр, то на людей в униформе, то на рыжую голову Мити, сидевшего далеко во втором ряду, чувствовал запах духов, исходящих от Нины, и настойчиво молчал.

— Что вы такой хмурый? — спросила она.

— Есть с чего хмуриться. Заваливаем план. К этому трудно привыкать... — сердито ответил он и снова замолк.

На арену вышел человек во фраке и сказал: «Антракт». Нина сразу поднялась и пошла к проходу. «Наверное, совсем уходит, — подумал Андрей. — Не надо бы мне так грубить». Минут через пять подошёл Митя и нахально спросил: «Ну как?». «Никак», — ответил Андрей, и Митя, хитро ухмыльнувшись, удалился. Прозвучал первый звонок, потом второй. Нины всё не было. Наконец, когда дали третий звонок, она появилась, держа в руках белый фунтик. Добравшись до своего места, она улыбнулась и сказала:

— Будем есть прямо из кулька. Хорошо?

В фунтике оказались конфеты — клюква в сахарной пудре. Чтобы показать, что он перестал сердиться, Андрей съел несколько штук.

— Вы тоже живёте в общежитии? — спросила Нина.

— Да.

— Учитесь?

— На втором курсе заочного. Скоро сопромат начнётся. Говорят, самый трудный предмет. Остальное всё — ерунда.

— Когда я училась, наши студенты говорили: «Кто сдал сопромат — тому можно жениться». — Она сказала это случайно, но Андрей почувствовал, что ей вдруг стало неловко, и разговор потух. Так они молчали до самого конца представления, и, только глядя, как крутятся на никелированных трапециях мужчины в матросских костюмах, Нина проговорила: «Интересно, часто ли здесь проверяют подвеску тросов». И Андрею стало жаль её.

Когда они вышли на улицу, он сказал:

— Можно, я провожу вас?

Они пошли по Цветному бульвару. Держа её под руку, Андрей чувствовал, какая она лёгкая, и ему казалось удивительным, как это её не сдувает ветер с узких ригелей. Они молча свернули на Садовое кольцо. Над домами темнело беззвёздное небо. У большого дома министерства, в окнах которого горел свет, наискосок к тротуару стояли лакированные «зимы» и «победы». Дождаясь полуночных своих начальников, шофёры настроили приёмник в «зис-110», распахнули дверцы и слушали последние известия. Кравцова жила в переулке, недалеко от площади Маяковского. Переулок был тёмный, и только над воротами светились жестяные фонарики, в которых были прорезаны номера домов.

— Что это за ящик висит? — спросила Нина.

— Это постовой телефон, — ответил Андрей. — По субботам у нас в общежитии самодеятельность. Приезжайте.

— Приеду как-нибудь. А зачем постовой телефон?

Андрей понимал, что они разговаривают только потому, что неудобно всё время идти молча, и Нина чувствовала, что он понимал это, и оба ощущали неловкость.

Дом, в котором жила Нина, был старенький, трёхэтажный, с облупившейся штукатуркой. В первом этаже помещалась прачечная. На втором этаже светились окна.

— Папа уже вернулся, — сказала Нина, взглянув на освещённые окна. — Когда отходит ваш поезд?

Андрей посмотрел на часы.

— Через час двадцать минут приблизительно. Сейчас электричка ходит редко.

— Ну так заходите к нам. Зачем вам столько времени сидеть на вокзале.

— А можно?

— Если вас приглашают — значит можно, — назидательно сказала она.

В комнате, куда они вошли, под абажуром со стеклянными слёзками горела яркая лампочка, освещая накрытый для ужина круглый стол. На свежей скатерти симметрично стояли три тарелки и на подставочках лежали ножи и вилки. На самой середине стола блестела ваза с яблоками. «Вон как люди-то живут», — подумал Андрей, увидев возле каждого прибора салфетку, продёрнутую в кольцо.

— Ниночка, ты одна? — раздалось из соседней комнаты.

— Нет, у меня гость, мама.

В дверях показалась маленькая седая женщина и, ещё не видя Андрея, но уже улыбаясь, стала отыскивать его близорукими глазами.

— Меня звать Ирина Максимовна, — проговорила она радостно. — Сейчас будем пить чай.

Вслед за ней появился только что вернувшийся с работы отец Нины, Василий Яковлевич, высокий, строгий, ничему не удивляющийся мужчина в расстёгнутом коверкотом кителе с железнодорожными погонами. Он сел за стол, отодвинул локтями тарелки, ножи и вилки, сразу нарушив красивую симметрию, и спросил Андрея резко:

— Вместе с ней работаете?

«Видно, серьёзный у Нины Васильевны батяка. Если бы знал, что она у нас творит, здорово бы ей досталось», — подумал Андрей и ответил осторожно:

— Вместе, да не рядышком. Она наше начальство.

— Ну и как она? Действует? — снова спросил Василий Яковлевич так, словно Нины не было в комнате.

Нина с беспокойством посмотрела на Андрея.

— Ещё как действует, — ответил он, успокаивая её своим взглядом. — У нас в Сибири про таких говорят — не согнёшь, не сломишь...

— Слава богу, хоть отца не подводит, — сказал Василий Яковлевич.

— Она у нас всегда хорошо училась, — заметила из соседней комнаты Ирина Максимовна.

— Довольно, мама, — раздражённо проговорила Нина, и Андрей с удивлением заметил в её характере отцовскую резкость. — Диплом и производство разные вещи... Почему вы из Сибири уехали, Андрей Сергеевич?

— Учиться хотел, а бабка не велела. Книг не велела покупать. Бывало, куплю книжку, номерок поставлю, будто из библиотеки взял, — тогда ничего... А потом и про это догадалась и всё пожгла, только «Спутник сварщика» оставила. Переругался я с ней, зашил деньги в подкладку, стащил на кухне буханку хлеба и пошёл на станцию.

— Правильно сделал, — сказал Василий Яковлевич, разламывая пополам яблоко своими волосатыми руками.

— Ну, пришёл на станцию — до Москвы нормальных билетов нет. Есть одни мягкие. Распорол подкладку — все деньги на билет отдал.

— У вас решительный характер, — сказала Нина. — Вам, наверное, нравится там, наверху?

— Каждого человека характер направляет на свою работу. Ведь вам почему достаётся? Потому что ваш характер под нашу работу немного не подлаживается.

— А всё-таки достаётся? — усмехнулся Василий Яковлевич.

— Бывают и у неё, как и у всех, недостатки, — поправился Андрей. — Но ведь её работа тяжелей нашей. У неё совсем особая работа. Вот мы недавно брали обязательства, чтобы план выполнить, — у нас о плане забота, а она взяла такое обязательство, чтобы мы ни разу на гвоздь не напоролись. Кому план, а кому — гвозди.

— Как же вы всё-таки в Москву без денег ехали? — спросила Нина, стараясь увести разговор от неприятной темы.

— Так я же сказал — у меня буханка хлеба была. Ну, а потом пассажиры помогли. Утром просыпаюсь, слышу — внизу беседуют: вербовщик жалуется на свою профессию. Спрыгнул я вниз, вижу, сидит вот такой дяденька, кабачковые консервы зубами открывает. А вечером, когда я «Спутник сварщика» достал, он сразу понял, что я за птица, и стал меня в свою организацию привлекать. Златые горы сулил. Не то что хлеба давал — кипяток сам носил. И так до самой Москвы. Но я не пошёл к ним. Уж больно здорово расписывал. Думаю — чего-нибудь здесь не так. Ну, приехал в Москву...

— Чайку, пожалуйста, — проговорила Ирина Максимовна, входя в комнату с чайником.

Тут только Андрей вспомнил про поезд, посмотрел на часы и заторопился.

Нина проводила его до двери.

— Через порог не прощаются, — сказал Андрей.

— Да всё равно, — махнула рукой Нина, — хуже не будет.

«А всё-таки трудно ей живётся, — подумал Андрей, — хоть и салфетки в кольцах».

— А вы не теряйтесь, — проговорил он, переступая обратно в коридор. — Хорошая работа, как хороший конь, — не сразу к человеку привыкает. Ну, до свидания. А за своими ребятами я сам стану присматривать...

Нина заперла за ним и стояла в коридоре, удивляясь внезапно нахлынувшей на неё тоске, стояла до тех пор, пока не замер стук шагов по ступенькам, пока не хлопнула тяжёлая парадная дверь. Потом она вошла в столовую, принялась за ужин и, дождавшись, когда родители легли спать, уселась на подоконник, на своё любимое с детства место, и, глядя в чёрное небо, украшенное редкими разноцветными звёздами, задумалась. В комнате было тихо, только тоненько позвякивали слёзки абажура, когда проезжал грузовик, да на стене тикали часы, медленно и солидно. Время шло. Чтобы отвлечься, Нина решила составить проект приказа, который Роман Гаврилович просил представить ему завтра. Она села за письменный столик, за которым когда-то зубрила таблицу умножения, плакала над задачками, не сходящимися с ответом, делала курсовые проекты, и, обмакнув ручку в фарфоровую непроливашку с переводной картинкой, написала: «...во время уборки мусора в цокольном этаже центральной части здания произошёл несчастный случай с бригадиром разнорабочих» — и вдруг поняла причину своего плохого

настроения. «Ну, конечно, это оттого, что Арсентьев сегодня пожалел меня и из-за этой жалости лгал отцу, будто я хорошо работаю. А я своим молчанием поощряла и одобряла эту ложь. Теперь он станет думать, что я только трусливая девчонка и больше ничего.. И правильно станет думать...» И Нина почувствовала приближение одной из тех минут отчаяния, когда ничто не мило на свете.

— Ну, а мне-то какое дело, что он обо мне будет думать? — сказала она вслух. Но хотя сказано это было очень решительно, Нина понимала, что с сегодняшнего дня мнение о ней Андрея стало для неё важнее, чем мнение давнишних друзей-студентов, Романа Гавриловича и даже отца.

«В субботу, пожалуй, действительно надо съездить в общежитие, — подумала она, рисуя на проекте приказа треугольники и кружочки, — интересно, что у них там за самодеятельность».

В той комнате мужского общежития, где жил Андрей, после посещения цирка долго не ложились спать.

За столом сидел Митя и, нарезаая на газете колбасу, ужинал. У окна, на постели, лежал монтер и, заложив руки под голову, тоскливо смотрел в потолок.

— Нет, я тебе скажу, это неверно, — говорил Митя, обмазывая и колбасу и хлеб горчицей. — Если ты хочешь знать, я после цирка за ними шёл два квартала. Сперва они шли так, потом он её взял под ручку. Тогда она сказала, что он идёт не с того боку, и он зашёл с другого боку и обратно взял её под ручку.

— Ты скоро свет будешь тушить? — спросил монтер.

— Сейчас поужинаю и потушу. И ещё одна деталь: почему его до этих пор дома негу? Ты думаешь, он один на Садовом кольце дежурит? Второй час ночи, а его нет.

— Это ещё ничего не доказывает, — сказал монтер. — Туши свет.

— А вот увидишь — на работе снова будет полный порядок. Она теперь полностью переключится на Андрея Сергеевича. Хочешь на спор?

Но монтер вздохнул и отвернулся к стене. Митя посидел, подумал, собрал остатки колбасы, хлеба, перочинный нож, банку с горчицей, свернул всё это в один пакет и спрятал в шкафчик. Потом умылся, разделся, внимательно осмотрел свои зубы в маленькое зеркальце и потянулся было к выключателю, но, услышав шаги в коридоре, бросился в постель.

Тихо вошёл Андрей и сел пить чай. По его виду ничего нельзя было понять. Несколькó минут Митя притворялся спящим, но, не выдержав, приподнялся на локте и спросил:

— Ну как, Андрей Сергеевич?

— Если ты про Нину Васильевну скажешь хоть слово, — размеренно проговорил Андрей, — скину с кровати... И комнату надо прибрать. Абазур, что ли, купить бы... Люди зайдут — совестно.

— Вы скоро свет потушите? — снова спросил монтер.

— Дай человеку чайку напиток, — заступился за Андрея Митя и, закутываясь в одеяло, тихонько добавил: — Я же тебе говорил, что всё в порядке.

Соревнование верхолазов двух высотных зданий привлекало всё большее внимание строителей. Диспетчеры стали передавать сводки выполненных работ — сначала о своём доме, а потом о доме, с которым соревновались комсомольцы, и во время таких передач к репродукторам стягивался народ, а шофёры останавливали свои самосвалы и открывали дверцы кабин. «Как будто футбол передают», — улыбалась Нина, глядя сверху на строительную площадку.

С каждым днём монтаж каркаса шёл быстрее, и Роман Гаврилович как-то сказал Нине по секрету, что появилась возможность дотянуться до нужной отметки на день раньше планового срока.

Действительно, за неделю каркас сильно вырос; у строителей уже не было сомнения, что работы будут закончены во-время. Дело теперь заключалось в том, чтобы обогнать комсомольцев соседнего дома, показать более высокую выработку и мастерство.

Арсентьев и его друзья приходили по утрам в прекрасном настроении, и, заражаясь этим настроением, Нюра и Лида, которых начальник третьего участка всё-таки передал в распоряжение сварщиков, быстро проверяли провода, бегали к трансформаторам и, приходя в буфет, объявляли, что Арсентьеву требуется ситро, и их пропускали без очереди.

Опасения Нины по поводу отношения к ней Арсентьева не оправдались. Наоборот, после похода в цирк он стал внимателен к ней, разговаривал без тени насмешки и, что больше всего радовало Нину, не забыл своего обещания — присматривать за тем, чтобы ребята соблюдали требования техники безопасности. Как-то, проходя по перекрытиям, Нина услышала, как он отчитывал Митю за неисправную монтажную лестницу. Вместо того чтобы сходить за другой лестницей, Митя упрямылся, доказывал, что и эта хороша. Нина остановилась в отдалении и стала наблюдать, чем это кончится. Арсентьев спорил недолго. «Тебе трудно за лестницей итти, — сказал он, — так я сам тебе принесу», — и ушёл. Сконфуженный Митя посмотрел ему вслед и проговорил с философской покорностью:

— Выходит, не он над техникой безопасности власть взял, а она над ним. Ещё хуже, чем было, стало. Они вдвоём-то совсем нас зажмут, — и, поглядев на Нюру, добавил: — Эх вы, советники...

— А ты на других не вали, — возразила Нюра. — Билеты-то ты раздавал.

— А кто надоумил? Забыла, что гордила в электричке? Вязала бы себе да молчала.

— Мало что тебе скажут.

Хотя Нина не совсем поняла, что означают фразы о билетах и съезниках, чувство признательности к Арсентьеву укрепилось в ней, и, когда через несколько дней он пришёл с метеорологической сводкой, предвещавшей грозу с сильным ветром, и попросил сделать как-нибудь так, чтобы верхолазы не простаивали, она ответила:

-- Сделаем, Андрей Сергеевич. Обязательно сделаем!

Впрочем, сказать это было гораздо легче, чем действительно что-нибудь сделать. По инструкции при шестибалльном ветре краны должны быть остановлены, колонны и ригеля наверх подавать будет нечем. Нина долго думала, как быть, и наконец сказала, чтобы сварщики и монтажники выходили на работу. На следующий день действительно подул ветер, на соседнем высотном здании монтаж каркаса был приостановлен и монтажников отпустили домой. Но Нина созвонилась с метеорологическим управлением, узнала, что сила ветра не достигла пока и четырёх баллов, и разрешила высотникам работать, предупредив, чтобы они сразу же шли вниз, как только она объявит об этом по радио.

Целый день Нина связывалась с метеорологами, и, хотя монтажникам дважды пришлось спускаться вниз, несколько колонн и ригелей всё-таки было установлено. А вечером Нине приказом по строительству была объявлена благодарность, и монтажники один за другим приходили поздравлять её. Пришёл поздравлять и Арсентьев. «Это, конечно, хорошо, благодарность, — усмехнулся он. — Главное — мы их почти

догнали, — кивал он на здание, виднеющееся сквозь мутную пелену дождя. — Ещё один день нормальной работы, и мы обгоним».

Нина чувствовала, что, говоря «мы», он на этот раз подразумевал и её, и, пожалуй, впервые за всё время работы на строительстве ей стало радостно и легко.

Нина пошла домой, не дожидаясь, когда кончится дождь. Дождь шёл волнами, то нарастая, то словно собираясь с силами. На перекрёстках мокли хмурые милиционеры в глянцевых пелеринах, и мимо них, выплёскивая колёсами лужи, пронеслись блестящие «победы». Мутные ручьи несли к колодцам окурки и автобусные билеты. Прохожие толпились в подъездах, поглядывая на небо. А Нина шла, постукивая своими босоножками по мокрому асфальту, радуясь и этому прохладному летнему дождю, и ветру, и посвежевшим лицам.

Накрывшись газетами и прозрачными плащами, люди цепочкой бежали к пригородным поездом. Нина вспомнила, что сегодня суббота, что в общежитии строителей в этот день выступает самодеятельность, и замедлила шаг. Потом она перешла дорогу и отправилась на вокзал, оправдывая своё внезапное решение тем, что ей необходимо побеседовать с девушками, которые работают у монтажников.

Нина не знала, где живут девушки, но, выйдя из электрички, сразу встретила Лиду и попросила свести её к Нюре.

Комната, в которой жила Нюра, отличалась почти неестественной аккуратностью. Вдоль стен тесно стояли четыре, прибранные по-разному, узкие кровати: кровать Нюры была украшена маленькими подушками с аппликациями и кружевными занавесками на спинках, на другой кровати тщательно, но просто, почти по-солдатски, было заправлено казённое одеяло и на подушке лежало свёрнутое конвертиком полотенце, возле третьей, застланной вместо покрывала свежей простыней, висел на стене детский коврик с медвежатами, а у четвертой, покрытой широким, жарким, сшитым из разноцветных треугольников одеялом, теснилось такое множество фотографий, что верхние, прибитые почти под потолок, разглядеть было совсем невозможно.

Нюра сидела на табуретке и так же, как в вагоне, занималась бесконечным своим вязаньем.

— Вы теперь со сварщиками работаете, Нюра? — спросила Нина.

— Да. Я работаю и вот она, Лида.

— Так вот, слушайте, девочки. Как только на каркасе начали нагонять план, ребята вошли в азарт. Сегодня это было особенно заметно. Если вы увидите, что сварщики не прицепляются или работают без поясов, сразу извещайте меня... Только всё это между нами, хорошо?

— Яковлеву хоть говори, хоть не говори. Как об стену горох, — сказала Нюра.

— А кто работает с Арсентьевым? — спросила Нина с едва заметным смущением.

— Я работаю с Арсентьевым, — ответила Лида. — Да он всегда цепляется. И что вы так за нас хлопочете, прямо не знаю... Что вам за дело?..

— Если Нюра упадёт сверху, будет вам до этого дело?

— Так ведь Нюра — подруга!

— Когда вы проработаете здесь месяц или два, многие станут вашими друзьями и подругами... Это что? — спросила вдруг Нина почти с испугом.

— Где? А-а, разве не знаете? Соска. У нас ребёнок есть.

— Какой ребёнок?

Нюра сняла накидку, и Нина увидела между спинками двух соседних кроватей младенца, спящего на широкой пуховой подушке.

— Он чей?

— Наш, — принимаясь за прерванное вязанье, объяснила Нюра. — Нашей комнаты. А родила Маруся — она сейчас с работы придёт. У нас для таких организована комната матери и ребёнка. А мы постановили не отдавать его. У нас родился, мы и воспитаем. Из четверых — у нас одна всегда дома... Ты вот, Лида, гляди, легче с парнями. Гулять гуляй, да не загуливайся.

— Ладно тебе. Пора на вечер собираться.

— Погоди, сейчас Маруся придёт... — Нюра критически оглядела ряд Лиды и спросила: — Ты так и собралась итти?

— Так. А чего?

— Больно косынка у тебя скучная...

В это время вошла худенькая девушка лет восемнадцати с большими синими глазами, лучащимися радостью и грустью. Это была та самая крановщица, которая подавала плиты на шестнадцатый этаж, чтобы Нина могла дойти до лестницы. Ни с кем не здороваясь, она сразу прошла к ребёнку, наклонилась над ним и спросила:

— Всё кашляет?

— Да нет. Вроде лучше, — ответила Нюра. — Мы сейчас на вечер пойдём. У тебя косынку взять можно?

— Бери, — разрешила Маруся. — Куда мне её. Я своё отгуляла...

Она села на кровать и стала кормить ребёнка, глядя в окно, на вершину одинокого, дрожащего от дождя дерева прекрасными синими своими глазами. А Нюра, тихонько напевая и уже настраиваясь на весёлый лад, переоделась и начала пудриться.

— А отец его бывает у вас? — осторожно спросила Нина.

— Отца на канатах тянуть не к чему. Без него управимся, — ответила Маруся, всё так же глядя в окно. — Вы там скажите, чтобы легче топали.

— Я бы ему глаза повыкалывала, — подумав, сказала Лида.

— Зачем это всё? Я уже запахла свою любовь, — возразила Маруся, прислушиваясь к весёлому шуму, доносившемуся из красного уголка.

— Не нужен он нам, — добавила Нюра. — Без него справимся. Вот Андрей Сергеевич помог, чтобы их у нас оставить...

— Арсентьев помог? — удивилась Нина.

— Ну да. Он в бытовой совет выбран. Пелёнок у нас нехватало, так он пошёл к коменданту и говорит: «Завёлся у вас пятый жилец, так и ставьте его, как всех, на полное вещевое довольствие». Ну, выдали нам простыни на пелёнки... — говорила Нюра тихим, спокойным голосом.

Внезапно звук гармони и взрывы смеха стали доноситься явственней. Вероятно, в красном уголке открыли все окна.

— Ты бы пошла, развеялась, — сказала Лида Марусе. — Дай его мне, я покачаю.

В дверь постучали. Вошёл Арсентьев.

— Вот ты где, — заговорил он, увидев Лиду. — Идём на вечер. Там козули какие-то пляшут. Смотреть неохота. Покажи им нашу подгорную. А, и вы здесь, Нина Васильевна. Пойдёмте все!

Вслед за Арсентьевым и Лидой Нина вошла в просторную и, несмотря на открытые окна, душную комнату. Людей было очень много. Арсентьев провёл Лиду вперёд, туда, где две девушки пели и отплясывали под гармонию.

— Ну-ка, давай подгорную, — сказал он, положив на мехи гармони руку.

— А что это за подгорная? — спросил гармонист.

— Напой ему, Лида.

Лида уселась рядом с гармонистом и начала напевать ему на ухо, и он, напряжённо прислушиваясь, стал медленно шевелить гармонь.

Арсентьев вернулся к Нине и строго сказал парням, сидевшим на лавке:

— Освободите место. Не видите, что ли.

Нина села.

Арсентьев встал позади неё.

Совладав с несложным мотивом, гармонист прикинул щекой к мехам, и Лида, словно заворожив его, осторожно поднялась и остановилась, подёргивая плечами и становясь стройней с каждой секундой. Она дождалась начала такта и двинулась, но спуталась и, досадливо махнув головой, снова стала ждать разрешающего аккорда и наконец, легко взметнувшись в воздух, топнула каблуками, выбила привычную дробь и, нисколько не заботясь о том, что делать дальше, стала поправлять косынку, а равномерный ветер музыки подхватил её и плавно понёс мимо людей, столов, стен, газет и плакатов.

Хотя Арсентьев стоял за спиной Нины, хотя она ни разу не оглянулась на него, она отчётливо чувствовала, как он захвачен танцем и музыкой, как взгляд его послушно следует за Лидой, и что-то похожее на зависть шевельнулось в её душе. Ей захотелось, чтобы Лида устала, чтобы скорей прекратилась эта бесконечная пляска..

Но, подчиняясь чудесной власти родной подгорной, руки Лиды плавно раскидывались в стороны и соединялись на груди, и ноги бежали по воздуху вслед за музыкой, касаясь пола только для того, чтобы топнуть, и губы шептали «быстрей» гармонисту, и даже ситцевое платьице, собираясь летучими складками, казалось танцевало само по себе.

Гармонист резко рванул последний аккорд, и Лида вдруг смутилась, словно впервые ощутив свою красоту, и бросилась за дверь.

— Вот это и есть наша подгорная, Нина Васильевна, — сказал Арсентьев таким тоном, будто танцевал сам. — Хорошо?

— Ничего, только немножко однообразно, — ответила Нина и подумала: «Как это мне взбрело в голову тащиться сюда в самый дождь...».

Но потом, когда Арсентьев разыскал где-то плащ, накинул его Нине на плечи и проводил её на станцию, настроение у неё исправилось, и, сидя в электричке, она прошептала, улыбнувшись: «Уж не ревновала ли я? Какая глупость».

Через несколько дней случилась беда: геодезист забракёвал девять колонн, поставленных во время ветра не точно по вертикали. И хотя в спешке, с которой в последние дни шли работы, этого можно было ожидать, все переполошились, расшумелись, стали искать виновных. До исправления колонн вести работы дальше было нельзя. Арсентьев собрал девчат и велел завтра приходиться пораньше, проверить, везде ли подвешены провода, не лежат ли они на перекрытиях. «Завтра, — закончил он, — будем нагонять и нагоним во что бы то ни стало».

Вслед за грозой наступили ясные, безоблачные дни. На следующее утро с семи часов сильно палило солнце. День обещал быть душным и жарким. Лида и Нюра пришли на стройку одними из первых, сделали своё дело и сели у лестницы на площадке двадцать второго этажа дожидаться сварщиков.

Арсентьев появился сумрачный и решительный.

— Ты свистать умеешь? — спросил он Лиду.

— Нет. А что?
 — Тогда на, возьми ключ. Как увидишь, снизу идёт Нина Васильевна, — стучи по колонне.

— Зачем это?

— Сказано, стучи — значит стучи. Ясно?

— Ясно. Это работа не мудрёная, — ответила Лида.

Она села на площадке и задумалась, следя, как голубая электрическая искра с треском бьётся возле Арсентьева.

Когда Лида первый раз подходила к высотному дому, ей казалось, что такой дом могут построить только необыкновенно сильные и мудрые великаны. Она была почти уверена, что её направили сюда по ошибке и не позже чем через неделю переведут на другое место. Но, проработав немного, она увидела таких же, похожих на неё, простых, нормальных людей, таких же девушек и даже нашла земляков. Она повеселела и иногда, в обеденный перерыв, бродила по этажам и расспрашивала Митю, куда идут трубы и зачем на двери будки нарисованы череп и кости.

Она увидела много незнакомых машин: бетонный насос с такими же, как у паровоза, рычагами, проталкивающий бетон вверх до седьмого этажа по толстым трубам. Когда работал этот насос, настил вокруг него дрожал, как во время бури. Она увидела подвесные вагонетки, груженные строительными материалами. Вагонетки пролетали над её головой в глубь здания, не касаясь электрических проводов, словно были наделены силой и разумом.

Однажды на восьмом этаже Лида увидела проволочную клетку, похожую на клетку лифта. Как только она подошла к клетке, дверца открылась, изнутри выдвинулись какие-то железные руки и осторожно поставили контейнер, наполненный кирпичом. Контейнер подъехал по наклонным роликам прямо к работающим и остановился на полу. Железные руки убрались в клетку, сложились там и с лёгким свистом провалились куда-то вниз.

— Это чего это такое? — спросила Лида.

— Подъёмник, — ответил каменщик. — Ты бы не крутилась здесь. Вот защемит ногу, тогда будешь знать. Не нарвалась ещё на инженера по технике безопасности.

Лида побежала вниз и забралась по железной лесенке на площадку, где находился пульт управления подъёмником. На пульте, против цифры, обозначающей номер этажа, загорались лампочки, и неразговорчивая, сосредоточенная женщина приказывала загрузить подъёмник, нажимала кнопку, и контейнер с кирпичом устремлялся вверх.

— Он сам, где надо, остановится? — спросила Лида.

— Конечно, остановится, — отвечала женщина. — Иди отсюда. Кругом провода высокого напряжения. Вот обожди, увидит тебя Нина Васильевна — так шуганёт, что и фамилию свою позабудешь...

Разговоры о Нине Васильевне Лида слышала всюду. Разговоры были разные, но чаще всего насмешливые или сердитые. И постепенно у Лиды сложилось убеждение, что Нина Васильевна мало приносит пользы строительству, очень придирается и часто отрывает людей от дела по пустякам. Непонятно только, чего это Андрей с ней такой вежливый...

— Здравствуйте! — вдруг услышала Лида над собой голос и, подняв голову, увидела Нину. Она машинально схватила ключ, но было уже поздно.

— Вы забыли, о чём я просила вас, — говорила Нина. — Смотрите, Арсентьев работает без монтажного пояса. Это правильно?

— Неправильно, да он не велел говорить.

— Значит, вы его больше слушаетесь, чем меня?

— А чего мне, всех, что ли, слушаться, — отрезала Лида.

Нина ничего не ответила и направилась к Арсентьеву. Он заметил её только тогда, когда поднял щиток, чтобы поменять электрод, и сразу бросил сердитый взгляд на Лиду.

— Как же так, Андрей Сергеевич, опять без пояса? — спросила Нина.

— Жарко, — ответил он, — нет никакой возможности работать с поясом. Хуже, чем в шубе.

— Тогда прекращайте работу.

— Да что вы, Нина Васильевна! Вы же понимаете, сегодня за вчерашний день надо нагонять.

— Я это отлично понимаю. Но надо надеть пояс, Андрей... Неужели вас надо уговаривать?

— Хорошо, надену. На тот ярус спущусь и надену. Он там у меня и висит, — пообещал Арсентьев.

— Нет, сейчас наденете, — сказала Нина, но он уже опустил щиток и начал варить. — Вы что, хотите поссориться со мной?

Нина шагнула к нему по ригелю и потянула за электрододержатель. Арсентьев резко поднял щиток и проговорил угрожающе:

— Как бы вам не упасть. Здесь ещё не скоро полы настилать будут. Наверху засмеялся Митя.

— Смотрите, и ваш приятель тоже без пояса, — возмутилась Нина. — Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.

Лида вопросительно взглянула на Арсентьева.

— Не ходи, — опустив глаза, сказал он.

— А я ей предлагаю итти, — повторила Нина, бледнея.

— Вы ей не можете предлагать, — так же не поднимая глаз, сказал Арсентьев. — Она подчиняется мне.

Нина понимала, что от того, что сейчас произойдёт, может рухнуть с таким трудом налаженная дружба, может навсегда рухнуть и что-то ещё более для неё важное, что уже возникло и чему она ещё не смела верить. Но, сжав в руке потрёпанный свой блокнотик, она холодно повторила:

— Идите, Лида.

Лида снова посмотрела на Арсентьева, встретила его ледяной взгляд и тихо, но твёрдо ответила:

— Не пойду.

Но Нюра, со страхом следившая за этим разговором, вздохнула и проговорила:

— Не надо, ребята, спорить. Я сбегаяю.

Нина вернулась на площадку и остановилась, нервно теребя блокнот. «Пусть только попробует выключить ток, — поглядывая на неё, думала Лида. — Ох, ей тогда и будет!» Прошло минут десять, и огни сварки погасли. Арсентьев отбросил электрододержатель, поднял щиток и, не глядя на Нину, раздражённо спросил неизвестно кого:

— Ну что ты будешь с ней делать?

— Вот в прошлом году, — начал Митя, — на том доме в воротах поставили нового вахтера. И на другой день машины невыполнили задание. Оказывается, этот вахтер каждый раз в воротах у шофёра и у грузчиков удостоверения спрашивал и с паспортами сверял. «А ну, — говорит, — Иван Иваныч, давай поглядим твой пропуск. Да ты его не там ищешь. Он у тебя прошлый раз в левом кармане лежал». Тоже, не придерёшься, действовал по инструкции. А получился вред делу...

На площадку поднялся Роман Гаврилович, отёр пот со лба и спросил:

— Кто выключил ток?

— Она выключила, — кивнул Арсентьев на Нину, нарочно не называя её по имени. — Увидела, я без монтажного пояса сидел, и выключила.

— Не сидели, а работали, — поправила Нина.

— Сейчас же наденьте пояса и вы и вы, Яковлев, — сказал главный инженер и начал спускаться вниз, но на второй ступеньке остановился и добавил: — а вас, Нина Васильевна, прошу зайти ко мне, когда освободитесь, — и голос его не предвещал ничего доброго.

Домой Нина вернулась совсем разбитая. В комнатах был беспорядок. Василий Яковлевич готовился ехать в командировку и собирал вещи.

В гардеробе он ничего не мог найти и сердился на Ирину Максимонову, с обеда застрявшую в магазинах. Нина попробовала помочь ему, но вещи у неё валялись из рук, и, когда она стала пересчитывать носки, получилось сначала семь штук, а потом девять.

— Ты что, заболела? — спросил Василий Яковлевич.

— Нет, папа. Просто устала. Скорей бы возвращался настоящий инженер по технике безопасности. Не могу больше.

— Не справляешься?

Нина села за стол, подставила кулачки под подбородок и, помолчав немного, сказала, глядя мимо отца:

— Да, не справляюсь, папа.

— Вот тебе и диплом с отличием... — заметил он только, но эти слова его были для неё тяжелее самого тяжёлого наказания.

«Кончено! — думала она, утирая слёзы. — С завтрашнего дня буду работать так, как работал прежний инженер. Буду делать замечания только прорабам и начальникам участков. Пусть они сами принимают меры. В конце концов, что мне до Дмитрия, до его матери, до Арсентьева... И откуда у меня такое беспокойство за совершенно чужих, за посторонних мне людей? Очень мне это нужно...»

Утром ей очень не хотелось вставать. Но она пересилила себя и с тяжёлым чувством пошла на работу. Так же, как и всегда, у ворот её встретил дедушка и, не спрашивая пропуска, отдал честь. Горько улынувшись, Нина вспомнила, с каким нетерпением и радостью проходила она эти ворота в первые дни, как она собиралась удивить начальника строительства своими знаниями и энергией. «Даже обиделась, что пропуск потребовали, дурочка», — печально усмехнулась она. Возле доски показателей стоял расстроенный Митя. Против обыкновения, он не поздоровался с Ниной, а, надвинув на глаза кепку, отправился к лестнице. В графе вчерашнего дня была выведена жирная двузначная цифра. «Даже ста процентов не сделали, — подумала Нина. — Провалили соревнование. Совсем провалили». По привычке она решила сразу же сходить наверх и проверить работающих. В большом зале второго этажа за колонной разговаривали люди.

— Конечно, начальство виновато, — узнала Нина голос монтера. — Если бы она хоть где-нибудь работала, тогда с неё можно спрашивать. А то прямо от тетрадок. Чего с неё возьмёшь?.. Ей бы сперва в десятниках походить.

«Это про меня», — догадалась Нина, и ей стало так безразлично всё вокруг, что она повернулась и пошла обратно, дав себе слово не выходить сегодня из кабинета до конца работы.

День был ещё более жарок и душен, чем вчера. Мелкая горячая

пыль неподвижно висела в знойном воздухе. Девчата в платьях и косынках окачивали друг друга из брандспойтов с ног до головы. У машин охрипли сигналы. Многие шофёры ездили, подняв капоты двигателей. И от этой, редкой для Москвы, жары Нина стала ещё безучастней ко всему, какой-то даже бесчувственной. И когда Ахапкин, взглянув на неё, тоже не поздоровался, она приняла это, как должное, и не огорчилась.

За пустым письменным столом сидеть было скучно и глупо.

— Когда будут остальные плакаты? — спросила Нина только для того, чтобы не сидеть без дела.

— Не будет остальных плакатов, — ответил Ахапкин, не отрываясь от своих накладных.

— Не будет — и не надо, — равнодушно сказала Нина.

Дверь распахнулась, и в кабинет вбежала Лида.

— Нина Васильевна!.. — закричала она. — Скорее, Нина Васильевна!

— Что случилось?

— Скорее пойдёмте... Нина Васильевна... Андрей повис.

— Как повис?

— Так... Сорвался и повис на цепи... И мы не знаем, чего делать...

Уронив стул, Нина выбежала из конторы. От дальнего угла здания, громко разговаривая и размахивая руками, расходились в разные стороны рабочие. Капризно сигналив и переваливаясь на ухабах, ехала белая машина скорой помощи с шёлковыми занавесками, странно выглядывшая среди самосвалов, бетономешалок и контейнеров. Нина бросилась к лестнице, слыша, как за её спиной громко, по-деревенски, плачет Лида, но в это время рядом с ней раздался голос Мити:

— Не бегите, Нина Васильевна. Всё в порядке. Он, если вы хотите знать, уже в санчасти...

Возле санчасти толпились рабочие, заглядывали в окна. Седая сестра с мокрыми руками впустила Нину.

На кровати, возле открытого окна, лежал бледный Арсентьев, обёрнутый мокрой простынёй.

— Солнечный удар, — сказала сестра, — перегрелся.

Тяжело дыша, Нина почти упала на стул. Вошёл врач скорой помощи, осмотрел умными глазами комнату, Нину, спросил сестру, усмехнувшись: «Кто же здесь пострадавший? Он или она?» — и, не ожидая ответа, подсел к Арсентьеву и стал слушать пульс.

— А у вас тут с охраной труда слабо, — предупредил он сестру. — В такую жару надо следить, чтобы в шапках работали... Через полчаса он будет в полном здравии. — Последние слова он сказал почему-то Нине и, попрощавшись с сестрой, вышел.

— Идите-ка, отдохните, Нина Васильевна, — посоветовала сестра. — Смотрите, на вас лица нет.

— Какой тут отдых! — встрепенулась Нина. — Надо сейчас же проверить, как там, наверху...

И, чувствуя, как всё её тело наливается прежней молодой силой, она выбежала из санчасти и, не отдыхая на площадках, стала взбегать по лестнице наверх. «Сейчас я заставлю их всех работать, как полагается, — возбуждённо шептала она, — и пусть хоть сам Роман Гаврилович упрекает меня, пусть насмеются надо мной монтажники, я всё равно не отступлюсь, ни на шаг больше не отступлюсь от своих требований... Забота о людях совсем не лёгкое и не простое дело... И когда-нибудь Арсентьев поймёт это... А может быть, и не поймёт... А я всё равно не отступлюсь!..»

Так она бежала, не останавливаясь, вплоть до двадцатого этажа. И только здесь, на двадцатом этаже, она опомнилась, остановилась и

услышала за своей спиной всхлипывания. Вслед за ней поднималась Лида.

— Ой, как вы быстро, — сказала Лида, — прямо вас не догнать... Спасибо вам, Нина Васильевна...

— За что?

— За Андрея, — и Лида обняла её, спрятав залитое слезами лицо у неё на плече.

«Ну вот, так я и знала», — устало подумала Нина, поглаживая Лиду по спине и чувствуя, как прежняя слабость и безразличие охватывают её.

— Я сперва пугалась его, не хотела с ним никуда ходить... — торопливо говорила Лида. — Напугали меня наши девчата. А вчера не стерпела, думаю, будь что будет, пошла с ним в кино... Он хороший такой парень... Говорит, полюбил меня, ещё когда я подгорную плясала... Такой парень, прямо я не знаю... — и она снова заплакала и прикинула к нининому плечу.

Чувство враждебности и вместе с тем какой-то материнской нежности к этой девушке овладело Ниной, и, со страхом ожидая, какое из этих двух чувств возьмёт верх, она стояла, держась за поручень и глядя в пустоту широко раскрытыми глазами. Чувство враждебности стало усиливаться, но в это время зазвенела железная лестница, на площадку поднялся Митя и крикнул:

— А инженер-то вернулся, Нина Васильевна!

— Какой инженер? — не поняла Нина.

— Тот, который в больнице лечился.

— Ну вот, наконец-то кончились мои мучения, — сказала она и тут же почувствовала, что слова эти не доходят до её сознания.

— Ну вот, кончились мои мучения, — отдельно повторила она, — теперь можно выбирать настоящую строительную работу, — и с удивлением поняла, что не может испытать от этого долгожданного известия никакой радости. Опасение за судьбы Мити, Андрея, Нюры, Лиды зашевелилось в её душе, и она не могла представить, как можно доверить всех этих непослушных людей кому-то другому. «Ну вот, — рассердившись на себя, подумала она, — столько дней ждала, ждала, а теперь на попятный. Здесь не детский сад, Нина Васильевна».

— Что это вы задумались? — спросила Лида.

— Ничего, ничего, Лидочка. Мне придётся перейти на другую работу, так ты смотри...

— Вы уходите от нас?

— Нет. Пришёл прежний инженер по технике безопасности, которого я временно заменяла. Пожилой, опытный мужчина. Не то, что я, — сразу от тетрадок... Только он вряд ли станет подниматься сюда. Так я тебя прошу — ты сама последи за ребятами. В жаркие дни чтобы работали в кепках. И за собой следи. Вот так нельзя — облокачиваться на перила. И на провода наступать нельзя... Мало ли что...

И, утирая мокрое от лединых слёз лицо, Нина пошла вниз в контору.

За письменным столом сидел хмурый старик в чёрных сатиновых рукавниках. Стаканчик с цветами был переставлен на подоконник. Старик листал дело с приказами, выпущенными в его отсутствие. Он поднял на Нину светлые глаза, оценивающе осмотрел её всю и только после этого, с трудом приподнявшись со стула, поздоровался и назвал себя.

— А приказы-то вы не в то дельце подшивали, Нина Васильевна, — сказал он.

Нина собиралась рассказать ему о сложности обстановки на строительстве, о том, что надо немедленно назначить общественных инспекторов, о том, что Андрей и Лида полюбили друг друга, хотела сказать

о непорядках с такелажными приспособлениями, о недостатке плакатов, но вместо всего этого, неожиданно для себя, произнесла:

— Как жалко мне уходить с этой работы.

— Да, пожалуйста, не уходите! — обрадовался старик. — Если вы сможете уговорить начальника, я вам буду бесконечно обязан. У него давно лежат две мои просьбы о переводе в технический отдел.

Они отправились к начальнику, но молоденькая секретарша сказала, что он уехал на совещание и будет только после восьми часов вечера. Нина позвонила домой и осталась на стройке на вторую смену.

При свете прожекторов продолжались работы по монтажу.

Нина предупредила диспетчера, чтобы её вызвали по репродуктору, как только вернётся начальник, и пошла наверх, на площадку двадцать второго этажа. «Оставят меня или не оставят на этой работе? — думала она, поднимаясь по звонким ступенькам. — Если начальник станет возражать, я напомню ему, что при мне не произошло ни одного по-настоящему несчастного случая. А если он скажет, что на меня жаловались, что из-за меня тормозились работы по монтажу, так это неверно, и сам Роман Гаврилович не велел снижать требований... Начальник может сказать, что у меня мало опыта, но я отвечу, что многому научилась за это время, познакомилась со строителями, знаю их характеры и что дальше мне будет гораздо легче... И потом я скажу, что, если меня переведут на другую работу, я всё равно буду беспокоиться за своих высотников, у меня всё время будет болеть за них душа...»

И вдруг Нина удивилась: почему она рвётся к работе, которая доставила ей столько неприятностей? Кто её научил быть такой беспокойной? Почему она так заботится о посторонних людях?

«А может быть, и лучше, что всё это кончилось?» — подумала она, поднимаясь на самый верх.

Отсюда была хорошо видна ночная Москва.

Всюду, до самого горизонта, трепетали маленькие и большие огни. Казалось, звёздное небо опустилось на землю, и, присмотревшись, Нина различила созвездие Пушкинской площади, созвездия вокзалов, падающие звёздочки, высекаемые дугами трамваев, млечный путь парка культуры и отдыха, красные звёзды на вершинах высотных зданий, алое созвездие Кремля. А далеко за горизонтом поднималось голубое зарево других огней, и казалось, нет конца этому прекрасному земному небу.

И, глядя, как уютно, словно самые маленькие звёздочки, светятся бесчисленные окна домов, Нина отчётливо представила себе весь этот город. скамейки, расставленные у газонов в парке культуры и отдыха, рекламу картины «Мы — за мир» на Пушкинской площади, стройные высотные здания, в которых уже посланы ковры и расставлена мебель, — представила заботливый, гостеприимный город и поняла, что ничего не кончилось и что всё самое хорошее в её жизни только начинается.



М. ИСАКОВСКИЙ

★

НОВЫЙ СВЕТ

*В отличие от Старого Света
(Азия, Африка, Европа), Америку
принято называть Новым Светом.*

Из справочника.

Лежит на ней бесславных дел позор,
В ней всё живое — ныне под запретом..
Так по какому ж праву до сих пор
Она ещё зовётся Новым Светом?

Какой он новый — этот самый свет,
Чей он слуга, заступник и ходатай, —
И негр и белый вам дадут ответ
В любом конце Соединённых Штатов.

Они расскажут, как из года в год
Дельцы карман свой набивают туго
И как бесправен трудовой народ,
Как он забит, ограблен и поруган...

Какой он новый — этот самый свет,
Поведает Корейский полуостров
На языке невыразимых бед,
На языке развалин и погостов.

Какой он новый?.. — Колорадский жук,
Что пожирает всё без сожаленья!..
Возносит он превыше всех наук
Одну, свою — науку истребленья.

Он засекает нивы не зерном, —
Чумою и холерой засекает,
И не водой, — железом и огнём
Истерзанную землю поливает.

Он жаждет вновь — чумная эта тля —
Весь мир покрыть окопами и рвами,
Он хочет сделать мирные поля
Не мирными, а минными полями.

Таким он был, такой и ныне есть!..
Нет, Новый Свет не там, за океаном, —

Он здесь, у нас! Он здесь, и только здесь
Открылся взору в октябре туманном.

Его открыли гением своим
Великий Ленин и великий Сталин.
И вся земля и все народы — с ним,
И правда говорит его устами.

Всему живому светит этот свет,
Свет созиданья, радости и братства
И никогда он не погаснет, нет, —
Он только ярче будет разгораться.

Да, это так! И вечно будет так!
Один он в мире — истинный и правый.
И никакой заокеанский мрак
Не захлестнёт его могучей славы!



КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ

*Роман **

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Стояли последние дни июня. Артемьев уже месяц находился в том самом госпитале, из которого он с попутной санитарной машиной уехал на передовую. Пожелание Апухтина — не встречаться здесь во второй раз — не сбылось: вечером того же дня Артемьев, сплоснув зубы, лежал на операционном столе, и Апухтин чистил ему две сквозные пулевые раны: одну в руке у самого плеча, другую — в боку, с выходным отверстием у лопатки.

— Готовьте следующего, — сказал хирургической сестре Апухтин и обратился к Артемьеву: — Здорово больно?

— Угу, — прокряхтел Артемьев.

— Говорил вам, чтобы не попадались ко мне в руки. А в общем, вам повезло: два таких сквозных ранения — и не задеты кости. Если бы не потеря крови, я бы вас за неделю поставил на ноги. В Читу не хотите? Здесь хотите остаться, а?

— Ага, — снова прокряхтел Артемьев, боясь разжать рот, чтобы не вскрикнуть от боли.

На этом и закончился их разговор.

Первые дни Артемьев по утрам с тревогой прислушивался к рёву моторов. Приземлившись в степи за километр от госпиталя, самолёт обычно подруливал так близко, что раненые могли с коек через приоткрытый полог палатки видеть его колёса и фюзеляж. Самолёт загружали, потом он медленно, как по улице, проезжал между палатками, вырुливал в степь и, оторвавшись, бреющим полётом шёл на Читу.

Потому ли, что Апухтин отдал распоряжение, или просто потому, что в первые дни в Читу эвакуировали только тяжело раненных, а потом, с затишьем, госпиталь наполовину опустел и уже не было особых причин разгружать его, — так или иначе, Артемьева оставили долечиваться здесь, на месте.

Жизнь в госпитале была незавидная. Было жарко днём и холодно ночью. Вокруг палаток тучами вились комары. Воды нехватало даже для того, чтобы как следует помыться хоть раз в день, — её возили издалека; за сутки госпитальная цистерна успевала сделать всего два рейса. Однако Артемьев предпочитал эту жизнь благоустроенному быту читинских госпиталей. Он воевал и даже был ранен, так и не успев получить назначение на должность, — окажись он в Чите, его после ранения могли и не направить обратно в Монголию.

Через две недели, когда Апухтин зашёл и присел на койку, Артемьев стал благодарить его.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

— Не стоит благодарности, — сказал Апухтин, — из-за меня же вас и ранило, мне же вас и лечить.

— При чём тут вы?

— Как при чём? Я же вам предложил ехать со мной. Если бы я не предложил, вы бы поехали другой попутной машиной, попали бы часа на два позже, получили бы какое-нибудь другое приказание, участвовали бы не в этой, а в другой атаке и, вполне возможно, были бы здоровы.

— Или убит, — сказал Артемьев.

— Может быть, и так, — согласился Апухтин. — Я несколько не фаталист, напротив, я считаю, что на войне столько счастливых и несчастных случайностей, что их нельзя особенно принимать во внимание ни в дурную, ни в хорошую сторону. И в то же время иногда диву даёшься, насколько жизнь человека зависит от того, взял он шагом правее или левее, какое положение заняло его тело в секунду встречи с кусочком металла, который мы потом из него выковыриваем.

— Александр Фёдорович, вы конференцию назначили, — влюблённо глядя на Апухтина и явно робея перед ним, сказала, остановившись за его спиной, высокая красивая сестра.

— Вы что думаете, — поднимаясь, сказал Апухтин, — мы и научной работой здесь занимаемся, обмениваемся опытом. Ну! — Он протянул Артемьеву руку.

Артемьев тоже протянул — левую, здоровую руку, но Апухтин отдернул свою.

— Нет, вы правой попробуйте, правой!

Артемьев с трудом подвинул по койке правую, раненую руку, почувствовал боль в плече, мелкие иголки в пальцах и слабо пожал руку Апухтину.

— Вот видите, а вы боялись, — уходя, улыбнулся Апухтин.

В конце третьей недели Артемьев начал ходить. Ему выдали тапочки, нитяные носки, суконный, шинельного цвета, халат. Артемьев накидывал его поверх бязевого белья, продевая в рукав только левую руку.

Голову Артемьеву постригли под нелевую машинку в первый же день прибытия в госпиталь. Сейчас волосы начали отрастать и стояли на голове короткой густой щёткой, а обычно загорелое лицо всё ещё оставалось бледным. Вместе с ощущением выздоровления у Артемьева появилось чувство скуки, хотя, казалось бы, в госпитале ничего не изменилось к худшему, а, напротив, прибавилось новое развлечение: теперь Артемьев ходил в столовую для выздоравливающих.

За крайней госпитальной палаткой, в степи, стояло несколько длинных столов со скамейками по бокам и с фанерным навесом для защиты от солнца и дождя. Дождя, впрочем, за всё время ни разу не было, и казалось, что над этой жаркой безводной степью ему неоткуда и появиться.

В десяти шагах от навеса стояла большая плита с вмазанным в неё котлом, в котле с утра до вечера варилась баранина.

Четыре стола под навесом обычно занимали выздоравливающие и медицинский персонал, пятый — ходившие сюда за километр работники полевой военной газеты.

Газета издавалась политотделом группы расквартированных в Монголии советских войск. Юрты и палатки, где неделю назад разместилось хозяйство газеты, были хорошо видны из госпиталя.

В столовую из редакции являлись все, начиная от полкового комиссара — редактора, который приезжал на машине и обедал так быстро, что было непонятно, зачем он вообще это делает, — и кончая наборщи-

ками и шофёрами, которые обедали не торопясь, стараясь продлить отдых.

К завтраку журналисты приносили с собой пачки свежих газет и рассказывали о московских вечерних известиях по радио, которые они слушали и записывали в пять часов утра. Кроме того, редакционным работникам были известны и местные военные новости, главным образом подробности воздушных боёв, в последнее время чаще всего удачных.

Обычно кто-нибудь из работников редакции подсаживался к столам, где сидели раненые, или, наоборот, Артемьев вместе с другими ранеными подсаживался к столу редакции. Разговорам мешали комары. Они облепляли лица и руки, падали в синие эмалированные кружки со сладким чаем. Комаров было так много, что эти застольные беседы издали можно было принять за ожесточённую перепалку глухонемых — так, яростно отмахиваясь от комаров, непрерывно жестикуютировали все сидевшие.

Иногда воздушные бои происходили в пределах видимости. Два раза в степи, совсем близко, падали японские самолёты.

Несколько раз доносились звуки дальней бомбёжки, а однажды, перед закатом солнца, прилетели три японских бомбардировщика и с большой высоты высыпали вокруг редакции полтора десятка бомб.

Тогда, у переправы, Артемьев видел только самолёты над головой и чёрные капли бомб, но не видел того, как эти «капли» падают на землю. Теперь он увидел это: позади знакомых очертаний редакционных юрт из земли беззвучно один за другим выскочили косые чёрные столбы. Только в следующую секунду Артемьев услышал грохот разрывов и почувствовал содрогание земли.

А ещё через секунду у чёрных столбов, как будто у старых огромных деревьев, выросли круглые купы, соединились между собой и образовали в воздухе грохочущую чернильно-чёрную рощу, которая, подержавшись в воздухе, начала клониться к земле и, в конце концов, медленно расплзлась по ней низким дымом.

Бомбардировщики развернулись и быстро исчезли, а через двадцать минут в столовую, шумно переговариваясь, пришли из редакции люди.

Как выяснилось, ни одна бомба не упала ближе чем за триста метров от редакции. Все были живы, и никто не ранен. После только что пережитого чувства опасности все суетливо шумели, смеялись над кем-то взявшим с собою в цель сразу две каски и ругали наших истребителей, споря, догонят или не догонят они теперь японцев.

Зрелище бомбёжки разбредило в Артемьеве желание поскорее вернуться в строй, и утром во время обхода он заговорил об этом с Апухтиным. Но Апухтин резко ответил, что в госпитале единоначальник он и что капитан Артемьев выпишется из госпиталя тогда, когда это сочтёт нужным военврач Апухтин, а не наоборот.

В госпитале поговаривали, что Апухтин вообще не любит просьб о преждевременной выписке, считая их никчёмной рисовкой, и Артемьеву осталось только смолчать и ждать другого, более удачного случая.

Прошло ещё три или четыре дня. Однажды после обеда Артемьев сидел на скамейке под навесом и лениво выбирал между двумя возможностями убить время: поймать кого-нибудь на партию в шахматы или попробовать заснуть до ужина.

Невдалеке остановилась пыльная редакционная «эмка». Из неё вышел военный и направился к столовой. Мельком посмотрев в его сторону, Артемьев снова устремил взгляд в степь, словно она могла ему ответить, что же всё-таки предпринять до обеда.

Было так жарко и солнце так сильно жгло землю, что казалось, сразу же за чёрной тенью, падавшей от навеса, начинается совсем дру-

гой, жёлтый, огнедышащий мир, где, если пролить воду, она закипит, как на раскалённой плите. Степь за тот месяц, что Артемьев провёл в госпитале, из буро-зелёной стала буро-жёлтой; в сумерках она казалась совсем бурой, а в полдень — совсем жёлтой.

На горизонте, за безбрежной желтизной степи, виднелось далёкое длинное озеро с синеватым лесом. Это был дрожавший в раскалённом воздухе мираж, уже начинавший потихоньку размываться с краёв, перед тем как исчезнуть в одном и снова возникнуть в другом месте.

— Любуетсяс миражами? — послышался голос за спиной Артемьева.

— Нет, — оборачиваясь, усмехнулся Артемьев, — просто думаю: а вдруг, поскольку я её каждый день вижу, эта вода и в самом деле существует?

Неожиданный собеседник Артемьева перекинул ногу через лавку и уселся на ней верхом рядом с ним. Это был тот самый «внешторговец», с которым Артемьев летел из Читы в Тамцак-Булак.

— Лопатин, — протягивая Артемьеву руку, сказал «внешторговец».

Военная форма нисколько не изменила его. У него был такой неискоренимо штатский вид, что всё-таки легче было вообразить его себе военным раньше, когда он был в штатском, чем теперь, когда на нём были фуражка, портупея, сапоги и наган.

— Что лечитесь здесь, ранены были, давно? — спросил Лопатин.

— На следующий день после того, как с вами летел, — отвечая сразу на все три вопроса, сказал Артемьев. — А вы что сюда приехали? — в свою очередь спросил он, взглянув на темнозелёный околыш фуражки и того же цвета петлицы Лопатина. — И вообще, кто же вы всё-таки? Если интендант, как вы говорили, то где же у вас на петлицах интендантские колёса? Если врач, то где ваша положенная по форме змея? А если вы, наконец, ни тот, ни другой, то кто же вы?

— Очевидно, всё-таки интендант, хотя от меня уже один раз потребовали, чтобы я сделал перевязку, и я благополучно сделал, потому что был некогда военным фельдшером. А вообще-то я пишу. — И Лопатин сквозь очки посмотрел своими твёрдыми насмешливыми глазами прямо в глаза Артемьеву.

— Что пишете? — спросил Артемьев, с опозданием соображая, что вопрос глупый, что его собеседник — журналист, работает в армейской редакции и именно оттуда приехал сейчас на редакционной машине.

— В настоящее время пишу в основном всё, что предложит редактор, — ответил Лопатин.

— А когда вы успели побывать фельдшером? — спросил Артемьев, которому всё больше нравился этот насмешливый человек.

— В гражданскую войну на Туркестанском фронте, — коротко ответил Лопатин и, сделав паузу, словно колеблясь, пояснить ли сказанное, всё-таки пояснил: — Ушёл недоучившимся студентом с третьего курса медицинского факультета в Ташкенте, а потом, после войны, так и не доучился. Стишки стал кропать.

— Подождите, а сколько же вам лет? — удивлённо спросил Артемьев, у которого уже создавшееся представление о Лопатине никак не вязалось с гражданской войной.

— Мне? Сорок три.

— Значит, это я ваши произведения читал, — сказал Артемьев, подумав, что это, как видно, тот самый Лопатин, две небольшие книжки которого — одну о басмачах, а другую об Афганистане — он читал ещё давно, в военном училище.

Но Лопатин не испытывал никакого желания говорить о своих произведениях.

— Смотрите-ка, наш редактор! — кивнул он.

По степи, от редакции к госпиталю, как стрела, мчался мотоцикл. Не доезжая ста метров до госпиталя, седок круто развернул машину и свалился с мотоцикла. Вскочив с земли и быстро оглянувшись — не заметил ли кто-нибудь его падения, мотоциклист — это был действительно редактор, которого Артемьев видел несколько раз в столовой, — поднял машину, сел, дал газ и стрелой понёсся обратно в редакцию.

— Учится, — сказал Лопатин. — А я уже подумал — за мной. Ему ведь у нас всё сразу надо: выехать, вернуться, написать, поправить, набрать — ни себе покоя, ни людям. Развлечение для себя выбрал, и то самое беспокойное — мотоцикл. Уж четвёртый день ходит в синяках.

Лопатин проговорил всё это ворчливым тоном, однако в то же время с ноткой симпатии к редактору.

— Ваши редакционные тут столуются уже неделю, — сказал Артемьев, — а вас не было видно.

— А я всю неделю был у монголов, в шестой кавалерийской дивизии.

— Как там сейчас, на левом фланге, тихо?

— Я слышал, что у японцев на подходе к границе не то одна, не то две дивизии, но мне, как невоенному человеку, показалось, что всё тихо, — ответил Лопатин.

— Скажите-ка мне, вот именно вы, как невоенный человек, будет, по-вашему, война? — спросил Артемьев. — И когда и где, здесь или в другом месте будет её начало?

— Смотря что называть началом, — ответил Лопатин. — Нехватает вам, что ли, для начала двух кусков свинца, вlepенных вам японцами? Поистине у нас такие миролюбивые военные, что просто страшно, — и Лопатин рассмеялся.

— Не такие уж миролюбивые, — сказал Артемьев. — Я бы с радостью вложил свою скромную долю участия в то, чтобы расчихвостить эти две японские дивизии, о которых вы сказали.

— Так ведь это совсем разные вещи, — возразил Лопатин. — Вам, конечно, хочется наломать японцам шею в порядке пограничного конфликта. Вы человек военный и злопамятный. Но вот ответьте мне, если вам вместо этого скажут: «Ещё один выстрел, и будет война, большая война», — вы бы сделали этот выстрел?

— В определённых обстоятельствах сделал бы.

— В каких?

Артемьев пожал плечами.

— На этот вопрос мы уже дали ответ, когда сказали, что будем защищать монгольские границы, как свои собственные. Если, чтобы сдержать своё слово, нам придётся пойти на большую войну, мне кажется, что мы пойдём на неё. Разве не так?

— Боюсь, что так, — сказал Лопатин, надевая фуражку. — То есть я совершенно согласен, что японцам нельзя спускать, и не боюсь войны, но боюсь, что раз так, то нам её не миновать. А вообще-то говоря, если вдуматься, в характере нашего народа за годы советской власти образовался какой-то удивительный сплав воинственности и миролюбия — личной воинственности и общественно осознанного миролюбия. Может, моя формулировка и прихрамывает с точки зрения марксизма, — помедлив, словно ожидая возражений, добавил Лопатин, — я человек беспартийный, — но что-то в ней мне определённо нравится.

— А почему вы, собственно, беспартийный? — чуть не спросил у Лопатина Артемьев, но удержался и вместо этого спросил о «Знаке Почёта», «криво привинченном к карману лопатинской гимнастёрки. — За что орден?

Оказалось, что орден был за участие в одной из недавних полярных экспедиций.

— Говорят, что там, за Полярным кругом, тяжёлые условия, — сказал Лопатин, — а по-моему, здесь хуже — жара. — Он кивнул на свою стоявшую вдали «эмку». — Пока мы говорим, мой шофёр уже испёкся. В движении еще ничего, а как постоишь полчаса — на крыше можно печь блины. А вылезешь, тоже плохо — комары. Ну ладно, я поеду.

Через минуту он уехал, сказав, что на той неделе завернёт сюда пообедать.

Прошло ещё несколько дней. Утром при обходе Апухтин приказал Артемьеву снять рубашку, больно мял ему пальцами плечо и руку и, сменив гнев на милость, сказал, что теперь на днях выпишет его.

Вечером этого дня Артемьев в самом хорошем настроении лежал на койке и от нечего делать во второй раз читал газету, в которой не было ничего особенного.

Часов в девять сосед Артемьева слева (койка справа уже давно пустовала), раненный при бомбёжке шофёр грузовика, разбитной малый, всегда первым узнававший обо всех госпитальных событиях, вернулся с ужина в том взволнованно-радостном состоянии, какое бывает у незлых, но очень соскучившихся людей, когда они первыми узнают и, главное, имеют возможность рассказать другим какую-нибудь новость, даже если эта новость печальная.

— Истребителя привезли! Майора! Зашивают сейчас! — возбуждённо сказал он, садясь на свою койку.

— Чего же вы радуетесь, Мякишев? Что ж тут весёлого, что зашивают человека? — сказал Артемьев.

— Где же я радуюсь, товарищ капитан, что вы! — радостно сказал Мякишев. — Я просто рассказываю вам. Говорят, сначала двух сбил, а потом сам воткнулся в землю — почти что всмятку. Но Апухтин говорит: «Дайте мне его на стол, сейчас я его сошью!».

У Мякишева, которому Апухтин делал трепанацию черепа, была неокрушимая вера во всемогущество начальника госпиталя. Он носил в кармане халата кусок железа и показывал всем, говоря, что Апухтин вынул у него этот осколок прямо из мозга. Кусок железа был слишком уж велик, и Артемьев подозревал, что Мякишев подменил осколок из тщеславия.

— Молодой! — между тем продолжал рассказывать Мякишев. — Лет двадцать, самое большее. Уже майор. Весь в орденах. Видный. А голова вся разбита. И ноги сломанные. Но Апухтин сошьёт, этот сошьёт!

Мякишев, наверное, ещё долго распространялся бы о невероятных способностях Апухтина, если бы «разбившийся всмятку» майор не явился к ним в палатку на собственных ногах.

На лётчике были сапоги, галифе и нательная рубашка. Лоб у него был туго забинтован. Бинты вкось покрывали одно ухо. Он вошёл в палатку в сопровождении сестры, которая одной рукой поддерживала его, а в другой несла халат и шлёпанцы.

— Вот, пожалуйста, товарищ Полюнин, — говорила сестра, показывая на пустую койку рядом с Артемьевым, — здесь вы и будете лежать.

Она положила халат у изголовья, а шлёпанцы поставила на полу в ногах.

— Пожалуйста, ложитесь.

— Ну, а скажите, где моя гимнастёрка? — ворчливо, но, впрочем, с оттенком вежливости сказал лётчик. — И где мои документы?

— Это всё у нас в канцелярии, — сказала сестра.

— Ну, документы — хорошо, — сказал лётчик, — а где гимнастёрка?

— Тоже в канцелярии.

— Разве у вас в канцелярии гардероб?

— Вы чем волноваться — лучше ложитесь, товарищ Полюнин, —

улыбаясь терпеливой профессиональной улыбкой, сказала сестра. — Разденьтесь и ложитесь, а то мне от начальника госпиталя из-за вас попадёт.

— Это другое дело.

Полынин взял с койки халат и надел его поверх галифе и сапог.

— Вы бы совсем разделись, товарищ Полынин, — сказала сестра.

— Ну это, уж вы меня извините, без вас обойдётся, — полусердито, полусмущённо сказал Полынин и, только когда сестра вышла из палатки, сел на койку и начал стаскивать с себя сапоги.

— Говорят, тут за лежащими чуть ли не горшки выносят? — спросил он.

— Случается, — ответил Артемьев.

— Я этого не терплю. — Полынин стянул второй сапог, поставил оба сапога рядом возле койки и поверх них аккуратно разложил портянки. Сняв галифе и халат, он в белье залез под одеяло и натянул его до подбородка.

— Что это у вас, всегда так темно? — спросил он. Под потолком длинной палатки, действительно, горела всего одна слабая лампочка. — Мы без движка, при свечах живём, и то светлее.

— Есть и свечка, могу дать, если хотите, — сказал Артемьев.

— Нет, спасибо, я просто так, — сказал Полынин. Он вынул руки из-под одеяла и медленно и сладко потянулся. — Спать хочется!

— Ранение у вас, как видно, не особенно тяжёлое, — сказал Артемьев и оглянулся на койку Мякишева, но Мякишева уже и след простыл.

— Да какое это ранение! — сказал Полынин. — Только что крови много, как из зарезанного. А так — ерунда.

— Из-за потери крови вам и спать хочется, — сказал Артемьев, зная это по себе.

— Ну, спать-то мне и без этого бы хотелось, — зевнув, сонным голосом сказал Полынин. — Сейчас шарик по двадцать часов не закатывается.

— Что? — не поняв, переспросил Артемьев.

— Это мы солище так окрестили. А пока шарик на небе — всё время работа. Одна надежда выспаться, если дождь пойдёт, но дожди тут, наверное, только по большим праздникам. Выходит — без госпиталя не выспишься.

Проспал он, действительно, четырнадцать часов подряд. Артемьев, с нетерпением ожидавший возможности поговорить с новым человеком, уже успел позавтракать, погулять, сыграть две партии в шахматы, а Полынин всё ещё спал. Едва он проснулся, его сразу же увели в перевязочную, и лишь когда он возвратился оттуда, уже перед обедом, они встретились в палатке с Артемьевым.

Полынин пришел в дурном настроении, потому что хирургическая сестра сказала, что Алухтин выпишет его только завтра или даже послезавтра.

Артемьев, наоборот, был настроен отлично, его радовала близкая выписка и то, что часть времени до неё можно будет скоротать с новым соседом.

Майор Полынин был тридцатилетний человек среднего роста, стройный, худощавый, отлично сложенный; он ходил лёгким пружинящим шагом и, как ни странно, казался щеголеватым даже в госпитальном халате. У него были светлые, заметно поредевшие волосы, аккуратно зачёсанные на косой пробор, глаза — редкого синего цвета, матовая, незагорающая кожа и такие чересчур правильные и тонкие черты лица, что он казался бы красавчиком, если бы не нарушавшее это общее впечатление от всей внешности жестковатое, властное выражение его глаз,

а когда он заговаривал, — такой же, как глаза, жестковатый, властный басок.

У него была манера прямодушных людей — говорить одними углами, не описывая никаких окружностей вокруг предмета разговора, и поэтому речь его казалась резковатой, хотя он почти всегда бывал вежлив.

— Что, болит? — спросил Артемьев, когда его сосед, морщась и раздражённо двигая мускулами лица, сел на койку.

— Нет, чешется. Бинты мешают. Запеленали, как грудного. А раны-то ведь никакой! Просто пол-уха нет. Японец в хвост зашёл и отгрыз. Очередью.

— Да, это неприятно, — сказал Артемьев, подумав, что для Польшина с его красивой, наверное нравящейся женщинам внешностью это особенно неприятно.

— Чёрт с ним, с ухом! — неожиданно для Артемьева и очень искренне сказал Польшин. — По мне, лучше пусть бы всё ухо отгрыз — только бы не ушёл. А то ведь теперь, даже если собью, всё равно не узнаю: в горячке номера не разглядел.

— Значит, испортили ваш портрет, товарищ майор, — вмешиваясь в разговор, развязно сказал Мякишев.

Польшин быстро и недружелюбно посмотрел на него. Он не любил развязности.

— Может, пойдём, пообедаем, — обратился он к Артемьеву, перед этим несколько секунд подчёркнуто помолчав. — Этот, что ли, вчера рассказывал, как меня из кусков сшивали? — кивнул он, проходя с Артемьевым мимо развалившегося на койке Мякишева.

— Этот, — невольно улыбнулся Артемьев.

— Откуда? — вдруг повернулся Польшин к Мякишеву.

— Ростовский, — ответил тот, нерешительно спустив ноги с кровати.

— Вот не думал, что сюда, в Монголию, из Ростова таких трепачей посылают, думал — их там на месте перевоспитывают, — сказал Польшин, выходя из палатки и оставляя Мякишева в растерянности — считать ли эту фразу шуткой или выговором.

— Зря вы его так, вообще-то он парень неплохой — теперь три дня переживать будет, — сказал Артемьев, которому стало жаль растерявшегося Мякишева.

— Ничего, пусть попереживает — не люблю нахалов, — нисколько не смягчаясь, сказал Польшин. — Особенно в армии. И зря у нас часто не замечают разницы между простотой и нахальством. Человек бывает действительно простой, но не терпит, чтобы на службе каждый хлопал его по плечу. Так про него говорят: «Забурел!». Про другого говорят: «Простой парень». А он нахал и больше ничего. Не знаю, как у вас в пехоте, у нас в авиации так бывает. А по-моему, дружба — дружбой, служба — службой, а середины нет!

И Артемьев понял, что ничтожный случай с Мякишевым затронул в Польшине какую-то уже давно и сильно задетую струну.

После обеда Артемьев и Польшин долго стояли вдвоём в степи, за последней палаткой госпиталя. Степь, как море, тянула к себе. Хотелось идти по ней до горизонта и дальше, не веря, что она может быть всё время такой ровной и одинаковой, и надеясь, что там, за горизонтом, окажется что-то другое, чего не видно отсюда.

— А за Халхин-голом ничего похожего, всё наоборот — сопка на сопке, — сказал Артемьев.

— А ещё километров на пятнадцать восточнее — отроги Хинганского хребта, метров по триста, по четыреста, — отозвался Польшин.

— А ещё дальше?

— А ещё дальше — Маньчжурия, летать не велено, велено заворачивать.

— Заворачиваете? — спросил Артемьев.

— В общем, заворачиваем, — сказал Польшин и рассмеялся. — Не судите о лётчиках по встречам на земле — в воздухе они гораздо дисциплинированнее.

— И вы тоже?

— И я тоже. А что я, Иисус Христос, что ли? Я только не терплю нахальства. А так, если службы нет, разве плохо погулять по-порядочному, выпить с ребятами, кое-что вспомнить из общего прошлого? Здесь, конечно, почти не приходится, — сказал он с сожалением. — Погода всё время хорошая. Шесть-семь вылетов в сутки. Даже под Мадридом — на что уж было тяжело, а всё-таки легче. Тоже по три, по четыре часа спали и по шесть, по семь вылетов делали, но всё-таки с аэродрома ехали в гостиницу — душ, мягкая постель. И, главное, комаров не было. А здесь комары — просто жуткое дело... Мы их самураями прозвали.

— А как вы японцев расцениваете? — спросил Артемьев.

— По прямой — скорость у них немножко больше, — сказал Польшин, — но в смысле манёвренности в воздушном бою они слабее. Лётчики у них разные, большинство с боевым опытом после Китая. Они тут в самые первые дни, надо прямо сказать, немножко пощипали наших. Но теперь, наоборот, мы их крепенько прижимаем. Сюда и старые кадры, вроде нас, подлетели. И молодёжь уже по несколько боёв имеет, теряться перестала. Да вы бы к нам заехали на аэродром! Отсюда всего одиннадцать километров; когда северный ветер, наверное, наши моторы слышны.

— Что-то не слышал, — сказал Артемьев.

— Это у вас слух не авиационный.

Польшин приложил ладонь к уху и долго стоял прислушиваясь.

— Можете мне сказать, что я вру, но я, например, слышу. Приезжайте, не пожалее. Вам, общевойсковикам, вообще надо почаще у нас на аэродромах бывать, чтобы точно знать, когда и что от нас можно взять. А то вы иногда полторы души из нас тянете, а иногда и половины не просите.

— Пожалеть-то я бы, конечно, не пожалел, если бы поехал, — сказал Артемьев, — но, когда выпишут, надо будет двигать прямо в штаб группы, а до выписки Апухтин, насколько я знаю его характер, не выпустит.

На лице Польшина появилось упрямое выражение, но он не настаивал и перевёл разговор на другую тему.

Обычно в госпиталях люди или быстро надоедают друг другу, или быстро сходятся.

Польшин расспрашивал Артемьева о наземных майских боях с той долей немножко наивного удивления перед чужой храбростью, которое присуще людям, полагающим собственную храбрость в порядке вещей и потому не замечающим её.

Артемьев, в свою очередь, интересовался действиями истребительной группы, где служил Польшин. В ней было много лётчиков, воевавших в Испании, и рассказы Польшина о боях обычно, в конце концов, сворачивали на воспоминания о Мадридском или Каталонском фронте.

Воздушные бои Польшин очень выразительно показывал на пальцах, товарищей у него была привычка называть полными именами: Василий, Александр, Виктор, а начальников — только по должностям: командир группы, командир полка, командующий. От этого в его рассказах сразу

чувствовался и оттенок братства в бою и оттенок военной официально-сти. И то и другое было одинаково неотъемлемыми сторонами его натуры.

Когда на вторые сутки после обеда Полынин решил идти к Апухтину просить его о выписке, он потащил с собой Артемьева.

— У меня-то во всяком случае ничего не выйдет,— сказал Артемьев.

— Ничего, пошли,— отрезал Полынин с таким упрямым выражением лица, что спорить казалось бесполезно.

Через пять минут они сидели в юрте Апухтина. Увидев их, Апухтин сделал молчаливый жест рукой, приглашая сесть на противоположную койку, а сам, сидя на своей, ещё несколько минут молча продолжал доедать суп из котелка. Наконец он положил ложку поперёк котелка, котелок поставил на стол, не спеша закурил папироску и только после этого устало и нелюбезно спросил их:

— Ну, слушаю?

— У вас сердце не болит? — спросил Полынин.

— Не болит,— хладнокровно ответил Апухтин.— А почему оно должно у меня болеть?

— А потому,— сказал Полынин,— что мои ребята сегодня, наверно, делают без меня уже по пятому боевому вылету.

— Слушайте, бросьте вы свои подходы! — сказал Апухтин.— Вам они, может быть, кажутся очень остроумными, но если вы учтёте, что вы здесь в госпитале в первый раз, а через мои руки тут прошло полтысячи раненых и примерно каждый третий хотел выписаться раньше срока,— то вы поймёте, что я с вами, может быть, ещё могу хитрить, но вы со мной — нет. Попросту говоря, у вас нет никаких шансов на успех. Поэтому говорите прямо и коротко. Хотите выписаться?

— Да! — сказал Полынин.

— Когда?

— Сегодня.

— Сколько спали в первую ночь?

— Пятнадцать часов.

— А не врётё? Не обижайтесь, я как врач спрашиваю.

— Четырнадцать.

— А вторую?

— Десять.

— Если так — выпишу. С уговором — делать перевязки и через десять дней приехать снять с уха шов. Договорились?

— Договорились,— сказал Полынин.

— А вы что? — повернулся Апухтин к Артемьеву.

— Я хочу попросить у вас разрешения, товарищ военврач первого ранга,— сказал Полынин вдруг таким несвойственным ему, откровенно заискивающим тоном, что Артемьев не выдержал и улыбнулся,— чтобы товарищ капитан съездил со мной на сутки в нашу часть.

— Зачем? — строго спросил Апухтин.

— А просто так,— озадаченный вопросом и не найдя, что сказать, ответил Полынин.

— Ну, если просто так,— неожиданно сказал Апухтин,— пусть съездит. У вас ведь полупорка? Так посадите его в кабину, чтобы не особенно расстроило для начала, и верните завтра. А то мне его послезавтра выписывать. И спиртом не поите.

— Какой у нас спирт? — не особенно искренне удивился Полынин.

— Читинский,— сказал Апухтин.— Вам его привезли третьего дня, и он у вас подвешен для охлаждения в колодце на верёвочках во фляжках

впережку с фляжками, в которых вода. Для маскировки. На случай появления начальства. Так или не так?

Полынин от изумления только развёл руками.

— А шофёр и воентехник, которые приехали вас увозить на случай, если я вас не выпущу, сейчас обедают в столовой — я их туда отправил, чтобы не маялись. Ещё вопросы есть? — вставая, спросил Апухтин, очень довольный произведённым впечатлением.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Николай Николаевич Полынин, на полуторке которого Артёмьев неожиданно для себя ехал на аэродром, был, как говорится, человек с недостатками; его любили товарищи и не всегда достаточно ценили начальники. Его до тяжести прямой характер и вежливо-дерзкий язык сочетались с прирождённой скромностью и даже застенчивостью. Людям, мало знавшим его, бросались в глаза первые два качества, и они не верили или не до конца верили в искренность двух вторых. Между тем все эти свойства превосходно уживались в Полынине.

Свои собственные достоинства он совершенно искренне недооценивал, но если речь заходила о его товарищах и особенно подчинённых, он склонен был, наоборот, переоценивать их достоинства и по отношению к ним не выносил ни малейшей несправедливости с чьей бы то ни было стороны. В этих случаях он составлял преувеличенно положительные аттестации и подавал написанные на грани дерзости рапорты по команде. Если же, по мнению Полынина, его подчинённый был виноват безоговорочно, Полынин сначала беспощадно разносил его сам, а потом, рапортуя о проступке, брал большую часть вины на себя.

— У нас не монастырь, а армия, — резко отчитывая Полынина за одну из таких историй, говорил на партийном собрании незадолго до отъезда из Москвы командир дивизии, — у нас не послушники, а командиры, коммунисты, и метод келейного воспитания — не наш метод воспитания.

Полынин не оправдывался. Он чувствовал правоту этих слов, но в то же время знал: чтобы в следующий раз история не повторилась, ему придётся вступить в жестокую борьбу с самим собой.

Несмотря на десять лет службы в авиации, майорское звание и ордена, Полынин командовал всего-навсего эскадрильей и только уже здесь, на Халхин-голе, в разгар боёв, стал заместителем командира особой истребительной группы. При своём боевом опыте и знаниях он вполне мог командовать полком; при своём неуживчивом, дерзком характере он вполне мог остаться рядовым лётчиком, но служебная линия пролегла где-то посредине, и Полынин на это не жаловался. Он сейчас воевал — и это было главное, повышения по службе его интересовали во вторую очередь.

Устроившись рядом с воентехником в кузове полуторки на связках свеженарезанного камыша, Полынин, придерживая накиннутую на плечи и голову плащ-палатку, с удивлением смотрел на бушевавший вокруг дождь. Грозовые облака, ещё недавно толпившиеся у горизонта, с невероятной быстротой выкатились на середину неба, и над степью понёсся подхваченный ветром косой дождь.

«Вот и не будет сегодня полётов, — с неудовольствием подумал Полынин, надеявшийся до темноты слетать ещё разок сегодня. — А может, и завтра не будет. И чего я повёз этого Артёмьева! Мокнуть только».

При знакомстве Артёмьев понравился Полынину тем, что был, по его мнению, толковым и воспитанным человеком. Под определением «толковый», которое одно заменяло Полынину множество других, он подразу-

мевал сразу и ум, и тактическую грамотность, и — главное — способность правильно смотреть на вещи. Слово «толковый» в его устах было самой краткой и в то же время самой высшей оценкой человека, верней, мужчины, ибо он ещё не встретил на своём жизненном пути женщины, которая, по его мнению, заслуживала бы такой оценки. Встреть он такую женщину, он, наверное, женился бы на ней. Но этого пока не случилось, и он в свои тридцать лет всё ещё оставался холостым.

В слово «воспитанный» Польшин вкладывал тоже очень многое. У него было нередкость тяжёлое детство. Всегда буйно пьяный или злой с похмелья отец, к сорока годам измочалив всю свою богатырскую силу на саратовских пристанях, утонул, упав со сходней в тысяча девятьсот семнадцатом году, перед самой революцией.

Мать, при жизни мужа тратившая свою недюжинную силу характера на то, чтобы терпеть его нрав, оставшись одна, обратила её на то, чтобы поднять и вывести в люди детей, и с помощью советской власти сделала это. Польшин любил и почитал мать больше всех людей на свете. Подняв детей, она теперь жила, по её выражению, «как барыня», одна в маленькой двухкомнатной квартирке Польшина в военном городке под Москвой.

У Польшина осталось с детства неизгладимое на всю жизнь отвращение ко всему тому пьяному, грубому, поминутно оскорблявшему мать, что олицетворял собой отец, и ко всему, что наводило на воспоминания об этом. Он терпеть не мог, когда в его присутствии ругались и распоясывались, и сочетанием резкости и вежливости в своём собственном обращении с людьми при первом знакомстве нередко производил впечатление человека холодного и самоуверенного.

Правда, такое представление о нём быстро рассеивалось в дальнейшем, но в жизни люди не всегда встречаются во второй раз, чтобы проверить своё первое впечатление, и Польшин, как это часто бывает с хорошими людьми, меньше нравился тем, кто его знал издавека и приблизительно.

Что до товарищей, близко знавших его, то они любили его на земле, а ещё больше — в воздухе, где он в высшей степени обладал способностью сразу видеть в бою всех, кому плохо, и рыцарски приходить им на помощь, не считаясь ни с каким риском для себя.

Сделав большой крюк, чтобы обогнуть полосу непроезжих в дождь солончаков, полуторка, разбрызгивая лужи, подъехала к аэродрому. Аэродром был такой же самый, какой Артемьев уже видел в Тамцак-Булаке: кусок степи, ничем не отгороженный от остальной степи и ничем не отличавшийся от неё. На лётном поле вразброс, но недалеко друг от друга стояли истребители, казавшиеся в огромной степи совсем маленькими, да поодаль виднелась почерневшая от дождя палатка.

Дождь шёл такой косой, что от него нельзя было спастись и под крылом самолёта. Насквозь промокший часовой, к которому они подъехали, сказал, что последний грузовик с лётным составом только что ушёл к месту ночёвки, и Польшин понял, что синоптики не обещают перемены погоды раньше утра. Он постучал в окно кабины и велел подъехать к семёрке — это был его самолёт. Поколесив по лётному полю между самолётами, они подъехали к семёрке. Самолёт, как и следовало ожидать, был в полном порядке.

— Никто без вас вашу семёрку не трогал, — с обидой в голосе сказал сидевший вместе с Польшиним в полуторке воентехник. — Неужели вы, товарищ майор, своему Гизатуллину не доверяете?

Воентехник ведал автотранспортом и прямого отношения к самолётам не имел, но механик Польшина, Гизатуллин, был его приятелем, и сейчас техник обижался за него.

— Почему не доверяю Гизатуллину? Я доверяю Гизатуллину,— сказал Польшин. Тем не менее он вылез из полуторки и три раза обошёл самолёт. Он и в самом деле вполне доверял Гизатуллину, уважал его и даже считал лучшим механиком в группе, но ему просто хотелось походить вокруг своего истребителя.

Осмотрев самолёт, Польшин снова залез в кузов полуторки и сказал шофёру, чтобы тот ехал дальше. В четырёх километрах от аэродрома была маленькая балочка, в ней стояло несколько юрт, две палатки, и над четырьмя врытыми в землю столбами возвышался камышовый навес столовой. Лётчики так и не нашли названия для этого места, а просто, имея его в виду, говорили: «Поедем ночевать».

Сейчас, когда сюда приехали Польшин и Артемьев, место это казалось особенно неприятным. Дождь, пробиваясь сквозь камышовый навес, барабанил по столам, со стуком падал на железные баки бензиновозок и водяных цистерн, а палатки и юрты уже так почернели от него, что казалось, дождь идёт не час, а целую неделю.

Во второй с краю юрте, куда зашёл Польшин вместе с Артемьевым, верхнее отверстие было закрыто от дождя; сумеречный свет проникал снаружи только через приоткрытую и подоткнутую кошку у входа.

— Ну как, отгостился в госпитале? — поднявшись с койки и радостно тряса руку Польшина, густым басом спрашивал долговязый лётчик, мягко, по-украински выговаривая «г». — Не ожидали, думали — погода тебя в госпитале удержит!

— А мы раньше выехали,— сказал Польшин.— Нас уже в дороге дождь застал. Познакомься с пехотой. Я капитана пригласил на сутки. Мы с ним в госпитале вместе лежали.

— Лежал ты! — насмешливо сказал лётчик.— Так тебя и уложишь! Артемьев представился.

— Грицко,— сказал лётчик и так тряхнул левую, протянутую ему Артемьевым руку, что у того это рукопожатие отдалось в правом, раненом плече.

— Осторожней! — сказал Польшин.— Человек — раненый.

— Тогда извиняюсь,— сказал лётчик и, словно исправляя ошибку, ещё раз, уже тихонько, пожал руку Артемьеву.

— Где Соколов? — спросил Польшин.

— Михаил у командира, а Вася спит, вот он,— и Грицко кивнул на койку, где лежал кто-то, накрытый шинелью.

— Я и не заметил,— сказал Польшин.— Когда же он успел заснуть?

— А через минуту, как вернулся. Еле дошёл от машины до юрты,— сказал Грицко.

— Летал? — с холодком в голосе тихо спросил Польшин.

— Летал,— почесав в затылке, виновато сказал Грицко.— Три боевых вылета сделал. Разве для первого раза легко? Конечно, спит.

— Я же сказал,— голос Польшина стал окончательным холодным и неприятным,— чтобы подождали меня, что я в первый раз сам поведу его в девятке.

— А он к командиру группы пошёл проситься и получил разрешение.

— Та-ак,— холодно протянул Польшин и, помолчав, добавил уже другим тоном: — Ты сходи, пожалуйста, к Сытину, у него в юрте есть лишняя парусиновая раскладушка. Забери её сюда, а мы пока койки сдвинем. И вот ещё что,— сказал он, останавливая Грицко,— всё равно пойдёшь мимо столовой, так заодно организуй, чтобы мы поужинали здесь в юрте.

Пока Грицко ходил за раскладушкой, Польшин двумя руками, Артемьев одной левой принялись плотнее сдвигать железные койки, сто-

явщие по окружности юрты с небольшими промежутками. Когда очередь дошла до койки, на которой спал лётчик, укрытый шинелью, Артемьев заколебался, остановившись над ним.

— Ничего,— сказал Полынин,— не проснётся. А проснётся — ему же хуже. Его всего три дня, как взяли в нашу группу по рапорту старшего брата. Я приказал дожидаться меня, прежде чем пускать его в первый бой. Но вышло не так, как я сказал, а как он захотел. А первый бой — дело такое: спроси лётчика потом, когда сядет, как всё было, — не ответит. Глазами видит, а затылком — нет. Что делается в хвосте — в первом бою почти никто не чувствует. За редким исключением. В первом воздушном бою за новичками надо смотреть специально.

— А за вами смотрели?

— Нет,— сказал Полынин.— Мы получали боевое крещение сразу всей эскадрильей. Некому было смотреть. А что вы думаете?— Он сердито вскинул на Артемьева глаза.— Я и привёз тогда шестнадцать пробоин. И все в хвосте. Что тут хорошего?

Грицко вернулся, неся раскладушку. Она как раз поместилась между койкой спавшего лётчика и входом в юрту.

— Товарищ майор, разрешите? — раздался голос с улицы.

— Войдите! — сказал Полынин.

— Товарищ майор! — Вошедший красноармеец отковырял.— Вас командир группы вызывает.

Не сказав ни слова, Полынин накинул на плечи плащ-палатку, надел поверх бинтов фуражку и вышел вместе с красноармейцем.

— Харчем мы похвастаться не можем,— сказал Грицко, когда вышел Полынин.— Баранину каждый день едите?

— Каждый день.

— Ну и сегодня вечером будете есть, положение без перемен. Но зато спирту под дождь и под ваше присутствие по склянке выпьем.

— А без моего присутствия?

— Как когда,— сказал Грицко.— Вообще-то говоря, если лётный день был подходящий, Полынин перед ужином по склянке не запрещает.

— А сам?

— А что сам? — даже удивился Грицко.— Он мужик простой, вы, наверно, его ещё не поняли. Это он в бою требует, чтобы — как он, так и все, а на отдыхе — как все, так и он.

— Скажите, товарищ капитан,— сказал Артемьев,— Грицко — это ваше имя или фамилия?

— Да и так и эдак,— улыбнувшись, сказал Грицко.— Наверно, скупой поп крестил: имя Грицко и фамилия Грицко. Близко знакомые товарищи говорят Грицко, а мало знакомые — товарищ Грицко. Если длинно выговаривать не боитесь — можно Григорием Мефодиевичем.

Говоря всё это, Грицко возился с фонарём «летучая мышь», протира л стекло и выравнивал фитиль. Потом он зажёл фонарь, поставил посредине юрты на стол, достал из-под подушки две газеты, растелил их на столе, нагнулся, полез под койку, вынул оттуда термос и две банки осетрины в томате и, отстегнув от пояса цепочку со складным ножом, стал открывать консервы. По всему чувствовалось, что он заведовал в юрте хозяйством.

— А что в термосе? — спросил Артемьев.

— Он, — сказал Грицко. — Мне термос ещё мамаша подарила, когда я из Херсона уезжал. Специально!

— А для чего же специально? Для спирта? — улыбнулся Артемьев.

— А специально, чтобы мне хорошо было.

Огонёк «легучей мыши» разгорелся, в юрте сразу стало уютно. На-

верху по обтягивавшему войлок брезенту постукивали капли. Комаров прибило дождём, и непривычное отсутствие их писка казалось даже странным.

Грицко всё ещё продолжал выгребать из-под койки то одно, то другое: стаканы, эмалированную кружку, соль и перец в спичечных коробках. Наконец он вытащил из чемодана целый круг копчёной московской колбасы.

— Главная польнинская закуска! — сказал Грицко, увидев, как сочувственно Артемьев глядит на колбасу. — У Николая её всегда запас в чемодане. Даже помню, когда нам в Испанию последнюю праздничную посылку прислали, так ему — полпосылки этой колбасы. То ли угадали, то ли уж так повезло...

— А вот и Соколов-старший, — сказал Грицко, оглядываясь на вошедшего в юрту рослого, широкоплечего лётчика, с коротко, под бокс, остриженными волосами и по-ребячьи упрямым выражением лица. — Познакомьтесь. Капитан ночует у нас сегодня — майор пригласил в гости.

Соколов сел на койку. На лице его было написано, что он хочет что-то рассказать Грицко, но сомневается, делать ли это при Артемьеве. Впрочем, это несвойственное его натуре колебание длилось недолго.

— Просто удивляюсь! И как это терпит командир группы!

— Что? — спросил Грицко.

— А как Николай с ним разговаривает, когда вожжа под хвост попадёт. На «вы». Официально. Как будто отроду знакомы не были. И так это, знаешь, со злостью. Я сейчас сижу у него...

— А чего он вызывал тебя? — перебил Грицко.

— А ничего он меня не вызывал. Просто лежит больной, малярия его трясёт. Ну, и скучно ему. Сидел я у него, вспоминали кое-чего. Заходит Николай — руку к козырьку: «По вашему приказанию явился». Командир группы говорит: «Давай, Коля, садись, расскажи, как тебя там заштопали». А Николай вместо этого: «Разрешите спросить, вам капитан Соколов докладывал, что я запретил до моего возвращения выпускать в воздух младшего лейтенанта Соколова?». Я, конечно, не докладывал, но командир группы заминает это дело, отвечает: «Ладно, Коля, слетал — и всё в порядке. Что теперь разбирается? Давай садись». А Николай, вместо того чтобы сесть, при командире группы — как даст мне! «Вы, — говорит, — почему не доложили? Вы, — говорит, — как?» Сам меня гоняет, а смотрит на командира группы, как будто его отчитывает. Гонял, гонял, потом командир группы говорит: «Давай иди, Соколов». Я из юрты выхожу и слышу — Николай там уже на другую тему перешёл и опять даёт жизни. «Вы, — говорит, — согласились с моим предложением самолёты на случай бомбёжки расставлять на дистанции в двести метров друг от друга, я, — говорит, — согласно вашему приказанию, с людей требовал, а сегодня, — говорит, — был на аэродроме — ста метров между самолётами нет! Как мне, — говорит, — это понять?» И пошёл! И пошёл! Ну, достукается он, честное слово, достукается! Не глядя на то, что они корешки и что командир группы — человек добрый.

— А он на горбу у Николая добрый, — вдруг резко сказал Грицко.

— Как так?

— А вот так. С тех пор, как Николай заместителем сделался, Николай требует, а он прощает, Николай злой, а он добрый.

— Ну, ты это загнул, — горячо сказал Соколов. — Я Николая, конечно, уважаю, но полковника я три года знаю.

— Одного ты уважаешь, другого знаешь, — сказал Грицко, — у тебя не поймёшь, что к чему...

— А я тебе скажу, — перебил Соколов.

— А что ты мне? Ты Николаю скажи.

Артемьев так и не узнал, чем кончился этот спор, потому что в юрту вошёл тот же красноармеец, что приходил за Польшиним, и сказал, что командир группы просит капитана Артемьева к себе.

Первое, что увидел перед собой Артемьев, приподняв кошму и войдя в юрту командира группы, была приколотая напротив входа к войлочной стене небольшая, в открытку размером, фотография Нади.

Посреди юрты стоял большой стол с прикрепленной к нему кнопками картой. На стуле у стола сидел Польшин, а на койке, накрытой горой одеял и шинелей, лежал Козырев. У него был жар. Ко лбу, покрытому каплями пота, прилипли белокурые мокрые волосы.

— Здорóво! — сказал Козырев, с трудом приподнимаясь на локтях и отрывая от подушки свою пылавшую жаром голову. Рука, которую он протянул Артемьеву, была горячая и слабая. — Услышал, что старый знакомый появился на нашем горизонте, велел тебя позвать. Сам бы пришёл туда к вам, да малярия одолела, пришлось звать. Не в обиде?

— Напротив, рад видеть, — не желая ни отвечать Козыреву на «ты», ни говорить ему «вы», неопределённо сказал Артемьев. При этом он не особенно кривил душой. Если он и не был рад увидеть Козырева, то во всяком случае смотрел на него с интересом и без удивления. Как раз такие люди, как Козырев, и должны были очутиться здесь, в Монголии, прежде других.

— Польшин говорит, ты ранен был? — сказал Козырев. — Тяжело?

— Не особенно.

— А помнишь, как мы с тобой в ресторане сидели и я сказал, что тот, кто, вроде тебя, ещё не воевал, тот ещё не военный, ни рыба, ни мясо. Помнишь?

— Помню.

— А потом извинился перед тобой. Тоже помнишь?

— Тоже помню.

— Вот видишь! А то было бы мне теперь перед тобой неудобно. Значит, умно поступил, что извинился.

— Сильно треплет малярия? — спросил Артемьев, попрежнему не называя Козырева ни на «вы», ни на «ты».

— Десятые сутки. Через день, как часы. День — человек, как человек, а день — как сейчас видишь.

— А как с полётами?

— Через день не летаю.

— Летает, — сказал молчавший до этого Польшин. — Сегодня летал.

— Так это потому, что тебя не было.

— И летал и японца сбил, — пропуская замечание Козырева мимо ушей, сказал Польшин, — а потом сюда с аэродрома влёжку привезли. Утром градусник стряхнул и врача надул.

Козырев при этих словах весело подмигнул Артемьеву и хотел что-то сказать, но Польшин прервал его всё тем же спокойно-недружелюбным тоном:

— Как сбил японца — неизвестно, не помнит: жар был. Наверное, какой-нибудь новичок ему сам под пулемёты сунулся, в первый раз вылетел, вроде нашего Соколова Василия.

— Тяжёлый у тебя характер, Николай, — вздохнув, сказал Козырев. Польшин ничего не ответил, встал и надел фуражку.

— Что, итти собрался?

— Если разрешите, — сказал Польшин.

— А может, сюда ребят позовёшь, харч возьмёте и прочее, и все вместе поужинаем? — примирительно сказал Козырев.

— Если разрешите, мы у меня примем товарища Артемьева,— сказал Польшин,— там уже всё приготовлено, а вам при вашей температуре нужен покой и сон. Сейчас я пришлю вам врача. Разрешите идти?

Козырев даже скрипнул зубами, но при Артемьеве сдержался и хрипло выдал из себя:

— Идите.

— Мы вас будем ждать, когда закончите,— сказал Польшин Артемьеву и вышел из юрты.

— Мой заместитель,— сказал Козырев, когда Польшин вышел.— Заемститель хороший, но характер до того принципиальный, прямо собачий! Уж, кажется, всё в порядке: слетал, японца сбил, вернулся. Нет! Ты ему объясни, почему летал!

— А в самом деле, почему? — спросил Артемьев.

— Честно говоря, необходимости, конечно, не было,— сказал Козырев,— ребята всё бы и так обеспечили. Но ты пойми! — Он снова приподнялся на локтях. — Ты пойми! — повторил он. — Люди в воздухе. Я тут один, как собака. Кругом жара. В голове жара. Во рту хина. Кругом комары. А тут ещё скучаю.

Он с трудом повернул голову, долго и растроганно смотрел на фотографию Нади, висевшую близко к изголовью койки, и, снова повернувшись к Артемьеву, скрывая свою растроганность, сказал почти грубо:

— А тут ещё по Надьке скучаю, будь ей не ладно! Вот и полетел. С необходимостью или без необходимости, а одного японца-то нет. Так, что ли?

— Так,— сказал Артемьев,— а могло быть иначе.

— Быть всё может, и сбить всегда могут, даже и с температурой тридцать шесть и шесть,— сказал Козырев с такой искренней простотой, обличавшей в нём непреклонное природное бесстрашие, что Артемьев подумал о себе и с неудовольствием вспомнил о первых минутах неуверенности, испытанной им в день боевого крещения.

Козырев вынул из-под одеяла руки, дотянулся до стола, высыпал на язык два порошка хинина, морщась, запил их водой и, сразу устав от этих нескольких движений, закрыв глаза, повалился на подушки.

— Скучаю,— помолчав, сказал он.— Мы ведь с ней поженились.— Он открыл глаза и посмотрел на Артемьева.— Я тебе, между прочим, звонил, у неё твой телефон взял, хотел на свадьбу позвать, но твоя мамаша сказала, что ты уехал.

Артемьев ничего не ответил.

С минуту полежав с закрытыми глазами, Козырев снова заговорил о Наде. Это была тема, больше всего его занимавшая, и для того, чтобы поговорить с Артемьевым о Наде, он и позвал его сюда. Ему хотелось услышать от Артемьева как можно больше хорошего о Наде, такого, что успокоило бы его в разлуке, которую он переживал очень тяжело. Он жаждал похвал Наде и был бы сейчас благодарен Артемьеву за каждое доброе слово о ней.

— Как поженились,— говорил он, ища на подушке места похолоднее и перекатывая по ней горевшую голову,— стали спорить, кто к кому переедет. Я хотел, чтобы она ко мне на квартиру, а она — наоборот. Так улетел, и не решились. Уж очень шепетильная она. А?

— Да, на разных квартирах — это не дело,— сказал Артемьев, не собираясь сейчас ни подтверждать, ни отрицать надиной шепетильности. В противоположность Козыреву, он меньше всего хотел говорить сейчас о Наде и, боясь, что тот будет продолжать свои расспросы, желал лишь одного — поскорей уйти.

Со дня отъезда из Москвы Артемьев запретил себе вспоминать Надю

и всё последнее время не нарушал этого запрещения. Сейчас разговор с Козыревым некстати всколыхнул в нём воспоминания о Наде, не последние — это было бы ещё полбеды, — а далёкие воспоминания того времени, когда он верил Наде так, как сейчас ей верил Козырев. Эти давние воспоминания отзывались в душе бессмысленной далёкой болью, потому что в них Надя невольно представляла другой, чем та, которую он сейчас бесповоротно разлюбил.

А Козырев, всё больше мучимый с каждой минутой усиливавшимся жаром, метался головой по подушке и всё расспрашивал и расспрашивал — о надиной матери, о надиных школьных годах, о надином бескорыстии, о надиной дружбе и даже о надиной верности. Он так хотел слышать о ней только одно хорошее, что принимал все короткие, однообразные, уклончивые ответы Артемьева за утвердительные. Козырев поступал так потому, что был в жару, почти в беспамьятстве, и поэтому же Артемьев не прерывал его. В других обстоятельствах Артемьев просто встал бы и разом оборвал ненужный и не нравившийся ему разговор. Теперь ему оставалось только терпеливо ждать врача, которого обещал прислать Полюнин.

Когда врач наконец пришёл, сел на край койки и, взяв горячую руку Козырева, укоризненно покачав головой, стал считать пульс, Артемьев поднялся.

— Уже идёшь? — сказал Козырев. — А то, может... — Он не договорил, потому что, несмотря на жар и озноб, прочёл в глазах Артемьева что-то такое, что его остановило.

— Ну ладно, тогда пока. Завтра утром заходи ко мне на аэродром. Завтра я на ногах буду.

— Если не ослабеете, — сказал врач.

— А иди ты, пожалуйста, со своей слабостью, — отмахнулся Козырев от врача.

Артемьев вышел. Козырев зажмурился и, ещё раз смутно вспомнив глаза Артемьева и спросив себя, почему же тот не захотел продолжать разговор о Наде, впервые подумал о жене с вдруг вспыхнувшим мучительным недоверием.

— А пульс-то у вас неважный, — сказал врач.

— А мне чёрт с ним, с пульсом! — сказал Козырев. — Это вам пульс нужен, чтобы хлеб себе зарабатывать, а мне он не нужен.

— Насчёт хлеба — грубо, — сказал врач.

— А ты обидься.

— Вы серьёзно больны, поэтому с обидами подожду.

— А ты не жди, ты обидься и катись отсюда! — почти крикнул Козырев, мучимый сразу и нестерпимым жаром и нестерпимой мужской первого недоверия.

Он часто грубил и знал, что окружающие привыкли к его выходкам, терпят и даже прощают их за другие его качества. Однако сейчас он всё-таки почувствовал, что переборщил, и ему стало стыдно. «Приглашу его завтра посидеть, выпить, извинюсь», — подумал он, в то же время боясь, что сейчас врач опять что-нибудь возразит ему и нарвётся на новую грубость. Но врач ничего не возразил, а только отвернулся и закурил папиросу.

Козырев закрыл глаза и, стараясь преодолеть лихорадочное состояние и собраться с мыслями, подумал о своей сегодняшней ссоре с Полюниным. Это, безусловно, была ссора. Хотя он сдержался и не сказал Полюнину ни одного из тех слов, что уже вертелись на языке, тем не менее он знал: Полюнин теперь долго не простит ему отмены двух своих приказаний, тем более, что оба они были правильные, — Козырев

понимал это. Теперь Польшин будет говорить с ним на «вы» и заниматься официальной до тех пор, пока он, хоть с глаза на глаз, не признает своей неправоты.

Польшина одолевали те же мысли, что и Козырева, поэтому он был за ужином почти всё время невесел и молчалив, хотя и считал себя правым. Настроение Польшина, начавшее портиться ещё с той минуты, как он увидел на аэродроме тесно поставленные самолёты, теперь испортилось окончательно, и, не будь гостя, он не стал бы ужинать и сразу лёг.

У Артемьева тоже имелись свои причины быть неразговорчивым. Хотя он, увидев Козырева, и не испытал чувства неприязни к нему, но сейчас, задним числом, думал, что судьба вполне могла бы и не посылать ему поездки именно в эту авиационную часть.

Старший Соколов чувствовал себя обиженным на Польшина за выговор, полученный от него при командире группы, но открытая душа его не могла хранить обид втайне, и, как только Польшин вернулся от Козырева, Соколов сразу же высказал ему свои чувства. Польшин молча выслушал его и ничего не ответил, потому что в эту минуту вошёл Артемьев и они сразу сели за стол. Соколов, в запальчивости сказав Польшину несколько резких слов и не получив на них никакого ответа, теперь испытывал чувство неловкости и с преувеличенной готовностью пододвигал Польшину то термос, то колбасу, то миску с бараниной.

Младший Соколов — молоденький лейтенант с милостивым застывшим лицом — проснулся только в середине ужина и, сидя за столом, тоже был угнетён молчанием Польшина. Чувствуя свою вину, он в то же время страстно ждал, что кто-нибудь заговорит о таком великом событии в его жизни, как первый воздушный бой. Несколько раз, краснея, он уже почти решался заговорить об этом сам, но каждый раз в последнюю минуту удерживался.

Ужин не удался, хотя все выпили сначала по склянке, а потом ещё по полсклянке спирту. Из всех присутствовавших один Гришко много и шумно говорил не из природной разговорчивости, а из естественно возникающего в таких случаях у доброго и расположенного к товарищам человека желания заполнить пустоту.

— Ну что ж, — сказал наконец Польшин, после того как они просидели около часа, термос был опорожнён, а колбаса и баранина съедены, — вроде веселья у нас не получилось, а, капитан? Как, откровенно говоря?

— Откровенно говоря, не получилось, — сказал Артемьев.

— Это я сегодня обедню испортил, — сказал Польшин, — то есть, верней, сначала мне испортили, а потом уж и я не удержался, кой из кого душу вынул. Ничего, — добавил он таким тоном, как будто принёс за всё это извинение Артемьеву, — завтра на аэродроме веселей будет. Погода, по-моему, выравнивается к лётной. Сходите к синоптику, узнайте. — Это были первые за весь вечер слова, обращённые им к младшему Соколову. Тот вскочил и, довольный, что Польшин смягчился и заговорил с ним хотя бы для того, чтоб отдать приказание, выбежал из юрты.

— А тебе я отвечу, — сказал Польшин старшему Соколову, как только младший вышел. — Самолюбие у тебя, конечно, большое и единственное в своём роде, но и брат у тебя тоже единственный. И, по-моему, брат должен быть дороже самолюбия, в особенности, если оно глупое. А на твои грубости, что ты мне сказал, я наплевал и забыл. За твоё здоровье!

И Польшин допил оставшийся на дне его стакана глоток спирту.

Лицо старшего Соколова просияло. Он хотел что-то сказать, но в это время вошёл младший и радостно отрапортовал, что синоптик даёт на завтра погоду, да и без него видно, что погода будет: всё небо в звёздах.

— Ну, тогда спать, — сказал Польшин, — до подъёма осталось четыре часа.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

День клонился к вечеру. Польшин вернулся после пятого боевого вылета и, положив под голову парашют, лежал под крылом самолёта, дожидаясь, когда машину заправят бензином.

Артемов, подогнув ноги по-турецки, сидел рядом с ним прямо на земле, снова такой сухой и раскалённой, что, не будь он сам свидетелем, он бы никогда не поверил, что вчера шёл дождь.

Артемов был и доволен этим днём, проведённым на аэродроме, — ему было интересно — и в то же время чувствовал себя не в своей тарелке от собственного непривычного бездействия.

День казался нескончаемым. Правда, он и в самом деле был длинным. Они встали ещё до рассвета и завтракали при свечах и фонарях «летучая мышь». Во время завтрака все были сонными и ели без аппетита, просто потому, что утром положено завтракать.

Приехали на аэродром тоже ещё сонные, несмотря на прохватывавший по дороге холодный утренний ветер.

После первого вылета многие лётчики забрались под плоскости и, с головой накрывшись шинелями и кожанками от комаров, додрёмывали, пока механики заправляли самолёты.

Польшин после первого вылета тоже вылез из кабины, лёг под плоскость и, забыв, что он об этом уже говорил в госпитале, объяснил Артемову, что у них у всех большой недосып; если взять за целый месяц на круг, то больше четырёх часов в сутки никак не выходит. Потом он накрылся шинелью и тотчас же заснул, а через полчаса был снова в воздухе, оставив Артемова вдвоём со своим механиком Гизатуллиным, рослым и сумрачным казанским татаринком. Гизатуллин оказался до такой степени неразговорчивым, что первыми двумя словами Артемову удалось с ним обменяться только к середине дня.

— Хорошие моторы ставят на «чайках», — сказал Артемов, глядя, как девятка Польшина набирает высоту.

— Да, — сказал Гизатуллин.

— А потолок у них много выше, чем у И-шестнадцатых? — спросил Артемов.

— Нет, — сказал Гизатуллин и, присев на землю, стал протирать ветошью гаечные ключи и разный другой инструмент, поочерёдно вынимая всё это из брезентовой сумки и кладя обратно.

Побеседовав таким образом с Гизатуллиным, Артемов пошёл к палатке командного пункта. У полевого телефона сидел дежурный командир, а на топчане дремал Козырев. Руки у него бессильно свесились с топчана, лицо было бледно, лоб в холодной испарине.

Артемов не рассчитывал застать его здесь, зная от Польшина, что Козырев сегодня летает.

— Решил один вылет пропустить, большую слабость чувствует, — шёпотом объяснил дежурный командир, как будто присутствие Козырева на земле, а не в воздухе требовало специального объяснения.

Затрещал телефон. Дежурный сначала, не желая будить Козырева, говорил, отвернувшись и прикрыв трубку рукой, но потом тронул Козырева за плечо.

— А? — сразу вскочил и сел Козырев.

— Вас четырнадцатый вызывает,— сказал дежурный.

Козырев взял трубку.

— Козырев слушает. Ясно. Ясно. Ясно.

Говоря это, он произвольным движением застёгивал пуговицы на гимнастёрке.

— Ясно. Спасибо за предупреждение.

Он положил трубку и обратился к дежурному:

— Слушай, Москвин, давай сейчас обойди механиков, чтобы христианский вид имели. И смотри за степью. Если появятся две-три легковые машины, так чтобы все были готовы, как юные пионеры!

Только теперь он обратил внимание на Артемьева.

— Боюсь, что будет сегодня бомбёжка,— сказал он.

— Почему? — недоуменно спросил Артемьев, не понимая, какое это имеет отношение к только что услышанному разговору.

— Звонили, что новый командующий с утра начал объезжать авиационные части.

Артемьев ещё три дня назад слышал от Апухтина, что в штабе группы ждут прибытия нового командующего.

— А при чём тут бомбёжка? — спросил он.

— А при нём! Я с ним встречался ещё в Белорусском округе. Вот, помани моё слово, приедет и сразу начнёт нас бомбить. Принесла его сюда нелёгкая! — сказал Козырев со смешанным чувством уважения и неудовольствия и взглянул на Артемьева.— Знаешь что? Я тебе машину дам. Ты лучше поезжай к себе в госпиталь от греха.

— А что, тебе может быть из-за меня неприятность? — сказал Артемьев, на этот раз не сумев подобрать безличной формы обращения.

— Я-то неприятностей не боюсь,— заносчиво сказал Козырев.— Я о тебе забочусь.

— А я тоже не боюсь,— сказал Артемьев, который, уже раз попав на аэродром в разгар воздушных боёв, теперь хотел провести на нём весь лётный день. Он считал это полезным для себя как для штабного командира, до сих пор только в мирное время и то очень мало бывавшего на стажировках в авиации.

— Значит, не боишься? — спросил Козырев.

— Выходит так,— сказал Артемьев.— В случае чего, думаю, смогу объяснить, почему я здесь и откуда.

— Ну-ну, поглядим, как ты е му будешь объяснять,— сказал Козырев, угрожающе подчеркнув слово «ему».

На этом и кончился их разговор, потому что в воздухе послышался рёв снижающихся самолётов.

Посадив машины, лётчики начали подруливать их по возможности поближе одну к другой, так, чтобы иметь возможность, не отходя далеко от своих самолётов, собраться в кружок, перекурить и поделиться впечатлениями. Утренняя сонливость давно прошла у всех, и хотя за несколько боевых вылетов можно было только устать, а никак не отдохнуть, но к середине дня, по сравнению с тем, какими они были утром, все выглядели отдохнувшими и оживлёнными.

День, по мнению лётчиков, был не выдающийся, но удачный. Козырев во время первого же вылета погнался за отбившимся от строя японцем и, как выражались лётчики, «ковырнул» его — второго за два дня. Над Халхин-голом коллективно сбили один бомбардировщик, а второй ушёл на маньчжурскую территорию, сильно дымя. Соколов-младший, не рассчитав с горючим, сел в степи у самой передовой, и ему послали туда на полutorке бочку с бензином.

Таковы были события дня. Теперь, после пятого вылета, к ним при-

бавилось известие о том, что Грицко и Польшин коллективно сбили ещё одного японца.

— А как ты его сбил? — спросил Артемьев, сидя возле Польшина, лёжавшего под плоскостью.

Они ещё вчера вечером за ужином незаметно перешли на «ты».

— Ты лучше Грицко спроси, он тебе на пальцах объяснит.

— Ты и сам это умеешь.

— Я что! Грицко у нас пианист, на десяти пальцах показывает воздушный бой с участием двух эскадрилий с обеих сторон, со всеми манёврами — и без единого слова.

— А тебе лень?

— А мне лень, — просто согласился Польшин. — Я чего-то устал сегодня. Вот жду, когда шарик спустится да можно будет спать поехать.

— По-моему, ты вчера плохо спал, всё ворочался, я слышал, — сказал Артемьев.

— Да, проявил недисциплинированность. Чёрт его знает! Бывает ведь так иногда: руки-ноги слушаются, а душа — нет.

Помолчав несколько минут и видя, что Польшин попрежнему лежит с открытыми глазами, Артемьев попросил его уточнить по карте передовую. Польшин без большой охоты потянулся за своим большим лёгким планшетом и стал показывать, водя пальцем по целлулюиду.

Отброшенные в майских боях японцы отошли на маньчжурскую территорию, а наши и монгольские войска, выставив охранение к самой границе, судя по карте, занимали позиции в пяти-шести километрах восточней Халхин-гола.

— Что, видно с воздуха японцев? — спросил Артемьев.

Польшин усмехнулся.

— Накопали порядочно, все сопки в норах, но войск, я бы не сказал, что много. Словом, тишина.

— А поглубже?

— Поглубже нам не очень-то рекомендуют летать, я же тебе говорил. Разве что погонишься за каким-нибудь самураем. Детально не наблюдал, но вроде ничего особенного. И вообще, — снова усмехнулся Польшин, — нашему брату сейчас больше приходится смотреть за воздухом, чем за землёй, на данном этапе главная передовая проходит там, — ткнул он пальцем в небо.

В воздух взлетела красная ракета — сигнал к вылету. Польшин поднялся и, не оглянувшись на Артемьева, полез в самолёт; через несколько секунд Артемьев в кабине уже бежавшего по полю самолёта увидел его спину в выгоревшей дожелта гимнастёрке и белые бинты на голове. Шлем не влезал поверх бинтов, и Польшин летал сегодня без шлема.

Рёв поднявшейся в воздух девятки истребителей был так силен, что Артемьев не услышал, как рядом с ним остановились две машины, и вздрогнул, когда его тронули за плечо.

Обернувшись, он увидел всё сразу — и «зис», и «эмку» с открытыми дверцами, стоявшие не больше чем в десяти шагах от него, и нескольких военных, только что вылезших из машин. За плечо его тронул тот самый лейтенант, который в мае показывал ему с горы Хамардаба далёкие разрывы у переправы.

— Здравствуйте! — обрадовавшись тому, что увидел знакомого, сказал Артемьев, но лейтенант не ответил улыбкой на улыбку, а замкнуто сказал:

— Подойдите к командующему.

Мгновенно потеряв всякий интерес и к лейтенанту и к воспоминаниям об их встрече на Хамардабе, Артемьев рысью пробежал десять

шагов, отделявших его от командующего. Сдвинув каблуки, он с некоторым трудом приложил к козырьку правую руку, почувствовав боль, отдававшуюся в раненом плече.

— Почему вы здесь? Прикомандированы? — тоже приложив руку к козырьку, строго и быстро спросил командующий.

У Артемьева промелькнула в голове мысль, что Козырев как в воду смотрел и сейчас ему, ещё не известно за что, но, кажется, действительно нагорит. Однако на размышление оставалось мало времени, и он, стремясь сделать это как можно короче, начал объяснять, почему он здесь.

Командующий продолжал строго глядеть на него. Это был человек невысокого роста, но сильного телосложения, с богатырской грудью и широкими плечами. У него была строгая морщина на переносице, строго сдвинутые брови, строгие серые глаза, резкая складка на подбородке. Его большое, открытое, красивое лицо всё было строгим. Однако при этом на нём не было выражения сухости или неприветливости, а лишь выражение естественной суровости — печать сильного характера, строгого к себе и другим.

Глядя в глаза командующему и объясняя своё присутствие на аэродроме, Артемьев боялся только одного, что его перебыют и не дадут объяснить, но командующий выслушал его, не перебивая.

— Значит, турист, — недружелюбно сказал он, когда Артемьев закончил объяснение.

— Никак нет, — сказал Артемьев. — Разрешите ещё раз доложить — пополюю здесь знания, необходимые для штабного командира.

Командующий, отвернувшийся до этого в сторону, опять вскинул на него глаза; они ничуть не смягчились.

— Какой радиус действия у И-шестнадцатых?

— Сто пятьдесят.

— А у «чаек»?

— Сто пятьдесят — сто шестьдесят.

— А сколько минут по расчёту горючего, действуя отсюда, они могут быть в бою над переправами?

— Двадцать пять минут. Над северной переправой — двадцать.

— Выводы! — быстро сказал командующий.

И Артемьев сказал то, что у него сегодня полдня вертелось на языке: что, по его мнению, следует перенести аэродром на двадцать — тридцать километров к северо-востоку вперёд.

Ничего не ответив на это, командующий, приложив руку к козырьку, сказал: «Вы свободны», и в сопровождении командиров широким шагом прошёл через лётное поле к палатке, откуда ему навстречу выскочил Козырев.

Шофёры, минуто переждав, держась поодаль, поехали назад.

Оставшись один, Артемьев облегчённо вздохнул, невольно вспомнив то не раз испытанное чувство, когда после нескольких секунд падения над головой спокойно раскрывается купол парашюта. Подумав об этом, он скосил глаза на левую сторону груди: заметил ли командующий его значок парашютиста с цифрой «10»?

Его ответы командующему как будто не были ни особенно путанными, ни особенно глупыми, однако командующему всё равно не понравилось, что он торчит здесь на аэродроме. Иначе он не сказал бы с самого начала «турист».

Артемьев издали следил за тем, как командующий сначала зашёл вместе с Козыревым в палатку, потом вышел из неё и, собрав вокруг себя нескольких лётчиков, минут двадцать разговаривал с ними.

Потом от группы, где стоял командующий, отделился человек и быстро побежал в сторону Артемьева.

«Неужели ещё что-нибудь?» — с тревогой подумал Артемьев.

— Командующий по дороге будет осматривать госпиталь, — запыхавшись, сказал подбежавший лейтенант, — он приказал мне взять вас на свободное место во второй машине и подвезти. Если вы хотите, — подчёркивая слова и, должно быть, повторяя интонацию командующего, добавил лейтенант.

Артемьев понял, что слова «если вы хотите» означали, что слово «турист» забыто. Но он понял также, что при всей условности этой фразы ему безусловно следует захотеть ехать в госпиталь и захотеть именно сейчас.

— Есть ехать! — сказал Артемьев и, покрепче нахлобучив фуражку, побежал вместе с лейтенантом наперерез уже отъехавшим от палатки и двигавшимся по краю лётного поля машинам.

— А вы давно у него? — на бегу спросил он лейтенанта.

— Второй день. Прилетел один и сразу потребовал к себе в адъютанты кого-нибудь, кто уже был здесь в боях.

Подбегая к остановившимся машинам, Артемьев увидел над горизонтом далёкие точки самолётов и с недоумением подумал о том, как он теперь свяжется с Польшинным и объяснит ему, почему так неожиданно уехал. В том, что они с Польшинным должны ещё встретиться, у него не было никаких сомнений. За эти дни в его душе окрепло нечастое и дорогое предчувствие рождающейся дружбы.

Лейтенант вскочил в первую машину, Артемьев — во вторую, и обе машины с места полным ходом рванулись в степь. Шофёры уже знали, что командующий любит бешеную езду.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

— Товарищ капитан!

— Ну что? — сквозь сон спросил Климович, не открывая, однако, глаз.

— Проснитесь же наконец!

— Я уже проснулся, — сказал Климович, продолжая спать. — Что вы хотите?

— Тревога, товарищ капитан!

Климович сел и лишь после этого открыл глаза.

— Боевая тревога, — сказал стоявший перед ним ординарец. — Вас вызывает комбриг.

Климович быстро намотал портянки, натянул сапоги и поднялся с постели, которой ему служила куча нарезанного с вечера лозняка, накрытого плащ-палаткой.

Начальник штаба батальона капитан Синицын, спавший в их маленькой палатке бок о бок с Климовичем, уже вылез наружу. В палатку доносился его высокий, громкий голос, отдававший приказания.

Торопливо застегнув в темноте пуговицы гимнастёрки и надев поверх неё короткую танкистскую кожанку, Климович вылез наружу и пошёл по направлению к палатке командира бригады. Её полог был чуть-чуть приоткрыт, на земле лежала видная издали неяркая, узкая полоска света.

Сарычев, уже одетый, широко расставив ноги, стоял посредине палатки и наскоро брился, заправив полотенце за расстёгнутый ворот гимнастёрки.

Получив пять минут назад приказ из штаба группы о подъёме бригады по боевой тревоге и ускоренном марше в район горы Баил-

Цаган, где бригада уже к десяти часам утра должна была целиком сосредоточиться, Сарычев приказал немедленно вызвать командиров батальонов. Уже надев гимнастёрку и португеею, он спохватился, что не брит, и теперь, в ожидании своих командиров, брился и расспрашивал о событиях вчерашнего дня капитана, привезшего приказ из штаба группы. Сарычев хотел яснее представить себе, с какой целью его бригада среди ночи поднята по тревоге: снова для ускоренного перехода, как это было прошлой ночью, или на этот раз её бросят в бой. Ответы капитана заставляли предполагать последнее.

Сарычев видел, что капитан из штаба группы нервничает и торопится ехать дальше, но не отпустил его.

Артемьев действительно нервничал—в степи было ни зги не видно, он изрядно пропетлял, и, вдобавок, ему пришлось уже сменить один скат и добираться сюда на запаске. Сарычев, узнав об этом, велел вызвать своего шофёра и дать на «эмку» Артемьева вместо спустившего ската новый, запасный.

— А то будет ещё один прокол, — сказал он Артемьеву, — и придётся менять камеру, полчаса провозитесь. Лучше подождите пять минут, зато наверняка.

— А как вы считаете, товарищ комбриг, — спросил Артемьев, — где сейчас стрелковый полк?

— По приказу должен был заночевать на десять километров позади меня, — сказал Сарычев, — по прямой. Ночью — кладите пятнадцать. Не волнуйтесь, сейчас поедете.

— Я не волнуюсь, — сказал Артемьев. — Туда послан с приказанием другой командир, но нам приказано друг друга сдублировать. Он из полка к вам, а я от вас в полк.

— Ничего, сдублируете, — спокойно отозвался Сарычев, оттягивая двумя пальцами кожу на шее и добривая другую скулу. — Вы мне лучше скажите пока вот что: как, по мнению штаба, эта японская танковая атака — действительно главный удар или демонстрация?

— Не знаю, — сказал Артемьев. — Когда я уезжал, в штабе об этом ещё не составили окончательного мнения.

— Но сколько же всё-таки танков? — спросил Сарычев. — Пятьдесят или сто?

— Уточнить пока трудно. Наступало на широком фронте несколько десятков танков в разное время, — сказал Артемьев. — По общим сведениям, до ста танков, но возможно, что с разных точек засекали одни и те же танки, так что кладите семьдесят пять.

— И двадцать уже сожжено нашей артиллерией? — спросил Сарычев.

— Не меньше, — уверенно сказал Артемьев.

— Порядочно, — задумчиво протянул Сарычев. Он подумал сейчас не только о подбитых японских танках, но и безотносительно к японцам вообще о поединке танков и артиллерии, из которого, по сведениям, привезённым Артемьевым, артиллерия пока выходила победительницей. Артиллерия была нашей, и это было хорошо, но завтра наши танки пойдут на японские пушки.

— Хорошо, пусть в штабе мнение ещё не составлено, — вдруг сказал Сарычев, — а как ваше-то собственное мнение? Главный удар это или демонстрация?

— По-моему, несмотря на большое количество танков, всё-таки демонстрация, а главный удар они будут наносить где-то в другом месте.

— Почему?

— Потому что начали вечером, без расчёта развить успех до темноты и уж очень стараются приковать наше внимание. Слишком много

неприцельного артиллерийского огня, слишком много шума. И вообще всё уж слишком нахально, в лоб.

— Ну что же, это резонно, — сказал Сарычев и, вылив на полотенце полфлакона одеколona, стал не спеша, с удовольствием протирать лицо и шею.

Собственные соображения казались резонными и самому Артемьеву, но, если честно признаться, уверенность в том, что японцы будут наносить главный удар не в центре, а где-то в другом месте, возникла у него в ту минуту, когда он поздно вечером увидел командующего на наблюдательном пункте. Командующему взволнованно доложили, что в центре появилось ещё тридцать японских танков. Он спокойно, даже небрежно выслушал это известие и вместо ответа приказал начальнику штаба послать двух командиров лично уточнить положение на левом и правом флангах.

Артемьев надеялся оказаться одним из этих командиров, но его надежды не оправдались: на левый и правый фланги послали других, а его тут же отправили глубоко в тыл поднимать по тревоге заночевавшую на марше танковую бригаду.

— Итак, пушки заговорили, — задумчиво сказал Сарычев. — И это после целого месяца затишья.

— Даже больше, — сказал Артемьев. — Последний серьёзный бой был двадцать девятого мая, а сегодня второе, то есть, точнее, уже третье июля.

— А вы всё это время здесь? — спросил Сарычев.

— Нет, только два дня, как прибыл.

Артемьев хотел прибавить «из госпиталя после ранения», но удержался. Сарычев, кончив бриться, снял полотенце, у него на гимнастёрке был старый, большой, с вытершейся эмалью орден Красного Знамени за гражданскую войну.

— Товарищ комбриг, ваше приказание выполнено, запасный скат поставлен, — войдя и остановясь на пороге палатки, сказал шофёр Сарычева, на лице которого было откровенно написано всё то неудовольствие, которое ему доставил приказ комбрига. — Разрешите итти?

— Идите.

— Разрешите ехать? — в свою очередь спросил Артемьев.

— Поезжайте, — сказал Сарычев. — Счастливого пути.

— А вам счастливого боя, товарищ комбриг, — сказал Артемьев и вышел из палатки.

У входа он почти столкнулся с несколькими командирами. Фигура одного из них (лица он в темноте не разглядел) показалась ему знакомой, но уже через минуту он забыл об этом, прильнув к стеклу машины и стремясь найти хоть какие-нибудь ориентиры в пронесившейся за стеклом чёрной степи.

Солнце уже стояло высоко в небе. Был девятый час утра.

Танковая бригада Сарычева подходила к горе Баин-Цаган, в районе которой, по последним утренним сведениям, японцы за ночь переправили на западный берег Халхин-гола крупные силы. Хотя Баин-Цаган и назывался горой, но с северо-запада, откуда подходили к нему танки, он горой вовсе не казался. Впереди тянулась всё та же степь, подъём был длинный и пологий, в несколько километров длиною; не верилось, что это и есть гора Баин-Цаган, стометровые юго-восточные склоны которой, судя по картам, круто обрывались над самым Халхин-голом.

Климович ехал в своём танке, головном в батальоне. Прислонясь

спиной к открытому люку, он стоял, держась руками за края башни. Сквозь кожаные перчатки уже чувствовалось, как постепенно накаляется броня. Ещё час такого солнца — и броня будет жечь. Вчера в полдень, задремав на ходу, Климович приложился щекой к броне и проснулся от боли: у него до сих пор оставалось на щеке багровое пятно ожога.

Тем, что Климович вёл сейчас батальон, он тоже был обязан нестерпимой жарой, продолжавшейся все три дня марша до вчерашнего дождя и теперь начавшейся снова. Позавчера командир батальона Макиенко, замучась жарой, снял шлем и час пробыл с непокрытой головой. Его хватил солнечный удар, и после первой помощи на месте он был в беспамятстве отправлен в тыл.

Теперь Климович по приказу Сарычева замещал Макиенко в должности командира батальона, и это сейчас, с приближением к Баин-Цагану, беспокоило Климовича сразу по двум причинам.

Во-первых, в бою (а что им сегодня предстоит бой, он не только предполагал, но, больше того, чувствовал) он предпочёл бы командовать своей ротой, а не батальоном. Он не то чтобы растерялся или боялся ответственности, но, привыкнув к сравнительно маленькому ротному хозяйству, всё время хлопотливо думал, не забыл ли он чего в своём новом большом хозяйстве, все ли нужные приказания отдал, не упустил ли с кем-нибудь поговорить или не запомнил ли что проверить. И хотя абсолютно всё в батальоне было совершенно исправно и он не упустил и не забыл ровно ничего, но от непривычности нового положения его никак не покидала хлопотливая встревоженность.

Во-вторых, его беспокоило то, что, назначив его замещать Макиенко, Сарычев обошёл при этом начальника штаба батальона капитана Сеницына. У Сарычева были на этот счёт свои соображения. В мирное время он не пошёл бы на такую меру, но, в предвидении боёв, некоторые пункты не только писаной, но и неписаной, хранившейся у него в голове, аттестации Сеницына, где стояло: «аккуратен, исполнитель, недостаточно самостоятелен», удержали его от назначения Сеницына на должность командира батальона и заставили предпочесть Климовича.

Климович этого не знал и в душе считал, что Сарычев поступил неверно, обойдя Сеницына, но приказ для Климовича был приказом — он не подлежал обсуждению, — и если бы обойдённый Сеницын, обидясь, вздумал выражать в батальоне своё недовольство или ставить под сомнение командирский авторитет Климовича, Климович без размышлений, жёстко, более того — жестоко призвал бы его к порядку.

Но обойдённый Сеницын не только не показывал своего недовольства, но с особым, подчеркнутым старанием во всём помогал Климовичу, хотя и был уязвлен в самое сердце.

Такое его поведение только укрепляло Климовича в мысли, что Сарычев напрасно обошёл Сеницына назначением. Чувство неловкости перед своим начальником штаба не покидало его.

Сейчас танк Сеницына двигался позади Климовича, метрах в тридцати. Сеницын тоже стоял в башне и, сняв шлем, обмахивался им. Климовичу была хорошо видна его застёгнутая на все пуговицы кожанка, длинноносое лицо и коротко, под бобрик, стриженные волосы.

— Василий Васильевич! — крикнул Климович, сложив руки рупором и стараясь перекричать громыханье танков. — Шлем надень, а то, как Макиенко!

Сеницын, не расслышав Климовича, но поняв его жест, надел шлем.

Танковая бригада двигалась, растянувшись по степи уступами, имея в центре батальон Климовича. Хотя ещё ни одна из расчехлённых сегодня с ночи пушек не сделала ни одного выстрела, но за три дня мар-

ша в бригаде уже насчитывалось десять человек, пострадавших от тепловых и солнечных ударов. Один башенный стрелок умер, так и не приходя в себя, и был похоронен в степи во время привала.

В конце мая, когда бригада вышла с зимних квартир, её остановили на третий день марша, в связи с установившимся затишьем. Она быстро обросла палатками летнего лагеря и до конца июня стояла прямо в степи, вдали от населённых пунктов, непрерывно занимаясь полевыми учениями и стрельбами.

Потом пришёл приказ немедленно двинуться на восток. Вечером перед выступлением прошёл первый за лето короткий сильный дождь, а с утра следующего дня, как назло, установилась жара, редкая даже для монгольского лета. В смотровых щелях на протяжении трёх суток перед глазами водителей травянистая пустыня сменялась то солончаками, то полосами сыпучих барханов. Песок был всюду: им были запорошены глаза, он хрустел на зубах, забирался в нос и вместе с раскалённым воздухом царапал горло. Иногда люди так подолгу и так натужно кашляли, что казалось, песок попал к ним в лёгкие и при дыхании шуршит и поскрипывает там. Когда поднимался ветер, песок сыпался за ворот гимнастёрок, лез внутрь танков через смотровые щели, бил в глаза водителям. Скрипели гусеницы, перегревались моторы, раскалённый воздух струился над башнями. Особенно были измучены жарой механики-водители и командиры ремонтных летучек. По ночам на стоянках они, облепленные комарами, регулировали моторы и устраняли случившиеся за день неисправности.

Днём командиры танков обычно на час-другой сменяли водителей, чтобы дать им возможность вздремнуть на командирском месте, но духота доводила людей до такого состояния, что они почти не могли спать.

Несколько сот километров на танках через пустыню, в жару, через полосы барханов и солончаков сами по себе были таким испытанием характера людей и прочности машин, после которого в мирное время военные автотранспорты вносят оптимистические поправки в свои взгляды на действия танков в условиях пустыни.

В мирное время последний день такого марша — преддверие отдыха. Но сейчас, в это утро, в виду горы Баин-Цаган, весь трёхсуточный форсированный марш через пустыню был только преддверием боя. О марше почти не вспоминали, а если и вспоминали, то лишь думая о том, как процент износа моторов скажется на возможности их форсирования в бою и когда подойдёт второй эшелон с запасами бензина, необходимыми в случае затяжных манёвренных операций.

Самое утро, казалось, дышало предчувствием боя. Ветер волнами гнал по степи траву, и красноватое палящее солнце быстро взбиралось по небу к зениту, словно для того, чтобы лучше разглядеть предстоящее.

Над бригадой с рассвета, всё время сменяясь, барражировало несколько истребителей, а к фронту только за последние полчаса прошли две девятки бомбардировщиков. За шумом моторов не было слышно грохота бомбёжки, но дым на горизонте был отчётливо виден, и во второй раз — видны совсем близко.

Судя по этим дымам, Климович считал, что до японцев остаётся не больше четырёх-пяти километров.

«Неужели вот так и выступим в бой без остановки, без новых приказаний? Ведь осталось всего пятнадцать минут ходу», — подумал Климович, понимая, что этого не может быть, но всё-таки тревожась.

Как раз в эту минуту танк Сарычева с белой единицей на башне вынесся вперёд, развернулся боком, и Сарычев, поднявшись в башне, просигналил флажком: «Стоп!».

Командующий группой, который вечером 2 июля не придавал большого значения танковым атакам японцев, развернувшимся на восточном берегу Халхин-гола, в районе центральной переправы, но зато беспокоился за свой правый и в особенности левый фланг, не ошибался.

Хотя японцы в нескольких пунктах потеснили наши войска, командующий приказал только придвинуть резервы к Халхин-голу, не переправляя их пока на восточный берег. Он попрежнему считал, что главный удар японцев последует не здесь, и был прав. Те яростные фронтальные атаки, которые весь вечер и всю ночь со 2 на 3 июля производили японцы двумя танковыми полками при поддержке нескольких батальонов пехоты и нескольких дивизионов артиллерии, имели целью только сковать здесь, в центре, основные силы советских и монгольских войск.

Главная же задача, которую ставил перед собой командующий японскими войсками генерал-лейтенант Камацубара, состояла в том, чтобы под прикрытием этих атак тем временем на крайнем северном фланге, у Баин-Цагана, неожиданно за ночь и утро переправить свои главные силы на западный берег. В дальнейшем японцы предполагали решительно наступать на юг вдоль Халхин-гола и с гылу, с западного берега, захватив обе переправы, окружить всю советско-монгольскую группировку, оставшуюся на восточном берегу.

Чтобы обеспечить успех этой операции, японцы к последним числам июня скрытно стянули в район границы, к маленькому прифронтному городку Джинджин Сумэ, двадцатипяти тысячную массу войск: 23-ю пехотную дивизию, два полка 7-й пехотной дивизии, два танковых полка, инженерный полк, несколько артиллерийских полков и части марионеточных войск Маньчжоу-го.

На ближайших аэродромах было сосредоточено триста самолётов. Успех операции казался японцам настолько несомненным, что в своём приказе, отданном ещё 30 июня, генерал Камацубара заранее сообщил тот пункт на горе Баин-Цаган, где после взятия её будет находиться его штаб.

Приготовления японцев в тех же последних числах июня хотя и не в полном объёме, но стали достоянием нашей агентурной разведки. Ускоренный марш танковой бригады, а вслед за ней и некоторых других стрелковых и броневых частей был вызван именно этими частичными сведениями о сосредоточении японцев.

Атаковав советско-монгольские войска в центре и потеряв в непрерывных вечерних и ночных атаках половину состава двух танковых полков, Камацубара в пятнадцати километрах северней за эти же вечер и ночь со 2 на 3 июля переправил на другой берег Халхин-гола свою ударную группировку — пехотную дивизию и четыре приданных ей артиллерийских полка.

Всю ночь и всё утро, под прикрытием авиации, японцы переправлялись через Халхин-гол по понтонному мосту, на лодках, плотках и вплавь. Позиции наших всё ещё немногочисленных здесь частей оканчивались на два километра южней места переправы. В самом же районе Баин-Цагана и северней его был расположен лишь полк монгольской кавалерии, на всякий случай прикрывавший фланг.

Разумеется, несколько сот всадников не могли задержать в открытой степи начавшую переправляться пехотную дивизию. После жестокой перестрелки полк за ночь отступил в глубь степи, продолжая тревожить японцев пулемётным и ружейным огнём.

Генерал Камацубара с самого начала больше рассчитывал на свою пехоту, чем на приданные ему танковые полки. Глядя на лёгкие, покрытые коричнево-жёлто-зелёным камуфляжем, старого образца танки, про-

дефилировавшие мимо него ещё в Джинджин Сумэ, он решил не растрачивать из-за них время переправы и направил оба полка на центральный участок, где производилась демонстрация.

Однако сведения, поступившие к утру, когда он со штабом переправлялся через Халхин-гол, всё-таки несколько обескуражили его. Огнём русской артиллерии за вечер и ночь было сожжено больше сорока танков.

Если бы сожжённых танков оказалось десять или двадцать, то можно было бы потом в своём кругу, в штабе Квантунской армии, высказывать претензии к военному министерству за недостаточно быструю модернизацию машин и усиление брони. Но за полсотни танков, сожжённых в первые же часы боя, предстояло просто-напросто отвечать, и, чтобы избежать этого, нужна была быстрая и решительная победа и лучше всего — победа именно над русскими танками.

При всей тяжести известия о больших потерях в танках для Камацубары в этом событии была и своя успокоительная сторона — выяснилось, что артиллерия сравнительно легко останавливает танки. Четыре полка артиллерии, уже переправленных им через Халхин-гол, позволяли японскому командующему надеяться, что русские танки в случае атаки тоже будут остановлены — следовало только поосновательней подготовиться. Авиационная разведка с рассветом донесла, что к Баин-Цагану подходят русские танковые части. Одновременно разведка донесла, что ближайшие русские пехотные части с артиллерией ещё находятся на марше в шестидесяти километрах от фронта. Можно было не опасаться их подхода раньше ночи, а танковая атака без поддержки пехоты и артиллерии не рекомендовалась ни одним военным уставом мира. Не приходилось на неё рассчитывать и со стороны русских, — следовательно, в запасе оставались целые сутки.

Час назад японская разведка, выдвинувшаяся к югу от Баин-Цагана, была обстреляна русскими танками. Камацубара не придавал этому эпизоду особого значения, но всё-таки ещё раз подтвердил своё отданное с ночи приказание: артиллерии и пехоте организовать противотанковую оборону, большим полукольцом прикрыв переправу.

Затем он распорядился поторопить с переправой ещё не перебронированных с восточного берега частей. К одиннадцати часам утра эти части вместе с уже переправившимися, прикрывшись с севера и запада системой противотанковой обороны, должны были, прорвав цепочку русских и монгольских заслонов, двинуться на юг, вдоль Халхин-гола, одним ударом перерезая все коммуникации противника и замыкая его в кольцо.

На самом гребне Баин-Цагана были вырыты щели и разбиты две большие штабные палатки из двойного шёлка цвета хаки. Отсюда назад, на восток, открывался обзор километров на двадцать. Была видна зелёная пойма Халхин-гола с тростниковыми зарослями и понтонным мостом, по которому беспрерывно двигались войска. А дальше — несколько цепей сопков, через которые вилась наезженная за ночь дорога. Она вся курилась, сухая жаркая пыль клубами выкатывалась из-под колёс беспрерывно двигавшихся по дороге машин.

Вдали виднелись дымки Джинджин Сумэ, где ещё вчера помещался штаб, теперь, как это и было предусмотрено в приказе, расположившийся на вершине Баин-Цагана.

Ещё дальше виднелись отроги Хингана. А где-то за ними были Харбин, Чаньчунь и штаб Квантунской армии, где генерал-лейтенанту Камацубаре сейчас, очевидно, завидовали все генералы, за исключением командующего Уэда, который не любил выезжать на фронт, но зато любил и сейчас уже, наверное, готовился пожинать чужие лавры.

Впереди поле обзора было невелико. Отлогие склоны Баин-Цагана, почти незаметно спускавшиеся к западу и северу, были все в мелких травянистых горбах, и это не позволяло видеть дальше чем на два-три километра. За этими горбами сейчас сосредоточивались русские танки. Дозоры доносили, что два-три танка уже появились в поле зрения и снова исчезли.

Внизу, на понтонном мосту и под обрывом, спускавшимся к Халхин-голу, ревели грузовики. Они медленно, подталкиваемые десятками рук, влезали в гору. Это переправлялся ещё один артиллерийский полк. Люди торопились и то и дело поглядывали вверх.

Хотя небо над Баин-Цаганом было с рассвета наглухо прикрыто японскими истребителями, русские бомбардировщики уже несколько раз атаковали переправу и, сбросив бомбы в гущу войск, вывели из строя больше двухсот человек.

Постояв около палатки, генерал Камацубара сел в свой «форд» того же защитного цвета, что и палатка. «Форд» был новенький — они только недавно начали поступать в армию с завода в Осака, где их собирали по американской лицензии из американских деталей с той лишь особенностью, что рулевое управление помещалось справа, ибо японские правила уличного движения предусматривают езду по левой стороне.

Чуть-чуть приподнявшись на сиденье и с удовольствием глянув в зеркало на своё тщательно выбритое, презрительно спокойное лицо, японский командующий приказал шофёру провезти себя вдоль всего полукруга противотанковой обороны.

Уже начало осмотра убедило его, что ночь и утро не пропали даром, в особенности последние часы после того, как он подтвердил своё приказание. Было видно, как повсюду над плоскогорьем взлетает земля. Часть орудий уже была расположена в глубоких полукруглых окопах, позволявших поворачивать пушки на сто восемьдесят градусов. На главных танкоопасных направлениях готовились трёхорудийные «мешки»; при этой системе, пока среднее орудие стреляет по танку, два выдвинутых вперёд и тщательно замаскированных фланговых орудия молчат, а когда танк оказывается между ними, — расстреливают его в «мешке» с обоих флангов.

Камацубара подумал, что, когда последний переправляющийся полк поднимется на Баин-Цаган и станет на позиции, число орудий перейдёт за сто пятьдесят и с ними будут окончательно не страшны никакие танки.

Рядом с артиллерийскими позициями были отрыты глубокие гнёзда для крупнокалиберных пулемётов. Пулемёты были переправлены с опозданием, и их только теперь устанавливали.

Между батареями и отдельно расположенными орудиями заканчивалось рытьё круглых одиночных окопов для истребителей танков. В готовых окопах уже сидели солдаты с бутылками бензина и с тонкими пятиметровыми бамбуковыми шестами с привязанными к ним минами. Эти мины на шестах предполагалось подсовывать под гусеницы танков.

Были и спаренные окопы, расположенные в двадцати метрах друг от друга. Сидевшие в них солдаты во время боя должны были держаться за концы проволоки, середине которой прикреплялась мина. Когда танк окажется между двумя такими окопами, солдатам остаётся только, дернув за проволоку, быстро потянуть мину в ту или другую сторону.

Всё это было испробовано на учениях, проводившихся ещё весной возле Хайлара, на специально подобранном рельефе местности, похожем на здешний. Теперь предстояло всё это проверить на деле.

Камацубара заметил, что у многих солдат были бледные лица. Самая серьёзность делавшихся приготовлений говорила об опасности пред-

стоящего и влияла на солдат. «Впрочем, — заставил он себя подумать, — ночь была холодная, и, очевидно, многие из них просто замёрзли».

Уже возвращаясь в палатку, Камацубара остановился около одной из зенитных батарей. Это были скорострельные зенитки нового образца, в виде дружественного жеста присланные из Германии после заключения антикоминтерновского пакта.

Небо кишело самолётами, зениткам предстояло много работы, но Камацубара приказал командиру батареи на всякий случай предусмотреть возможность ведения наземного огня.

Вернувшись в палатку, Камацубара приказал соединить себя по телефону с западным берегом, с генерал-лейтенантом Ясуока.

Ясуока коротко и недовольно доложил, что занял в центре ещё две сопки, но понёс большие потери от огня русской артиллерии и решительного успеха попрежнему не имеет.

Камацубара положил трубку и усмехнулся недовольству Ясуока, которого он не любил за слишком быстрое продвижение по службе и сознательно оставил командовать войсками на второстепенном сковывающем направлении, чтобы не делить с ним будущего успеха.

На часах было двадцать девять минут одиннадцатого. Через минуту генерал-майор Кобаяси, возглавлявший ударную группу, должен был доложить о готовности частей к прорыву на юг. Действительно, не успела секундная стрелка обегать круг, как в палатку вошёл Кобаяси и приложил два пальца к козырьку каскетки. Но вместе с ним в палатку вошёл далёкий, отчётливо слышимый, прерывистый гул танков, шедших на большой скорости.

Ровно в 10.30 утра танковая бригада Сарычева, поддержанная дивизионом монгольских броневиков, сразу с трёх направлений — северо-запада, запада и юга — пошла на прорыв полукольца японской обороны.

Именно в эту минуту не только Камацубара и Кобаяси, но и все японские офицеры и солдаты, переправившиеся через Халхин-гол, услышали одновременный рёв полтораста танковых моторов.

Сам Сарычев, глядя с небольшого пригорка, на котором он стоял, вслед своим уже скрывшимся за складками местности танкам, испытывал чувство, близкое к тоске.

Он понимал, что не должен сейчас сам идти в атаку хотя бы потому, что бою ещё только предстояло развернуться. Он знал, что, получив первые донесения из батальона, ему несравненно удобнее будет давать по ходу боя новые приказания отсюда, с наблюдательного пункта, а не из башни танка. Знал он и то, что если обстановка потребует его личного вмешательства и ввода в бой оставшейся при нём резервной танковой роты, то как раз отсюда легче будет оказать поддержку на любом из трёх направлений.

Наконец, он помнил, что командующий просто-напросто приказал ему находиться здесь, на наблюдательном пункте, и этот приказ не подлежал в данную минуту ни обсуждению, ни отмене.

Однако, проводив взглядом свои двинувшиеся на прорыв танки, он испытал такое небывалое острое чувство оторванности, что не удержался и, взяв под козырёк, хрипло сказал стоявшему рядом с ним командующему:

— Товарищ командор, разрешите принять участие в атаке на левом фланге. Там может сложиться наиболее трудная обстановка.

Он сказал то, что до него и после него в подобные минуты не раз говорили командиры в присутствии своих старших начальников. Будь Сарычев здесь один, опыт, здравый смысл и требования устава приковали бы его к наблюдательному пункту. Но рядом был командующий,

и Сарычев испытывал чувство неловкости от такого соседства и желание поскорее оказаться не рядом с командующим, а впереди него, в бою. Прося разрешения лично пойти в атаку, он как бы переключивал необходимость трезво учитывать все обстоятельства дела на плечи старшего начальника, а на свою долю оставлял только мужество и порыв вперед.

Командующий посмотрел не на него, а мимо него и, не скрывая неудовольствия, сказал с холодной, спокойной резкостью:

— Во-первых, для меня на вашей бригаде свет клином не сошелся. Я не собираюсь оставаться здесь за вас. Обстановка может потребовать моего присутствия в других местах. Во-вторых, на левом фланге у вас комиссар бригады (это была правда: Гордиевский пошел в атаку вместе с левофланговым батальоном). В-третьих, если вы уже сейчас, до начала атаки, уверены, что на левом фланге для успеха мало одного батальона,— пошлите туда свой резерв. Если уверены,— насмешливо повторил командующий.— Потому что я, например, уверен, что вам просто хочется подраться.

Сказав это, он, не обращая больше внимания на Сарычева, сел на раскладную парусиновую табуретку, которую возил с собой в машине, достал из кармана гимнастёрки очки, надел их и развернул на коленях карту.

Он бы ответил Сарычеву ещё резче и потому, что вообще был резок,— а подчас даже любил быть резким, — и потому, что Сарычева, служившего в гражданскую войну в одном с ним полку, он давно знал и любил. Любовь же при его характере выражалась в особенно беспощадной требовательности по службе. Сейчас он сдержался лишь потому, что почувствовал всю меру волнения Сарычева за свою бригаду; почувствовал даже не по Сарычеву, а по себе. Хотя его лицо для других оставалось спокойным, но он сам знал, что волнуется, и был недоумен этим.

— К сожалению, их карта точнее нашей, — сказал он, взяв у адъютанта ещё одну карту — японскую, захваченную вчера ночью, и сличив на обеих участок Байн-Цагана.— Судя по ней, они во время пограничных конфликтов делали здесь топографические съёмки. Думаю, что это показанное у них и не показанное у нас болотце на левом фланге существует в действительности.

— Предусмотренная для левофлангового батальона полоса наступления всё равно проходит в полукилометре,— сказал Сарычев, посмотрев на обе карты.

— Кроме предусмотренной полосы наступления, — поднимаясь с парусиновой табуретки, сказал командующий, — существует никем не предусмотренная горячка боя, да ещё первого. Пошлите вдогонку танк. Прикажите, чтобы ни в коем случае не брали левой показанных здесь развалин кумирни.

Сарычев отошёл, чтобы отдать приказание, и командующий остался один. В ту же минуту к нему подъехал связной броневичок, и вылезший из него запыханный до бровей Артемьев передал командующему пакет. Начальник штаба писал с восточного берега, что, выполняя приказание командующего, он высвободил из боя дивизион артиллерии и перебросил его на левый фланг. В 10.45, одновременно с танковой атакой, орудия откроют с того берега огонь по японской переправе и восточным скатам Байн-Цагана, правда, почти на предельной дистанции, добавлял начальник штаба, предупреждая этим, что огонь будет мало действительным.

— Ничего, пусть всё равно будет, — вслух сказал командующий, так, словно он не читал донесение, а говорил с начальником штаба по теле-

фону, и строго вскинул глаза на неподвижно стоявшего перед ним капитана. — Где связь? Передайте, что если...

— Разрешите доложить, я сам, проезжая, видел связистов уже в километре, через двадцать минут дотянут сюда, — быстро сказал Артемьев, робея оттого, что ему пришлось перебить командующего, но всё же решившись на это потому, что он говорил дело.

— Тогда оставайтесь при мне, — коротко сказал командующий и отвернулся. Он стоял и смотрел в ту сторону, где скрылись танки, ожидая первых выстрелов.

По расчёту расстояния и скорости оставалось самое большее пять минут до того, как японцы начнут стрелять, если только у них не достанет выдержки подпустить танки вплотную, что было бы плохо и чего, он надеялся, не будет.

Сегодня под утро, получив сведения о массовой переправе японцев на западный берег Халхин-гола, он сразу же представил себе их замысел: сначала закрепиться на горе Баин-Цаган, а потом, двигаясь вдоль западного берега, окружить нас на восточном. Он был уверен; что разгадал этот замысел правильно. Он был уверен в том, что, приказав танкистам, не дожидаясь пехоты и артиллерии, с ходу, одним атаковать и сбросить японцев в реку, он принял единственно верное решение в сложившейся критической обстановке. Он сделал всё, что было в его власти, чтобы поддержать атаку танкистов: организовал огонь артиллерии с того берега, поднял над Баин-Цаганом в воздух всю наличную авиацию. Он приказал всем находившимся на марше частям, не считаясь ни с чем, спешить к полю боя.

Он понимал всю меру своей ответственности за принятое решение, но каждый лишний час, подаренный японцам, означал дальнейшее расширение и укрепление их плацдарма на этом берегу, фиск уравновешивался внезапностью, а люди и машины, шедшие сейчас в атаку, были советские люди и советские машины, — и это, брошенное на чашу весов, в конце концов должно было решить дело.

Он относился с профессиональным уважением к силе японской армии, знал, что в бою бывают, и могут быть и сейчас, случайности и промахи, но хоть на минуту усомниться в конечном превосходстве советского бойца над японским солдатом он счёл бы для себя таким же диким, как вдруг усомниться в превосходстве советского строя над капиталистическим.

Лётчики доносили, что хотя японцы поспешно окапываются, но у них после переправы ещё толчея и такое скопление машин и людей, что почти каждая бомба ложится по цели. Это известие послужило последним толчком к решению немедленно атаковать.

Судя по всему, японцы вообще-то безусловно ждали атаки, но никак не ждали её сейчас. Они считали, что танки не пойдут в атаку, не дождавшись пехоты, а в данных обстоятельствах это значило, что танки должны идти в атаку, не дожидаясь её.

Прилетев в Монголию всего несколько суток назад, едва успев объехать части, познакомиться с местностью и обстановкой, командующий вчера вечером, после девятнадцатилетнего перерыва, услышал свист снарядов над головой, увидел мёртвых и раненых и, слушая донесения, опять, как девятнадцать лет назад, глядел в глаза людей, только что перед этим глядевших в глаза смерти.

Он хорошо знал, что люди боятся смерти, что бесстрашие — это не то, что делается без страха, а то, что делается вопреки страху, мужество — это умение точно выполнить приказ, невзирая на угрозу смерти, а высшее мужество — это новый шаг навстречу смерти тогда, когда бук-

ва приказа уже выполнена и у человека остаётся свобода выбора для того, чтобы понять или не понять, чего ещё требует от него дух приказа.

Он видел вчера вечером и ночью и такое бесстрашие и такое высшее мужество, многократно на его глазах проявленное и командирами и бойцами. Он всегда был убеждён, что так оно и будет. Но убеждение, проверенное боем, приобретало двойную силу. И хотя он знал, что успешно отбить на восточном берегу вчерашние фронтальные атаки и продолжить с берега японскую пехотную дивизию и несколько полков артиллерии, но, раз испытав людей в бою, он верил в большее, чем успех, — в победу.

Он верил в неё потому, что был сам одним из этих людей и, одну за другой пройдя все ступени суровой и демократической службы в Красной Армии, он в разное время побывал в положении почти каждого из своих нынешних подчинённых: и бойца, и младшего командира, и командира взвода, и командира полка.

Соединяя сейчас в себе этот разновременный опыт, он верил в них, как в себя, и в себя, как в них, и едва ли ответил бы на вопрос, что из двух верней, — верно было и то и другое.

В последний раз проверяя себя, он вспомнил, как неделю назад Сталин вызывал их — группу командиров, получивших новые назначения в связи с напряжённой обстановкой на Дальнем Востоке. И, вспомнив это, представил себе, что стоит сейчас перед Сталиным и впервые в жизни непосредственно ему докладывает о принятом решении.

Да, он смог бы и не побоялся доложить своё решение, глядя в глаза товарищу Сталину.

— Неважная местность, — сказал командующий вернувшемуся Сарычеву. Ни место, где они стояли, ни любое другое поблизости не могли теперь служить хорошим наблюдательным пунктом. Танки, быстро скрывшиеся с глаз за цепью маленьких высоток, должны были снова появиться в поле зрения лишь на самом гребне Баин-Цагана.

— Я поэтому и просил... — нерешительно начал Сарычев, вновь клоня к тому, с чего начался разговор.

Впереди, на горизонте, разом выросло несколько десятков разрывов, потом земля прерывисто и многократно дрогнула и воздух наполнился далёким грохотом. И сейчас же между разрывами появились казавшиеся отсюда маленькими танки. Вокруг них выростла вторая стена разрывов, и снова земля многократно и прерывисто содрогнулась.

Через минуту донеслась ещё одна серия, на этот раз далёких, еле слышных разрывов. Посмотрев на часы, командующий отметил про себя, что начальник штаба уложился в назначенный срок — артиллерия восточного берега била по японской переправе.

На лице Сарычева было написано страдание. Ему до такой степени хотелось сейчас быть там, впереди, а не здесь, он так физически страдал за своих людей и за свои танки, что командующий чуть слышно похлопал его своей тяжёлой рукой по плечу.

— Что же делать, Алексей Петрович! Двадцать лет учили для этой минуты.

Командующий и сам сейчас подумал о том, что у японцев много артиллерии и что бригада без поддержки пехоты понесёт большие потери. Он знал это, он сознательно шёл на это. Он был ответствен за всё вместе, а верней за одно — за победу, которая оправдывает как необходимые те жертвы, на которые он своим решением обрекал бригаду Сарычева. Непростительными же они станут только, если победы не будет. Но он верил в победу и поэтому верил в свою правоту.

Сарычев тоже верил в победу, но у него не было в подчинении группы войск, общее положение которых, перелаывая ход операции, ценой жертв спасала сегодня бригада. У него была одна эта бригада, в которой он знал экипаж каждого танка, и эти люди и танки гибли сейчас под огнём японской артиллерии. На горизонте уже виднелось несколько высоких и прямых чёрных дымов, которые он не мог спутать ни с чем другим, — это горели его танки. Он вместе с командующим готовил операцию, разделял его веру в успех, предугадывал размеры потерь, но при всём том ему было нечеловечески тяжело.

Ничуть не колеблясь в своём решении, командующий в то же время понимал состояние Сарычева. Продолжая держать руку на его плече, он сказал:

— Я под личную ответственность начальника штаба приказал отправить навстречу пехоте все свободные машины, чтобы в ближайшие часы прибыл хоть передовой батальон. Седьмая бронеполк тоже на подходе. Я думаю, что к пятнадцати часам она будет здесь.

Сарычев благодарно взглянул на него. Всё утро он был одновременно и доволен и недоволен тем, что у него сидит командующий. Сейчас он наконец решил спор между этими двумя чувствами — он был доволен, что командующий рядом.

— Прикажи подать свой танк, — сказал командующий, взглядываясь в почерневший от разрывов горизонт. — Садись в танк, а я за тобой на машине. Проедем вперёд. — И он показал рукой на видневшийся в километре маленький холмик.

Три батальона танков, охватывая японцев с северо-запада и юга, уже ворвались в расположение противника. Они расстреливали и давили пушки, утюжили окопы и пулемётные гнёзда; несколько танков уже горело, а батальон Климовича, брошенный в атаку с интервалом в десять минут, ещё только подходил к угрожающе молчаливым в центре японским позициям.

Стоя в башне с открытым люком, Климович первый выскочил на невысокий холм, откуда в то же мгновение увидел целую шахматную доску маленьких зелёных бугорков — замаскированные тростником и травой японские орудия.

Вытащив из-за голенища сигнальные флажки, он коротко взмахнул ими, подавая сигнал: «Делай, как я», и захлопнул над головой крышку люка. В зеленоватом стекле триплекса замаскированные японские орудия снова казались просто травянистыми бугорками. Танк с каждой секундой приближался к ним, но они ещё молчали.

Климович навёл пушку на ближайший бугор; теперь всё его тело было напряжено и занято. Сидя в содрогавшемся на предельной скорости танке, держа ногу на спусковой педали, он глядел в оптический прицел и всё время поправлял его, обеими руками сразу регулируя подъёмный и поворотный механизмы. Стремясь предельно сократить расстояние и выстрелить наверняка, он считал про себя до десяти; в его голове с удивительной быстротой проносились самые разные мысли, не связанные между собой ничем, кроме чувства смертельной опасности, которое только одно и могло вызвать их все сразу.

Он думал о том, что танк начальника штаба идёт рядом, справа, и, в случае чего, Синицын примет команду над батальоном; что лейтенант Овчинников всё-таки ещё посредственно стреляет и неизвестно, как это обернётся в бою; что Люба всё равно, что бы ни случилось, не вернётся к матери и будет жить одна; что он забыл её карточку в другой гимнастёрке; что когда-то в детстве висела картина, на которой матросы бро-

сали гранаты в английский танк типа Рикардо; что надо переложить пистолет из кобуры в карман кожанки; что — жарко.

Успев в последнюю секунду с сожалением подумать, что холмы скрадывают расстояние при прицеливании, а он не напомнил об этом перед атакой всему батальону, Климович прошептал: «Десять!» и, поймав в прицел землю чуть пониже приближавшегося зелёного бугра, нажал на спуск. Зелёный бугор раскололся. Над ним стоял столб дыма, и что-то летело в воздух.

Климович испытал прилив того мгновенного, особенного, ни с чем не сравнимого счастья, какое бывает только в бою, а в следующую секунду его ударило грудью об оружейный замок и сразу же спиной и головой о броню. Танк дёрнулся и встал.

Башенный стрелок со страшной, мгновенно изуродованной до неузнаваемости, окровавленной головой сполз с сиденья и всем своим обмякшим телом навалился на Климовича.

Отерев рукавом забрызганное кровью лицо, Климович посмотрел вниз и увидел, что водитель сидит, уронив руки и упав лицом на щиток управления. У него была такая бессильная, мёртвая спина, что Климович понял — водитель тоже убит, и в ту же секунду полез к нему вниз.

Тело стрелка продолжало наваливаться на Климовича сзади до тех пор, пока он, повернувшись, не опустил его. Мотор не работал, в танке стояла непривычная тишина.

У Стёпы Смолякова — водителя — была маленькая чёрная дырка на затылке под самым краем шлема. Он был убит срикошетившим осколком снаряда. Климович горько выругался и, изо всей силы упершись в тело водителя, прижал его к броне, освободив себе кусок сиденья. Потом, нагнувшись, поднял с педалей ноги мёртвого и отодвинул их в сторону.

Теперь, примостясь на краю сиденья, он мог дотянуться до педалей. Он нажал на стартер — стартер брал. Он выжал сцепление, включил скорость и дал газ. Танк дрогнул, и гусеницы скрежетнули.

От мгновения счастья, которое испытал Климович, разбив прямым попаданием японскую пушку, и до мгновения, когда он, тесня плечом убитого водителя, снова повёл свой танк, оставшись в нём наедине с двумя мертвецами, прошла всего минута.

Водитель Стёпа Смоляков и башенный стрелок Зыбин, с которыми всего минуту назад Климовича связывало не только общее прошлое, но и общее будущее, сейчас больше не существовали, оставив его одного. В башне зияло рваное отверстие, рация вышла из строя, пушка и пулемёт молчали, и, даже если они целы, он всё равно не может одновременно стрелять из них и вести танк.

В первую секунду дав газ, Климович сделал это, ещё не зная, как он поступит дальше, и лишь по инерции двигался вперёд. Но в следующую секунду он через смотровую щель увидел обогнавшую его, пока он стоял, и сейчас горевшую в ста метрах впереди четвёрку — танк Сеницына. Сеницын, который мог бы и должен был заменить его, теперь сам горел. Увидев горящий танк Сеницына, Климович понял, что теперь у него нет выбора. Ему остаётся только одно — идти вперёд.

Он подал перед атакой сигнал: «Делай, как я». Его танк не горит. Ни одна живая душа не знает, что он сидит в танке с двумя мертвецами и не может стрелять. Что же смогут понять люди, если его танк с белой командирской тройкой на башне развернётся и выйдет из боя?

Обгоняя другие танки, сбавлявшие ход для стрельбы, Климович с молчавшими пушкой и пулемётом на сорокакилометровой скорости пронёсся через первый ряд японских артиллерийских позиций и с ходу налетел на стоявшее боксом орудие. Это была фланговая пушка одного из «мешков». Климович переехал через её лафет, успев увидеть, как падает

прямо под танк выскочивший из окопа японец, пролетел ещё сто метров, почувствовал удар по броне, наехал на вторую пушку, повернул, минуя высунутый из окопа шест с миной, и вынесся на бугор, где стояла батарея зениток. Зенитчики дихорадочно крутили механизмы, переводя пушки в положение для наземной стрельбы, но Климович оказался рядом раньше, чем они это успели сделать, и оружейные расчёты, увидев танк, побежали.

Климович ударил зенитку лбом танка и опрокинул её вместе с круглой платформой. Разворачиваясь, он услышал, как танк задом своротил что-то, и понял, что это — второе орудие. Развернувшись, он наехал на третье и, не заметив оставшегося сбоку четвёртого, проскрежетав гусеницами по вдавленному в песок стволу, взял направление на лощину, где, врытые в склон, замаскированные сверху сетками, стояли грузовики и легковая машина.

Давая каждый раз задний ход, он поочерёдно разбил в щепки все три грузовика. Легковая машина от удара перевернулась и боком поползла перед танком, пока не завалилась двумя колёсами в окоп, и Климович физически ощутил, как танк, взгромоздившись на неё гусеницами, раздавливает её в лепёшку.

Теперь впереди на склоне горы, совсем близко, виднелась большая зелёная палатка. Он направил танк прямо на неё, но из окопа выскочили двое японцев с бутылками. Один бросил бутылку сразу, и она упала, не долетев до танка. Другой, держа в руках бутылку, пополз, собираясь бросить её сзади.

Резко свернув, Климович уже не успел снова переменить направление. Он наехал на палатку не прямо, а только зацепил за вбитые в землю кольца, рванул, и гусеницы потащили полотно за собой по земле.

Он вышел из боя лишь через час, почувствовав, что теряет сознание. Ощупав голову, он понял, что ранен с самого начала и что кровь, запёкшаяся на лице, была не только кровью Зыбина, но и его собственной.

На исходных позициях стояли грузовик со снарядами и четыре танка, экипажи которых торопливо пополняли боекомплект.

Последним усилием воли Климович открыл сделавшуюся невероятно тяжёлой крышку люка, вылез и сел на траву.

Бой продолжал громыхать вдаль. В небе над японскими позициями один за другим заходили на бомбёжку самолёты. Слышались разрывы бомб и частые, короткие удары танковых пушек.

Усталый и взмокший инженер — помпотех батальона, без фуражки, в засаленной гимнастёрке, подбежал к Климовичу вместе с командиром второй роты Терентьевым, в танк которого грузили снаряды. У Терентьева было чёрное от копоти лицо, левые рукава и кожанки и гимнастёрки были у него отрезаны, а рука выше локтя обмотана грязными бинтами.

— Ты, как босяк, — неожиданно для себя усмехнулся Климович. — Посмотрите, как там орудие и пулемёт, — сказал он инженеру, — да вытащите из танка людей. У меня люди погибли.

Инженера передёрнуло, но он ничего не оказал и пошёл к танку.

— А я думал, почему ты не стреляешь? — сказал Терентьев, садясь рядом с Климовичем на землю.

Климович ничего не ответил. Он сидел, опершись о землю руками, думал о том, что бой продолжается и надо скорее возвращаться, и ждал, пока присевший рядом с ним на корточки фельдшер сначала выстригал ему на голове волосы, а потом, пропуская под подбородок и туго натягивая бинт, перевязывал рану. Сидя так, он видел, как инженер и двое подбежавших танкистов вытащили и положили на землю тела Стёпы Смолякова и Зыбина.

Потом инженер залез в башню, несколько минут возился там, повернул её, задрал вверх пушку и выстрелил.

— Пулемёт заклинило, а пушка в полном порядке, — сказал он, вылезая на броню.

— Есть тут кто-нибудь свободный из экипажей? — спросил Климович у Терентьева.

— Только один водитель с тридцатки. Она сгорела, а он вышел, — сказал Терентьев.

— А башенных стрелков нет?

— Нет.

— Ну ладно, пойду без него. Давай водителя, — сказал Климович, с трудом вставая и чувствуя, как его пошатывает. — Воды-то у вас нет, что ли? — вдруг вспомнил он.

Инженер протянул ему свою тёплую флягу. Климович жадно напился.

— Ну, куда тебе в бой? — нерешительно сказал Терентьев.

— Давай водителя, сказал тебе! — ответил Климович, и обмотанное бинтами и белое, как бинты, лицо командира батальона показалось Терентьеву таким незнакомым и грозным, что, не пробуя больше возражать, он подозвал сидевшего неподалёку на траве водителя. Водитель был знаком Климовичу, как и все люди в батальоне, но сейчас, в первую секунду, он водителя не узнал — так тот был закопчён, перемазан и не похож на себя.

— А где твой командир? — спросил Климович.

— Убитый.

— А башенный стрелок?

— Тоже убитый.

— И мой убитый, — сказал Климович и, нахмурясь, пошёл к своему танку.

Он был недоволен собой. Он считал, что поступил верно, пойдя напролом до конца в первой общей атаке, но потом он должен был выйти из боя раньше, чем вышел. Все разбитые и раздавленные им лично японские пушки и машины не могли возместить того, что он, оставшись в танке один, в ожесточении боя потерял управление батальоном. Он сейчас ругал себя за это и спешил возместить потерянное, по его мнению, время.

Уже взобравшись на танк, он спросил у Терентьева, все ли экипажи пополнили комплекты, и, получив утвердительный ответ, приказал, чтобы остальные четыре танка двигались за ним. Влезая в башню, он вымазал руки в крови и ещё раз с горечью вспомнил о Смолякове и Зыбине. Через минуту все пять танков снова двинулись к полю боя.

В пятом часу пополудни Полюнин, делавший уже седьмой вылет за день на прикрытие бомбардировщиков, сбивших Баин-Цаган и переправу, перед уходом из зоны резко пошёл на снижение. После семи вылетов у него от усталости болела голова и молотками стучало в висках, но он не израсходовал запаса патронов, и ему хотелось пониже пройтись над японцами, полив их из пулемётов.

Снижаясь, он наконец вблизи увидел то поле боя, над которым висел сегодня целый день с утра.

Всё пространство плоскогорья было иссечено окопами и завалено трупами. Повсюду были видны опрокинутые орудия, разбросанные снарядные ящики, разбитые грузовики и раздавленные двуколки, сгоревшие и ещё горящие танки, разбросанное оружие и бесчисленные мёртвые тела.

Но жизнь ещё продолжалась на этом поле смерти. На нём ещё крутились бившие из пушек и пулемётов танки, ещё стреляли орудия, рвались гранаты, выскакивали из окопов и бросались к танкам люди и, не находя пристанища, в одиночку и табунами метались обезумевшие лошади.

Снизившись до ста метров, Полынин дал длинную очередь вдоль японского окопа и, снова набирая высоту, с тревогой подумал о том, что с наступлением темноты танки должны будут или покинуть поле боя, или остаться на нём среди этих успевших засесть в окопы тысяч японских солдат.

Он взял курс на аэродром и, выйдя на дорогу, соединявшую Хамардабу с Тамцак-Булаком, увидел, как, сворачивая с неё к Баин-Цагану, по степи движется колонна полуторок, до отказа набитых пехотой.

«Наконец-то!» — с облегчением подумал он и, пройдя над колонной, несколько раз покачал крыльями.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Батальон 117-го стрелкового полка, вечером подброшенный на машинах в район южнее Баин-Цагана, уже в темноте, наощупь занял позиции лицом к японцам, растянувшись почти на пять километров и правым флангом выйдя на берег Халхин-гола.

Шёл двенадцатый час ночи. Впереди, на Баин-Цагане, потрескивали пулемётные очереди и одиночные винтовочные выстрелы. Иногда там вспыхивал разрыв и раздавался короткий грохот. Иногда же видна была только вспышка, а грохот оставался неслышным за гулом последних танков, выходящих из боя на исходные позиции для утренней атаки.

Батальон ещё не был в бою. Несколько километров отделяло его от японцев и от последних вспышек затихавшего на Баин-Цагане сражения, но это не успокаивало, а, наоборот, лишь взвинчивало нервы людей, которые одновременно и хотели боя и тяготились ожиданием его.

Сейчас, ночью, после выхода танков из боя, новая попытка японцев прорваться на юг казалась не только возможной, но и вполне вероятной. В ожидании этого батальону было приказано как следует окопаться; над позициями стоял негромкий шумок падавшей с лопат земли и покряхтывание людей, работавших молчаливо и поспешно и лишь изредка перекидывавшихся короткими фразами.

Только в крайнем правофланговом взводе третьей роты, окапывавшемся у самой воды, на берегу Халхин-гола, царило оживление и слышались громкие голоса.

Час назад командир отделения Кольцов попросился у командира роты сходить с двумя бойцами в разведку. Их долго не было, потом совсем близко раздалось несколько выстрелов, и Кольцов вернулся, неся на плечах одного из ходивших в разведку бойцов — Шутикова. Второй боец, Гаранин, сердито подталкивал перед собой пленного японца, о котором командир роты, поглядев на его погоны, сказал, что это подпоручик.

Посланный с донесением к командиру батальона связной, запыхавшись, вернулся с полдороги и сказал, что командир батальона с комиссаром полка обходят позиции, сейчас они во второй роте и вот-вот сами придут сюда посмотреть на пленного. Бойцы, продолжая работать, обсуждали происшествие и переговаривались, несмотря на присутствие командира роты. В другое время он, наверное, крикнул бы им: «Прекратить разговорчики!», но всё, что сейчас случилось, случилось в роте впервые: первые выстрелы, первый убитый японец, документы которого принёс Кольцов, первый пленный, да ещё офицер, и первый свой ране-

ный — Шутиков. Поэтому командир роты не только не крикнул: «Прекратить разговорчики!», но сам, сидя на песке рядом с Кольцовым, уже во второй раз расспрашивал его, как всё было.

Раненый Шутиков лежал тут же рядом на подложенных под него двух шинелях — его и Кольцова — и, не приходя в сознание, то поскрипывал зубами, то тихонько постанывал.

Оказалось, что вечером, когда рота второпях среди марша стала грузиться на машины, куда-то запропастились санитарные носилки. Санинструктор хотел нести Шутикова к батальонному медпункту на шинелях, но Кольцов сказал ему, что лучше сперва сбегать за носилками и узнать, где расположен медпункт, чем плутать ночью по степи, таща на шинелях тяжело раненного. Санинструктор хотел заспорить, но командир роты сказал: «Идите!» — и санинструктор пошёл. Необязательное для него мнение Кольцова теперь превратилось уже в приказание.

Санинструктор шёл по ночной степи, ругая себя за то, что получилась такая халатность с носилками, и Кольцова за то, что он, как всегда, суёт нос не в своё дело.

«И вечно он выставляется, что лучше всех всё знает и умеет!» — думал санинструктор, сердясь на Кольцова, жалея Шутикова и стараясь уверить себя, что, несмотря на потерю сознания, рана, может, и не такая уж смертельная.

Тем временем младший командир Василий Кольцов — ещё совсем молодой, худощавый, белобрысый, с веснушчатым пичьим лицом — сидел рядом с командиром роты и во второй раз рассказывал ему о только что происшедших событиях, но не всё, а лишь то небольшое, что он считал заслуживающим внимания командира роты.

Кольцов был разбитной, непоседливый московский парень с Усачёвки, сначала «фабзаяц», потом токарь на одном из номерных военных заводов, осваивахимовский активист и ворошиловский стрелок. Позапрошлой осенью, когда подошёл его год призыва, он ушёл в армию, не пожелав бронироваться на своём номерном заводе. Кольцов и в самом деле всё или почти всё умел делать лучше других, и это знали в роте. Он быстро и умело перевязал Шутикова, когда того ранило, и донёс его на плечах, и он же перед этим догнал и поймал стрелявшего в Шутикова японца. Второй боец, Гаранин, только помог связать японца, когда Кольцов уже сидел верхом на подпоручике и крутил ему руки.

— А может, его развязать, товарищ старший лейтенант? — спрашивал Кольцов, кивая на сидевшего поодаль японца.

— Ничего, пусть так посидит, — сказал командир роты.

Кольцов недовольно провёл рукой по гимнастёрке — его ремнём были скручены руки японца, и он ещё не свыкся с тем, что, сидя с командиром роты, не может незаметно засунуть пальцы под ремень и привычно проверить заправочку.

— Не доходя до этого холмика, товарищ старший лейтенант, они открыли по нас огонь, — стараясь выражаться строго по-уставному, говорил Кольцов. — Шутиков получил ранение, а я и Гаранин открыли ответный огонь. Японцев было до трёх человек. Одного мы уничтожили огнём, а двое начали отступление. Просто говоря, побежали, — усмехнувшись в темноте собственному стремлению доложить всё как можно официально, неожиданно добавил Кольцов. — Ну, я и догнал этого, — кивнул он в сторону японца. — А третий ушёл. Я думаю, он, как и мы, в разведку ходил, товарищ старший лейтенант.

Старший лейтенант кивнул. Он тоже был молод — немногим старше Кольцова — и очень строг, отчасти от природы, отчасти из-за молодости — его всего неделю назад произвели в старшие лейтенанты и поста-

вили на роту. Он рвался в бой, боялся, что боя не будет, завидовал Кольцову, взявшему в плен японского офицера, и ругал себя за то, что удержался и сам не пошёл в разведку.

— Товарищ старший лейтенант, идут! — крикнул чей-то голос.

Старший лейтенант вскочил и убежал в темноту, навстречу приближавшемуся начальству. Кольцов остался один, рядом с продолжавшим стонать Шутиковым.

Кольцов знал, что ему уже, в сущности, пора вставать и продолжать вместе со всеми рыть окопы. Но в то же время он после удачной разведки чувствовал за собой неписаное право ещё несколько минут, ничего не делая, побыть в центре общего внимания и хотел, воспользовавшись этим правом, посидеть возле Шутикова, пока того не унесут на медпункт.

Чем сдержаннее он старался высказываться вслух перед командиром роты и другими, тем более переполняли его душу воспоминания о только что происшедшем. Он вспоминал: и как он в первую секунду вздрогнул, когда японцы выстрелили и, охнув, упал Шутиков, и как он сам сначала стрелял, а потом догонял японца. Японец был высокий и злодоровенный, и ловкому, но не особенно сильному Кольцову не сразу удалось скрутить его. Прежде чем он завернул японцу обе руки за спину, тот сильно, наотмашь, ударил его ребром ладони по шее так, словно хотел перерубить её. Кольцов пощупал шею. Она до сих пор горела и даже как будто немножко вздулась.

«Наверное, это и есть ихнее джиу-джитцу», — подумал он.

— Сильно болит, — тихо сказал впервые за всё время пришедший в сознание Шутиков.

— Ты тише, тише говори, а то, может, тебе вредно, — озабоченно сказал Кольцов и, пододвинувшись, прилёг рядом с Шутиковым, чтобы лучше его слышать.

— Вот те и повоевал, — шёпотом, с обидой, сказал Шутиков, — даже ни одного выстрела не дал. Где-то в спине болит, — добавил он, застонав. — Не в животе, а в спине. Может, пуля в хребет попала.

Он помолчал.

— А пули у них разрывные?

— Нет, не разрывные — у тебя от пули рана маленькая, — сказал Кольцов и стал говорить о том, что теперь не старые времена — раны в живот лечат запросто.

— Разрежут кишку, где пуля дырку пробила, зашьют — и всё дело с концом.

Говоря так, он на самом деле боялся за жизнь Шутикова и настойчиво вспоминал, в какой же книжке он читал, ещё в ФЗУ, про солдат на Кавказе и про то, как умирал солдат от пули в живот.

Из темноты выросли фигуры с носилками. Это были санинструктор и санитар.

— Давай помогу, — сказал Кольцов, поднимаясь с земли.

Носилки опустили рядом с Шутиковым, потом все втрём осторожно приподняли его и положили на носилки.

Услышав, что Шутиков очнулся и его уносят на медпункт, к нему подошли прощаться несколько бойцов, рывших окопы по соседству.

— Ничего, Шутиков, не горюй, выпишешься — вернёшься, — бодрым, но вдруг дрогнувшим голосом сказал кто-то из темноты.

— Навести, — слабо пожимая руку Кольцова, сказал Шутиков.

— Отомстим, будь спокоен, — уверенно и зло ответил Кольцов, которому послышалось, что Шутиков сказал «отомсти».

— Постой-ка, твоя шинель, — перебирая пальцами по краю носилок, вдруг прошептал Шутиков.

И в самом деле, его положили на носилки вместе с обеими шинелями — его и кольцовской.

— Дай-ка я приподнимусь.

Он схватился за края носилок. Ему казалось, что он приподнимается, но на самом деле его приподнял Кольцов. Он одной рукой приподнял Шутикова, а другой тихонько вытянул из-под него шинель.

Шинель упала наземь. Кольцов сжал своей большой, широкой — не по росту — рукой вялую руку Шутикова, и санитары с носилками двинулись в темноту. Почти тотчас же с другой стороны послышались шаги и голос старшего лейтенанта:

— Сюда, товарищ комиссар!

Два часа назад Артемьев, находившийся весь день в составе маленькой оперативной группы при командующем, по его приказанию выехал в батальон, окапывавшийся южнее Баин-Цагана. Артемьеву было приказано обойти позиции, занимаемые батальоном, проверить на месте плотность системы огня — нет ли в обороне слабых участков, на которых могут прорваться японцы.

Первые сведения о том, что батальон вышел в район берега и занял оборону, уже поступили к тому времени, когда командующий вызывал Артемьева. Но по виду командующего Артемьеву показалось, что тот не особенно доверяет полученным сведениям.

— Судя по донесению, представляют себе обстановку в общих чертах, — говорил командующий, сердито сводя к переносице сильные, густые брови. — И в общем, очевидно, представляют себе её правильно, но в частности, допускаю, что врет. Тем более, что не знают местности и занимали позиции уже в темноте. Район берега — ещё не всегда берег. А японцы на рассвете могут предпринять попытку прорваться именно по самому берегу. Передайте моё приказание — обратить главное внимание на берег. Проверьте лично каждый шаг до самой воды. Не являйтесь с донесением, пока сами не потрогаете воду рукой, — добавил он уже вовсе сердито и при этих словах сделал быстрый жест, разжав кулак и с силой выбросив вперёд пальцы. Из-под обшлага его гимнастёрки высунулся краешек рыжего байкового белья. Заметив это, командующий поправил обшлаг и, приложив руку к козырьку фуражки, отпустил Артемьева.

Артемьев вышел от командующего с тем чувством, которое командующий умел и любил вселять в подчинённых, — с желанием расширяться, но доказать, что он сделает не только не меньше, а больше, чем от него потребовали. Одновременно с этим, выходя от командующего, он подумал, что тот хмурится, оставшись недоволен нынешним днём.

Артемьев заблуждался. Результатами дня командующий был, напротив, доволен, несмотря на тяжёлые потери не только танковой бригады Сарычева, но и бронеприкрытия, которая подошла и вступила в бой лишь в середине дня и, однако, уже успела тоже понести чувствительный урон. Командующий считал, что эти потери оправданы достигнутым успехом, и поэтому не переживал их, а лишь всё время держал в уме, подсчитывая силы на завтра.

С рассветом предстояло, заслонившись одним батальоном от возможной попытки противника вырваться из кольца на юг, всеми остальными силами танков и пехоты окончательно раздавить японцев на Баин-Цагане.

Атака должна была начаться на рассвете в четыре часа, времени оставалось мало, и командующего ещё многое заботило. Он хотел знать, как зарылся в землю тот батальон, куда он отправил Артемьева. Он послал поторопить главные силы стрелкового полка, чтобы они подошли к ру-

бежу сосредоточения хотя бы за два часа до атаки и люди успели отдохнуть и получить горячую пищу. С рассветом он направлял на переправу сильный бомбовый удар и одновременно сосредоточивал по ней огонь трёх дивизионов артиллерии — два из них уже подошли и остановились на позиции, но третий был ещё только на подходе. До рассвета оставалось ещё пять с лишним часов, и командующего беспокоило, не начнут ли японцы сейчас, ночью, обратной переправы по понтонному мосту. Признаков этого пока не было. Он считал, что, одновременно и ошеломлённые и взбешённые сегодняшним днём, японцы из упрямства не примут до утра решения отступать и протопчутся на месте, а может быть даже, приведя себя за ночь в порядок, предпримут контратаки. Однако возможность отхода японцев продолжала его заботить, ибо он не привык полагаться только на своё военное чутьё, каким бы безошибочным оно ему ни казалось.

Он был счастлив сознанием удачно начатого сражения и предвидел победу завтра. Но и это счастье и это предвидение выражались у него только в одном: всё в новых и новых приказах, направленных на то, чтобы будущая победа была обеспечена всесторонне и до конца, и в придирчивой проверке того, как выполнены предыдущие приказания, уже отданные с той же целью.

В этом сказывался тот глубоко чуждый головокружению от успехов дух выдержки, спокойствия и предусмотрительности, в котором его вместе с тысячами других командиров, независимо от их служебных рангов, личных склонностей, а иногда и слабостей, десятилетиями терпеливо и непреклонно воспитывала сталинская школа военного искусства.

Именно поэтому, а отнюдь не потому, что он был недоволен нынешним днём, лицо командующего сохраняло строгое выражение озабоченности, которое заметил на нём Артемьев.

Артемьев сделал пять километров на связном броневичке, наткнулся на песчаные барханы, чуть не завяз и, не желая терять времени, вылез из машины. Задержавшись на несколько минут около броневичка, чтобы запомнить в темноте место и определить направление, он пошёл пешком и через пятнадцать минут был уже в штабе батальона.

Там не оказалось никакого начальства. Командир полка, прибывший сюда вместе с батальоном и пославший командующему первое донесение, вновь отбыл к главным силам полка, чтобы подогнать их на марше, а комиссар полка и командир батальона ушли в роты с той же целью, с какой был послан Артемьев, — проверить готовность системы обороны.

В ближайшей, первой роте Артемьев их не застал — они уже ушли оттуда. Вдвоём с командиром роты он обошёл позиции — люди почти всюду заканчивали рыть окопы полного профиля.

Перебравшись во вторую роту, Артемьев нашёл там сразу и командира батальона капитана Красноку и комиссара полка Саенко.

Узнав о поручении, возложенном на Артемьева, Саенко помолчал, пожал ему руку, снова помолчал, медлительно (комиссар полка был вообще нетороплив) прикидывая в уме, всё ли необходимое уже сделано в батальоне, и лишь после этого спросил Артемьева, как ему показались в первой роте.

Артемьев ответил, что, по его мнению, там всё в порядке.

— В порядке-то в порядке, — негромко сказал Саенко, — да уж больно растянули нас по фронту. Хотел в резерве роту оставить, а натянул всего два взвода.

— Да ведь, говорят, до вас тут вообще всего два взвода в охранении стояло? — сказал Артемьев.

— Так разве о том речь, чтобы стоять? О бое речь! — горячо возразил командир батальона капитан Красюк.

Он желал для своего батальона боя, желал, чтобы японцы ударили именно на его батальон, но предпочёл бы при этом встретить их удар так, как положено по уставу: заняв батальоном оборону в полтора-два километра по фронту, а не в четыре с лишком, как выходило сейчас. Эти лишние километры его очень тревожили. Его тревожило и то, что японцы вообще могут здесь не ударить, и тогда их батальон, первым занявший позиции, окажется не у дел, а вся тяжесть боя падёт на остальные батальоны, взаимодействующие с танками. Тревожило его и то и другое, и он в конце концов сам не знал, что больше.

— Пойдём дальше, Иван Платонович, — нетерпеливо обратился он к Саенко, слегка тронув его за рукав.

Они с комиссаром были земляки — оба полтавчане, оба из Кременчугского района, из соседних сёл и знали друг друга с детства с перерывом лет в пятнадцать.

— Пошли, — сказал Саенко.

Теперь уже втроём с Артемьевым они продолжали осмотр позиций второй роты. Там, где работа была закончена, Саенко то и дело спрыгивал в окопы, проверял, полного ли они профиля. Окопы были вырыты на совесть. Только в одном месте, спрыгнув, он сердито крикнул и сделал замечание Красюку: окоп оказался ему мелким.

Глядя на поднимавшиеся над окопом широкие плечи Саенко и на всю его длинную, сутуловатую фигуру, Красюк хотел было пошутить, что нельзя мерить окопы по комиссарскому росту, но во-время удержался. Саенко бывал крут, иногда и покруче самого командира полка — полковника Баталова.

Они заканчивали осмотр позиций второй роты, когда прибежал посыльный из третьей с донесением, что взят пленный. За двадцать минут до этого они все трое слышали винтовочные выстрелы на правом фланге, но Красюк не захотел обращать на них внимание первым — раньше Саенко. Саенко только прислушался и промолчал, а Артемьев счёл неудобным по пустякам вмешиваться в чужие дела.

Узнав о пленном, Саенко прибавил шагу. Осматривая по дороге позиции хотя и внимательно, но всё же поспешней, чем раньше, они столкнулись в окопе с вышедшим им навстречу командиром роты.

— Раненого отправили? — спросил Саенко, приняв рапорт.

— Отправили.

— Тяжёлый?

— Как будто тяжёлый.

— А кто?

— Шутков. По-моему, вы должны его помнить, товарищ комиссар, он у нас в самодеятельности.

Саенко и в самом деле помнил Шуткова, но не потому, что тот участвовал в ротной самодеятельности, а потому, что Саенко считал себя обязанным знать если не всех, то по крайней мере большинство бойцов полка. Для запоминания он не принимал никаких особых мер, а просто так много и так повседневно занимался с людьми и бывал среди них, что к концу первого года своей службы в полку почти каждый из бойцов не по одной, так по другой причине попадал в поле его зрения.

— Да, — сказал Саенко, — Шутков. Вот тебе и первая потеря. — И только после этого спросил о пленном: — Где же японец-то?

Пленный попрежнему сидел на земле рядом с Кольцовым. Ему было страшно, потому что был страшен весь этот день, когда до самой ночи Баин-Цаган утюжили русские танки. Даже ночью, сгоревшие, — а их сгорело и осталось в японском расположении несколько десятков, —

они и после гибели казались неприступными. Мрачно чернея в степи, они напоминали о нанесённых ими страшных потерях. Попавший в плен подпоручик не видел в своей жизни ничего подобного этому дню. Он отправился в разведку с непрошедшим страхом в душе и ещё больший страх испытал, когда во время разведки в темноте куда-то исчезли двое из четырёх сопровождавших его солдат. Преодолев страх, он всё-таки первым заметил русских и первым бросился на них и теперь сидел со скрученными руками, запястья которых больно резал русский солдатский ремень.

Он сидел и боялся сидевшего напротив него Кольцова. Ему казалось, что именно этому взявшему его в плен и теперь молча глядевшему на него русскому солдату поручат его расстрелять.

Его страх усиливался оттого, что во время майских боёв он попросил разрешения у командира батальона и сам расстрелял из маузера двух пленных — одного русского и одного монгола. Русские не могли этого знать, но он знал это. Знал и боялся.

Сидевший напротив него Кольцов не только не собирался расстреливать взятого в плен японского подпоручика, но вовсе и не думал о нём. Кольцов был человек действия: с детства — с первых мальчишеских драк, с юности — с первых же смелых жизненных поступков — всегда отважный и быстрый в своих решениях. Что бы он ни делал — убегал ли, поссорясь с отцом и матерью, на Магнитку, потому что Магнитная гора казалась ему тогда лучшим местом на земном шаре, выступал ли в тридцать третьем году на чистке партии против директора завода, организовывал ли первую в цехе комсомольскую стахановскую бригаду, уходил ли в армию, отказавшись от брони и отложив женитьбу, — он никогда подолгу не размышлял над тем, что было уже сделано и осталось позади.

Это не значило, что он вообще мало думал. Но, человек действия, он думал главным образом о будущих своих поступках. Сначала горячо решал, потом сам наперекор себе выдвигал беспощадные возражения и наконец почти всегда находил способ умело и быстро осуществить задуманное.

Было ему свойственно ещё и желание не просто сделать, а так, чтобы по возможности удивить людей тем, как у него всё здорово получается! Наверное, товарищи ставили бы ему это в вину, если бы не замечали в нём такого же независтливого удивления, когда что-нибудь здорово и легко получалось не у него, а у любого другого человека.

Сейчас Кольцов, глядя на пленного, думал, что надо теперь же попроситься у командира роты в новую разведку, потому что японцы свободно могут выйти на поиски своего подпоручика, и тут их и будет удобней всего взять.

«Кого бы попросить у командира роты с собой в разведку?»

Тут он с жалостью вспомнил о Шутикове, но сейчас же, по свойству своего характера, стал думать не о том, как тяжело ранен Шутиков, а о том, как бы ухитриться после боёв съездить навестить его в госпитале.

Когда Саенко и все остальные подошли к пленному, Кольцов вскочил, а японец остался сидеть на земле. Кольцов бросил руки по швам, в эту секунду впервые за всё время забыв, что он без ремня. Красюк, вытянув голову, посмотрел на него, сомневаясь, не ошибся ли в темноте, но, увидев, что не ошибся и что на Кольцове действительно нет ремня, ничего не сказал, не допуская мысли, что боец его батальона может оказаться без ремня, не имея на то какой-то ещё не известной, но совершенно уважительной причины.

— Встать! — сказал по-японски Артемьев.

Японец, который сидел, подогнув под себя ноги, мягко качнулся и без помощи рук вскочил и стал в положение «смирно». Артемьев сделал шаг к нему и протянул руку. Японец не сдвинулся с места, но дёрнулся лицом, словно ожидая удара. Артемьев дотронулся до плеча японца и, даже не разглядывая, наощупь, понял, что это подпоручик: на полуогончике была одна металлическая звёздочка и шершавая полоска.

— Фамилия? Какого полка? — спросил он, опуская руку.

Подпоручик молчал.

— Фамилия? Какого полка? Какой дивизии? — повторил Артемьев.

Японец молчал. Измученный страхом, он считал, что его всё равно убьют, будет он отвечать или нет.

Если бы кто-нибудь в эту минуту поставил его перед прямым выбором между жизнью и смертью, он, пожалуй, заговорил бы.

Но ни Артемьеву, ни Красюку, ни Саенко, никому из них не пришлось и не могло прийти в голову пригрозить смертью этому пленному — и японец молчал.

— Допросить всё-таки можно было бы, — сказал Артемьев, обращаясь к Саенко, — но мне надо возвращаться с донесением к командующему. Не взять ли его туда с собой?

Говоря это, он знал, что предлагает верное решение, а вопросительную форму выбрал лишь из чувства такта по отношению к людям, взявшим своего первого пленного и, конечно, предпочитавшим, чтобы его допросили при них.

— Берите, — сказал Саенко. — Сколько вам конвоиров?

— Кроме меня, достаточно одного, — сказал Артемьев. — Да больше в мой броневилок и не влезет.

— Товарищ Кольцов, собирайтесь! — коротко приказал Красюк и повернулся к командиру роты. — Он взял — пусть он и конвоирует.

Кольцов застегнул на крючки шинель, но замялся, прежде чем вскинуть винтовку на плечо.

— Что у вас в роте, верёвочного конца, что ли, не найдётся? — наконец, поняв причину замешательства Кольцова, сказал Красюк. — Берите свой ремень!

Кольцов подошёл сзади к пленному, придерживая винтовку, наклонился, с помощью зубов распустил туго затянутый ремень и, озорно, как пастушьим кнутом, щёлкнув им в воздухе, надел ремень поверх шинели, проверил заправку и вскинул винтовку на плечо. Верёвочный конец нашли, и один из бойцов заново старательно связал руки японцу.

Тем временем Артемьев прошёл шагов двадцать вправо, к реке. Хотя ему было уже ясно, что практически, с точки зрения ведения огня, окопы подходят к Халхин-голу вплотную, он всё же решил буквально выполнить то, о чём фигурально сказал командующий, — потрогать собственной рукой воду. В ту минуту, когда он начал спускаться к воде, луна скрылась за тучами и сразу наступила полная темнота. Он сделал ещё шаг. Нога наступила на что-то скользкое, съехала, и он мгновенно очутился почти по пояс в воде.

— Что там такое? — крикнул Саенко, услышав всплеск.

— Ничего, искупался, — откликнулся Артемьев. Ругая себя за мальчишество, чувствуя, как хлюпает набравшаяся в сапоги вода, он вылез на берег и подошёл к Саенко.

— Глубоко, однако, сразу же у берега, — неуверенно сказал он, понимая, что попал в смешное положение.

— Так вы бы спросили, мы бы это вам и так сказали, — добродушно усмехнулся Саенко. — Много воды набрали?

— Изрядно.

— А где стоит ваш броневичок?

Артемьев ответил, что метрах в восьмистах за командным пунктом батальона.

Красюк остался в роте, а Саенко сказал, что если так, то им с Артемьевым по пути, и, не теряя времени, уверенно зашагал во всё сгущавшейся темноте. Артемьев и Кольцов с пленным пошли следом за ним.

Простившись с Саенко у его палатки, Артемьев быстрым шагом, спотыкаясь в темноте на кочках, пошёл вместе с пленным и Кольцовым в ту сторону, где по его расчётам остался броневичок.

Кажется, пора было взять немного левее. Он решил это, почувствовав ногами начинавшийся подъём. Когда он шёл от броневика, холм оставался влево; теперь он был справа, и следовало наискось срезать дорогу по его склону.

У Артемьева было хорошее от природы и к тому же натренированное зрение, но в этой тьме и оно не помогало. Пленный оступился позади него и, удерживаясь, чтобы не упасть, ткнулся ему лбом в спину. Артемьев вздрогнул и подумал, что как ни глупо, но такая абсолютная темнота действует ему на нервы.

— А как вы его взяли, товарищ Кольцов? — весёлым и громким голосом спросил он.

Кольцов неохотно, как всегда в тех случаях, когда дело касалось прошлого, рассказал, как он забрал пленного. Он был и доволен тем, что его назначили сопровождать пленного, и жалел, что теперь уже не успеет пойти в новую разведку. Когда капитан Красюк приказал ему идти конвоиром, он не осмелился возражать своему командиру батальона. Но капитан, с которым он шёл теперь, хотя и был тоже капитан, но всё-таки не из их батальона и даже полка. С ним Кольцов решил пойти на откровенность и с жаром объяснил свой план несостоявшейся новой разведки: как японцы наверняка пришли бы искать этого подпоручика и как всё вообще толково бы получилось.

— Да, — сказал Артемьев, слушая и в то же время озабоченно стараясь не спутать направления, с которого, как ему казалось, он начал сбиваться. — Задумано неплохо. Если бы знал, взял бы вместо вас другого конвоира.

— Люблю разведку, товарищ капитан! — сказал Кольцов.

И хотя он произнёс эту фразу уверенно, как бывалый разведчик, но в ней не было хвастовства своей первой удачей. Он всей душой переживал сейчас уже не прошлое, а будущее, одно за другим рисуя в воображении неимоверно рискованные и неизменно удачные дела.

— Как вы думаете, товарищ капитан, если рапорт подать, чтобы в полковую разведку взяли? Или, может, неудобно? А?

— Почему же неудобно? — рассеянно сказал Артемьев, нащупывая дорогу. Где-то здесь должен был начинаться мелкий овражек. — Не в кашевары ведь проситесь. Сами-то вы откуда?

— Московский.

— А кем работали до призыва?

— Токарем.

И Кольцов назвал завод, соседний с тем, где всю жизнь проработал отец Артемьева.

— Вот как! — сказал Артемьев. — Выходит, мы с вами не только земляки, а, можно сказать, соседи.

Он остановился. Овражка попрежнему не было. Кажется, он всё-таки сбился с пути. В душе ругая себя, он вытащил из кармана фонарик и

несколько раз безнадёжно нажал кнопку. Батарейка намокла, когда он поспал в воду, а он почему-то сдуру не попросил фонаря у Саенко, решив, что дойдёт и так. Теперь они плутают, а время дорого.

Не успев сунуть фонарь обратно в карман, он споткнулся, уронил фонарь, упал на вытянутые руки, а поднимаясь, увидел совсем близко вспышку выстрела и услышал, как рядом свистнула пуля. Падая на одно колено и вытаскивая из кобуры пистолет, он увидел новую вспышку. Вторая пуля взвизгнула над его головой, и он с колена, раз за разом выстрелил сначала туда, где видел вспышки, потом ниже — на случай, если стрелявший бросился на землю, — и ещё по два раза правой и левой.

После этого он лёг и отполз на несколько шагов в сторону. Сзади и уже довольно далеко слышался топот бегущих людей и яростные крики Кольцова: «Стой! Стой, говорят!».

Очевидно, воспользовавшись неожиданными выстрелами, пленный побежал и конвоир гонится за ним. «Догонит», — почему-то с уверенностью подумал Артемьев о Кольцове.

Кольцов ещё раз крикнул: «Стой!», потом оттуда донёсся выстрел, и всё стихло. Было тихо и здесь; так тихо, что казалось, не было и не могло быть ничего — ни выстрелов, ни вспышек, ни человека, который, живой или мёртвый, лежит сейчас в двадцати шагах отсюда.

«И может быть, не один, — подумал Артемьев. — Хотя, — возразил он себе, — если бы их было несколько, они почти наверняка стреляли бы сразу. Как бы там ни было — нельзя до бесконечности лежать тут и ждать».

Артемьев помнил, что у него остался только один патрон в стволе. Достав из кобуры запасную обойму, он вытащил старую и вставил новую, стараясь не щёлкнуть ею. После этого он пополз, делая по траве полукруг и рассчитывая оказаться позади того места, по которому стрелял. Ему хотелось окликнуть Кольцова, но делать этого было нельзя, потому что тот, за кем Артемьев охотился, мог, если он жив, начать стрелять на голос.

«Убил я его или не убил?» — подползая всё ближе, спрашивал себя Артемьев. Сейчас, задним числом, он понимал, что стрелял хладнокровно и расчётливо, но всё же была ночь, а не день, и он мог и не попасть в японца.

«Откуда этот японец?» — подумал он и вспомнил, как адъютант командующего говорил при нём, что нужно выставить на ночь двойную охрану, потому что после танковых атак много японских солдат поодиночке расползлось с Баин-Цагана кругом по степи.

Вспомнив это, Артемьев в ту же секунду скорей почувствовал, чем увидел, что-то лежавшее в темноте в двух шагах от него. И впервые за всё время, содрогнувшись, подумал: «А вдруг — не японец, а наш? — Не может быть! — с облегчением отверг он эту мысль. — Мы же громко говорили по-русски».

Согнув в локте руку с пистолетом и отведя её назад, он как можно дальше вытянул другую и наткнулся на чьё-то плечо. Оно не дрогнуло. На плече был погончик. Артемьев стал ощупывать дальше — воротник и голову с жёсткой щетиной коротко остриженных волос. На темени волосы слиплись от крови. Японец, отстреляв, наверно бросился на землю и был убит тем самым третьим выстрелом, что Артемьев дал на этот случай. Тело ещё не остыло, но сама рана не оставляла сомнений в том, что японец мёртв.

— Товарищ капитан! — донёсся шёпот сзади.

— Ползите сюда, — так же шёпотом сказал Артемьев.

Через несколько секунд Кольцов был рядом с ним.

— Как пленный? — спросил Артемьев.

— Не догнал, пришлось подранить, — извиняющимся тоном сказал Кольцов.

— А где он?

— Там оставил. Он без сознания. Но я ему ноги всё-таки связал.

— А куда ранили?

— Я ему в ноги стрелял. Но он как раз упал... — с запинкой сказал Кольцов ещё более извиняющимся тоном, чем в первый раз, и Артемьев подумал, что, кажется, дело плохо.

— Снимите шинель, — сказал он Кольцову, — выясним, кого я тут застрелил. Накройте меня с ним шинелью, я зажгу под ней спичку и посмотрю.

Почувствовав над головой шинель, которую со всех сторон плотно обжимал Кольцов, Артемьев сразу ощутил духоту и запах крови. Сунув было руку в карман за спичками, он вспомнил, что они намокли, так же как и батарейка, и спросил Кольцова, есть ли у него спички.

Кольцов молча подсунул их под шинель. Артемьев чиркнул спичкой. Убитый был старший унтер-офицер, артиллерист. Ощупав карманы его хлопчатобумажного мундира и брюк, Артемьев взял бумажник с документами и сбросил с себя шинель.

«Вполне мог итти в темноте своей дорогой и остаться в живых, — подумал он о японце. — Всё-таки им прививают большую ненависть к нам и, судя по этому унтеру, не без успеха».

Они вернулись к пленному. Вся спина у него была в крови. Он дышал, но был без чувств и лежал на краю того самого овражка, который искал Артемьев. Теперь было наконец ясно, где стоит броневичок, — метров за двести отсюда, если взять влево.

— Ну что ж, понесли, раз уложили, — всерьёз сказал Артемьев Кольцову.

Они подняли пленного — Артемьев подмышки, приумолкший Кольцов за ноги — и пошли к броневичку.

Кольцов всё время сбивался с ноги, и Артемьев не удержался и шёпотом спросил:

— Ну что вы там ковыляете? Время-то ведь не ждёт!

— Я, товарищ капитан, когда за ним бежал, ногу свернул, поэтому мне и стрелять пришлось.

Кольцов сказал это только теперь, отвечая на вопрос Артемьева. То, что он, гонясь за японцем, свернул ногу, он считал не оправданием для себя, а, наоборот, своей новой виной.

Броневичок оказался ещё ближе, чем думал Артемьев. Через полтора шагов водитель остановил их окриком: «Стой!» и лягнул затвором. Он слышал выстрелы и был встревожен.

— Это я, — сказал Артемьев, — капитан Артемьев.

— А я уж беспокоился за вас, товарищ капитан, думал — что за выстрелы?

— По дороге расскажу. Помогите посадить к вам пленного.

— А вы?

— А я в башню.

Бесчувственного японца втащили в броневичок и посадили рядом с водителем, на командирское место. Артемьев полез в башню.

— А мне куда прикажете, товарищ капитан? — спросил Кольцов.

— Обратно в батальон. В таком виде я его и один доведу.

— Извините, товарищ капитан, — удручённо сказал Кольцов. — Разрешите ремень взять?

— Какой ещё ремень? — не понял Артемьев.

— Я ему ноги связал.

— Берите.

Кольцов постучал в боковую дверцу, уже закрытую водителем, и несколько секунд возился, развязывая ремень.

— Разрешите идти? — громко хлопнув дверцей, спросил он.

Артемьев не видел его, но почувствовал, как он в темноте козырнул и вытянулся.

— Идите.

Водитель завёл мотор, и броневичок, погромыживая и переваливаясь на буграх, покатился по степи.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Была глубокая ночь. Артемьев, остановленный часовыми перед палаткой командующего, дожидаясь, пока адъютант, зашедший внутрь палатки, доложит о нём. У него не попадал зуб на зуб от холода; вечером перед уходом, чтобы добираться налегке, он оставил у адъютанта командующего свою шинель и теперь жалел об этом. Палатка за эти часы передвинулась на два километра вперёд, и он боялся, что адъютант забыл его шинель на старом месте.

Совсем рядом с палаткой были развороченные гусеницами окопы, в которых ещё утром сидело японское боевое охранение. Палатка была кругом оцеплена стоявшими в двадцати шагах друг от друга часовыми.

Ежась от холода, Артемьев стоял рядом с часовым и ждал адъютанта, который что-то долго задерживался.

Из палатки кто-то вышел. Артемьев увидел знакомую полную фигуру начальника штаба. Начальник штаба вперевалку дошёл до своей стоявшей возле палатки машины, хлопнул дверцей и уехал.

Командующий вчера временно перенёс свой командный пункт сюда, но весь день (Артемьев наблюдал это) продолжал сам руководить боем и на восточном берегу. Наверно, он сейчас вызывал к себе начальника штаба перед завтрашним днём.

Наконец адъютант вернулся, и Артемьев, войдя в палатку, увидел, что в ней, кроме командующего, были ещё четыре человека: командир танковой бригады Сарычев, моложавый, вихрастый, по виду похожий на лейтенанта, командир бронебригады майор Луговой и двое незнакомых Артемьеву: рослый, смуглый, черноусый полковник и молодой полковой комиссар без гимнастёрки, в шинели, накинутой на плечи поверх нательной рубашки. Он стоял пил чай, зябко спорбив плечи и постукивая зубами о край эмалированной кружки.

Командующий сидел в углу на своей неизменной парусиновой табуретке и показывал нагнувшемуся над картой командиру бронебригады, куда тот должен вывести один из своих батальонов, к рассвету переправив его на восточный берег.

— Огнём и бронёй ударите с тыла по японцам, когда мы их сбросим с Баин-Цагана и они покатаются к переправе, — сказал командующий уверенно, подчёркивая слово «покатаются». — Задача ясна?

— Ясна, товарищ комкор!

— А что у вас лицо такое? Сапоги жмут?

— Потери большие, товарищ комкор.

— Потери — как потери, — сказал командующий, — завтра, когда выполним задачу до конца, — подсчитаем. Может, и не такие уж большие. Отправляйтесь! — Он привстал и крепко пожал руку командиру бронебригады. Несмотря на строгий тон разговора, он в душе был

доволен самоотверженными действиями бронеприкрытия, которую он сегодня в середине дня, лишь только она подошла, бросил в самое пекло боя.

— Ну, как дела на берегу? — обратился командующий к Артемьеву, когда командир бронеприкрытия вышел из палатки.

Артемьев доложил о прибытии, стараясь унять дрожь озноба в приложенной к козырьку руке.

— Батальон окопался, — доложил он, — и заканчивает рыть окопы полного профиля, правым флангом упирается в самый берег. Как вы приказали — лично проверил.

— Это я вижу, — без улыбки сказал командующий, оглядывая с ног до головы Артемьева, его мокрые брюки и тоже мокрую до пояса гимнастёрку. — Что-то вы все сегодня купаться взялись?

Он мельком взглянул на полкового комиссара, и Артемьев увидел, как тот покраснел.

— Я вам докладывал, товарищ комкор, — сказал черноусый полковник, — что мой Красюк всё сделает, как положено.

И Артемьев понял, что черноусый полковник был командир стрелкового полка — Баталов — и что его полк, очевидно, уже прибыл целиком.

— Так ведь в такую цепочку пришлось растянуть ваш батальон, — сказал командующий, — что поневоле сам тревожился.

— Теперь весь полк здесь, — сказал полковник. — Можно не тревожиться.

— А я теперь и не тревожусь, можете меня не успокаивать, — с иронией заметил командующий и посмотрел на Артемьева, словно по его лицу видел, что капитан доложил ещё не всё.

— В батальоне взяли в плен японского подпоручика, — сказал Артемьев, на мгновение запнулся и закончил решительной скороговоркой: — Но по дороге сюда он при попытке к бегству был ранен и умер.

Командующий поморщился и долго молча и строго смотрел в лицо Артемьеву, как бы спрашивая — правда ли это насчёт попытки к бегству?

— Документы? — наконец сказал он.

— При мне.

Артемьев дотронулся до кармана гимнастёрки.

— Отдайте, — кивнул командующий в сторону адъютанта и, снова оглядев Артемьева с головы до ног, неожиданно мягко добавил: — Чаю выпейте — вон в термосе, да приткнитесь где-нибудь, поспите. Через два часа вместе с пехотой пойдём громить самураев.

— Можно сказать, что они уже в основном разгромлены, — наливая себе горячего чаю в крышку термоса, услышал Артемьев голос командира танковой бригады.

Эта фраза походила на возражение, и Артемьев ожидал, что командующий ответит на неё резкостью. В палатке воцарилась тишина. Артемьев слышал, как его зубы стучат о крышку термоса, так же как за минуту до этого — зубы пившего чай комиссара.

— Это верно, — наконец сказал командующий.

— Главное дело сделано. Сегодня, танкистами, — продолжал командир танковой бригады. — Осталось только догромить. Сбросить в воду и закрепить поле боя.

Командующему не понравились слова Сарычева, они были бестактными по отношению к командиру стрелкового полка, людям которого предстояло ещё идти в атаку и своей кровью закреплять это поле боя. Но в то же время он понимал и Сарычева, у которого, по неполным данным, было сожжено и подбито шестьдесят танков, убит один коман-

дир батальона, ранен второй и была ещё не известна судьба третьего. Сарычев терзался этими жертвами, и ему хотелось подчеркнуть, что ценой их уже достигнуто главное.

Только поэтому командующий, вместо того чтобы одёрнуть Сарычева, помолчав, повернулся к нему и сказал:

— Ваша атака при поддержке пехоты, артиллерии и авиации должна быть последней и решающей успех дела. Бригаду поведёте лично.

Чувствуя себя лишним при этом разговоре, Артемьев, обжигаясь, проглотил несколько глотков чая, поставил на землю термос и, отковыряв, вышел из палатки. Последнее, что он видел, выходя, было откровенно счастливое лицо командира танковой бригады.

Адъютант командующего, выйдя вслед за Артемьевым, сунул ему в руки шинель и сказал, что в двухстах шагах отсюда стоит палатка танкистов, куда он уже отправил одного офицера связи и где, пожалуй, можно пристроиться.

Артемьев поблагодарил адъютанта больше за шинель, чем за эти слова, но почувствовал такую усталость и озноб во всём теле, что ему показалось слишком трудным делать сейчас ещё двести шагов, да вдобавок неизвестно, в каком направлении. Отойдя на три шага от палатки, он опустился прямо на землю, удобно положил голову на бруствер японского окопа и накрылся шинелью.

Возбуждённое сознание лихорадочно напоминало ему всё происшедшее за последние двое суток бессонной работы в оперативном отделе. Сначала спокойное нанесение спокойной обстановки на карту для доклада командующему, потом внезапная канонада, японская танковая атака и, впервые после ранения, снова свист снарядов над головой. Потом ночная сумасшедшая гонка по непроглядной степи в штаб танковой бригады, а из неё — в стрелковый полк. После встречи на полдороге с другим, уже побывавшим в полку офицером связи — возвращение обратно в штаб и сразу новая поездка в танковую бригаду по вызову уже прибывшего туда командующего. Потом два рейса в броневичке на поле боя с приказаниями и, наконец, последняя ночная поездка со всеми её событиями.

Он с усталостью и удовольствием подумал, что это и есть жизнь штабного командира на войне. Прекрасно понимая, что далеко не всегда будет так, он в эту минуту желал себя уверить, что именно так всегда и будет.

Начавшее чуть-чуть пригреваться под шинелью тело всё сильнее скобывал сон.

— А вы напрасно стесняетесь, — доносился из палатки голос командира танковой бригады. — В бою всё бывает. Танк ваш мы завтра из болота вытащим, а экипаж вы сохранили, пулемёт сняли, через японцев пробились, в плен не попали — для первого боя не так плохо.

— Совестно то, — сказал другой, не знакомый Артемьеву голос — голос Гордиевского, — что комиссар бригады с самого начала забирается не туда, куда надо, тонет в болоте и потом весь день занимается спасением собственной шкуры.

— Ну, положим, не только своей, — возразил Сарычев.

— Ну, не только своей, но я пошёл с батальоном, а батальон весь день воевал без меня, и командир его убит.

— Да, потери в комсоставе сегодня тяжёлые. — с усталой хрипотцой в голосе сказал Сарычев. — Дудников убит, Пахомов ранен и Климович всё ещё не обнаружен ни в живых, ни в мёртвых.

В палатке замолчали.

«Климович... Неужели может быть такое совпадение?» — сквозь сон подумал Артемьев.

Артемьев проснулся то ли от света — потому что был четвёртый час утра и начинало светать, — то ли от голоса командующего, который кричал в телефон.

— Да что вы мне с вашим седьмым отделом! — сердился командующий. — Вы там занимаетесь разложением войск противника у себя в типографии, а мне тут пленного на поле боя допросить некому! Где переводчик? Что-то он долго у вас едет. Наверное, не в ту сторону поехал.

Артемьев быстро вскочил с земли, мельком увидел торчавшие из полузасыпанного окопа ноги мертвеца, обутые в японские солдатские ботинки, и пошёл к палатке, откуда раздавался голос командующего. Полог был приоткрыт. У входа стояли часовой, ещё два красноармейца и пленный японец.

— Товарищ командующий, разрешите? — сказал Артемьев, останавливаясь у входа в палатку рядом с часовым.

— Войдите, — командующий положил телефонную трубку и сердито поднял глаза.

— Я думаю, что могу перевести ваши вопросы пленному и его ответы, — войдя, сказал Артемьев.

— Думаете, что можете переводить, или действительно можете?

— Могу, — волнуясь от сознания своей неопытности, сказал Артемьев.

Японец вошёл в палатку в сопровождении одного из конвоиров. Теперь, внутри палатки, при свете лампочки, работавшей от движка, Артемьев разглядел, что конвоир был не красноармеец, как ему показалось сначала, а лейтенант с упрямым, почти сердитым выражением лица, в глубоко надвинутой на лоб пилотке. Войдя, он слегка подтолкнул японца и стал позади него.

Японец держал руки за спиной. На нём был зелёный бумажный, испачканный в глине френч и вымазанные в грязи высокие сапоги. Он был ранен в шею и перебинтован зелёным японским бинтом с пятнами присохшей грязи. От бледного скуластого лица японца, казалось, вместе с кровью отлила и желтизна. Над губой двумя пучками торчали редкие, как у ещё не начинавшего бриться мальчика, чёрные усики. Под побледневшей кожей застыли твёрдые желваки скул. Зубы у японца были сцеплены, как у человека, приготовившегося молчать. Ему было трудно стоять. Он шагнул вперёд и, чтобы сохранить равновесие, встал, широко расставив ноги.

— По-моему, полковник? — вопросительно обращаясь к Артемьеву, сказал командующий, несколько раз переведя до этого взгляд с лица японца на видневшиеся на его плечах маленькие полупогончики и обратно. — Спросите, какого полка.

С запинкой подбирая японские слова, Артемьев спросил японца. Тот ответил быстро и даже, как показалось Артемьеву, охотно.

— Полковник Харада, начальник штаба восемьдесят девятого пехотного полка.

— Какие ещё полки седьмой и двадцать третьей дивизий переправились на этот берег? — спросил командующий.

— Двадцать шестой, — ответил японец.

— А ещё?

Японец молчал. Артемьев повторил вопрос, думая, что неточно перевёл его. Японец помолчал ещё несколько секунд и сказал, что на этот вопрос отвечать не будет. Артемьев перевёл.

— Переведите ему, — сказал командующий, — что он всё равно уже нарушил долг: назвал два полка.

Японец ответил, что в группе взятых вместе с ним пленных он видел солдат из обоих полков, это уже известно и не составляет тайны.

— Скажите ему,— командующий жёстко усмехнулся,— что сегодня к вечеру для нас на этом берегу уже не будет никаких тайн. Всё, что мы не определим по пленным, мы определим по мёртвым.

Артемьев, как сумел, справился с этой трудной фразой, не вполне уверенный, однако, что японец его понял. Но, судя по ответу японца, тот понял.

— Мы потерпели поражение на этом берегу,— хладнокровно сказал он.

— И на том потерпите,— как бы про себя, ни к кому не обращаясь, сказал командующий.— Пусть ответит, какие потери понёс его полк после переправы? — спросил командующий.

— Большие,— коротко сказал японец, когда Артемьев перевёл ему вопрос. Потом помолчал и быстро и зло проговорил фразу, которую Артемьев сразу не понял. Он переспросил, и японец так же зло, но уже раздельно и медленно повторил эту фразу.

— Он говорит, что будет отвечать только на вопросы, касающиеся лично его. На остальные вопросы ему запрещает отвечать устав японской императорской армии.

— Вот как! А спросите-ка его — в плен ему устав разрешает попадать?

Японец ответил, что нет, но что в плен он попал раненый.

— А что это он руки за спиной держит? — спросил командующий, обращая внимание на неподвижность позы японца.

— Связали мы ему,— с твёрдой уверенностью в своей правоте ответил лейтенант.

— А ну, развяжите! — строго сказал командующий.

— Товарищ командующий, разрешите доложить... — упрямо начал лейтенант, но командующий прервал его:

— Сначала развяжите, а потом доложите.

Лейтенант недовольно вздохнул, вынул из кармана складной перочинный ножик, раскрыл его, для чего-то вытер о полу гимнастёрки и, нагнувшись, разрезал верёвку, связывавшую руки японца. В момент, когда он сначала натянул верёвку, а потом перерезал, плечи японца дрогнули, опустились и снова приподнялись, однако он не вынул рук из-за спины, только заметно было, как он шевелит сзади затёкшими пальцами.

— Теперь докладывайте, зачем вы ему руки связали? Бойтесь, что ли, его? А? — спросил командующий.

— Никак нет,— угрюмо ответил лейтенант,— не боюсь, а он у бойца винтовку вырвал, хотел бойца заколоть и на штык напороться, своё харакири сделать. Лучше бы его всё-таки связанным держать, товарищ командующий.

— Что, боишься, меня заколет? — сказал командующий.— Ничего, не заколет.

Он долго внимательно смотрел на японца, потом, повернувшись к Артемьеву, сказал:

— Нервишки не в порядке, вот и бесится. Не ждал, что первый же большой бой так повернётся, а теперь жить не хочет. Амбиции у них много. Слишком большую роль воспоминаниям придают. Спросите-ка его, помнит он Цусиму?

Артемьев, в душе недоумевая, зачем понадобилось командующему спрашивать про Цусиму, перевёл вопрос. Японец гордо вздёрнул голову и сказал, что очень хорошо помнит.

— Скажите ему — пусть забудет,— с насмешливым спокойствием сказал командующий и повернулся к лейтенанту.— Как там остальные пленные?

— Уже погружены в машины. Только этого ждут.

— Ну и везите их всех в разведотдел,— сказал командующий.

Японец почувствовал, что разговор окончен, и его бледное лицо стало ещё бледнее.

— Переведите, что я могу дать ответы, которые касаются моей собственной личности,— быстро сказал он.

Артемьев перевёл.

— Переведите ему, что его личность меня не интересует,— равнодушно сказал командующий и отвернулся, подчёркивая этим, что разговор окончен.

Японец выслушал перевод последней фразы командующего, хотел что-то сказать, но лейтенант дотронулся до его плеча, и он, чётко, на одном каблуке, повернувшись, вышел из палатки впереди лейтенанта.

— Где изучали язык? — спросил у Артемьева командующий, когда японец и лейтенант вышли.

— В академии.

— Может, вас перевести из оперативного в разведотдел?

Артемьев молчал.

— Ну, что молчишь? — вдруг с грубоватым добродушием на «ты» спросил командующий. — Пока ещё твоё мнение спрашивают.

— Если не будет других приказаний,— сказал Артемьев,— я бы хотел остаться в оперативном отделе.

— Что ж, это верно,— сказал командующий, помолчав и, как показалось Артемьеву, задумавшись.— Оперативный отдел молодому командиру для начала шире. А у нас начало.—И, снова помолчав, повторил:— Самое ещё только начало.

Командующий поднялся и вышел из палатки. Артемьев вышел вслед за ним, не совсем ясно представляя себе, что ему делать: оставаться при командующем или идти в палатку к другим командирам оперативного отдела, не навязываясь здесь своим присутствием. Колеблясь, он одновременно думал о том, какое впечатление произвёл на него японец. Хотя командующий презрительно сказал: «нервишки не выдержали», но, честно говоря, на Артемьева японский полковник произвёл впечатление сильного человека, и, несмотря на вчерашнее сражение, которому Артемьев был свидетелем, ему всё-таки казалось, что за этим сильным человеком стоит и сильная армия.

Об этом же думал и командующий, глядя на светлосерое небо, сливавшееся на горизонте с серо-зелёным гребнем Баин-Цагана. Лучше и привычнее разбираясь в людях, чем Артемьев, он видел, что японский полковник, несмотря на своё стремление казаться дерзким, был на самом деле угнетён и растерян. Однако следовало делать поправки и на его плен, и на его ранение, и на только что пережитый им неудачный бой.

Командующий думал о том, что таких полковников несколько сот в дивизиях, штабах и тылах стоящей в Маньчжурии Квантунской армии и несколько тысяч в самой Японии и в её оккупационных армиях в Китае, тысячи старших и десятки тысяч младших офицеров, воспитанных на преувеличенных и высокомерных воспоминаниях о Мукдене, Ляояне и Цусиме. Минуту назад он допрашивал одного из них, попавшего в плен. Но тысячи других продолжали командовать ротами, батальонами, полками, дивизиями — и заставить их пересмотреть свои взгляды на наше оружие можно только силою этого оружия.

Из быстро подъехавшей «эмки» выскочил Сарычев; он был недавно выбрит, и от него ещё пахло одеколоном.

— Всё объехали? — спросил командующий.

— Так точно! — празднично ответил Сарычев. — Пехота завтракает, танки пополняют боекомплект. Полная боевая готовность на четыре ноль-ноль обеспечена.

— Соедини меня с начальником штаба, — не оборачиваясь, через плечо, сказал командующий адъютанту, который вырос рядом с ним как из-под земли, лишь только командующий вышел на воздух.

Адъютант вошёл в палатку; было слышно, как он крутит ручку полевого телефона. Командующий посмотрел на часы. До четырёх оставалось тридцать шесть минут.

— Есть, соединил, товарищ командующий, — послышался голос адъютанта.

Командующий не спеша повернулся, вошёл в палатку, и оттуда тотчас же послышался его негромкий отрывистый бас.

— Как авиация, Фёдор Гаврилович, всю поднял? А то артиллеристы — народ точный, начнут секунда в секунду. Хорошо. Хорошо, — ещё раз повторил он. — Через шесть минут? А что мне проверять? Я на месте проверю. Через шесть минут жду её у себя над головой — вот и вся проверка. Почаще доносите мне, что в центре и на правом фланге. У меня всё.

Он крутанул ручку телефона и снова вышел из палатки.

— Авиация уже в воздухе, — сказал Сарычев.

— Сейчас посмотрим, как пройдёт над головой, и объедем батальоны.

— Первый батальон тут рядом, — сказал Сарычев и указал пальцем налево, на лощину, от которой медленно отрывалась полоса утреннего тумана.

— Обнаружился командир батальона? — спросил командующий.

— Обнаружился. Только ночью вышел из боя. Но полчаса назад без разрешения отлучился из батальона, — с досадой сказал Сарычев.

Командующий строго поднял брови, но Сарычев не успел объяснить: совсем близко раздался шум мотора, и из полосы тумана прямо на палатку выехал танк. Лязгнув на месте гусеницами, он остановился.

На лобовой броне танка, между гусеницами, лежал танкист с белым мёртвым лицом, в шлеме, застёгнутом под подбородком на ремешок, и в рыжем кожаном обгорелом пальто. У пояса тело, чтобы не свалилось на ходу, было перехвачено, как ремнём, дважды обёрнутым вокруг него толстым буксирным тросом.

Из башни танка вылез Климович, спрыгнул на землю и, остановившись перед Сарычевым и командующим у передних траков своего танка, приложил руку к шлему, надетому на голову поверх закопчённой повязки.

— Разрешите, товарищ командующий, — сказал Сарычев.

— Пожалуйста.

Командующий внимательно смотрел на Климовича, на его танк и на лежавшего на броне мёртвого танкиста.

— Где вы пропадали? — резко спросил Сарычев, сделав шаг к Климовичу.

— Вывозил с поля боя тело капитана Синицына, — сказал Климович с угрюмостью человека, который готов выслушать от начальства любой выговор, понимая свою вину, и в то же время знает, что он всё равно не мог поступить иначе.

Сарычев уже было хотел распечь его за то, что он, только ночью выйдя из боя, зная о готовящейся атаке и не отдохнув перед ней, на целых полчаса бросил батальон. Но Сарычев не удержался и взглянул на тело Синицына, а раз не удержавшись и взглянув, уже забыл о своём намерении сделать выговор Климовичу. Подойдя вплотную к танку,

Сарычев стал смотреть на мёртвого Сеницына. Кожанка у Сеницына обгорела, но лицо было нетронуто — должно быть, он успел высочить из танка. На шее была запёкшаяся чёрная пулевая смертельная рана.

«Вот ещё и Сеницын», — подумал Сарычев, глядя в открытые мёртвые глаза Сеницына, того Сеницына, о котором ещё пять минут назад можно было думать, что он ранен и отлёживается где-нибудь на поле боя и его ещё спасут, захватив всё пространство Баин-Цагана. Теперь Сеницын был тоже мёртв, как командир четвёртого батальона Дудников, как начальник штаба третьего батальона Чикарьков, командир седьмой роты Гогладзе и девятой — Фролов.

— Куда его? — целиком отдавшись своим мыслям, услышал Сарычев за спиной голос Климовича.

— Потом решим, — неопределённо ответил он. — За штабом твоего батальона — палатка медпункта. Там, около неё положи. Там пока ещё и другие... товарищи лежат. — Сарычев запнулся перед словом «товарищи», которое относилось к мёртвым.

— Сейчас я к тебе приеду — проверь готовность. Через тридцать минут атака, — добавил он, с радостью вспомнив, что на этот раз сам поведёт бригаду.

Климович молча приложил руку к шлему.

Сарычев повернулся и, увидев, что командующий тем временем прошёл шагов пятнадцать вперёд и стоит с биноклем на маленьком бугорке, двинулся вслед за ним.

Проводив глазами Сарычева и собираясь лезть обратно в танк, Климович уже схватился за поручни, когда его кто-то окликнул:

— Костя!

Обернувшись, он увидел, что рослый капитан, который раньше стоял поодаль, за командующим и Сарычевым, был Артемьев — только ещё больше раздавшийся и покрупневший за те годы, что они не виделись.

— Здравствуй, — обыденно, как показалось Артемьеву, сказал Климович и, не снимая перчатки, подал ему руку.

— А я ночью слышал твою фамилию, — взволнованно сказал Артемьев, тряся руку Климовича, — но подумал, не может быть, чтобы ты!

— И я вот тебя увидел издали и тоже не подумал, что ты, — ответил Климович.

— Ты давно здесь?

— Вчера первый бой, — сказал Климович. — А ты?

— Уже второй месяц.

Артемьев хотел сказать что-то ещё, но Климович показал на танк.

— Мне в батальон.

— Когда же увидимся? — горячо спросил Артемьев, всё ещё не выпуская руки Климовича.

— Теперь до вечера, — просто сказал Климович.

— Хорошо, до вечера, — ответил Артемьев, отпустив и снова стиснув руку Климовича, и только в эту секунду, повторяя слова «до вечера», заметил, как их руки сошлись в рукопожатии всего в нескольких вершках от закинутого навзничь белого мёртвого лица лежавшего на броне капитана-танкиста.

Но Климович не заметил этого. Схватясь снова за поручни, он полез в башню, твёрдо зная, что, очевидно, рад, даже очень рад встретить Артемьева, но в то же время с удивлением чувствуя, что сейчас он не испытывает этой радости, не испытывает вообще ничего, кроме усталости и головокружения от запаха пороховых газов, которыми опять дохнуло на него, едва он влез в башню.

— До вечера! — ещё раз крикнул он из башни.

Мотор заревел, и танк, развернувшись, пошёл к лощине, где уже наполовину рассеялся туман и стали видны очертания других танков.

Командующий и Сарычев стояли на пригорке и оба смотрели в ту сторону, куда через тридцать минут должны ринуться танки и пехота, чтобы стереть с лица земли по эту сторону Халхин-гола всё то японское, что ещё оставалось здесь после вчерашнего боя.

Хвосты тумана кое-где цеплялись за лощины, но горизонт был уже ясен, и на нём виднелись бугорки сгоревших вчера танков.

— Поле боя, поле смерти, поле победы — всё вместе, — торжественно, почти как стихи, сказал командующий. — Когда всё кончится, на горе Баин-Цаган вместо памятника поставим танк. Один из этих.

И он показал на горизонт.

— Здесь всё будет кончено уже сегодня, — сказал Сарычев.

— Здесь — да, — сказал командующий, прислушался и посмотрел вверх. Самолётов ещё не было. — А ты, Алексей Петрович, читал статью Жданова в «Правде»?

— Читать — не читал, а радисты говорили, поймали на марше передачу из Читы. Не хотят англичане и французы с нами договор о взаимопомощи заключать, только и всего. Что же ещё?

— Если бы «только и всего!» — с силой и горечью сказал командующий. — Не «только и всего», Алексей Петрович, а мечтают столкнуть нас на Западе лоб в лоб с немцами, а здесь — лоб в лоб с японцами. Смотрю я сейчас на это поле боя, — добавил он, выпуская из рук сразу спокойно лёгший на его широкую грудь бинокль и вместо него козырьком прикладывая к глазам руку, — смотрю и думаю: начинается-то оно здесь, а вот где оно кончается?

— Географически кончается километров за пять, — улыбнулся Сарычев. — Ещё один гребешок — и Халхин-гол.

— Географически-то я сам знаю, — без улыбки, чуть-чуть сощурил глаза, сказал командующий. — Карты читал, на местности ориентировался. А вот политически где оно кончается?.. Вот и самолёты, — обыденно добавил он, заслышав вдали звук моторов, и быстро повернулся.

С запада, со стороны Тамцак-Булака, сразу заняв полнеба, шло до сотни самолётов. Через минуту первые из них оказались над головами командующего и Сарычева.

Высоко и поэтому, казалось, медленно шедшие истребители повисли в воздухе над Баин-Цаганом, а четыре девятки низко летевших бомбардировщиков с быстрым рёвом вынеслись вперёд, снижаясь и заходя на бомбёжку.

— Что же, проедем по батальонам, — перекрывая висевший над их головами гул моторов, громко сказал командующий, наклоняясь к уху Сарычева, и сверкнул повеселевшими глазами. — Сейчас авиаторы сыграют вступление. Дело за всем оркестром!

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Пробыв конец мая и весь июнь на курорте в Гаграх, Маша вернулась в Москву. Дома она появилась ранним утром, не известив о своём приезде ни письмом, ни телеграммой. Татьяна Степановна неприветливо открыла ей дверь — она не любила неожиданностей, — сонно поцеловала дочь, ворчливо сказала ей: «Вот всегда ты так, без предупреждения» — и ушла, сделав вид, что хочет спать.

Зная, что мать не выдержит и всё равно через десять минут появится и начнёт кормить её завтраком, Маша поставила чемодан, сбросила жакетку и, подойдя к зеркалу, долго рассматривала себя. За полтора месяца она немножко похудела — слишком много плавала — и загорела

так, что была похожа на галчонка, несмотря на то, что её каштановые волосы совсем посветлели от солнца. Подолгу лёжа на солнце, она щурила глаза, а от этого теперь вокруг них остались тоненькие светлые лучики. А в общем, за исключением этих небольших перемен, она была всё такая же, какой и уезжала и какой её в последний раз видел Синцов.

Ещё до отъезда у них с Синцовым было решено, что как только она вернётся с Кавказа, то или сама навестит его в Вязьме, или даст ему телеграмму, чтобы он приехал в Москву. Они оба говорили тогда об этом просто как о следующем свидании, но про себя знали, что им предстоит окончательно решать свою судьбу.

Чем ближе подходил срок возвращения в Москву, тем больше Маша робела перед будущим. Она не то чтобы боялась решить свою судьбу— такая боязнь была не в её характере,— но ей было безотчётно жаль себя, и эта робость сковывала её настолько, что она, кажется, за всю жизнь не написала ни одного такого глупо-холодного письма, как то последнее, что она отправила с юга Синцову. В этом письме она бунтовала против того, что сама уже в глубине души решила. Никто не вынуждал её принять именно это решение, а не другое, и, однако, она сердилась на себя за то, что всё уже решено.

Волновало её и то, что до сих пор оставался нерешённым вопрос о её будущей работе. Перед отъездом на курорт она несколько раз была на заводе, заходила в комитет комсомола и в электромеханический цех, куда отец прочил её работать, ещё когда она училась в техникуме. Ей предлагали работу, но она вынуждена была отвечать неопределённо и страдала от этого, потому что на протяжении своей короткой девичьей жизни как раз во всём очень любила определённую.

Конечно, если бы Синцов согласился переехать в Москву, она пошла бы работать на завод. Но, несмотря на самоуверенное сознание того, как сильно он её любит, она была вовсе не уверена, что он согласится кого-то о чём-то просить и вернётся в Москву, не прослужив в Вязьме по крайней мере три года после института. В то же время она знала, что если он не согласится переехать в Москву, то она поедет к нему в Вязьму. Однако, как и где она сможет работать в Вязьме по своей специальности электротехника, она не могла спросить в письме к Синцову, потому что один такой вопрос значил бы, что она уже решила ехать к нему.

Она высчитала по дням, что если бы Синцов как всегда сразу ответил на её последнее письмо, то ответ пришёл бы ещё в Гагры, значит, он не ответил вообще. Однако, постояв перед зеркалом и походив по комнате, она всё-таки на всякий случай подошла к письменному столу: а вдруг Синцов написал ей прямо в Москву.

В доме было давно заведено, что все письма, телеграммы, повестки, счета за квартиру и телефон, — всё складывалось в одном месте — на столе у Павла. Надежда Маши оправдалась: кроме двух распечатанных и адресованных матери писем от Павла, на столе лежало одно нераспечатанное и адресованное ей письмо Синцова. Наскоро пробежав его, она стала звонить в справочную Белорусско-Балтийского вокзала. Самый ближайший проходивший через Вязьму поезд отправлялся в четыре часа дня.

Узнав это, она снова перечла письмо. Теперь оно ей показалось слишком коротким и самоуверенным. Синцов писал, что он так хочет видеть её, что почти не в состоянии ни о чём писать. Это было хорошо. Но дальше он писал, что считает дни так же, как, наверное, и она сама. Это было уже самоуверенно. Ещё самоуверенней было то, что он ни сло-

вом не обмолвился о холодности её последнего письма, как будто это уже не имело для неё никакого значения.

— Ах, мамочка, мамочка! — сказала Маша, обняв вошедшую с чайником в руках Татьяну Степановну, и, прижавшись к ней, долго дышала ей в плечо, стараясь не расплакаться и чувствуя себя счастливой от того, что отвратительно-самоуверенное письмо Синцова было наполнено такой любовью к ней и таким желанием её видеть, что ей оставалось только ехать.

— Ну, что пишет-то? — спросила Татьяна Степановна, когда Маша оторвалась от её плеча.

— Вот сейчас прочитаем, — сказала Маша, взяв письмо брата, хотя понимала, что мать спрашивает о Синцове.

Татьяна Степановна чуть заметно улыбнулась, но промолчала и стала разливать чай.

Первое письмо Павла было из Читы, но без обратного адреса. Он писал, что ждёт назначения, ругал Читку за пыль и скуку, по всему было видно, что он томился, и письмо его было длинным от ничегонеделания.

Второе письмо было короткое, напечатанное на машинке и только подписанное от руки. Оно было датировано серединой июня, и на нём стоял обратный адрес — номер почтового ящика.

В самой краткости этого письма было что-то недоговорённое. Павел писал, что получил назначение, находится на штабной работе, печатает письмо на машинке потому, что начал практиковаться, и теперь всё, что ему нужно, печатает сам — пока ещё одним пальцем. О том, где он находится, он не писал ни слова.

— Что ты скажешь об этом письме? — спросила Татьяна Степановна.

— Не знаю, — сказала Маша, — какое-то странное оно, пустое. Даже не похоже на Павла.

— А по-моему, он там, на этом самом Халхин-голе, что в газетах пишут, — убеждённо сказала Татьяна Степановна.

Маша сама подумала об этом и уже не в первый раз. Ещё на юге, когда она прочла в газетах сообщения о пограничном конфликте и воздушных боях в районе монгольско-маньчжурской границы, ей почему-то показалось, что Павел непременно очутится там. Сейчас, когда она прочла это письмо, предчувствие превратилось в уверенность. Однако вслух она сочла необходимым усомниться и сказать матери то, что говорят в подобных случаях дети родителям, пытаясь разговаривать с ними, как с детьми: нет никаких оснований считать, что Павел в Монголии, Дальний Восток огромный, от Читы до Камчатки, и там много таких пунктов, о которых ничего нельзя писать, а можно только сообщать номер почты...

Татьяну Степановну слова Маши ни в чём не убедили. После этого письма она своим материнским сердцем знала, что Павел в Монголии, а если Маша этого не чувствует — тем лучше, пусть хоть ей будет спокойней. И мать сделала вид, что согласилась с доводами дочери.

Через полчаса, когда Татьяна Степановна сказала, что ей пора на работу, Маша, стараясь не краснеть и в то же время чувствуя, что краснеет, сказала:

— Ты знаешь, я сегодня на день уезжаю в Вязьму.

Татьяна Степановна насмешливо поджала уголки губ, как будто говорила дочери: «Что ж ты со мной крутишь, словно я ничего не вижу?» — и, ничего не ответив, сев за письменный стол Павла, стала собирать свой недавно купленный портфель, куда она складывала теперь все меню и раскладки, с которыми ей приходилось иметь дело по работе в заводской столовой. Занимаясь этим, она искоса поглядывала на дочь, думая о том, что всё-таки любовь, как ни долго она — иногда целыми

годами — готовится, а всё-таки, в конце концов, во всей своей силе является, как снег на голову, и не даёт человеку ни с кем толком поговорить, даже с собственной матерью.

Татьяна Степановна уже давно для себя решила — и кто такой Синцов, и сколько в нём есть хорошего и сколько плохого, и что хорошего больше, чем плохого, и что Маша не ошибётся, выйдя за него замуж. Всё это было решено раньше, теперь Татьяну Степановну занимал другой важный и нерешённый вопрос: где будут жить Маша и Синцов — в Вязьме или в Москве.

Правда, в последнее время появилось немало таких замужеств, когда муж жил в одном месте, а жена — в другом; мужа посылали куда-нибудь работать, а жена годами сидела и берегла квартиру в Москве. Но Татьяна Степановна, прожившая со своим Трофимом Никитичем тридцать лет, почти не расставаясь, таких замужеств не принимала. И если бы случилось так, что Маша вышла за Синцова и ему оказалось невозможным переехать в Москву, Татьяна Степановна насильно оторвала бы дочь от себя и послала к мужу. Но уехать самой из той квартиры, где жил и умер Трофим Никитич, из дома, где половина жильцов — люди, которых она знала по заводу ещё с дореволюционного времени, уехать и поселиться «в тёщах», пусть даже у такого хорошего человека, как Синцов, — ей просто не приходило в голову. Она с тревогой думала сейчас: как же будет, кто же к кому переедет, зная, что этим решается вопрос не только их, но и её собственной жизни.

— Значит, кто — куда, — сказала Татьяна Степановна, засовывая в портфель последнюю накладную, ставя его ребром на стол и застёгивая. — Павел — туда, ты — сюда.

Встретившись в эту минуту с глазами матери, Маша вспомнила о брате и подумала — до чего же Павел вырос похожим на мать, не взяв у отца почти ни одной чёрточки, всё оставив на долю её, Маши. У матери и Павла были одинаково чуть-чуть вздёрнутые носы, и одинаковые карие глаза, и одинаково широкая улыбка на широких, больших лицах, и одинаково широкие плечи, только волосы разные: у матери седеющие — тёмное золото пополам с серебром, а у Павла рыжеватые, похожие на огонь.

«Но когда он поседеет, наверное, у них даже и волосы станут похожими», — подумала Маша.

— Что смотришь на меня? — сказала Татьяна Степановна. — Иди сюда, курортница.

Она пододвинула стул и, усадив Машу рядом, своей большой рукой подгрестила её к себе. Голова Маши оказалась у неё подмышкой, и Маша, выглядывая, видела сейчас только кусочек уха, щёку и один глаз матери. Из этого глаза выкатилась большая слеза и медленно проползла по щеке. Маша рванулась, чтобы обнять мать, но та, поняв причину её движения, властно удержала её и спокойным, бестрепетным голосом — таким, что, если бы Маша сама не видела этой слезы, она никогда не поверила бы, что мать только что плакала, — сказала, что надо будет, когда Маша вернётся из Вязьмы, вместе написать ответное письмо Павлу. Погом, быстро встав, молча поцеловала Машу в щёку и вышла.

Поезд в четыре часа был дальний, курьерский, Маньчжурия — Негю-релое, и Маша стала собираться на вокзал, чтобы попробовать достать билет заранее.

Вдруг раздался телефонный звонок.

— Татьяна Степановна? — спросил низкий женский голос.

— Нет. А кто её спрашивает?

— Надя. А это кто?

— Это я, Маша. Здравствуй, — неуверенно сказала Маша, последние годы знавшая о Наде из писем матери, но не видевшая её десять лет, с самого отъезда Павла в военное училище.

Надя помолчала, словно колеблясь, разговаривать ли ей вместо Татьяны Степановны с Машей, которую она помнила двенадцатилетней девочкой, и наконец сказала:

— Ну, всё равно. Я хотела встретиться с твоей мамой. У меня есть сведения о Павле.

— Что случилось? — испуганно спросила Маша.

— Нет, ничего, — ответила Надя, — как раз всё хорошо. Но я просто кое-что о нём знаю и хотела ей рассказать.

Она сделала паузу, очевидно ожидая, что ответит Маша.

— Как же тебя повидать? — спросила Маша.

— Сейчас я поеду за кое-какими покупками, — сказала Надя, — потом буду в парикмахерской. Может быть, так: через два часа в Александровском саду, на скамеечке, прямо у входа. Со стороны Охотного ряда. Хорошо?

— Хорошо, — сказала Маша.

— У него всё в порядке, ты не беспокойся, — сказала Надя, как бы оправдываясь в том, что она сначала поедет за покупками и только потом встретится с Машей, чтобы рассказать ей о Павле.

Сказав это, она повесила трубку.

На Белорусском вокзале низенький старичок-носильщик, не похожий на носильщика, к которому Маша обратилась, узнав, что в кассе нет ни одного билета, взял деньги, бойко сказал, что всё будет «в аккурате», и исчез с такой юркостью, что она забеспокоилась. Поискав его в толпе глазами со смутным желанием попросить достать билет когонибудь другого, Маша медленно пошла от Белорусского вокзала по улице Горького.

День был жарким и обещал стать раскалённым. Асфальт ещё не расплавился, но на нём остались следы того, как он плавился вчера: вмятины от каблучков и зубчатые полосы от шин.

С утра Маше показалось, что в Москве гораздо холодней, чем на юге, а здесь было едва ли не жарче. Через четверть часа ходьбы ей стало так тепло в синем шевитовом костюме, что дальше она пошла, перекинув через руку жакет и оставшись в одной блузке.

На улице Горького было особенно жарко от суеты, от машин, от влажного запаха бензина и сухого, щекочущего запаха каменной пыли. По обеим сторонам улицы, почти на всём её протяжении, что-нибудь строили, надстраивали, сносили или передвигали. Над головой слышались шлепки бросаемого на кирпич раствора и голоса каменщиков. За заборами, ограждавшими развалины снесённых домов, как пулемёты, стучали отбойные молотки и то вздымалась клубами, то оседала под струями брандспойтов рыжая кирпичная и белая известковая пыль.

И в этих шлепках раствора, и в стуке отбойных молотков, и в суете загромождённой строительными лесами и заборами улицы, и в самой торопливости москвичей было что-то такое весёлое, что Машу охватило острое чувство жалости к себе. Почему она должна уезжать из Москвы в Вязьму? Да, там живёт Синцов! Но почему должна ехать к нему из Москвы она, а не наоборот? Конечно, всюду живут люди, и всюду можно работать. Но даже и это к ней не относится: она только что вернулась с Дальнего Востока.

Нет, она приедет и уговорит Синцова, чтобы он сам переехал в Москву, радостно и решительно подумала Маша, но в следующую же минуту вспомнила тот стеклянный голос, которым разговаривает Синцов,

когда речь касается чего-нибудь такого, что он считает для себя принципиально невозможным. «Я должен буду работать здесь, по крайней мере, ещё год», — скажет ей Синцов своим непоколебимым стеклянным голосом, а потом сам же, печально уронив на колени руки, будет глядеть на неё, и в глазах у него будет совершенно ясно написано, что он не может без неё жить.

Маша так точно представила себе весь этот предполагаемый разговор, что ей стало очевидно — она никогда его не заведёт и, стало быть, надо поощаться с Москвой, по крайней мере, на год.

С чувством немножко грустной отрешённости от Москвы Маша дошла до Александровского сада, села на скамейку возле серого обелиска и, посмотрев на часы, увидела, что, как ни медленно она шла, до срока остаётся ещё пятнадцать минут.

Только теперь Маша усомнилась, узнают ли они с Надей друг друга. Десять лет назад шестнадцатилетняя Надя, с длинной косой, с тёмными глазами навывкате — красивая, высокая, чуть-чуть полная для своих лет — казалась ей совсем взрослой девушкой. Она ходила лениво и медленно, гордясь, или, как тогда говорила Маша, «задаваясь» своей красотой.

Маша хорошо помнила её такой и сразу бы узнала.

Но теперь, через десять лет, Надя, конечно, уже не такая. А какая же? И Маша с неприязнью попробовала представить себе, какая же теперь Надя.

Неприязнь к Наде была старая, детская, подновлённая сначала несколькими недоброжелательными упоминаниями о Наде в письмах Синцова и матери, а потом — недавним разговором с братом перед его отъездом.

— Надя тебя провожать не будет? — желая услышать подтверждение своим молчаливым догадкам, спросила Маша.

— На это нет причин ни у неё, ни, тем более, у меня, — с нескрываемой досадой сказал Павел, и в сузившихся глазах его зажглись и погасли жёлтые искорки.

Вспоминая об этом разговоре с братом и оглядываясь по сторонам, Маша вдруг увидела вдаль, около гостиницы «Гранд Отель», фигуру, оказавшуюся ей знакомой. Из парикмахерской вышла высокая женщина, подошла к стоявшей у тротуара машине, бросила внутрь неё через открытое стекло какой-то свёрток, несколько секунд поговорила, очевидно, с шофёром и медленно пошла через площадь к Александровскому саду.

Да, это была Надя. И, пока Надя шла через площадь, Маша думала о самом главном, чего она ещё не знала: было ли то, что сказал ей перед отъездом Павел, окончательным и бесповоротным и откуда Надя сейчас получила известие о Павле, — от кого-нибудь другого, кто его встречал, или от него самого?

Войдя в сад, Надя, близоруко прищурясь, обвела взглядом скамейки и, увидев Машу, уверенно направилась к ней. За десять лет, что Маша её не видела, Надя мало переменилась, только ещё пополнила, и, однако, её лёгкая, с ленцой, походка казалась ещё легче. Коса, заложенная в тяжёлый узел на затылке, словно чуть-чуть запрокидывала своей тяжестью её горделиво поставленную голову. Она была такая же красивая, даже стала ещё красивей, и именно это сказала Маша, поднимаясь ей навстречу.

— Ты стала ещё красивей.

Надя по-мужски крепко тряхнула ей руку — это была новая привычка, раньше она любила при встречах целоваться со знакомыми девочками.

ми — и, ничего не ответив на замечание Маши о своей внешности, коротко сказала:

— Сядем.

Они сели рядом на скамейку.

— Мой муж,— деловым тоном начала Надя и, насладившись во время секундной паузы растерянным выражением машинного лица, усмехнувшись, добавила: — Не бойся, это не Павел,— прислал мне письмо с одним знакомым лётчиком. — Она вынула из сумки письмо. — Мой муж в Монголии и там случайно встретился с Павлом. Они и раньше были немного знакомы.

— Ты вышла замуж? — невольно вырвалось у Маши.

— Да,— ответила Надя.— Но ведь тебя, я думаю, больше интересует не это, а Павел? Верно?

— Да, конечно,— сказала Маша.

— Мой муж там командует одной авиационной частью,— продолжила Надя. — Неделю назад он видел Павла. Павел почему-то приехал к ним в часть, не знаю уж почему. Он был ранен ещё в мае, но уже выздоровел.

— Ранен? — вздрогнув, спросила Маша.

— Ну да, ранен. Но уже выздоровел,— повторила Надя.— Я поэтому и решила тебе рассказать. Подумала: может быть, у вас есть от него старые письма, что он ранен, а он уже выздоровел.

— Спасибо,— сказала Маша.— А куда он ранен? Сильно ранен?

— Вэт уж этого не знаю. Только знаю, что неделю назад он был совершенно здоров. Между прочим, там сейчас серьёзные бои. Я не могу всего сказать, но очень серьёзные бои,— добавила Надя, с удовольствием придав своему голосу оттенок значительности. — Вот, собственно говоря, и всё, что я хотела тебе сказать.

Надя положила в полураскрытую сумку письмо, которое зачем-то держала в руках всё время, пока говорила, хотела защёлкнуть сумку, но снова её открыла и вынула фотографию.

— Вот такая она, Монголия. Сплошная пустыня.

Она протянула Маше карточку: у самолёта стояло несколько лётчиков. Сзади них не было видно ничего, кроме ровной степи.

— Если тебе интересно, то мой муж вот этот,— показала Надя пальцем на стоявшего в центре группы маленького коренастого лётчика с курчавыми светлыми волосами, петлицами полковника и тремя орденами на гимнастёрке.

Она сказала это мимоходом, хотя только для этого и вынула из сумки фотографию.

Маша, несколько секунд подержав фотографию в руках, вернула её, ничего не ответив. Надя открыла сумку и, небрежно бросив туда снимок, громко защёлкнула её.

— Значит, ты вышла замуж,— задумчиво протянула Маша.

— Значит, я вышла замуж,— ответила Надя.— Опасность миновала.

— Да, я очень не хотела, чтобы Павел на тебе женился,— сказала Маша, поглядев Наде в глаза с той бесстрашной полудетской, полумужской прямоотой, из-за которой Надя её немножко боялась даже десять лет назад, когда Маша была ещё совсем девочкой.

— А почему? — с вызовом спросила Надя.

— Не стоит сейчас об этом,— ответила Маша. Сейчас, когда Надя вышла замуж за другого человека, ей казалось бессмысленным объяснять, почему она не хотела, чтобы Надя вышла замуж за её брата.

— Павел сам виноват,— вдруг сказала Надя.— Когда я прочла, что он был ранен, я в первую минуту даже испугалась. Он мне всё-таки

нравился. И чувство к нему у меня и сейчас до конца не исчезло. Я спокойно могу сказать это тебе, потому что ты ему этого не скажешь. Побойшься, что узнает и снова прибежит ко мне.

— Не прибежит! — вставая со скамейки, враждебно сказала Маша.

Её с новой силой охватила нелюбовь к Наде, которую до сих пор она не любила больше по воспоминаниям и понаслышке.

— Не прибежит! — повторила Маша. — Не надейся!

Растерявшаяся от неожиданности Надя тоже поднялась со скамейки и, словно защищаясь, прижала к груди сумочку.

Но Маша вспомнила, что, в конце концов, Надя всё-таки рассказала ей о Павле из добрых побуждений и, какая бы она ни была, это с её стороны хорошо, а не плохо. Подумав так, она быстро протянула Наде руку и сказала:

— Не обращай внимания. Я погорячилась. Спасибо тебе за известие о Павле. Не сердись. До свидания!

Надя, не успев сообразить, следует или не следует ей так делать, машинально пожала Маше руку, повернулась и пошла, с досадой чувствуя, что эта до неузнаваемости выросшая девчонка в конце их разговора неожиданно оказалась хозяйкой положения.

А Маша, провожая Надю взглядом, беззлобно, но с облегчением думала о том, что с этой удаляющейся женщиной отходит от их семьи что-то ненужное и чужое; ей сейчас, задним числом, было даже странно представить себе рядом Надю и Павла.

Показавшийся Маше ненадёжным носильщик ждал её в условленный час. Он стоял у камеры хранения багажа с билетом в руках и с выражением лица озабоченным и намекающим на тяжесть понесённых им трудов.

Место было жёсткое. Маша, прикорнув на нижней полке, вскоре задремала и проснулась лишь через пять часов, уже в густых сумерках, перед самой Вязьмой. Ей стало неловко, что она так по-детски спала, вместо того чтобы в дороге считать часы и минуты. Времени оставалось только на то, чтобы попытаться хоть немножко привести в порядок смявшийся, пока она спала, жакет, незаметно для соседней пальцами оттягивая его книзу за полы.

За окном летели клочья дыма, цеплявшиеся за чёрные верхушки леса, а по ногам деревьев полз беловатый ночной туман.

Наконец поезд остановился в Вязьме. Маша наизусть знала из писем и рассказов Синцова, где он живёт, и, выйдя с чемоданом на привокзальную площадь, сразу пошла вверх по улице, в конце которой чернели луковицы пятиглавого собора.

От собора следовало свернуть налево, по улице Луначарского, потом ещё раз налево, в переулочек. Там, в соседнем с типографией доме, жил Синцов. Дом этот, стоявший в глубине двора, как и описывал его Синцов, был старый, каменный, двухэтажный, с несколькими одинаковыми подъездами, ни на одном из которых не было ни дощечек, ни надписей.

— Кого вам? — окликнула Машу вошедшая во двор женщина с кошелками в руках. — Дома-то, наверное, нет. Ну, всё равно, пойдёмте, — сказала она, когда Маша ответила, что ищет Синцова.

Женщина, а вслед за ней Маша вошли в крайний слева подъезд и поднялись на второй этаж. Женщина толкнула дверь, и они очутились в длинных и узких сенях. В одном конце виднелась чуланная дверь, в другом — окошко; прямо, на одинаковом расстоянии друг от друга, были три одинаковые комнатные двери.

Поставив в сенях обе кошелки и положив валявшийся на полу пучок

луку на кухонный стол рядом с примусом, женщина подёрнула среднюю дверь и сказала:

— Я же говорю — нет его.

Подойдя к правой двери, она достала с притолоки лежавший там ключ, открыла дверь и вышла.

— Входите же! — услышала её голос оставшаяся в сенях Маша.

Комната была маленькая, заставленная вещами. Главной вещью был большой дубовый буфет; второй главной вещью был комод. Остальное — мелочи: маленький круглый стол, ещё столик поменьше и ещё — совсем маленький, очень маленькая бамбуковая этажерка и совсем маленькая плетёная подставочка для цветов. Даже кровать, и та была маленькая, вроде раскладушки, но накрытая белым пикейным одеялом с горкой подушек в изголовье.

Женщина, которую Маша теперь разглядела, была небольшая, худая, нервная. Она долго металась из угла в угол комнаты, ничего не сказав Маше и не пригласив её сесть, потом, очевидно сделав какие-то свои дела, неизвестно из чего состоявшие, но казавшиеся ей очень важными, наконец повернулась к Маше, пригласила её сесть и сама села на стул напротив неё.

— Значит, вам Ивана Петровича, — сказала женщина, рассматривая Машу с интересом, не наново, а как бы только сверяясь с уже имевшимся у неё представлением.

— Да, — сказала Маша и ничего не прибавила.

— Иван Петрович говорил мне, что может случиться, вы приедете, — сказала женщина, — спрашивал даже, могу ли я вас у себя устроить. Конечно, могу. Но Барсуков сейчас в Смоленске, на курсы уехал на неделю, так что можете и у него в комнате ночевать. Если вам надо будет, — добавила женщина без любопытства или вопроса, а лишь с простой житейской рассудительностью.

Женщина говорила о себе и Барсукове так, словно Маша заранее должна о них всё знать. И Маша в самом деле заранее всё это знала из писем Синцова. Знала, что Барсуков — литературный сотрудник и живёт в соседней с Синцовым комнате. Знала, что женщину зовут Анной Андреевной, что она видела когда-то лучшие времена, была замужем, а сейчас живёт одна, работает няней в родильном доме через день, а в свободное время ведёт холостяцкое хозяйство Синцова и Барсукова. По мнению Синцова, она была человеком несчастным, но не озлобленным, шумливым, но добрым. Маша считала, что Синцов отличается полным житейским незнанием людей, но сейчас ей казалось, что он прав.

— Может, чаю выпьете? — спросила женщина.

— Нет, спасибо, Анна Андреевна.

— А вы, Машенька, совсем как на фотографии, что у Ивана Петровича, — размятчённо и ласково сказала женщина, радуясь тому, что Маша назвала её по имени и отчеству, и в то же время желая показать, что не только Маша знает от Ивана Петровича о ней, но и она — о Маше.

— А вы сами не будете чай пить? — спросила Маша.

Анна Андреевна отрицательно покачала головой.

— Я, поверите, наверное бы по целым дням не ела, если бы только для себя готовила. Не хочется за собой ухаживать, скучно это.

Говоря так, она продолжала неподвижно сидеть напротив Маши. У неё было худое и нервное морщинистое лицо с почти добела выцветшими большими голубыми глазами и стянутые пучком на затылке седеющие и казавшиеся пыльными волосы.

— А я ведь тоже была хорошенькая, вот не поверите! — сказала Анна Андреевна, потянувшись к бамбуковой этажерочке и положила на

стол голубой бархатный, выцветший, как её глаза, альбом. Не отдавая Маше в руки, она сама перелистала его и, открыв один из первых листов, подвинула так, чтобы Маше было видно. В овальном вырезе молодая и совсем не худенькая женщина сидела на неудобном узеньком диванчике рядом с пышноусым, наглогато глядевшим прямо перед собой офицером.

— Это муж. Он в мировую войну одно время служил по провиантской части,— сказала Анна Андреевна, и Маша, увидев на карточке громадные прекрасные глаза молодой женщины, поняла, что след той былой красоты сохранился именно в нынешних старых, выцветших голубых глазах, хотя о них, наверное, давно нельзя было сказать, что они красивы.

Закрыв альбом и положив его на этажерку, Анна Андреевна беззлобно сказала, что знала когда-то лучшие времена, и Маша, уже читавшая об этом в письме Синцова, подумала, что эта фраза, должно быть, частая и даже постоянная в устах хозяйки комнаты.

— Моего мужа расстреляла Чека,— сказала Анна Андреевна.— В двадцатом году. За спекуляцию. Он уже ушёл тогда от меня и уехал в Москву. Он мне и раньше изменял, почти с самой свадьбы. У нас не было детей,— добавила она, не то объясняя, почему он её изменял, не то давая понять, что в их жизни вообще не было ничего хорошего. О том, что её мужа расстреляла Чека, она сказала совсем равнодушно, как о чужом человеке.

Потом она ещё раз повторила, что знала когда-то лучшие времена, но сказала это так безрадостно, что Маша поняла — слова относились только к тому, что она была когда-то моложе и богаче, а не к тому, что она была счастливой. Счастливой она, должно быть, не была никогда.

И Маше стало нестерпимо грустно от простой и, казалось бы, такой обычной мысли, что люди стареют и не всегда бывают счастливыми.

— А вы думаете, Иван Петрович поздно вернётся? — с запинкой называя так Синцова, спросила Маша.— Вель сегодня суббота.

— А для них что ж суббота? — сказала Анна Андреевна.— У них газета в воскресенье выходит. Они в субботу иногда в типографии до ночи сидят. Слышите, машина-то шумит?

Маша прислушалась. Через открытое окно в самом деле было слышно, как в соседнем доме что-то гудит и двигается.

— Только он сегодня не в типографии. Он вчера в Комарово, в Комаровский колхоз пошёл. Сегодня к вечеру обещал вернуться. Они сейчас все так, то один, то другой, на месте не сидят — уборочная скоро.

— А далеко это Комарово? — спросила Маша, с тревогой подумав, что если далеко, то Синцов может и не вернуться сегодня.

— Вёрст двадцать,— сказала Анна Андреевна.— Но ведь он как ходит! Одна нога — здесь, другая — там, — успокаивающе добавила она, взглянув на Машу, и, приподняв на столе клеёнку, вынула лежавший под ней ключ.— Вы пойдите у него отдохните, чего же вам тут сидеть-то?

Открыв дверь комнаты Синцова, Маша переступила порог и нащупала рукой выключатель, о котором Анна Андреевна сказала, что он сразу же справа от двери. Машу охватила при этом такая робость, как будто, отдернув сейчас руку от выключателя и сделав шаг обратно за порог, она сможет ещё что-то решать в своей судьбе, а включив свет и шагнув вперёд, в комнату Синцова, сразу сделает всё бесповоротным.

Испытав это чувство, Маша подумала, что оно глупое, быстро повернула выключатель и шагнула вперёд. Однако глупое чувство не проходило, она продолжала его испытывать. Закрыв за собой дверь, она торопливо села на кончик стоявшего возле двери стула и только после этого начала рассматривать комнату.

Под потолком висела электрическая лампа без абажура. В комнате были: платяной шкаф, большой письменный стол, судя по его виду, служивший и обеденным, два стула и большая кровать с никелированными шишечками. Маша вспомнила, как Синцов писал ей, что соседка насильно обменяла его раскладушку на кровать, уверяя, что на раскладушке такой большой мужчина не может поместиться.

Для книг была устроена длинная самодельная полка — доска, подвешенная на двух верёвках. Кроме того, много книг лежало на столе и на шкафу, а часть выглядывала из-под кровати.

На подоконнике стоял горшок с резедой — любимым душистым машинным цветком, и она сейчас тщеславно подумала, что он именно поэтому и оказался на подоконнике у Синцова.

Над письменным столом висела четырёхлетней давности фотография Маши с наивной, как ей теперь казалось, надписью: «Ване Синцову с обещанием верной дружбы», — словно она хотела обязательно подчеркнуть, что ничего другого ему не обещает.

«Вот дура-то! А он над столом повесил! И все четыре года знал, что приеду к нему. Сейчас, если спросить его, то, конечно, скажет, что не знал, а где-то в глубине души знал».

Сначала рассердившись за надпись на себя, теперь она уже рассердилась на Синцова, но долго сердиться не могла, потому что сразу же рассмеялась, увидев на шкафу атлас с торчавшими из него концами галстуков, наверное заложенных туда, чтобы их прогладить.

Какой опасной оказалась эта комната, где она оставалась наедине с вещами Синцова, со следами его пребывания, с его привычками, сказавшимися и в том, какие это были вещи, и в том, как они стояли и лежали!

Книги, лежавшие на столе, были как бы оттеснены налево и направо к краям. Наверное, когда Синцов писал, он занимал локтями сразу три четверти стола.

Книжная полка была подвешена не на верёвках, а, как выяснилось, на двух белых электрических шнурах. На ней стояли книжки стихов, по прескверной синцовской привычке раскрытые и перегнутые на поправившихся стихотворениях. Полка висела низко, над самой кроватью, наверное для того, чтобы он, не вставая, мог своей длинной ручищей достать любую книжку.

Заглянув в незапертый платяной шкаф, Маша увидела там лежавшие одна на другой выстиранные и выглаженные две знакомые ей синцовские рубашки. Одну он носил ещё до того, как Маша уехала в Комсомольск; она была старенькая, шерстяная, воротничок у неё посекся и был заштопан; вторая рубашка была белая, новая, в которой Синцов в последний раз приезжал в Москву.

В другом отделении висело пальто Синцова и два костюма: один парадный чёрный, в котором он приезжал в Москву, и другой — коричневый, рабочий, покупку которого Синцов юмористически описал ей год назад. Кажется, этот костюм был всё-таки немножко лучше парадного чёрного.

«А в чём же он ушёл?» — подумала Маша, которой в эту минуту казалось, что у Синцова не может быть ничего не известного ей, а ей были известны только эти два висевших в шкафу костюма.

Она с возрастающей тревогой чувствовала, что каждая следующая минута пребывания её в этой комнате приближает её к Синцову и делает его и понятней, и трогательней, и смешней, и желанней — всё сразу.

У самой двери, на гвозде рядом с рукомошкой, висело белоснежное, ещё, казалось, пахнувшее горячим утюгом полотенце. На крышке

рукомойника лежали зубная щётка, мыльница и коробка зубного порошка, а под рукомойником на табуретке стоял таз.

Маша вспомнила, что ей нужно помыться с дороги, бросила взгляд на свой чемодан, но не стала открывать его, а, сняв жакет и подобрав выбившиеся из пучка волосы, стала умываться, с наслаждением чувствуя свежесть воды, довольно пофыркивая в ладони и ёжась от холодных струек, попадавших за расстёгнутый воротничок блузки. Потом она взяла в руки хрустящее полотенце и прижала его к мокрым глазам и щекам.

В эту минуту вошёл Синцов.

— Маша! — крикнул он таким голосом, что она испуганно отступила на шаг, растерянно держа в опущенных руках полотенце и чувствуя, как капелька воды смешно течёт у неё по носу.

Синцов стоял на пороге — громадный, весёлый, в парусиновой фуражке, в расстёгнутой у ворота полотняной косоворотке, подпоясанной тонким ремешком, в юнштурмовских зелёных галифе и сапогах.

Вся эта одежда была большая, широкая, по росту ему и, по сравнению с его нелепыми кургузыми костюмами, шла ему просто необыкновенно.

Фигура его дышала здоровьем. Белые зубы весело блестели на обветренном загорелом лице, и чудилось, что пахнет от него свежим сеном, несколько былинки которого торчали у него в волосах.

И хотя Маша целый день, с самого утра, предчувствовала, что всё уже решено, но окончательно решённым всё оказалось только сейчас, когда, увидев Синцова, она впервые в жизни ощутила с такой силой, как нравится ей этот долговязый богатырь в расстёгнутой на широкой груди плотняной рубахе. Испытывая пронзительное чувство любви к нему, она молча бросилась вперёд и обвила руками его шею.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Завтракали поздно, около полудня, втроем: Синцов, Маша и Анна Андреевна. Утром, выйдя и увидев на столе в сенях крынку с топлёным молоком и две глиняные миски — одну с редиской, луком и огурцами, другую с клубникой, Маша была тронута этой молчаливой заботой. Приготовив завтрак, она пригласила отнекивавшуюся Анну Андреевну.

Анна Андреевна сначала сидела молча и как на иголках. Она досадовала на себя, что согласилась на уговоры Маши, и хотела, чтобы завтрак поскорее кончился и они остались вдвоём.

На самом деле она несколько не мешала Синцову и Маше, потому что они были вдвоём до её прихода и знали, что будут вдвоём снова сразу же, как только она уйдёт. Они любили друг друга, и оба знали это. А если им полчаса нельзя было говорить об этом вслух, в присутствии третьего человека, то сама эта ненадолго добровольно принятая на себя сдержанность, наполненная воспоминаниями и предчувствиями, вносила лишь особую прелесть в их первый завтрак в этой комнате.

За завтраком больше всего говорили об Артемьеве. Синцов так подробно расспрашивал о нём, о его письмах, о том, каким именно тоном сказала Надя про его ранение, что Маша устыдилась: она вчера самолюбиво отдалась своей неприязни к Наде и из-за этого даже не прочла своими глазами то место письма надиного мужа, где шла речь об Артемьеве.

— Боже ты мой! — сказала Анна Андреевна, услышав, что брат Маши был ранен. — Опять война!

И две маленькие неприятные слезинки выкатились из её выцветших голубых глаз.

— Ну, какая же это война! — успокоительно сказала Маша. — Это пограничный конфликт.

— Ах, не говорите вы мне этого! — сказала Анна Андреевна. — Вы ещё такая молодая!

— Я четыре года прожила на Дальнем Востоке, — сказала Маша. — Там всегда пограничные конфликты.

— Ах, не говорите, не говорите, вы ещё такая молодая! — настаивала на своём Анна Андреевна, качая головой и тихонько поламывая пальцы так, словно неотвратимое несчастье было уже совсем рядом и она не знала, что делать.

— Главное, что он хотя и был ранен, но теперь уже совершенно здоров, — вмешался в разговор Синцов. — Это она тебе точно сказала? — обратился он к Маше.

— Точно. Два раза повторила. И я думаю, что он ранен в руку — поэтому его второе письмо было на машинке.

— Вот чёрт рыжий! — с восхищением сказал Синцов. — Какая бы неприятность ни случилась, всегда только год спустя расскажет, не раньше, и непременно со смехом. Верно?

Маша подтвердила.

— Ты матери не говорила?

— Нет и не буду. Пускай сам потом напишет.

— А он и потом не напишет.

Синцов встал из-за стола и прошёлся по комнате, поскрипывая сапогами. Маша утром отговорила его от облачения в чёрный костюм и заставила надеть всё то, в чём увидела его вчера вечером.

— А всё-таки в интересные места попал Павел, в очень интересные, — несколько раз повторил Синцов с таким почти завистливым выражением лица, что Маша впервые в жизни с тревогой и гордостью подумала, что он, в сущности, не такой уж тихий и штатский, каким обычно кажется.

— Интересно, что он сейчас там делает? — сказал Синцов, снова сев за стол и искоса глянув на заложенную за чернильницу маленькую старую фотографию Артемьева.

— Сейчас там, на Дальнем Востоке, уже шестой час вечера, — сказала Маша и тоже задумалась.

Если бы они обладали даром видеть на расстоянии, они увидели бы Артемьева, который в эту минуту, сидя на корточках на вершине Баин-Цагана, вместе с двумя другими командирами отбирал из целой груды японских документов, записных книжек и писем то, что нужно было переводить в первую очередь.

Уже в первые часы, роясь среди этих документов, Артемьев нашёл портфель с приказом генерала Камацубары о полном окружении и уничтожении советско-монгольских войск, копией донесения в штаб Квантунской армии об успешной переправе и черновиком обращения к войскам после предполагавшейся победы. Обращение было написано надменно и выспренне, в нём прямо упоминалось о «Великой Восточной Империи до Урала» и о первых (и тоже, конечно, «великих») шагах, которые сделали для достижения этой цели доблестные войска под командованием генерала Камацубары.

Дальнейшие поиски обещали принести ещё много интересного, подтверждающего и масштабы замысла японцев и масштабы их самоуверенности.

У Артемьева были красные от бессонницы и обалдевшие от чтения иероглифов глаза, которые, однако, уже ничто не могло оторвать от этой

охоты за документами: ни ужасное, заваленное трупами поле боя, расстилавшееся кругом на плоскогорье, ни открывавшееся под горой столь же ужасное зрелище сплошного месива возле взорванной японской переправы.

Так выглядела победа после двух суток боя, но Артемьев сейчас её не видел. Перед ним была победа в другом образе — в образе сотен и тысяч офицерских и солдатских документов, и он устало, но увлечённо перелистывал страницы этой победы, попутно уточняя в своей полевой книжке номера японских пехотных и артиллерийских частей.

Это была выпавшая на его долю частица безжалостного труда войны. У него болели колени, спина и глаза, но ему от нервного подъёма и усталости совсем не хотелось ни есть, ни спать, хотя он уже сутки не ел и почти трое суток не спал.

Таким, сидящим на корточках и роющимся в грудё написанных на чужом языке и запятнанных кровью бумаг, увидели бы сейчас Артемьева Синцов и Маша, если бы они были в состоянии не только думать о нём, но и видеть его. Но они, думая о нём, представляли его себе каждый по-своему.

Маше в том восторженном состоянии, в каком она была сегодня, казалось, что брат стоит где-то в степи у палатки, смотрит на очень красивый закат и непременно вспоминает о доме.

Синцову же представлялся бой и разрывы снарядов, но вслух, для Маши, он сказал, что действительно в Монголии сейчас уже вечер и Павел, наверное, сидит за ужином и за обе щеки уписывает монгольскую баранину.

Что до Анны Андреевны, то она просто взяла из-за чернильницы карточку Артемьева и долго молча рассматривала её, ища и не находя черт сходства с Машей.

После завтрака Маша стала собираться в гости к родным Синцова — отцу Петру Петровичу и брату Коле, или Николашке, как его называл Синцов.

Отец Синцова, преподаватель русского языка и заведующий сельской школой-семилеткой, жил в своём доме в большом селе Мельникове, в шести километрах от Вязьмы. Синцов ходил туда почти каждое воскресенье зимой и летом и обычно ночевал там с воскресенья на понедельник. Маша знала это и с утра сказала Синцову, что они пойдут туда, потому что она не хочет с самого же начала менять его привычки.

Храбрясь перед этой встречей и напевая «чижик, чижик, где ты был», Маша гладила на письменном столе Синцова своё синенькое летнее платье. Анна Андреевна только что ушла, оказав последнюю за утро услугу — дав свой уют.

— Ну что, чижик, попал в клетку? — спросил Синцов, по требованию Маши одну за другой доставая с полки и разгибая книжки стихов.

— Это ты что, о себе? — сказала Маша и рассмеялась.

— Чему ты смеёшься? — спросил Синцов.

— Собственным мыслям.

— Каким?

— Старым и глупым. Во-первых, как сейчас выясняется, я уже очень давно думала о том, что выйду за тебя замуж, и о том, кто из нас будет главным. И, как ты сам понимаешь, конечно, думала, что главной буду я.

— Ну и как теперь?

— Ну и теперь, конечно, главной буду я. Но только я вдруг сейчас поняла, что это такое не главное, кто из нас будет главным, такое не главное!

Она снова рассмеялась и, выставив Синцова из комнаты, надела си-

ненькое платье и довольно долго вертелась перед единственным стареньким зеркалом, которое почему-то было вставлено в самый верх створки гардероба. Для того чтобы посмотреть в него, ей пришлось влезть на стул, с которого её нетерпеливо снял заждавшийся в сенях и вошедший без разрешения Синцов.

— Пойдём.

— Нет, подожди,— сказала Маша, освобождаясь из его объятий и, вместо того чтобы итти, усаживаясь на стул.— И ты сядь.

Он недоуменно, но послушно сел напротив неё.

— Знаешь,— сказала Маша, кладя руку на его колено и удерживая Синцова так решительно, словно им никак нельзя уйти из этой комнаты, прежде чем она не скажет того, что хотела.— Вот я первый день у тебя, а мне тебя почти не о чем спрашивать. Я всё знаю. Я считала, что люди полюбили и узнали друг друга по письмам и только потом встретились...

— Так было у Бальзака.

— Это неважно,— сосредоточенно сказала она, недовольная тем, что он перебил её.— Я читала и не верила, что так может быть. А сейчас верю. Ты мне писал в Комсомольск такие письма, что мне сейчас кажется, я даже лучше знаю тебя, чем если б жила всё время где-нибудь рядом с тобой. Но знаешь что?

— Что?

— Это неверное чувство.

— Почему?

— Потому что это неправда. Мне кажется, что я всё знаю о тебе, а на самом деле я даже не знаю, что ты делал вчера. Когда я тебя увидел, ты вошёл весёлый и чем-то очень довольный.

— Я увидел тебя.

— Нет, нет, ты всё равно пришёл очень довольный. Разве это не правда?

— Правда, — улыбнулся Синцов. — У меня был вчера хороший для газетчика день, хорошие дела...

Он хотел продолжать, но Маша его перебила.

— Вот видишь, а я не знаю, какие дела. Я даже тебя не спросила. А всё потому, что вообразила, что я тебя вообще очень хорошо знаю. Вообще...

Она повторила это слово с презрением.

— А я должна знать каждый твой день, каждое твоё дело. Каждое. Понимаешь?

— Понимаю.

Он улыбнулся своей доброй и действительно понимающей улыбкой и хотел встать.

— Нет, подожди.— Она снова придержала его за колено.— Мне стыдно, и я не хочу никуда итти, пока ты мне именно сейчас не расскажешь про свои вчерашние дела.

— Ах, Маша, Маша, — сказал Синцов, вставая, несмотря на её сопротивление и приподнимая её со стула за локти, — что ты спешишь? Ты же ко мне не на свидание приехала. Мы же с тобой теперь навсегда вместе, где бы мы ни были.

Маша почувствовала в его голосе силу и твёрдость и даже грусть, словно предупреждающую, что вместе им придётся знать не только одно то радостное, о чём думала сейчас она сама.

— Ах, Маша, ты моя Маша, — как показалось ей, с укором повторил он, всё ещё не выпуская её локтей, — а что, если я тебе расскажу не только про вчера и про завтра, а про то, как вся жизнь задумана лет

на двадцать вперёд? Как задумана, если с тобой, и как была задумана, если без тебя.

— А разве ты думал об этом «если»?

— Да, конечно, — просто и твёрдо ответил он. — Это уже давно зависело не от меня, а от тебя.

Он говорил правду, и лицо его в эту минуту стало суровым и почти несчастным — такая буря пронеслась в его душе при мысли о том, что всё могло случиться иначе, чем сейчас.

И Маша, глядя на него, вдруг вспомнила дождь, перрон и его лицо тогда, четыре года назад, когда она уезжала в Комсомольск-на-Амуре...

— Ну так как же? — овладевая собой и спокойно сядя на стул, сказал Синцов. — Обо всём сразу сейчас поговорим?

Но Маша только виновато улыбнулась оквозь наворачнувшиеся непрошенные слёзы и за руку потянула его из комнаты.

Отец Синцова, Пётр Петрович, оказался совсем не таким, каким его себе представляла Маша. Она представляла его себе старым учителем, в очках, со строгими глазами, со строгим старческим голосом. Когда же Маша и Синцов выпрыгнули из остановившегося на секунду попутного грузовика, навстречу им из крепкого трёхколенного рубленого дома с голубыми наличниками вышел бравый мужчина, на вид лет сорока пяти, высокий, разве чуть пониже Синцова, но не уже его в плечах, с копной тёмных, ещё и не начинавших седеть волос, с маленькой, куцой трубочкой, дымившейся под густыми прокуренными усами. Одет он был в вышитую косоворотку, подпоясанную старым форменным солдатским ремнём, брюки навыпуск и сандалии на босу ногу. Его загорелое, с крупными морщинами лицо, обветренная бурая шея и загрубелые сильные руки скорей обличали в нём человека, по роду своих занятий всю жизнь прожившего среди природы, — лесничего или землемера, чем старого учителя.

— Давно, давно ждали мы вас к себе в гости! — сказал отец Синцова, пожимая руку Маши своей крепкой шершавой рукой и мимо её смущённого, зарумянившегося лица глядя в откровенно счастливые глаза стоявшего позади неё сына. — Пока в палисаднике посидим, — продолжал он, не отпуская машиной руки и ведя её за собой. — Сами виноваты: приехали без уговору, так что и обед рядовой, без разносолов, да и обождать его придётся.

Всё это он говорил, усаживаясь вместе с Машей и сыном на лавочке, возле низкого круглого стола, накрепко вкопанного в землю посреди палисадника. Палисадник вдоль всего штакетного забора был обсажен высокой сиренью, а по самому штакетнику был густо пущен вьюнок, уже успевший подняться почти до верха и замыкавший палисадник сплошной зелёной стеной.

— Николай, а Николай! — громко крикнул Пётр Петрович через открытое окно внутрь дома, когда они уселись на скамье.

— А-а! — донёсся оттуда мальчишеский голос.

— Уроки прерви. Возьми у меня под пресс-папье червонец, сходи в сельпо, купи портвейну — там в полбутылках есть. А до этого пойдёшь к Ольге Никаноровне — она во дворе бельё вешает — и объясни ей про обед. А после всего этого садись за уроки, чтоб кончить к обеду. Понял?

— Понятно! — сказал мальчишеский голос.

Однако Маша, сидевшая в палисаднике напротив Петра Петровича лицом к окну, увидела, что круглая стриженная мальчишеская голова, появившаяся в окне при первых словах Петра Петровича, отнюдь не спешит исчезать. Напротив, маленькие чёрные глазки смотрели на Ма-

шу с бесцеремонным и неторопливым любопытством. Должно быть, это почувствовал и Пётр Петрович, потому что, не оборачиваясь, он довольно грозно сказал:

— Наблюдения будут после. Не так ли? — После чего стриженная голова в окне тотчас же бесшумно исчезла. — Любопытствует, а уроки не сделаны. По немецкому языку осенью переэкзаменовка предстоит, — сказал Пётр Петрович и, помолчав, кивнул на старшего сына. — Значит, насовсем к нему переехали!

— Насовсем, — вспыхнув, сказала Маша. — То есть я должна буду ещё поехать...

— Ну да, понятно, — перебил он её, — конечно. Я не про то, чтобы ещё съездить. Съездить, конечно, — повторил он. — Это большое счастье для Вани, что вы будете с ним. Вы для него уже сколько лет один свет в окошке. Я уж тут и поперёк дороги вам стать пытался, невесту ему сватал, но ничего, знаете ли, не вышло.

Маша строго взглянула на Петра Петровича. Неужели он в самом деле мог хотеть, чтобы Синцов женился не на ней, а на ком-то другом? Самая эта мысль сейчас, когда она была уже вместе с Синцовым, казалась ей такой неправдоподобной, что она невольно воскликнула:

— Не верю!

— А почему не верите? — тихо и серьёзно, очень похоже на сына, сказал Пётр Петрович. — Это правда, я человек правдивый. Вы всё не едете, а мне сына жаль, вот и сватал.

И от того, как он спокойно и рассудительно объяснил это, Маша впервые явственно представила себе, что Синцов мог жениться на ком-то другом, а не на ней, и, ужаснувшись, невольно прихватила мужа рукою за локоть.

— Есть такой цветок — Иван-да-Марья, — сказал Пётр Петрович, заметив это её движение. — В бога я не верю и не верил никогда, а в судьбу отчасти верю. Пусть она у вас будет, не скажу, чтоб хорошая — это уж как сами добьётесь, а неразлучная, как Иван-да-Марья. Вы ведь Иван-да-Марья — это ведь тоже не просто так, а судьба.

Голос его при последних словах неожиданно по-стариковски дрогнул.

Он быстро встал и, сказав, что пойдёт похлопотать по хозяйству, вышел из палисадника.

— Расстроился. О матери вспомнил, — сказал Синцов, когда Пётр Петрович ушёл в дом. — Сколько на вид лет отцу?

— На вид так мало, — ответила Маша, — что боюсь выговорить.

— А на самом деле пятьдесят девятый год, — сказал Синцов. — Когда мать Колю рожала, ей было всего тридцать два, а ему уже за сорок пять. Как он тогда с ума сходил, когда она от родов умерла! Да что я тебе рассказываю!

Маша кивнула головой. Она знала историю того, как Пётр Петрович после смерти жены вдруг бросил всё и, оставив старшего сына доучиваться в Москве, сам с ещё грудным младшим уехал в деревню, на место своего прежнего дореволюционного учительства. Там он когда-то женился на молоденькой народной учительнице своей же школы. Туда, не перечя первому душевному порыву, он уехал со своим горем, которое считал неизлечимым и не ошибался в этом.

Вспомнив эту историю, Маша подумала, что наверное из-за этого Пётр Петрович всегда мысленно представлялся ей дряхлым и разбитым жизнью человеком.

— Так он с тех пор всё один и живёт здесь? — спросила Маша.

— Всё один, — сказал Синцов. — Теперь, правда, Николашка подрос, они вдвоём хозяйничают. Отец ведь вообще очень хозяйственный,

у него и огород, и ягодушки, и пасека. Когда он только тетради проверять успеваает, просто не знаю.

И Маша по его ответу почувствовала, что он не понял или не захотел понять её.

— Только стирает им и обед на два дня готовит соседка, Ольга Никаноровна, та, за которой он — слышала? — посылал, — продолжал Синцов. — Старуха интересная во многих отношениях, вдова столяра-краснодеревщика. Два сына: один — в Москве, другой — в Киеве, один — бухгалтер, другой — даже профессор. Но не едет ни к тому, ни к другому, а живёт здесь, как она выражается, «в своей воле», и опекает моих — старого да малого. Не из нужды, а так, от доброго сердца и от скуки, не знаю, от чего больше.

— Ты меня познакомишь с ней за обедом? — спросила Маша.

— Едва ли, — покачал головой Синцов. — Старуха, вдобавок ко всему, староверка, ест дома, из своей посуды, а с отца берёт оброк исключительно сотами. Притом у неё в дело идёт не только мёд, но и воск. Она из него сама себе свечки делает, потому что обыкновенные церковные свечи для неё не подходят, они какие-то не такие, одним словом, грешные.

Маша улыбнулась и пошла за Синцовым в дом. Пётр Петрович уже звал их, стоя на крыльце.

Дом внутри был чистенький и состоял из двух комнат, не считая кухни. В оклеенном обоями зале в три окна стояло довольно много всякой мебели: большой обеденный стол, маленький письменный, несколько гнутых венских стульев, две высокие плетёные подставки с цветочными горшками, кушетка и этажерка, на которой лежали тетрадки и закапанные чернилами учебники пятого класса. Вторая комната была маленькая, оклеенная прямо по брёвнам белой бумагой. Там стояли вещи Петра Петровича: большая кровать, большой книжный шкаф и большой письменный стол с большим креслом возле него. Ничего другого в комнате не помещалось, да и эти четыре вещи стояли так тесно, что некуда было шагу ступить.

— А где же ты спишь, когда ночуешь здесь? — спросила Маша.

— А мне парусиновую «гармошку» раскладывают, летом у окна, а зимой у печки, — сказал Синцов.

— Тринадцать лет назад сруб купил, — сказал Пётр Петрович, — остальное всё сам городил, своими руками. Прощу к столу.

На столе стояли: графинчик с настоянной на черносмородиновых листочках зеленоватой водкой, полбутылка портвейну и закуски — холодец, домашнее сало и малосольные огурцы. В деревянной хлебнице лежал крупными ломтями, по-крестьянски нарезанный хлеб. Вилки и ножи были старые, с пожелтевшими костяными черенками.

Едва сели за стол, как в комнату вошла Ольга Никаноровна — худощавая красивая старуха — и внесла, прихватив серым холстинным полотенцем, большой чугунок со щами. Молча, потеснив локтем не успевшего отодвинуться в сторону Синцова, она поставила чугунок посреди стола.

— Вот, Ольга Никаноровна, — сказал Пётр Петрович, вставая (вместе с ним поднялся сын, а за ним и Маша), — Марья Трофимовна.

И Пётр Петрович показал ружьём на Машу. Маше послышалась в его голосе заминка, словно он не решился, как сказать дальше, и она, пожав быструю, сухую руку старухи, добавила сама:

— Ваньина жена, — и улыбнулась от того, как просто и легко это выговорилось.

— Может, посидите с нами, Ольга Никаноровна? — спросил Пётр Петрович.

— Недосуг мне с вами сидеть, — сухо сказала Ольга Никаноровна и, ничего не прибавив, вышла, притворив за собою дверь.

— Ох, и умная старуха, — садясь, сказал Пётр Петрович, — знает, когда что. Иногда в комнату не зайдёт, а иногда, поверите, явится со своей чайной посудой, розетку с мёдом перед собой устроит, на пять пальцев блюдце с чаем поставит и сидит целый вечер, не шелохнётся, хоть картину с неё пиши!

— А где же Николашка? — спросил Синцов, видя, что отец уже наливает водку.

— Сейчас явится. Он, наверное, на дворе в бочке ноги моет. Пожелал при даме быть не как-нибудь, а в штиблетах.

Младший сын Петра Петровича, как видно, успел услышать это из-за двери, потому что вошёл он, стремясь неестественным образом оставлять как можно дальше позади ноги в злополучных штиблетах. Небрежно сунув руку брату, он обошёл стол, покраснев, поздоровался с Машей и наконец, завершив круг, уселся на своё место.

Это был маленький, плотный крепыш, не похожий ни на старшего брата, ни на отца и, наверное, как подумала Маша, похожий на мать. Его весёлые, буравившие всё, что попадало в их поле зрения, глазки сейчас буравили портвейн. Заметив это, отец налил ему полрюмки.

— С приездом, — тихо и сердечно сказал Пётр Петрович. Обведя всех глазами, он выпил одним духом налитый до краёв гранёный стакан водки и больше уже не наливал себе весь обед, объясняя, что пить рюмочками — это дамское занятие.

После обеда Николашка сразу исчез, а все остальные ещё долго сидели за чаем. Пётр Петрович сам принёс самовар и на кухне снова пригласил Ольгу Никаноровну. Она снова отказалась.

— Мудрая женщина, всё понимает, — вернувшись, ещё раз похвалил её Пётр Петрович и посмотрел при этих словах на Машу так, словно она тоже была мудрой и всё понимала.

И за обедом и за чаем Пётр Петрович всё время много говорил, расспрашивал Машу о Комсомольске-на-Амуре и вообще о Дальнем Востоке, причём всё больше о тамошней растительности, климате и охоте. Он не показался Маше разговорчивым от природы человеком, и она сперва смутно почувствовала, а потом и уверилась в том, что он овладел разговором нарочно, зная, что ей и его сыну сегодня трудно говорить, а ещё трудней — молчать.

Маше, когда они ещё только садились, показалось, что за столом пойдёт какой-нибудь особенно важный разговор, потому что самый её приход в этот дом был особенным и важным событием. Но разговор вышел самый простой, ничем не особенный, даже напротив, обыденный. И она всё больше проникалась чувством благодарности к умному старому человеку, с которым ей было так просто и легко не потому, что это само собой должно было получиться в первую же встречу с отцом мужа, а потому, что Пётр Петрович захотел, чтобы ей стало просто и легко, и сделал это.

Поговорив с Машей о Дальнем Востоке, Пётр Петрович принялся расспрашивать сына, что нового у него произошло на работе с прошлого воскресенья.

Синцов сначала отвечал нехотя, но понемногу разговорился. Оказывается, он вернулся вчера такой довольный потому, что из села Комарова, где он был, намечалась к поездке на сельскохозяйственную выставку в Москву молодёжная бригада опытников, работавших по льну. Синцов впервые написал о них в газете ещё в прошлом году, а теперь они выходили на первое место по области.

— А как твой редактор теперь, тоже всем доволен? — с усмешкой спросил Пётр Петрович.

Он знал по рассказам сына, что редактор в прошлом году не захотел печатать статью об этих опытниках, потому что о них не имелось ещё твёрдого мнения в райкоме.

— А что же ему теперь остаётся? Конечно, доволен, — беззлобно сказал Синцов.

— Но ведь у вас с ним по этому вопросу расхождения были? — продолжая поддевать сына, спросил Пётр Петрович.

— У нас с ним только одно на всю жизнь расхождение, — сказал Синцов. — Он считает, что газета — это ведомости райкома и райисполкома. А я думаю, что газета — это газета! Он считает, что в газете надо печатать только то, что решено и подписано, только распоряжения и постановления сверху! А я думаю, что иногда и самим надо в газете вопросы ставить. Снизу! Вот и всё расхождение. А с этой бригадой теперь всё решено и подписано не только в районе, но и в области, так что все довольны: и я доволен, и он доволен — полное единодушие.

Под конец разговора Синцов совершенно сбился с принятого им вначале добродушного тона: у него насмешливо и зло раздувались ноздри.

Маша никогда не видела его таким, но не удивилась. По её мнению, так и должно было быть — он ведь говорил о самом главном в своей жизни.

Ей захотелось молчаливо показать своё согласие с ним, и она тихо положила руку на его сжатый кулак.

Но Синцов не угадал её мыслей. Почувствовав тихое прикосновение машиной руки, он подумал, что она его успокаивает, и, смущённо спрятав руки под стол, заговорил с отцом о ремонте мельниковской школы.

Когда солнце стало клониться к закату и пришла пора возвращаться в город, Маша испугалась, что Пётр Петрович предложит им остаться ночевать. Она стеснялась самой возможности такого предложения, но он даже и не подумал предлагать им это. А когда Синцов, встав из-за стола, сказал: «Ну что ж, папа, посмотрим твой сад, да и пойдём», отец полусердито, полушутя ответил:

— Эк когда хватился! Другой раз посмотрите. Отправляйтесь в город, пока вовсе не смерклось, да пойдёте отпри сундук, там мой плащ, возьми — на плечи ей накинуть, а то вечер-то прохладный, а ты, я вижу, недогадливый.

Синцов пошёл за плащом, а Пётр Петрович вышел вдвоём с Машей на крыльцо. На соседнем дворе разводили самовар шишками, и оттуда приятно тянуло дымом.

— Вы не подумайте, — сказал Пётр Петрович, — что я мало удивился тому, что вы приехали с Ваней.

— Нет, я не подумала, — ответила Маша и добавила: — Может быть, сначала подумала, а сейчас у меня такое чувство, словно я здесь была уже много раз.

— Вот именно, — продолжал Пётр Петрович. — Но только вы не думайте, что он мне когда-нибудь про вас говорил, что вы к нему приедете. Я сам по его любви понял, что приедете. Поэтому и не удивился... Он вас сильно любит, — помолчав и несколько раз пыхнув своей куцой трубочкой, сказал Пётр Петрович, — у него цельная натура. Растопить или в воде размешать эту натуру нельзя. Эту натуру только на куски, насмерть расколоть можно.

Он замолчал. Маша почувствовала за его гордыми словами о сыне

невысказанную, стыдливо обращённую к ней просьбу беречь эту любовь и эту натуру и, как бы давая обещание выполнить его молчаливую просьбу, порывисто пожала руку Петра Петровича.

Синцова всё ещё не было, и они продолжали молча стоять на крыльце.

— А как у вас будет с работой? — вдруг спросил Пётр Петрович.

— Не знаю, надо будет устраиваться, — нерешительно сказала Маша. — Я не так давно кончила у нас в Комсомольске вечерний техникум.

— И кем же кончили?

— Электриком.

— Да, тут у нас в Вязме с выбором работы особенно не разгуляешься, — посетовал Пётр Петрович. — На городскую электростанцию придёт-ся вам пойти или на железную дорогу. Можно ещё на ремзавод.

— Что это за ремзавод?

— А это заводик у нас небольшой, ремонтный. И сельскохозяйственный инвентарь и машины ремонтирует, да и вообще всё, что придётся. Сокращённо — ремзавод. В новую пятилетку на его базе обещают завод льнопрядильных машин построить. А то у нас ведь тут кругом всё лён да лён. А кем вы работали, пока в вечернем техникуме учились? — помолчав, спросил Пётр Петрович.

— Монтёром, — ответила Маша и, вспомнив, поправилась: — один год, правда, была освобождённым секретарём заводского комитета комсомола, но по вечерам всё равно училась.

— Вот бы и пошли к нам тоже секретарём комсомола, — сказал Пётр Петрович, — а то у нас как раз в районе секретарь неважный, рыхлый. перестарок какой-то. Приехал недавно к нам. Я с семиклассниками в волейбол играю, его пригласил, а он не может. Понимаешь ты — сердце у него! Вот и пусть бы вас сюда, на его место перевели.

— Так не делается, — сказала Маша. — Для этого нужно авторитет завоевать.

— Так у вас же там, наверное, авторитет был, раз выбрали?

— Может быть и так, но я справку об авторитете оттуда взять забыла, — пошутила Маша и испугалась, что старик может обидеться. Но он, напротив, рассмеялся шутке.

— Ты что смеёшься? — спросил, выходя из дома, Синцов.

— Просвещает меня твоя жена, — сказал Пётр Петрович. — В общем, вы, конечно, правы, — повернулся он к Маше. — Но что до нашего секретаря, то он, по-моему, как раз со справкой об авторитете сюда приехал, потому что здесь, в районе, у него авторитета не наблюдается.

— О чём разговор-то у вас? — не понимая, снова спросил Синцов.

— Да вот тут Пётр Петрович выдвигает меня в секретари райкома комсомола, а я отказываюсь.

И Маша, смягчая шутку, ласково улыбнулась старику.

— А где Николашка? — спросил Синцов. — Что-то я его не вижу.

— У них сегодня футбол, — насмешливо сказал Пётр Петрович, — междугородный матч: наше Мельниково против Купавина. Захотите повидать — заходите в другой раз.

Проводив Машу и Синцова до поворота дороги, Пётр Петрович простился и ещё долго стоял и смотрел им вслед. Маша ему понравилась. Перемена, происшедшая в жизни сына, как будто обещала одно только хорошее, но в то же время обременяла его старое сердце безотчётной тревогой ещё за одну человеческую судьбу.

А Маша и Синцов шли по дороге, слушая, как шуршит ветер в нежатых хлебах и тихонько подвывают телеграфные провода.

— Когда я был маленьким, — сказал Синцов, — мне казалось, что я

знаю тайну телеграфа. Я думал, что телеграммы, скатанные в трубочку, летят из города в город прямо по проводам, но только так быстро, что никто этого не видит. И я всё смотрел на провода и старался увидеть. И мне даже иногда казалось, что я вижу, как они очень-очень быстро перескакивают от столба к столбу.

— Ты что-нибудь пишешь сейчас? — спросила Маша.

Слова Синцова о том, как по проволоке летят телеграммы, показались ей поэтичными, и она вспомнила о его неудавшейся, изорванной повести.

— Нет, ничего не пишу, — испуганно отозвался Синцов и долго шёл молча, думая, что изорванная повесть была тем единственным, о чём не надо было говорить даже Маше.

Они подходили к черте города. Уже виднелся горбатый деревянный мост перед въездом. Слева, над станцией, в потемневшее лиловое небо поднимались белые дымы паровозов. Справа от въезда в город тянулись одноэтажные склады, а за ними возвышалось несколько небольших фабричных зданий с кирпичными трубами.

— Скажи, где у вас электростанция? — спросила Маша.

— Её не видно отсюда, она на том конце города.

— А ремзавод? Его тоже не видно отсюда?

— А вот он, — неожиданно для Маши показал Синцов на самое ближайшее и маленькое из видневшихся фабричных зданий, казавшееся в сумерках совсем закопчённым и неприглядным. — А почему ты спрашиваешь?

Но Маша не ответила ему, а, повернув его к себе, положив ему руки на плечи и заглядывая снизу вверх в глаза, спросила:

— Хорошо сказал твой отец: «Иван-да-Марья»? Да?

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

В Монголии стояла обычная для этого времени года жара. Земля потрескалась и пылала зноем, травы выгорели дожелта, азгустовское солнце беспощадно палило весь день и даже вечером, заходя за сопки, прямой наводкой било в глаза. Днём бывало одинаково душно и в юрте и на воздухе. Ночной холодок приносил мало облегчения — ночи napрoлёт над всем живым в степи тучами роились комары.

На горе Хамардаба, в штабе группы монголо-советских войск, близилась к завершению подготовка большой наступательной операции. Она пока ещё фигурировала под скрывавшей её секретной литерой и не была обозначена определённым числом, но командиры штаба уже чувствовали, что до начала событий остаются считанные дни.

Артемьев с начала июля служил в оперативном отделе штаба под начальством того самого полковника Постникова, который в мае отправил его встречать сапёров. Теперь оперативный отдел, начальником которого был Постников, занимал на Хамардабе три юрты, вкопанные в землю и прикрытые маскировочными сетками, но сам Постников жил всё в той же своей палатке, где его впервые увидел Артемьев.

В отделе служили шесть командиров, считая Артемьева, и полковник безжалостно выматывал из них жилы не столько с помощью начальной резкости, сколько показывая пример собственной невероятной трудоспособности. В повседневной штабной работе он был вовсе не таким крутым человеком, каким его увидел Артемьев при первой встрече в критическую минуту боя. Но зато въедливость у него была прирождённая, постоянная и утомительная. Он не выносил поправок и помарок и, увидев маленькую неточность в документации, заставлял переписывать

или перепечатывать весь документ. Малейшее отклонение нанесённой на карту разграничительной линии заставляло Постникова почти физически страдать. За одно лишнее слово в сводке он называл всю сводку болтливой и с оттенком личной обиды говорил, что его хотят осрамить перед Военным Советом, а Военный Совет хотят заставить терять время на чтение болтовни.

Полковник Постников никогда и никого не хвалил, считая похвалой само отсутствие замечаний. Спал он по четыре часа в сутки, а в разгар подготовки к наступлению, казалось, вообще перестал спать. Во всяком случае, ни Артемьеву, ни другим командирам оперативного отдела, тоже спавшим в эти дни по три-четыре часа, ни разу не удалось застать его спящим.

Артемьев, который сам имел вкус к донесениям и сводкам, составленным с щегольской краткостью, и к артистически чистой работе с картой, несколько чаще других удостаивался от Постникова похвалы, выражавшейся в отсутствии замечаний.

В полковнике Постникове было что-то привлекавшее к себе Артемьева. Постников, — как он впоследствии выражался, — получив трёхлетнее солдатское образование на германском фронте, в гражданскую войну командовал стрелковым полком. После гражданской войны он, начав всё сначала, уже тридцатилетним человеком кончил нормальное военное училище, командовал взводом, ротой и батальоном; на предельном для приёма возрасте поступил в Академию имени Фрунзе, окончил её, командовал полком и, наконец, совсем недавно окончил Академию Генерального штаба.

Военная наука нелегко далась ему самому, и он не терпел сколько-нибудь легкомысленного отношения к ней у других. При своей угрюмоватой бухгалтерской внешности он был поэтом штабной работы. В глубине его завешенных косматыми бровями глаз горели задорные умные огоньки, и в решениях, которые он разрабатывал, тщательность соседствовала со смелостью.

Справедливый от природы Артемьев умел видеть и чувствовать это, несмотря на всю ту злость, которую у него временами вызывали чрезмерные придирки Постникова.

Постников был нетерпим ко многому, но одного он не выносил совершенно: когда, манкируя штабной работой, молодые командиры рвались на передовую. Человек, командовавший в гражданскую войну полком главным образом благодаря неоспоримому авторитету своей личной храбрости, он презирал молодечество без нужды.

— Ты штабной командир, ты решение дерзкое прими и ответь за него головой, — ворчливо говорил он, — а то, что ты под пулями был, это ты барышням рассказывай, а товарищам это не интересно.

Храбрость, по его мнению, была свойством для военного человека само собой разумеющимся, и глупо было её доказывать, специально ездя под пули на передовую.

Под бессонным оком этого человека Артемьев со своими товарищами работал над предстоящей операцией.

Потерпевшие в первых числах июля поражение на Баян-Цаганском плацдарме и отброшенные за Халхин-гол, японцы пока не пытались переправляться на западный берег, но зато проявили явную решимость прочно закрепиться на восточном.

Весь июль изобиловал кровопролитными боями. Японцы хотели отеснить советско-монгольские войска поближе к реке. Этого им сделать не удалось, но благодаря всё ещё большому численному перевесу в пехоте

они заняли несколько крупных и несколько десятков мелких сопки и округлили захваченную ими приграничную территорию.

В этих боях был убит командир 149-го стрелкового полка майор Ремизов. Сопку, на которой он погиб, взяли японцы. В погожие дни она была хорошо видна с Хамардабы. По сведениям разведки, на сопке размещился штаб одной из японских дивизий. Но бойцы 149-го полка, рассчитывая рано или поздно отбить сопку у японцев, заранее окрестили её в честь своего погибшего командира Ремизовской и спорили о том, какой батальон первым взойдёт на её вершину. Сила солдатской убеждённости была такова, что скоро и в штабной документации сопка стала обозначаться как Ремизовская.

При всей, казалось бы, стратегической бессмыслице кровопролитных фронтальных боёв за несколько десятков песчаных барханов японцы весь июль с готовностью платили любую кровавую цену за каждый такой бархан и каждый квадратный километр пустыни. К началу августа они прекратили атаки и начали деятельно укрепляться: рыли окопы полного профиля и разветвлённую сеть ходов сообщения, сооружали блиндажи с покрытием из брёвен и бетонных плит, устраивали основные и запасные позиции для орудий, миномётов и пулемётов, строили подземные гаражи, конюшни и склады.

Вскоре окончательно обрисовались контуры японских позиций. Район, занятый японцами на монгольской территории, имел больше шестидесяти километров по фронту и десять — пятнадцать километров в глубину. По сведениям разведки, в нём размещалось больше сорока тысяч японских войск. Выгнутый дугой японский передний край проходил в трёх—шести километрах от Халхин-гола. Было совершенно очевидно, что японцы готовили себе плацдарм для будущего наступления, но оставалось не до конца ясным, когда это наступление планируется.

Судя по ряду приготовлений, в том числе по отмеченному агентурой прибытию на станцию Хайлар двух эшелонов с зимним обмундированием, было много оснований предполагать, что японцы или готовятся к зимним действиям, или намерены, просидев зиму в укреплённом районе, начать наступление весной.

Однако приходилось считаться и с тем, что приготовления к зиме могли оказаться мнимыми, сделанными для отвода глаз, а японское наступление тем неожиданнее могло развернуться в ближайшее время, попрежнему, в случае успеха, имея целью захват Восточной Монголии к выходу на подступы к Байкалу.

В Токио считали, что в Москве бояться войны. Свидетельств этому, на взгляд японского правительства, было более чем достаточно: и продажа КВЖД, и уступки в переговорах по рыболовным участкам, и терпение, проявленное Наркоминделом при обсуждении вопроса о том, кому принадлежат острова, расположенные на среднем течении Амура.

Анализируя долготерпение Москвы, в Токио приходили к самоуверенному выводу, что оно — результат и общей военной неготовности русских и, в особенности, их боязни ввязаться в войну на Дальнем Востоке перед лицом так ясно проявившегося в последнее время нежелания англичан и французов идти на сколько-нибудь серьёзные переговоры о гарантиях мира в Европе.

Правда, майские и июльские бои на Халхин-голе вновь, как и Хасанские события в прошлом году, нарушили стройность концепции о неготовности русских к войне. Штаб Квантунской армии, разумеется, знал и подлинные цифры потерь и размеры июльской неудачи при Баин-Цагане, но план захвата Монголии первоначально созрел именно в недрах Квантунской армии, и все факты, ставившие этот излюбленный и уже

начатый осуществлением план под сомнение, или объявлялись несуществующими, или приобретали по дороге в Токио половинчатый, неопределённый характер.

В японском генеральном штабе не могли совершенно игнорировать неприятные сведения, хотя бы и в сильно преуменьшенном виде доходившие из Квантунской армии, но, стремясь к войне с Россией и настаивая на ней, упрямо предпочитали оперировать не Хасаном или Баин-Цаганом, а более давними и удобными для этой цели воспоминаниями о Цусиме, Мукдене и Ляояне.

Наиболее влиятельные японские газеты, ни словом не упоминая о каких бы то ни было неудачах, уже второй месяц подряд, захлёбываясь, единодушно писали о подвигах японских лётчиков и пехотинцев в Монголии и о страхе и растерянности русских и монголов перед лицом этих высших проявлений истинно самурайского духа.

В этой обстановке советское правительство приняло единственное решение, которое, по его мнению, могло предотвратить грозившую вспыхнуть на Дальнем Востоке большую войну, и стало, в соответствии с договором, сосредоточивать в районе Халхин-гола крупные силы для оказания Монголии более широкой военной помощи, чем до сих пор.

Это была та же самая политика решительного предотвращения войны, руководствуясь которой Советский Союз осенью 1938 года, в противовозможность Франции и Англии, согласился принять участие своими вооружёнными силами в коллективной поддержке Чехословакии против Гитлера, а весной 1939 года предложил Франции и Англии гарантировать мир в Европе совместным вооружённым выступлением в случае нападения Германии.

Москва решила, что японскому правительству и японскому и мировому общественному мнению будет полезно убедиться в той степени готовности к крупным операциям, в которой находилась Красная Армия. Только разгром всей вторгшейся в Монголию японской группировки мог заставить Токио серьёзно призадуматься над перспективами войны с Советским Союзом.

Как только это было решено, тотчас же в конце июля начались и разработка плана операции и подготовка к её всестороннему обеспечению. Начались с тем размахом, за которым все в армии, сверху донизу, почувствовали волю Сталина.

План операции, в детальной разработке которого вместе с десятками других командиров пришлось принимать участие и Артемьеву, был прост и ясен.

Речь шла не о том, чтобы просто нанести поражение японцам, выбить или вытеснить их. Речь шла о неприкосновенности границ Монгольской Народной Республики, которая была гарантирована Советским Союзом. Иностранные войска, перешедшие эти границы, предстояло полностью истребить и пленить, а границы — полностью восстановить. Дальнейшие выводы — воевать или не воевать после этого — предоставлялось делать японцам.

В соответствии с задачей, поставленной Генеральным штабом Красной Армии, операция замышлялась как удар на обоих флангах с глубоким обходом и быстрым соединением обходящих групп в тылу японцев, на монголо-маньчжурской границе. Этот удар должен был сочетаться с одновременным наступлением в центре — чтобы лишить японцев свободы манёвра и возможности отрыва и выхода из «мешка».

Вслед за молниеносным окружением ставилась задача быстрого уничтожения окружённой группировки — полного решения её судьбы до подхода крупных японских подкреплений.

Обеспечить такую операцию было нелегко. Театр военных действий, отделённый от железной дороги семисотпятьюдесятью километрами полупустыни, требовал громадного напряжения транспортных средств, даже в условиях обороны. С началом подготовки к большому наступлению трудности увеличивались в несколько раз.

В районе Халхин-гола предстояло сосредоточить несколько стрелковых дивизий, несколько танковых и бронебригад, несколько крупных авиационных соединений и батальонов авиационного обслуживания и большое количество тыловых частей. Предстояло обеспечить горючим сотни танков и бронемашин, без малого тысячу самолётов и несколько тысяч автомобилей. Наконец, предстояло перебросить запасы продовольствия, достаточные для бесперебойного снабжения десятков тысяч людей, и организовать ежедневный подвоз воды во все воинские части, расположенные вдали от реки Халхин-гол.

При отсутствии на много десятков километров вокруг каких бы то ни было населённых пунктов предстояло подвезти в район военных действий громадное количество юрт и палаток, а при полном отсутствии лесов — несколько эшелонов леса. Но эшелоны разгружались за семьсот пятьдесят километров, в Забайкалье, на станции Борзя, и каждый кусок дерева, начиная от брёвен для блиндажных накатов и телеграфных столбов и кончая шестью для связи, приходилось везти на грузовиках, делавших оборот в тысячу пятьсот километров. По расчёту горючего, машины, гружённые бочками с бензином, сами съедали за дорогу туда и обратно без малого треть того, что на них можно было погрузить.

При всём этом была поставлена невероятно трудная в условиях совершенно открытой местности задача сохранения тайны. В районах, прилегавших к фронту, большинство перевозок совершалось ночью, а там, где их всё-таки приходилось производить днём, лётчикам было приказано прикрыть небо от японской авиации.

Конечно, скрыть до конца такое сосредоточение войск было невозможно, но принимались все меры к тому, чтобы спрятать хотя бы его истинные масштабы и ввести японцев в заблуждение относительно наших намерений.

По радио открытым текстом передавались ложные запросы, напоминания и распоряжения о подвозе зимнего обмундирования, о лесе для строительства зимних блиндажей, о кольях и проволоке для проволочных заграждений. Часть проволоки, которую предполагалось использовать впоследствии для установки заграждений на границе, привезли заранее и начали открыто ставить на самых видных местах.

Сильная звуковещательная станция каждый день имитировала то в одном, то в другом месте шум, который можно слышать при забивке кольев. Танки со снятыми глушителями каждую ночь кочевали вдоль фронта, заранее приучая уши японцев к тому грохоту, без которого не обойтись при сосредоточении танковых бригад на исходных позициях в канун наступления.

В частях, стоявших на переднем крае, распространялись листовки политотдела о задачах обороны. Разведка позаботилась о том, чтобы несколько таких листовок попало к японцам.

Срок для подготовки операции был дан из Москвы жёсткий — меньше месяца.

Хотя сведения о том, готовят ли японцы своё наступление ещё этой осенью или откладывают его до весны, были попрежнему противоречивы и многие здесь, на месте, в штабе группы, даже склонялись к большей вероятности весеннего варианта, — в Москве, в Генеральном штабе, оценивая общую обстановку, видимо, делали другие выводы

и жёстко торопили с подготовкой наступления, чтобы при всех обстоятельствах опередить японцев.

Когда же одиннадцатого августа стало известно, что японцы сформировали из своих войск, находившихся в Монголии и Западной Маньчжурии, шестую особую армию, Москва в ночь получения этого известия категорически сократила срок подготовки к наступлению ещё на несколько суток.

Всю первую половину августа Артемьев почти не вылезал из юрты, не разгибаясь писал, чертил, сводил поступающие из частей данные, уточнял разграничительные линии, заготовлял приказания и распоряжения, с радостью осозная и общий замысел и общий размах предстоящей операции.

Если б не войлочные стены юрты, не огонёк маленькой лампочки и не комары, днём и ночью облеплявшие опухшее и одеревеневшее от укусов лицо, — Артемьев в этом круговороте тщательной штабной работы минутами был готов представить себе, что он сидит в тактическом кабинете академии, готовясь к предстоящей большой военной игре.

Затишье на фронте было, конечно, относительным. Днём из расположения японских войск слышалась постоянная стрельба зениток по нашим разведывательным самолётам. По ночам разведчики ходили за «языками». Почти каждую ночь то в одном, то в другом месте начиналась затяжная перестрелка. Стоявшие на крайнем левом и крайнем правом флангах монгольские кавалерийские дивизии несколько раз ввязывались в бои местного значения, а их отдельные эскадроны рейдировали по японским тылам.

Товарищам Артемьева по оперативному отделу, несмотря на ворчливое сопротивление Постникова, по разу — по два удалось побывать на передовой, и они потом рассказывали об этом с той нарочитой небрежностью, которая отличает новичков.

Артемьев слушал эти рассказы без особой зависти, но однажды, осатанев от постоянного сидения в юрте, придрался к случаю и попросился у Постникова съездить на левый фланг, в шестую монгольскую кавалерийскую дивизию.

Случай был как случай — пакет, с которым ему самому ехать было не обязательно, но можно было и поехать. Именно в шестую дивизию Артемьеву захотелось поехать, когда вернувшийся оттуда накануне штабной командир — монгол рассказывал ему, что советником при штабе дивизии состоит Санаев. Артемьев с удовольствием представил себе и неожиданную встречу с Санаевым и небольшую прогулку по степи верхом на хорошем коне, одолженном у кавалеристов.

Но Постников, когда Артемьев обратился к нему, так нахмурил брови, что они вовсе завесили ему глаза, и ворчливо ответил, что сам бы с удовольствием проехал километров десять переменным аллюром, но, однако, не просится у начальника штаба на верховую прогулку.

— Хорошо ездите? — продолжая хмурить брови, спросил Постников.

— Неплохо, даже джигитовал когда-то, — сказал Артемьев, ожидая, что будет дальше.

Но дальше ничего не было. Постников взял из рук Артемьева расчёт по боеприпасам, над которым тот корпел весь день, прочёл его, как обычно выразил одобрение отсутствием замечаний и ушёл к начальнику штаба.

Артемьеву оставалось догадываться, что Постников за всё время ни разу не отпустил его от себя потому, что ценит его как особенно исполнительного подчинённого. Артемьев догадывался об этом и раньше, и это было ему даже приятно, но сейчас, потянувшись всем телом и снова

представив себе верховую прогулку по степи, он в душе послал Постникова к чёрту и с ожесточением засел за очередной документ.

Это было тринадцатого августа. А начиная с четырнадцатого, Постников по два раза на дню стал выезжать на передовую для командирских рекогносцировок — то с командующим и членом Военного Совета, то с начальником штаба, каждый раз беря с собой кого-нибудь из командиров оперативного отдела.

Наконец дошла очередь и до Артемьева. Командующий вызвал на рекогносцировку на левый фланг Постникова, а тот взял с собой Артемьева, за которым в оперативном отделе числилось это направление.

Вечерело. Круто замешанные круглые белые облака неподвижно стояли над сопками, застыло солнце, и земля дышала вечерним ленивым, но ещё душным теплом, как промадная, начинающая остывать печь. В окопах переднего края, куда, оставив машину у штаба полка, Артемьев вместе с Постниковым добрался пешком, уже находился пришедший сюда раньше командующий. Он стоял с командиром танковой бригады, который должен был вместе с пехотой наступать здесь в первый день операции.

Артемьев сразу узнал Сарычева, хотя тот для маскировки был одет в общеармейскую форму. Красноармейская защитная гимнастёрка, надетая Сарычевым не вместо, а поверх серой танкистской, горбом торпачилась у него на спине.

От передовой до японских позиций было метров триста. На бурых буграх виднелись свеженасыпанные брустверы окопов. Местами под обложенной дёрном, но всё-таки не сросшейся с остальным пространством землёй угадывались недавно открытые блиндажи. Вдали за несколькими рядами мелких бугров торчала высота Палец, господствовавшая над всем этим районом.

Постников, который всегда любил держаться подальше от начальства, следовал своему обыкновению и теперь и, ожидая, когда его позвуют, замётно скучал. Местность ему была известна во всех подробностях, план — тоже.

Короткая перестрелка, разгоревшаяся было слева от них, но быстро погасшая, его нисколько не заинтересовала, он даже не повернул головы. Два раза он вытаскивал из кармана пачку папирос, но снова клал обратно. Ему хотелось курить, но курить без разрешения в присутствии старшего начальника, хотя бы и на воздухе, было не в его правилах, а просить разрешения — значило отрывать командующего от разговора.

Командующий стоял всего в десяти шагах от Постникова и Артемьева, и, хотя он разговаривал с Сарычевым негромко, Артемьев слышал почти каждое его слово.

— Направление представляет то удобство, — говорил командующий, — что они его не считают танкоопасным. Они исходят из возможностей своей собственной техники, а эта их техника, как мы уже видели, буксует на песке, как только подъём немножко покруче. А вы возьмёте такие подъёмы?

— Возьмём, если будем брать наискось, — сказал Сарычев.

— А кто вас заставляет лезть напрямик? Сколько тренировок провели?

— Свыше десяти, товарищ командующий.

— Как только в первый день прорвёте оборону и заберёте вместе с пехотой высоту Палец — мимо неё вам не проскочить, — вырывайтесь на простор и обходите с севера все остальные узлы сопротивления, — указал командующий. — В первый день перед нами не стоит задача уничтожения живой силы. Проткните и обходите. Уничтожить живую

силу будем не вашими действиями, а в результате ваших действий. После того, как замкнёте кольцо.

Командир танковой бригады сказал что-то, чего Артемьев не слышал, но на что командующий ответил громко и с сердитой интонацией в голосе.

— А, не вы первые, не вы последние рвётесь отомстить за товарищей! Мало ли чего вы хотите! Мсть — мстью, а план — планом! Ваши танкисты хотят мстить, а вы им не потворствуйте. Мы, — при этом он обернулся и кивнул на Постникова, — тоже не собираемся с японцами в бирюльки играть. Но нам с вами поручено товарищем Сталиным слишком большое дело, чтобы кто-нибудь, делая это дело, заранее разрешил себе зарываться или горячиться! — Последние слова командующий произнёс с оттенком угрозы и позвал Постникова: — Николай Иванович!

Постников, только что в третий раз вытащивший папиросы, поспешно сунул пачку в карман и, одёрнув гимнастёрку, быстро подошёл к командующему.

— На какую отметку должен выйти Сарычев к исходу первого дня? — спросил командующий.

— Шестьсот сорок два, — без запинки ответил Постников, оставив на долю готовившегося подсказать Артемьева — только беззвучно произнести ту же цифру. — А к двадцати ноль-ноль второго дня должен, замкнув кольцо, соединиться с хозяйством Махотина у Номун-хан Бурд Обо.

— Выполним. Хотя у Махотина полный комплект боевых машин, а мы после Баин-Цагана не пополнялись, — сказал Сарычев.

— Вот именно, — подтвердил командующий и едва заметно улыбнулся. — Ты мне в срок на заданную точку выйди, а цифрами нанесённых врагу потерь первые два дня можешь меня не поражать. Тем более, что ганкистские цифры — дело не всегда надёжное.

— По-моему... — начал было Сарычев.

— По-твоему, — перебил его командующий, — где твой танк прошёл, там ничего не осталось. А пехота, если она не дура, пересидела на дне окопа, да и снова взялась за винтовки. А у японцев она не дура. Будешь обходить укреплённые узлы — берегись флангового огня, чтобы тебе тишних машин не пожгли. Николай Иванович, — снова обратился он к Постникову, — по вашим сведениям, сколько у Сарычева машин?

— Восемьдесят три, — сказал Постников.

— К началу будет девяносто, — поправил Сарычев. — Заканчиваем ремонт.

— А когда начало? — быстро и насмешливо спросил командующий и, видя, что Сарычев замаялся, добавил: — Когда машины выйдут из ремонта?

— Через двое суток.

— Ну, это ещё так-сяк.

Командующий сделал два шага по окопу и вдруг обратился к Артемьеву, который прижался к стенке окопа, готовый пропустить его:

— Как, практикуетесь в японском? Я разведчикам сказал, чтобы они нас брали, если понадобится.

И Артемьев понял, что командующий помнит допрос японца на аин-Цагане.

— Практиковаться нет времени, товарищ командующий!

— Да уж, у него не разгуляешься, — с одобрительной полуусмешкой посмотрел командующий на Постникова.

— Да и пленных пока мало, — добавил Артемьев.

— Ничего, скоро появятся, — сказал командующий. — Особенно, если танкисты не подведут, — добавил он строго.

— Не подведём, товарищ командующий! — громко и торжественно во всю грудь выдохнули Сарычев.

— Не подведёте? — вопросительно протянул командующий.

Пройдя мимо Артемьева, он повернулся в окопе лицом к японским позициям и на минуту замер так, облокотясь руками о бруствер и пристально взглядываясь в лежавшие впереди холмы.

Во всей его позе было такое напряжение, такое внимательное ожидание, словно этот военный пейзаж, эти бурые холмы с японскими окопами и блиндажами, которые он мог видеть отсюда простым глазом, были в состоянии ответить на один единственный волновавший его сейчас вопрос:

— Не подведём?

«Да ведь он волнуется», — глядя на командующего, подумал Артемьев и был прав: командующий действительно волновался.

Это было волнение человека, перед глазами которого лежали не просто блиндажи, окопы и артиллерийские позиции, танкодоступные ложины и танкоопасные пески, а лежало будущее поле боя с войсками того самого проклятого капиталистического окружения, которое на его памяти грозило ультиматумом Керзона, устраивало налёты на АРКОС, убивало дипкурьеров и послов, терзало в застенках железнодорожников КВЖД, вынуждало вводить карточную систему, расходовать текстиль на красноармейские гимнастёрки, а сталь — на снаряды и танки, на те самые танки, которые через несколько суток пойдут вперёд через эти песчаные барханы.

— Николай Изанович! — тихо позвал командующий Постникова и ещё тише, так, чтобы не слышал никто, кроме Постникова, спросил: — Как по-вашему, можем мы докладывать в Москву о нашей готовности?

— Начальник штаба считает, что можем — на двадцатое число. Как и требовали от нас.

— А как думаете вы? — спросил командующий, подчёркивая «вы» и вкладывая в свой вопрос всё то молчаливое уважение, которое он питал к знающему, скромному и суровому Постникову.

— Я тоже так думаю.

Через пять минут, когда, закончив рекогносцировку, командующий в сопровождении Сарычева и Постникова двинулся в обратный путь, к Артемьеву, шедшему позади них, пристроился командир стрелкового полка, в расположении которого они находились. Один батальон этого полка принимал участие в майских боях. И командир и комиссар в полку были новые, не знакомые Артемьеву. Прежний комиссар — Джикия, — оказывается, был тяжело ранен и отправлен самолётом в Читу в тот же самый день, когда ранило Артемьева, а прежний командир — Панченко — недавно получил назначение заместителем командира дивизии.

— Ну, что у вас в штабе слышно? — тихо спросил, идя рядом с Артемьевым, новый командир полка, чем-то похожий на прежнего, такой же рослый, красивый и уверенный в себе.

Командующий повернулся в ходе сообщения так резко, что командир полка и Артемьев почти наскочили на него.

— Почему спрашиваете у капитана? Почему не у меня?

Командир полка мгновенно вытянулся в положение «смирно», но чёрные глаза его весело сверкнули: он в душе не поверил строгому тону командующего.

— У вас спрашивать не положено, товарищ командующий!

Командующий усмехнулся. Командир полка был прав: на этот раз строгость командующего была напускной, шутливой.

— Лучше скажите, что у вас в полку слышно?

— Полк готов к выполнению любого задания командования.

— Это я и без вас знаю. Разумеется! Ещё бы не готов! А вот что у вас бойцы говорят?

— Соскучились сидеть в обороне, в бой хотят.

— И это известно. Конечно, в бой хотят, раз не трусы. Этим вы меня тоже не удивили.

— Товарищ командир... — лихо вывернувшись из-за поворота окопа, подлетел к командиру полка молодой красноармеец, очевидно посыльный, но, увидев начальство, застыл с неподвижным выражением лица.

— А ну-ка, скажите, что у вас в полку слышно? Что бойцы насчёт японцев говорят? Что о них думают? — спросил у красноармейца командующий, намеренно не обращая внимания на его напряжённую позу.

Пройдя всю ту длинную служебную лестницу, на первой ступеньке которой стоял этот застывший сейчас перед ним красноармеец, командующий не только любил и умел говорить с бойцами, но и не представлял себе, как может быть иначе. Выезжая на ежедневные рекогносцировки, он никогда не задавался заранее специальной целью беседовать с бойцами, и, однако, ни одного дня не обходилось без этого. Это чаще всего выходило само собою и потому, что было в крови у него, и потому, что бойцы, несмотря на всю его, казалось бы, неприступную строгость, угадывали в нём родственную солдатскую душу и смели в его присутствии.

Так было и сейчас. Под спокойным, располагавшим к разговору взглядом командующего замороженное волнением лицо красноармейца за одну секунду снова оттаяло, а крепко сжатые губы, дрогнув, сами сложились в улыбку.

— У нас, товарищ комкор, бойцы говорят, что надо поскорей японцу по зубам дать. Пусть не мечтает, что мы его боимся!

— Стоять в обороне — это ещё не значит бояться врага, — сказал командующий, который все эти дни, прощупывая силу наступательного порыва в войсках, в то же время вынужден был пока не выходить из рамок обычных бесед о задачах обороны.

— Так точно, товарищ комкор, — разочарованно ответил красноармеец, явно ожидавший чего-то другого, более откровенного.

— А в боях вы были?

— Так точно, был.

— Ну и как по-вашему, легко будет разбить японца?

На лице красноармейца изобразилась душевная борьба. Ему хотелось сказать что-то очень лихое, победоносное. И не только хотелось. Он считал, что так и нужно отвечать большому начальству. Но в памяти его встали кровопролитные майские бои, когда погибла половина его роты, и он, сделав усилие над собой, но не покривив душой, серьёзно и озабоченно сказал:

— Трудно будет.

— Ничего, побьём, — уверенно и от души сказал командующий, сказал именно те слова, которых просила душа стоявшего перед ним красноармейца. — Хоть и трудно, а побьём!

— Опять пошли переправу бомбить, — равнодушно заметил Сарычев, прислушиваясь к далёкому гудению самолётов и глядя в небо.

Командующий не спеша вскинул голову. В похолодевшем сероватоголубом вечернем небе, высоко, тысячах на четырёх и поэтому, казалось, очень медленно, шла по направлению к переправе шестёрка японских бомбардировщиков.

— Поехали, Николай Иванович, — сказал командующий Постникову. — В двадцать один будет провод с Москвой.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

После того как штаб группы сообщил в Москву, что подготовка к операции закончена в назначенные сроки, днём наступления было утверждено двадцатое августа. Атаку назначили на девять утра, начало авиационной и артиллерийской подготовки — на пять сорок пять.

Поздно вечером девятнадцатого августа Артемьев получил с полевой почтой сразу два письма — от Синцова из Вязьмы и от Маши из Москвы. Он взглянул на штемпеля — письма шли около месяца — и отгложил оба. Он любил читать письма не спеша и с удовольствием, а на это не было пока времени.

Весь вечер девятнадцатого и всю ночь на двадцатое оперативный отдел занимался последними приготовлениями, которые, однако, не касались ни предстоящей артподготовки, ни подробностей штурма, ни вообще каких-либо действий, предполагавшихся в первый день наступления.

Оперативный отдел, как выражался об этом Постников, был занят доделками по второму дню наступления, вплоть до намеченного часа соединения обходящих японские позиции южной и северной групп.

Ещё только вырубивали на тыловых аэродромах бомбардировщики, ещё не начиналась артподготовка, а Постников всё уточнял и уточнял вопросы, связанные с захватом завтрашних вторых рубежей.

Ещё, сидя в окопах, пехота поёживалась от утреннего холода и от предчувствия многих смертей, а Постников уже исходил из того, что задача дня выполнена и люди, сидевшие сейчас в окопах в ожидании атаки, понесут предусмотренные и непредусмотренные потери, находятся на новых рубежах и готовятся к выполнению задачи второго дня.

План второго и третьего дня операции был разработан заранее, но, чтобы обеспечить успех, следовало предвидеть все наиболее вероятные осложнения. Оправясь от первого удара и почувствовав угрозу окружения, японцы могли бросить главные силы на один из флангов, чтобы предотвратить замыкание кольца. Это могло случиться и на левом и на правом фланге. Наконец, кольцо могло успеть сомкнуться, но японцы, оказавшись в «мешке», могли ударить по ещё тонкой ниточке окружения и сделать попытку прорваться на восток. И то, и другое, и третье следовало предусмотреть.

Накануне вечером командующий вызвал к себе Постникова и начальника штаба и в присутствии члена Военного Совета, впервые на памяти Постникова заметно волнуясь, сказал, что товарищ Сталин лично интересовался готовностью к проведению операции: всё ли готово и всё ли предусмотрено.

— Мы с членом Военного Совета доложили, что войска к выполнению задания готовы! — сказал командующий зазвеневшим от волнения голосом. И это волнение, вызванное и сознанием счастья и сознанием тяжести лёгшей на них ответственности, передалось Постникову и не оставляло его всё время, пока он вновь и вновь уточнял весь тот свод наличных возможностей, все те необходимые для принятия решения данные, которые он завтра сумеет выложить на стол немедленно после возникновения в ходе боя любого из вариантов.

В армейской газете, секретно отпечатанной ещё сутки назад без обозначения числа и этой ночью развезённой по частям, было написано, что для всех японцев, перешедших монгольскую границу, пробил последний час. Смысл боевого приказа, который сейчас одновременно читался по всему семидесятикилометровому фронту, в конце концов укладывался всего в одно властное слово: «Вперёд!».

А в оперативном отделе весь последний вечер и ночь занимались

дополнительным учётом препятствий и осложнений и планами их ликвидации, и это лишало командиров оперативного отдела того непосредственного чувства тревожной торжественности, которое, в ожидании первого залпа, переживали в частях на передовой.

Ровно в пять тридцать в большую юрту, где Постников работал со своими командирами, вошёл начальник штаба. Его ещё сохранившая следы былой выправки, но погрузневшая, оплывшая фигура сейчас казалась более молодой, чем обычно. Ремень с маленькой кобурой был туго затянут на толстом животе, сапоги начищены до сияния, а фуражка против обыкновения чуть-чуть сдвинута набекрень. Только что выбритое лицо начальника штаба сияло радостным волнением, и розовые полные щёки чуть-чуть подрагивали. Как ни странно употребить такое сравнение, но в эту минуту, перед началом штурма, в начальнике штаба было что-то жениховское.

— Баста! Баста, Николай Иванович! — поправив золотую дужку очков, весело сказал начальник штаба подывающимся ему навстречу Постникову. — Пойдём на наблюдательный! Член Военного Совета уже пошёл, и командующий собирается.

Постников вышел вместе с начальником штаба. За ними — словно была дана молчаливая команда — один за другим потянулись на воздух все находившиеся в юрте командиры.

Через десять минут над Хамардабой должна была пройти первая волна бомбардировщиков.

Посмотрев на часы, Артемьев задержался в юрте: он вспомнил о полученных письмах и, подумав, что, пожалуй, потом у него будет ещё меньше времени на чтение, вытащил их из-под груды штабных документов.

«Буду краток, — писал Синцов, — потому что Маша уже, наверное, послала тебе письмо из Москвы и, конечно, всё объяснила гораздо лучше, чем это способен сделать я. Вообще надо тебе сказать, вот уже десять дней после того, как мы поженились, мне кажется, что она абсолютно всё знает, всё понимает и, главное, всё объясняет гораздо лучше меня.

Поэтому сообщаю тебе только факты. Маша уехала на три дня в Москву забрать вещи. Где она будет работать, ещё не решено, но во всяком случае здесь, в Вязьме.

У нас в разгаре полевые работы, а я целую неделю ничего не делал — просто не мог. Теперь на меня всё навалилось. Навалился редактор, и я сам на себя навалился — навёрстываю. Урожай будет неплохой, особенно по льну. Отношения с редактором окончательно плохие, что хорошо, ибо, наконец, без неясностей.

За тебя почему-то не беспокоюсь, хотя до нас стороной дошёл слух, что ты временно переходил на инвалидность.

С искренним штатским преклонением жму твою мужественную военную руку».

Письмо Маши тоже, в сущности, было недлинным, хотя и состояло из шести мелко исписанных страничек блокнота. Всё, что Маша сочла нужным сообщить о себе и Синцове, уместилось на одной страничке и было так похоже на то, что писал Синцов, словно они сговорились. Остальные пять были отведены встрече с Надей, подробно записанным репликам обеих сторон и несколькими неприятными замечаниями, касавшимися надинной внешности.

Маша писала, что Надя выглядит хорошо, как никогда, так и пышет здоровьем и самодовольством и никак не производит впечатления женщины, хотя сколько-нибудь обеспокоенной тем, что её муж находится в районе военных действий. «Если бы это было только выдержкой, — писа-

ла Маша, — я бы ей позавидовала! О тебе она говорила со мной так запросто, как будто я с луны свалилась и ничего не знаю. Утешь меня. Напиши мне, пожалуйста, что не она тебе, а ты сам дал ей отставку! (Слово «сам» в письме было жирно подчёркнуто). Когда я вчера приехала к маме, то не утерпела и, хотя мама возражала, что это не моё дело, — выкинула из твоей комнаты карточку, считая, что ты сам просто забыл это сделать. К твоему сведению, она теперь лежит и пылится в передней на платяном шкафу. Если я ошиблась, можешь, когда вернёшься, вытереть с неё пыль и повесить к себе обратно».

«Милая Маша», — с улыбкой подумал Артемьев, прочтя эти строчки, и, закрыв глаза, представил себе круглую песчаную площадку в Александровском саду, скамейку и на ней — Машу и Надю.

Нет, его ничто больше не связывало с этой далёкой и чужой ему женщиной, кроме иногда возникавшего запоздалого самолюбивого желания взять обратно все те слова, что он когда-то говорил ей в минуты нежности, и чувства недоумения: да было ли всё это на самом деле?

Потом он подумал о Козыреве и ясно представил себе, что, хотя Надя теперь жена Козырева и пишет ему письма с кляксами — следами слёз — и с обведёнными следами поцелуев, словом, со всем тем, что она считала максимальным и отчасти искренним выражением чувств, — она и Козыреву, воюющему здесь, была тоже далёкая и чужая, потому что для человека, который воюет, такие, как она, не годятся ни в невесты, ни в жёны, ни даже во вдовы.

Гул авиационных моторов, сначала далёкий, быстро приближался и ширился, кругом охватывая юрту. Артемьев вскочил, затолкал письма в карман гимнастёрки и выбежал из юрты.

Около штабных юрт и палаток повсюду стояли люди и смотрели в небо. Утреннее солнце косо било в глаза и оставляло на земле позади стоявших длинные, узкие тени.

Всё небо, насколько его можно было охватить глазом, в два яруса кишело самолётами. В нижнем ярусе со всё возрастающим нестерпимым рёвом, уже над самой Хамардабой, шли симметрично повторявшиеся влево и вправо девятки бомбардировщиков. Над ними, во втором ярусе, тонко подвывая, сходились и расходились истребители сопровождения. А бомбардировщики шли так прямо и неотвратно, словно перед ними в воздухе, в сторону японских позиций, проложены невидимые рельсы.

Прошло ещё две минуты. Артемьев, поднеся к глазам руку с часами, увидел, что на них ровно пять сорок пять, и в то же мгновение, раньше чем услышал грохот, почувствовал, как под ногами глубоко и сильно содрогнулась земля.

Впервые пережитое им в эту минуту волнение так никогда и не стёрлось у него в памяти, сколько бы раз потом в своей жизни он ни испытывал похожее чувство. После штабной сутолоки, составления документов, после докладов и выговоров, после прочёркивания карандашом и стирания резинкой бесчисленных линий и условных знаков, после докрасноты в глазах примелькавшихся на картах коричневых безымянных высот и синих извилин Халхин-гола — страшное содрогание земли сказало ему: то, что должно было начаться, действительно началось, и чувство восторга — что наконец началось! — и чувство тревоги за это начавшееся неразлучно и властно поселились в его сердце.

К середине дня 117-й стрелковый полк полковника Баталова, с малыми потерями прорвав после артиллерийской подготовки первые три линии японских позиций, вышел на подступы к высоте Песчаной — узлу сопротивления, расположенному как раз в центре японских позиций.

Высота Песчаная — высокая жёлтая двугорбая сопка — была окружена двойной, а местами тройной цепью мелких, заросших травой сопочек и песчаных барханов.

С утра могло показаться, что не только передний край японцев, но и вся глубина их расположения так перепаханы нашей авиацией и артиллерией, что там не осталось живого места. Но когда 117-й полк вышел на подступы к высоте Песчаной, оказалось, что каждая сопочка и каждый бархан вокруг неё густо начинены огнём. Все виды огня — пулемётный, артиллерийский и в особенности миномётный — разом обрушились на полк. Вершины большинства барханов и сопкок представляли собой выдутые ветрами чашеобразные углубления. Японцы установили там миномёты и, выпуская мины на предельно крутой траектории, засыпали ими атакующих, когда они, добежав до подножия бархана или сопки, уже считали себя вне досягаемости огня.

Все три батальона несли чувствительные потери, а результаты, на фоне первых утренних успехов, казались непростительно малыми.

После полудня был взят всего лишь один небольшой бархан на левом фланге полка и один — на правом. В центре, в узкую ложину между двумя сопками, прорвались два взвода разведывательной роты, но их порыв не успели поддержать, и теперь они были отрезаны от своих перекрёстным огнём с обеих сопкок.

Отрезанные взводы лежали в ложине, заросшей мелким кустарником и выжженной травой, корни которой прочно держались в сухой, осыпающейся песчаной почве.

Лощина насквозь простреливалась. С фронта, где возвышался похожий на курган круглый холм с одиноким кустом на вершине, японцы вели пулемётный огонь, а с обеих сопкок на флангах осыпали ложину минами.

Командир разведроты, старший лейтенант — дальневосточник с орденом Красной Звезды за Хасанские события, не имел ни приказа, ни намерения пробиваться со своими взводами обратно из занятой ими лощины и видел выход из тяжёлого положения, наоборот, в том, чтобы сразу же с наступлением темноты атаковать и занять правую от них безымянную сопку.

В нём ещё жила окрылённость стремительным утренним успехом, и от этого его особенно удручали потери. Каждые четверть часа ещё кого-нибудь выводило из строя осколками мины. Один за другим трое связанных на его глазах погибли, не успев выбраться из лощины, хотя ему было необыкновенно важно связаться с полком и заранее сообщить о своих намерениях.

Он не знал, сколько японцев сидит на сопке, — судя по их огню, наверное, больше, чем оставалось людей у него, — но его разведчики были народ испытанный в ночных поисках, и он верил, что лишь бы стемнело — он возьмёт с ними сопку, сколько бы там ни оказалось японцев.

Предупредив людей, что они с темнотой пойдут брать сопку, он приказал им тем временем закапываться, чтобы не поубивало до атаки.

Главным укрытием для обоих взводов служили два японских хода сообщения, шедших параллельно в ста метрах друг от друга и соединивших правую сопку с левой.

Старший лейтенант с одним взводом сидел в первом, более глубоком ходе сообщения. Второй взвод, по началу прорвавшийся дальше всех и понёсший самые жестокие потери, занимал другой ход сообщения — помельче, должно быть запасной.

Оживившиеся при известии о предстоящей атаке бойцы этого взвода ожесточённо рыли ячейки по обеим сторонам хода сообщения. Справа и

слева ход был уже давно завален земляными перемычками. У одной из них в поперечном окопчике обосновались двое пулемётчиков с ручным пулемётом и младший командир Кольцов, два часа назад вступивший в командование взводом. Рядом с ними, на сухом, песчаном дне хода сообщения, лежал убитый командир взвода — младший лейтенант. В первую же минуту, как только ворвались в ход сообщения, он кинулся вверх, на сопку, и был скошен японской очередью. Кольцов вынес его на плечах уже мёртвым.

Всего три дня назад, пополняя перед боями разведроту, Кольцова взяли туда заместителем командира взвода. Вместе с ним из их батальона взяли ещё одного батальонного разведчика — красноармейца Ермакова, который сидел сейчас в окопе рядом с Кольцовым. Он был вторым номером пулемётного расчёта.

Кольцов со своим общительным характером за три дня успел узнать во взводе каждого человека, но теперь, когда он сам вступил в командование взводом, это казалось ему недостаточным. Он волновался, что плохо знает своих людей, и всё время пригибаясь, ходил взад и вперёд по ходу сообщения, проверяя у каждого наличие патронов и гранат, на которые он в особенности надеялся в ночном бою. Разговаривая с красноармейцами, он то и дело отгибал обшлаг гимнастёрки и, постукивая по стеклу больших ручных часов, говорил:

— Всего пятьдесят одна минута до захода солнца!

Или:

— Всего сорок пять минут до захода. А там вскоре и пойдём!

Так он ободрял своих сидевших под миномётным огнём бойцов, потому что, подобно командиру роты, не видел и не желал другого выхода из положения, чем атака.

Но в ожидании её самого Кольцова всё-таки тянуло туда, где сидел у пулемёта Ермаков и лежало тело командира взвода. Ермаков был единственный во взводе человек, которого Кольцов знал давно, второй год, убитый командир взвода в его сознании всё ещё оставался командиром взвода, и Кольцову безотчётно хотелось быть поближе к нему.

— Тридцать одна граната на семнадцать человек да у меня четыре, — вслух считал, только что вернувшись после обхода позиции, Кольцов и медленно водил рукою над лицом командира взвода.

Закрывавший лицо мёртвого носовой платок, подоткнутый двумя концами под затылок, был совсем чистый, на нём даже остались складки после того, как он, ещё недавно сложенный четверо, лежал в кармане. Только с одной стороны, над правым глазом убитого, на платке виднелось небольшое багровое, уже начинавшее засыхать и чернеть пятно. Над этим пятном тучей роились комары, и их-то отгонял Кольцов машинными движениями руки.

В воздухе низко проныла мина и, грохнув, разорвалась в ста метрах. Кольцов, как и все, пригнув голову, снова распрямился и, отгоняя комаров, несколько раз подряд особенно ожесточённо махнул ладонью над лицом мёртвого.

— А что если взять да пробиться? — сказал Ермаков, который чувствовал себя спокойней, пока заваливал землёй ход сообщения и рыл окоп, а сейчас в неподвижности, под миномётным огнём, вдруг затосковал.

— А куда, например, пробиться? — с вызовом спросил Кольцов.

— А например, хотя бы к своим пробиться, а, Вася? — услышав вызов в голосе Кольцова, но всё ещё пробуя воспользоваться правами старого товарищества, ответил Ермаков.

— То есть вы, значит, назад пробиваться предлагаете? — уже совсем зло и на «вы» сказал Кольцов. В голосе его прозвучала было

угроза, но в последнюю секунду он заменил её насмешкой. — Если так без приказа назад пробиваться, пожалуй, можно и до Читы пробиться!

Первый номер пулемётного расчёта казах Сатыбалдин, до этого сумрачно и молча жезавший веточку кустарника, довольно усмехнулся. Ему сначала не понравилось, что второй номер пробует болтать с новым командиром взвода, как будто они приятели. А теперь понравилось, что командир взвода срезал Ермакова.

— Давай пулемёт протрём, — строго сказал он Ермакову. — Песку много.

Они оба стали протирать пулемёт и за этим занятием даже не пригнулись, когда через минуту над их головами проныла следующая мина, а Кольцов пригнулся и выругал себя за это.

Увидев, что комары совсем облепили платок на лице младшего лейтенанта, он положил поверх платка пилотку. Он всё ещё не мог перестать относиться к лейтенанту, как к живому.

Взяв две гранаты, Кольцов стал связывать их вместе красным цветным проводочком, моток которого он подобрал ещё утром в японском окопе. Гранаты он связывал, чтобы, взобравшись на сопку, швырнуть их разом в блиндаж. Наверное, там есть офицерские блиндажи, такие же, какие он с бойцами брал сегодня утром.

— Старший лейтенант ползёт! — сказал Сатыбалдин.

И правда, по открытому месту из другого хода сообщения к ним переползал командир роты. Он был уже на середине, когда его заметили японские пулемётчики, и длинная очередь фонтанчиками взрыла песок позади него.

Он вскочил, пробежал десять шагов; новая пулемётная очередь легла рядом с ним; он снова вскочил и снова пробежал, на этот раз больше. Ещё раз лёг, ещё раз вскочил и с разбега спрыгнул в ход сообщения.

Отряхивая ладонями песок с гимнастёрки, он сидел на корточках напротив Кольцова и улыбался после пережитой опасности.

— А мы уж за вас беспокоились, товарищ старший лейтенант, — начал Кольцов, но старший лейтенант сразу же прервал его и, покосясь на тело убитого командира взвода, спросил:

— Как у вас дела?

Когда Кольцов доложил ему, что во взводе семнадцать человек, из них три раненых, два ручных пулемёта и тридцать пять гранат в наличии, старший лейтенант, не тратя времени на дальнейшие расспросы, коротко объяснил ему задачу взвода во время атаки и, поднявшись, пошёл вместе с Кольцовым по ходу сообщения.

Остановливаясь по дороге возле бойцов, старший лейтенант с каждым из них перекидывался несколькими неторопливыми словами, но для них главным были не слова, а само его появление, возможность ещё раз увидеть перед атакой его привычную в роте, крепко сбитую, аккуратную фигуру и малость рябоватсе, обыденно озабоченное лицо, на котором ровно ничего не переменилось от сознания окружавшей их опасности и смерти.

Обойдя бойцов, старший лейтенант сверил с Кольцовым часы, сообщил условную команду, которую он подаст голосом перед началом атаки, положил руки на край окопа, подтянулся и быстро пополз обратно. Было видно, как его сильные плечи так и ходят под перекрестьем ремней.

— Смелый, — тихо сказал Ермаков.

Сатыбалдин сердито прищурился. По его мнению, пробыв в роте три дня, давать оценку командиру роты — значило слишком много брать на себя.

Японцы ни разу не выстрелили по старшему лейтенанту. Быть может, они даже и не заметили его — солнце закатилось, и песок стал казаться серым.

Впереди, за круглым холмом с одиноким кустом на вершине, смутно виднелись горбы сопки Песчаной. По ней всё время стреляла артиллерия, и небо над ней было чёрное от дыма.

Вдруг сзади начали бить орудия по той правой безымянной сопке, на которую через двадцать минут была назначена атака.

— Наша — полковушка! — ласково называя так полковую артиллерию, сказал после первых разрывов Сатыбалдин.

Огонь вела одна батарея, и снаряды почти все аккуратно ложились на вершине сопки. Только иногда, словно скатившись оттуда, какой-нибудь один снаряд разрывался у подножия, и над ходом сообщения, визжа и замирая в воздухе, пролетали осколки.

— Подготовку для нас делают, — весело сказал Ермаков, которого приободрил сначала приход командира роты, а теперь — огонь нашей артиллерии.

— Значит, командир роты донесение послал, — сказал Кольцов. И Сатыбалдин молча кивнул головой.

Они все трое поверили этому, и всем трём стало легче на душе от того, что в полку получили о них известие, хотя на самом деле это было не так: четвёртый связной, посланный командиром роты, был убит, как и три первых, а полковая артиллерия стреляла потому, что командир полка Баталов со своей стороны тоже приказал с наступлением темноты штурмовать сопку.

Часом позже, после сорокаминутного ночного боя, сопка была взята соединёнными усилиями двух взводов, атаковавших её с фланга, и посланного на выручку батальона, атаковавшего сопку в лоб.

Командир роты был убит уже на самой сопке, в рукопашной траншейной схватке, и в последние минуты боя команду принял на себя Кольцов.

Когда бойцы разведроты и бойцы взобравшегося на сопку батальона наконец встретились на её вершине, при этом в темноте едва не постреляв друг друга, — Кольцова позвали к командиру батальона.

Бравший сопку батальон был тот самый, из которого Кольцов ушёл всего три дня назад. В захваченном японском блиндаже, где ещё стоял тяжёлый пороховой запах после взрыва гранаты, по углам курился дым, а на полу лежал неубранный труп японского офицера, за столом, при слабо горевшей тонкой японской свечке, сидел бывший батальонный командир Кольцова — капитан Красюк и, сжав руку в кулак, посасывал пальцы. В ночной свалке ему порезали их японским ножевым штыком.

— Я командира роты просил, — сказал Красюк, когда в блиндаж вошёл Кольцов.

Он заметил только лычки младшего командира, но самого Кольцова в первую секунду не узнал. Гимнастёрка Кольцова была обожжена пороховом, от удара прикладом у него запух глаз, и большая кровавая ссадина тянулась через всю щёку. В руке, забыв о нём, Кольцов крепко сжимал японский офицерский маузер с разряженным магазином.

— Да это Кольцов! — весело сказал Красюк, узнав Кольцова. — Тебя и не узнать! А где же командир роты?

— Товарищ капитан! Пишите донесение, что командир разведроты убитый! — неожиданно для себя, почти навзрыд, крикнул Кольцов, как будто Красюк сам не знал, что ему делать. — Убит товарищ...

Кольцов хотел назвать фамилию старшего лейтенанта, но от волнения вдруг не смог её вспомнить.

— Убит товарищ старший лейтенант, — сказал он вместо этого и всхлипнул, нестерпимо, от всего своего молодого сердца жалея в эту минуту и командира роты, и командира взвода, и всех товарищей, которые погибли сегодня на его глазах.

— Не плачь, Кольцов, — сказал капитан Красюк, хотя Кольцов не плакал, а только всхлипнул и сразу же сжал побелевшие губы. — Не плачь! — и, встав из-за стола, Красюк протянул навстречу Кольцову руку, совсем забыв в эту секунду, что она порезана японским штыком.

Командир 117-го полка полковник Баталов был не только недоволен результатами тех упорных боёв, которые его полк вёл весь день и вечер первого дня наступления, но искренне считал, что его полк опозорился и что он действовал хуже всех остальных полков, не выполнив задачи дня и только выйдя на подступы к сопке Песчаной, вместо того чтобы, как было приказано, уже захватить её западные склоны.

Он ещё не знал, что такой же кровопролитный и с точки зрения быстрого продвижения, казалось бы, малоуспешный характер носили бои на всём протяжении центрального участка фронта.

Но в оперативном отделе штаба группы, куда стекались все сведения и донесения, к середине дня уже начали отдавать себе отчёт в том, что продвижение войск в центре почти повсюду замедлилось.

Это было вызвано и силой японских укреплений, и тем, что при всём мужестве войск в первый день штурма укреплённой полосы сказывалась их неопытность, порождавшая и тактические ошибки и лишние потери, и, наконец, тем, что японцы поспешно ввели в дело значительную часть своих резервов.

Это последнее на общих весах сражения было обстоятельством перво-степенной важности и с лихвой возмещало многие наши территориальные неуспехи; но даже понимавший это хладнокровный Постников всё-таки в душе не мог примириться с тем, что войска центральной группы всё ещё не вышли к намеченным рубежам. С середины дня на его лице застыло обиженное выражение.

Подчинённые Постникова, в их числе и Артемьев, горячились гораздо больше своего хладнокровного начальника. Утром, когда отовсюду сразу поступили донесения, что войска успешно прорвали передний край японцев, молодым командирам оперативного отдела казалось, что теперь всё дальнейшее должно пойти как по маслу. Когда стали поступать первые известия о том, что на разных участках фронта продвижение приостановилось, Артемьеву каждый раз казалось, что, будь он там на месте Баталова или других командиров полков, он бы наверняка сумел сделать то, чего они не сделали, и безостановочно продолжать наступление.

Вечером с негодованием в душе нанеся на карту почти прежнюю, мало изменившуюся за последние два часа обстановку на участке полка Баталова, Артемьев положил карту перед Постниковым и, не удержавшись, с молодым порывом, ища сочувствия у Постникова, горячо сказал что-то насчёт нерешительности Баталова.

— Вам до Баталова ещё расти и расти! Раз навсегда бросьте эти штабные замашки! — грубо и гневно сказал Постников, впервые на памяти Артемьева произнося слово «штабные» с осуждением и даже насмешкой.

Артемьев, покраснев от неожиданности и стыда, ещё искал слов,

которые он мог бы сказать в своё оправдание, но Постников уже отвернулся от него, явно не желая поддерживать разговор.

Лишь через два часа после этого, когда Артемьев наносил на карту последнюю за сутки обстановку, Постников, приняв донесение от только что вошедшего в юрту запылённого офицера связи, подошёл и встал за спиной Артемьева.

— Всё-таки взял Баталов эту сопку правей Песчаной. Посмотрите там отметку — 629. Нашли?

Перегнувшись через плечо Артемьева, он ногтем большого пальца провёл по карте.

— Вог сюда вышел Баталов. Отметьте.

На столе у Постникова зазвонил телефон. Он отошёл от Артемьева и взял трубку.

— Четвёртый слушает. Есть, товарищ командующий! К двадцати трём будет готово.

Положив трубку, он снова обратился к Артемьеву:

— Поторопитесь. Наносите всё, что ещё не нанесли. К двадцати трём приказал дать полную обстановку.

Командующий недавно отпустил начальника штаба и сидел на командном пункте один, поджидая карты с новой обстановкой и поглядывая время от времени на предыдущую карту с обстановкой на 21 час, где поверх аккуратных обозначений оперативного отдела несколькими резкими нажимами карандаша его рукой были нанесены самые важные геремены за последние два часа.

Обстановка к концу первого дня, по его оценке, в целом складывалась благоприятно. Южная группа, наносившая главный удар и обходявшая японцев справа, уже в 20 часов вышла к намеченным рубежам; новых сведений оттуда ещё не было, со связью не ладилось, но можно было предполагать, что там продвинулись ещё дальше. В центре продвижение замедлилось, но зато здесь были теперь надёжно скованы главные силы японцев, включая часть их резервов, — а это равнялось успеху.

Значительно хуже, как это окончательно выяснилось только в последние часы, шли дела в северной группе. Высота Палец, замыкавшая северный фланг японцев и господствовавшая над всей окружающей местностью, оказалась гораздо более мощным узлом обороны, чем это предполагалось ранее.

Из северной группы с самого утра непрерывно доносили об успехах: о занятии трёх линий японской обороны; о взятии двух десятков укреплённых барханов и сопков; о захвате дивизиона зениток; о том, что у японцев громадные потери — окопы буквально завалены трупами; о больших трофеях по всем видам оружия; о пленных.

Не доносили только об одном: о том, что взята высота Палец. И чем больше они «натягивали» своими излишне частыми донесениями видимость успеха, тем меньше впечатления это производило на командующего.

— Зарубите себе на носу: пока высота Палец не падёт, настоящего успеха на северном фланге не будет. Только сокрушив высоту Палец, вы по-настоящему вырветесь на простор и довершите окружение японцев, — так сказал он час назад по телефону, разговаривая со штабом северной группы. Так он думал сам, так и было в действительности.

Начальник штаба, радужно настроенный всю первую половину дня, к вечеру стал нервничать. Обсудив с командующим обстановку, он попросил разрешения выехать на ночь в северную группу, чтобы помочь организовать там завтрашний бой.

Командующий не стал возражать — начальник штаба был старый, опытный артиллерист; вместе с начальником артиллерии он — надо отдать ему должное — отлично обеспечил сегодня всю предварительную обработку японских позиций и действительно мог сейчас помочь на месте наилучшим образом организовать завтрашний артиллерийский удар по высоте Палец.

Для этого удара на северный фланг уже тянулась вся артиллерия, какую только можно было снять в центре, в том числе несколько тяжёлых дивизионов.

На шесть утра, до начала артиллерийской обработки, по высоте Палец был спланирован ещё и крупный бомбовый удар, и командующий считал, что завтра высота Палец должна пасть.

Однако, никому не показывая этого, в душе командующий всё-таки был взволнован тем, что в первый день не добился полного успеха. Он волновался, было бы глупо скрывать это от себя.

Он знал, что ровно в двадцать четыре часа будет докладывать в Москву о результатах первого дня, и знал, что раз высота Палец к концу дня не взята, то это значило, что они сделали сегодня меньше, чем от них ждали. Он понимал сейчас, так же как понимал это и два месяца назад, когда ехал сюда, что среди многих высших командиров Красной Армии были и другие, ничем не хуже его ни по заслугам, ни по боевому опыту, и выбор мог бы остановиться и не на нём. Но выбор пал на него, и в разгар событий командовать находившимися в Монголии войсками был послан он. Так неужели же теперь, в решающие дни, по сравнению с которыми Баин-Цаган всего только первая удача, он не оправдает доверия Ворошилова и самого Сталина, лично — он знал это — утвердившего его назначение? Неужели же в нём ошиблись? Неужто же он только там у себя, в Белорусском округе, на манёврах, умел проводить операции армейского масштаба, а здесь, на поле боя, не сумеет?

При этой мысли он стиснул зубы и вспомнил белое как мел лицо начальника разведки полка Шмелёва, которого он только что отправил в северную группу — сидеть там, пока не будет взята высота Палец, сказав ему перед этим всё, что о нём думает.

Шмелёв был виноват в том, что разведывательные сведения о силах и укреплениях противника в районе высоты Палец, за точность которых он ручался, оказались преуменьшёнными и опровергнутыми в первые же часы боя.

Командующий искал глазами на карте уже с двух сторон обведённую красными полукружиями высоту Палец и, упрямо набычась, не разжимая зубов и на этот раз угрожая самому себе, процедил:

— Попробуй не взять! Возьмёшь!

Именно в эту минуту (было ровно 23.00) к нему вошёл Артемьев с нанесённой на карту последней обстановкой. Командующий встал, освобождая место, чтобы Артемьев мог разложить карту, забрал в горсть рассыпанные по столу карандаши и хрустнул ими.

— А! Значит, взял всё-таки Баталов эту сопку! — почти теми же словами, что и Постников, выразил своё удовлетворение командующий, привычный взгляд которого схватил на карте почти все происшедшие там изменения, пока Артемьев раскладывал её.

— А из южной группы всё ещё ничего нет?

— Ничего нет, товарищ командующий.

— Член Военного Совета ничего о себе не сообщал?

— Нет, товарищ командующий.

Командующий нахмурился. Член Военного Совета вместе с представителем монгольского командования комдивом Лхамсуруном ещё в се-

редине дня выехал в южную группу и до сих пор ничего не сообщал о себе.

— Разрешите, товарищ командующий? Последнее донесение из северной! — переступив порог, ещё в дверях сказал Постников.

— Какое? — спросил командующий.

Он разогнулся над картой, встретился глазами с Постниковым и по его глазам понял, что — хорошее.

Неразговорчивый Постников по своему обыкновению ответил самым коротким образом — точным и быстрым движением карандаша по карте. Красная стрела обогнула с третьей стороны высоту Палец и вонзилась в юго-восточные подступы к ней. Теперь высота Палец оставалась не-окружённой лишь с северо-востока.

«84 С. П.» написал Постников рядом со стрелой, предупредив вопрос командующего: «Кто взял?».

Это был полк, в рядах которого Артемьев воевал в мае, и лицо Артемьева расплылось в радостной улыбке не только оттого, что он понимал, как важна эта красная стрелка на карте, но и оттого, что это был именно 84-й стрелковый полк.

— Чего радуетесь? Рано радоваться, — сказал командующий, мельком взглянув на Артемьева и не замечая того, с каким радостным лицом он сам смотрит на эту возникшую на карте красную стрелу.

— Прорвали линию обороны ночным штурмом. Сейчас закрепляются у подножия высоты Палец, — докладывал тем временем Постников. — Донесли пять минут назад по телефону. Я приказал уточнить на местности и через час прислать подтверждение с офицером связи.

— Потщательней уточните, — сказал командующий, — и свяжитесь с Фёдором Гавриловичем (Фёдор Гаврилович был начальник штаба), он туда уехал. Чтобы артиллерия по своим же не ударила. Обстановка-то меняется. Может, они там за ночь ещё продвинуться догадаются! — проговорил командующий со страстной надеждой, которую не могло скрыть ни от Постникова, ни от Артемьева насмешливое слово «догадаются».

— Вот и добрались, — входя в помещение командного пункта, сказал член Военного Совета — молодой на вид дивизионный комиссар с весёлым лицом, сейчас таким же заплётённым и грязным, как у всех офицеров связи, прибывавших сегодня с передовой.

Вслед за ним вошёл монгольский комдив Лхамсурун — невысокий статный монгол с поджарой фигурой кавалериста.

— Садитесь, нахор¹ Лхамсурун, — сказал член Военного Совета и, сам опустившись на табуретку, снял с головы фуражку и начал отряхивать её о колено. — Чуть на обратном пути к японцам не попали. — Он рассмеялся, и на его тёмном от пыли лице весело блеснули зубы. — Заблудились. Вот комдив спас: в последнюю минуту повернуть заставил. Глаза, как рентген, — в любой тьме всё насквозь видят!

— Ну и что весёлого? Попали бы к японцам, побырезали бы вам на спинах звёзды, а потом убили, — сердито сказал командующий. — Примеры уже имеем.

— А то весёлого, — сказал член Военного Совета, подходя к карте и отмечая на ней пунктиром продолжение большой стрелы, с юга огибавшей японские позиции, — что на обратном пути уже пришлось почти сто километров крюку давать, чтобы сюда добраться. Вот как обгнули! Завтра у Номун-хан Бурд Обо будем!

— Сведения точные? Можно наносить, товарищ дивизионный комиссар? — спросил в наступившей тишине Постников.

— Точные, — сказал член Военного Совета. — Неточных не возим.

¹ Нахор — товарищ (по-монгольски).

Там у вас, в оперативном, уже сидит офицер связи, одновременно с нами прибыл. А восьмая монгольская кавдивизия, — продолжал член Военного Совета, ведя карандашом по карте, — ещё правей взяла и вон куда вышла!

— Что молчите, товарищ Лхамсурун? Рассказали бы сами, — поднял член Военного Совета глаза на монгольского комдива.

Но Лхамсурун стоял молча и неподвижно. Улыбка сошла с его лица. Он смотрел на верхний обрез карты, туда, где теперь, уже с трёх сторон окружённая красными стрелками, торчала невзятая высота Палец.

— Вот именно! — сказал командующий.

Член Военного Совета, увлечшись рассказами об успехах южной группы, в первую минуту не обратил внимания на обстановку на севере. Теперь он тоже увидел, что высота Палец не взята, и долго молча стоял над картой.

— Ничего. Меры приняли. Завтра возьмём, — наконец произнёс командующий после общего молчания.

— Может быть, завтра наш бронедивизион туда направить? — порывисто сказал Лхамсурун.

Он знал, что ещё один бронедивизион в масштабе развернувшегося сражения — не слишком большая сила, но его бронедивизион стоял в резерве возле Хамардабы, там всё-таки было пятнадцать боевых машин, и он был готов отдать всё, что у него есть, ради завтрашнего успеха северной группы.

— Я думаю, не стоит, товарищ Лхамсурун, — сказал командующий, хотя его суровая солдатская душа была на мгновение тронута порывом монгольского комдива. — Считаю, что не стоит, — повторил командующий. — Горят броневики при штурме укрепленных узлов, особенно лёгкие! Горят, да и всё! — Он, поморщившись, вспомнил сведения о дневных потерях и добавил: — Всё-таки на поверку броня у них слабовата. А ваш бронедивизион мы лучше завтра направим в южную группу. Она уже вышла на простор — броневикам будет где развернуться. Как, по собственной оценке, действовала там сегодня ваша восьмая?

— Неплохо, — со сдержанной гордостью сказал Лхамсурун.

— Преуменьшаете. Хорошо, — сказал член Военного Совета.

— А как будете докладывать товарищу Чойбалсану? — чуть заметно улыбнулся командующий.

— Буду докладывать, что неплохо, — сказал Лхамсурун.

— А мы завтра с Петром Васильевичем, — кивнул командующий на члена Военного Совета, — сообщим ему, что хорошо. Как отнесётся товарищ Чойбалсан к такому расхождению?

— К такому расхождению, думаю, отнесётся неплохо, — ответил Лхамсурун, широко и молодо улыбнувшись. Несмотря на высокое звание, ему было всего тридцать лет.

Приложив руку к козырьку фуражки, он сказал, что вернётся через полчаса, и вышел.

— Пошёл звонить в Улан-Батор, — сказал член Военного Совета. — В самом деле, хорошо сегодня дралась восьмая кавалерийская.

— И шестая на севере тоже дралась неплохо, — сказал командующий, — но пока высоту Палец не возьмём, там кавалерии показать себя трудно.

— Разрешите итти? — спросил Постников.

— Пожалуйста, — сказал командующий и кивнул стоявшему безмолвно, руки по швам, Артемьеву, отпуская его вместе с Постниковым.

— Как оцениваешь день в целом? — спросил член Военного Совета, когда они с командующим остались вдвоём.

Командующий молча долгим взглядом посмотрел на него. Член Военного Совета, по создавшемуся за время их короткой совместной службы убеждению командующего, не был большим военным специалистом и, хотя уже десять лет находился в армии на политработе, однако в чисто военных вопросах до сих пор разбирался просто как здравомыслящий, умный человек, не больше. Но человек он был, по мнению командующего, твёрдый, храбрый, широкой товарищеской души, люди его любили, и он любил и понимал людей и в трудную минуту умел помочь хотя бы уже одним тем, что всегда был готов взять на себя и половину любого труда и половину любой ответственности.

— Оцениваю, в общем, неплохо, — сказал командующий, не вдаваясь в подробности. — К ночи, — он показал на красную стрелу позади высоты Палец, — немножко подправили. Может, за ночь ещё подправят. Думаю, завтра возьмём. Поехал бы ты завтра с утра туда, Пётр Васильевич!

— Конечно, — просто сказал член Военного Совета. — Я и сегодня, знал бы заранее, что такое дело, не застрял бы в южной группе.

Командующий открыл тонкую красную коленкоровую папку, которая была приготовлена у него к разговору с Москвой, и, вынув оттуда двумя пальцами небольшой листок бумаги, протянул его члену Военного Совета.

— А вообще-то говоря, обстановка напряжённая. На, почитай!

На листке был напечатан переведённый в разведотделе на русский язык захваченный сегодня днём приказ генерала Камацубары, датированный 19 августа.

В приказе отдавался ряд срочных распоряжений командирам полков в связи с назначенным на 24 августа японским генеральным наступлением.

— Ну, что скажешь?

— Хороши бы мы были, если бы в Москве прислушались к нашим здешним первоначальным соображениям, что японцы пока не собираются наступать! — прочитав документ, смущённо сказал член Военного Совета.

— И согласились бы на неделю продлить нам срок подготовки, — жёлчно подхватил командующий. — Оказывается, не такие уж мы с тобой стратеги, как думали о себе! Носом уткнулись в японцев, а из Москвы видней!

Он сказал это насмешливо, но на лице его было написано такое глубокое волнение, что член Военного Совета, глядя на него, даже удивился тому, как откровенно, не пряча своих чувств, переживает сейчас задним числом самую возможность ошибки этот человек, который в обычное время, пожалуй, слишком редко бывал недоволен собой и ещё реже показывал это.

Командующий взял обратно листок и положил в папку. Волнение на его лице сменилось озабоченностью.

— В связи с этим документом, — сказал он, завязывая у папки тесёмки, — надо полагать, что у японцев на подходе сюда есть солидные резервы. Не абсолютные же они авантюристы, в конце концов! А раз так, то, если мы не скрутим Камацубару до подхода этих резервов, голову с нас снять мало!

— Ничего, скрутим! Народ настроен хорошо, да и силы нам даны большие, — бодро ответил член Военного Совета, на которого продолжали успокоительно действовать воспоминания дня, проведённого им в победоносно продвигавшихся войсках южной группы.

— Много дали, много и спросят! — беспощадно сказал командую-

щий, в душе решая в эту минуту, что он всё-таки сам поедет ночью в северную группу разобраться в положении дел на месте.

— Двадцать три пятьдесят пять! — вспомнил член Военного Совета, посмотрев на часы.

— Да, пора, — вздохнув, сказал командующий и, по-солдатски про-сунув большие пальцы под ремень, оправил на себе гимнастёрку. — Пойдём докладывать, как воевали!

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

С гребня Ремизовской сопки, которую японцы называли Такай—Высокая, — было хорошо видно, как по всему огромному полукольцу, опоясывавшему японские позиции с запада, севера и юга, в ночной темноте вспыхивают и гаснут жёлтые столбы разрывов и крошечные светлячки винтовочных выстрелов.

В тылу, у озера Узур-Нур, в небе всё шире расплывалось громадное зарево; находившийся там армейский склад горючего и боеприпасов был два часа назад подожжён русской танковой разведкой; снаряды всё ещё продолжали рваться с такой силой, что казалось, возле Узур-Нура идёт сражение.

Телефонная связь с тылами, находившимися по ту сторону маньчжурской границы, в городке Джинджин Сумэ, была прервана. Из трёх броневиков, которые генерал Камацубара один за другим послал после этого по разным дорогам, два возвратились, наткнувшись на русские танки, а третий сгорел.

Только сейчас, на исходе третьих суток не затихавшего ни днём, ни ночью сражения, получив эти донесения, японский командующий впервые до конца понял, что произошло. Советские и монгольские войска замкнули его части в семидесятикилометровое кольцо. И это, конечно, было их целью с самого начала, с первой минуты утренней артиллерийской подготовки 20 августа, а он не понял этого ни в первый день, ни во второй, ни даже в третий.

Два первых дня он считал, что главный удар наносится с севера, и бросал свои резервы к высоте Фуи (которую русские называли высотой Палец), а русские наносили главный удар на юге. Исходя из оценки их сил, он считал, что они, самое большее, стремятся захватить район Фуи и нависнуть над его флангом, а их танки прорвались и пошли на восток ещё до того, как окончательно пала высота Фуи.

Он считал, что русские на второй же день боёв уже исчерпали свои резервы и что на третий день наступит пауза, а они только шесть часов назад ввели эти резервы в дело и, сокрушив высоту Фуи, бросили в прорыв вслед за танками свежие, ни одной из его разведок не отмеченные бронечасты.

Камацубара стоял на самом гребне высоты Такай рядом с круглой, обложенной мешками с песком и прикрытой маскировочной сеткой площадкой наблюдательного пункта. Сильный ветер раздувал полы его широкой длинной шинели. Зрелище зарева над Узур-Нуром притягивало и угнетало его. Мысль о поражении и надвигавшемся разгроме всё ещё не проникала до конца в его самоуверенную душу; эта мысль находилась в слишком большом противоречии с тупой и сладкой уверенностью в непогрешимости императорской армии, с которой жил Камацубара все тридцать четыре года своей военной службы, начиная с той незабываемой минуты, когда на выпуск их дворянской школы — первый выпуск после русско-японской войны — приехал маршал Ойяма, победитель при Мукдене и Ляояне, и, обходя строй, мельком скользнул взглядом по лицу воспитанника Камацубары.

Мысль о разгроме ещё не овладела Камацубарой, хотя, казалось бы, вся логика событий подсказывала её. Однако, не допуская этой мысли, он со всё возрастающим раздражением испытывал гнетущую власть чужой, навязанной ему и его войскам воли.

Вошедшее в его плоть и кровь бессмысленное презрение к противнику делало для него загадкой то, что на самом деле было закономерностью.

Он стоял на своём наблюдательном пункте, смотрел на зарево пожара и недоумевал, почему всё это происходит; недоумевал, как несколько лет спустя недоумевали отброшенные от Москвы немецкие генералы, как недоумевал окружённый в Сталинграде Паулюс, как недоумевали все те, которые не хотели, да и не были в состоянии понять ни силы страны социализма, ни характера её народа, ни сталинской стратегии её армии.

С усилием оторвав взгляд от зарева, Камацубара посмотрел на север, где ещё три часа тому назад были видны вспышки боя на вершине Фуи и где теперь стало тихо и темно так, словно погас свет в доме, где все умерли.

На высоте Фуи действительно все умерли. Приказ не сдаваться до последнего человека был выполнен. Единственным оставшимся в живых из окружённого гарнизона был солдат, приползший полчаса назад с последним донесением и прощальным письмом от командира полка, оборонявшего Фуи. Костеня от ночной прохлады и от потери крови после двух ранений, он стоял в положении «смирно» на площадке наблюдательного пункта и не знал, что ему делать. Взяв у него донесение и письмо, Камацубара так и забыл его стоящим в положении «смирно».

Спрыгнув с гребня при помощи поддержавшего его под руку денщика, Камацубара заметил солдата, вспомнил о нём и сказал адъютанту, чтобы тот занёс его фамилию в записную книжку для будущего награждения.

Проходя мимо, Камацубара вскинул голову — он был низкого роста — и снизу вверх взглянул в лицо солдата. В темноте бледное от потери крови лицо солдата казалось высеченным из белого камня, его мундир и брюки были сплошь измазаны грязью, от обмундирования шёл тяжёлый, тухлый запах солончакового болота, через которое солдату пришлось ползти, чтобы добраться к своим.

Камацубара поморщился, но, преодолев желание сразу же отодвинуться, ещё несколько секунд продолжал смотреть в лицо солдату.

«Да, высота Фуи пала, и русские танки оказались в тылу занятых императорскими войсками позиций, но двадцать пять тысяч таких солдат, как этот, храбрых, преданных, готовых, не задумываясь, умереть по первому слову своих офицеров, ещё занимают позиции, которые неприступны, пока хоть один из них жив», — без всякой логики, но с охватывающим его внутренним волнением подумал Камацубара. Инстинктивным, заученным ещё с дворянской школы движением напряжнив диафрагму и выпятив грудь, он прошёл мимо солдата в ход сообщения, снова забыв его стоящим в положении «смирно».

Если бы японский командующий мог действительно прочесть то, что было написано на лице солдата, он прочёл бы на его неподвижном лице не преданность, а выражение окаменевшего недоумения перед всем уже трое суток происходившим вокруг него и печать смертельной усталости и до конца не осознанной, но тоже смертельной обиды за то, что о нём, единственном живом с высоты Фуи, дважды забыли.

Постояв ещё минуту, солдат как подкошенный упал на землю от изнеможения. Двое солдат подошли и за руки и за ноги оттащили его в сторону. Потом, сочувствуя ему, но не смея выразить вслух своего со-

чувствия, один из них молча раздвинул ему зубы, а другой, отстегнув от пояса фляжку, стал вливать в рот сакэ.

Камацубара спустился по склону сопки и вошёл в свой большой, крытый брёвнами и броневым листом блиндаж.

В блиндаже его ждал начальник штаба полковник Иноуэ, на столе лежала карта с последней обстановкой.

У Иноуэ было мрачное, расстроенное лицо, и Камацубара, взглянув на него, недовольно усмехнулся. Уже два дня это мрачное выражение не сходило с лица Иноуэ. Вчера вечером и сегодня утром он дважды сдержанно намекал Камацубаре на возможность окружения, и Камацубара оба раза высмеял его.

Сейчас, когда окружение стало совершившимся фактом, выражение лица начальника штаба уже не смешило, а раздражало Камацубару. Они с Иноуэ были однокашниками по военному училищу. Иноуэ был даже на год старше Камацубары, но Камацубару уже давно произвели в генерал-лейтенанты, а Иноуэ в свои пятьдесят три года всё ещё оставался полковником. В предыдущие дни Камацубара склонен был рассматривать страх своего начальника штаба перед русскими, как преувеличенные опасения неудачника, которому вообще не везло в жизни, но сейчас можно было подумать, что Иноуэ оказался прудумотрительней его, и сама возможность такой мысли, которая могла прийти в голову кому-нибудь в штабе Квантунской армии, раздражала Камацубару.

Отстегнув привычным движением и, не глядя, швырнув меч подхватившему его в воздухе денщику, Камацубара сел и с минуту просидел молча, глубоко дыша и медленно выпуская воздух сквозь сжатые губы. Он старел и толстел. Быстрый спуск по крутому склону вызвал у него одышку, но он не хотел показать этого своему сверстнику Иноуэ.

В ответ на вопрос, что нового произошло за последний час, начальник штаба с мрачным видом доложил, что северней Номун-хан Бурд Обо на сторону противника перешёл с оружием в руках четвёртый батальон маньчжурской пехотной бригады.

Камацубара встал, гневным жестом бросил левую руку на рукоять меча, не нашёл его и сжал руку в кулак:

— Проклятые китайцы!

Иноуэ пожал плечами, показывая этим, что он никогда и не ожидал от китайцев ничего хорошего.

— Сколько всех китайцев осталось в бригаде, в остальных батальонах? — спросил Камацубара.

Иноуэ ответил то, что прекрасно знал и сам Камацубара: в других батальонах, всех вместе взятых, в строю оставалось не больше двухсот человек. Сегодня утром командир 7-й японской дивизии, поставив позади китайцев пулемёты, трижды бросал эти батальоны в кровавые и бессмысленные контратаки против русских.

— Двести китайцев! — повторил Камацубара напряжённым и звонким голосом, который у него в минуты гнева делался тоньше, чем обычно. — Передайте командиру седьмой дивизии моё приказание — построить и расстрелять их.

— Всех? — спросил Иноуэ.

— Всех! — тем же тонким голосом сказал Камацубара. подошёл к столу, на котором была разложена карта, и уже другим, обыкновенным голосом стал уточнять вместе с Иноуэ обстановку.

Обстановка выглядела на карте намного благополучней, чем она к этому времени сложилась в действительности на поле боя. Это была одна большая ложь, сложившаяся из бесчисленных мелких и мельчайших обманов, высокомерия и самодовольного презрения к противнику,

в котором десятилетиями воспитывались целые поколения японского офицерского корпуса.

Считая, что советско-монгольские войска исчерпали свои резервы на второй день боёв, Камацубара ошибался не только потому, что был упрям и готов к самообману, не только потому, что сосредоточение советско-монгольских войск происходило скрытно и разведка японцев давала преуменьшённые данные, но и потому, что все японские командиры, от мала до велика, донося о громадной убыли в людях, наряду с этим ради самоудовлетворения и охраны престижа императорской армии считали необходимым сообщать совершенно невероятные цифры потерь русских и монголов, якобы во много раз превышавшие их собственные потери.

В стихии самоуверенности и лжи тонули и здравый смысл, и военный опыт, и робкие попытки посмотреть правде в глаза, — и это отражалось на карте, лежавшей перед Камацубарой. Все отрезанные сопки и барханы с их по большей части давно погибшими гарнизонами обозначались как ещё занятые японскими войсками. Все самые неблагоприятные донесения трактовались в наиболее оптимистическом духе. Карта выглядела так, как будто все старались уверить друг друга, что ничего не произошло, и опасались высказать тревогу перед истинными размерами опасности из боязни заслужить упрёк в недостатке традиционного самурайского духа.

И однако при взгляде даже на эту карту Камацубара застыл на целых пять минут, тяжело опершись на стол пухлыми, сжатыми в кулаки руками. Кольцо, пока ещё тонкое, но уже кольцо, которое в действительности образовалось вокруг японских войск два часа назад, не было показано на карте. Но подкова, хотя и нанесённая на карту с не существовавшими на деле разрывами, обозначилась настолько явно, что уже никакая самоуверенность не позволяла её игнорировать.

— А что здесь?

Камацубара ткнул пальцем в тот пункт на карте, где посланные им в тыл броневики встретились с русскими танками.

— Пока не известно, господин генерал-лейтенант, — сказал Иноуэ.

— Но были сведения, что там появились русские танки, — проговорил Камацубара.

— Но пока новых сведений об этом нет, господин генерал-лейтенант, — уклончиво сказал Иноуэ.

Они оба играли в прятки друг с другом, и оба знали это. Стоя друг против друга по обеим сторонам карты, они думали сейчас об одном и том же: пожертвовав частью войск, безнадёжно завязших на переднем крае, надо было попытаться вывести остальные из боя и, пока не поздно, пробиться с ними на восток.

Но, думая об этом, они оба в то же время понимали, что не скажут этого друг другу, — Иноуэ, зная, что Камацубара всё равно не примет его предложения и лишь ославит его в штабе Квантунской армии трудом, предложившим отступить войскам императорской армии, а Камацубара — потому, что, проиграв Баян-Цаганское сражение, он с трудом удержался на своём посту и, готовя на 24 августа генеральное наступление, надменно заявлял, что с имеющимися у него силами пройдёт без подкреплений всю Восточную Монголию. Он считал, что ему теперь скорее пролетят гибель всех войск в бою (в неизбежность чего он к тому же в глубине души всё ещё не верил), чем откровенное бегство из Монголии.

Продолжая стоять над картой, они молча встретились взглядами. Ка-

мацубара хотел, чтобы Иноуэ на всякий случай всё-таки высказал вслух своё предложение отступить, а Иноуэ понимал это и молчал.

Отойдя от стола, Камацубара прошёлся взад и вперёд по блиндажу, думая о четырнадцатой пехотной бригаде — своём единственном серьёзном резерве, который ещё не был введён в дело и находился за пределами русского кольца в Джинджин Сумэ. Эти шесть тысяч свежей пехоты ещё не поздно было бросить сюда на выручку, прорвав цепочку окружения.

За дверь блиндажа послышались шум и возня. Камацубара повернулся и вопросительно посмотрел сначала на Иноуэ, потом на дверь. Дверь открылась, и в блиндаж вошёл майор Ногато — начальник разведывательного отдела штаба 23-й пехотной дивизии. Его офицерская каскетка была сдвинута набок, одно стекло очков было разбито, а дужка сломана. Отдавая правой рукой честь, он одновременно левой придерживал очки.

— Что с вами? — резко спросил Камацубара.

Ногато доложил, что в расположение 368-го батальона их дивизии, который сегодня вечером, когда наметилось окружение, повернули фронтом на восток, неожиданно заехал русский танк и провалился в прикрывающую сеткой, вырытую под конюшню яму. Русские танкисты, сняв пулемёт, пытались выбраться из танка, но их окружили: двоих убили, а офицера — командира танка — взяли живым.

Ногато говорил всё это, продолжая придерживать подрагивавшей рукой сломанную дужку очков и радуясь тому, что, захватив пленного, он получил повод лично явиться к командующему.

— Что с вами? — повторил Камацубара свой вопрос, заметив, что вся щека и надбровье у Ногато были багрово-синими.

— Он ударил меня головой, — сказал Ногато.

— Введите его и вызовите переводчика!

Ногато вышел, и через несколько минут двое солдат ввели пленного. Он был связан, но солдаты крепко держали его под локти, а Ногато подталкивал его сзади длинной лакированной рукояткой своего меча. Последним вошёл унтер-офицер — переводчик.

Камацубара, стоя на противоположном конце блиндажа, с интересом смотрел на этого первого русского офицера, взятого в плен за все три дня боёв. Пленный был высокий блондин в короткой кожаной куртке и разодранной сверху донизу гимнастёрке. Его руки были прикручены к телу крепкой тонкой верёвкой. Его лицо, кажется, было красивым, а впрочем, об этом трудно было судить: вместо одного глаза у него была большая красная лепёшка, а из разбитого носа продолжала сочиться кровь. Она падала на подбородок и тонкой струйкой текла по голой груди и животу.

Сейчас избитое лицо русского имело жалкий вид. Он стоял, ни на кого не глядя, бессильно уронив на грудь голову со слипшимся окровавленным чубом светлых волос. Камацубаре даже показалось, что плечи русского вздрагивают от рыданий или страха, и он подумал, что такой пленный может многое рассказать.

— Допросите его. Я думаю, он скажет, где в действительности сейчас находятся русские танки, — обращаясь к Иноуэ, сказал Камацубара тем напряжённым и тонким голосом, которым он говорил, когда хотел показать свой гнев или свою власть.

Иноуэ, через говорившего на ломаном русском языке переводчика, один за другим задал стоявшему с опущенной головой и молчавшему танкисту несколько вопросов: о его имени, должности, части и местонахождении русских танков.

Стоявшего сейчас перед японцами лейтенанта Овчинникова — командира взвода из батальона Климовича, — перед тем как привести сюда, долго и жестоко били: сначала вязавшие его японские солдаты, потом — рукояткой меча — офицер, которого он, в ответ на пощёчину, ударил головой по очкам. У Овчинникова был выбит один глаз и в кровь избито всё тело, но ещё больше болела у него душа, на которой тоже, казалось, не было живого места. Он чувствовал себя глубоко несчастным не только потому, что попал в плен к японцам и, значит, был обречён на смерть, но и потому, что он был во всём кругом виноват и сознавал это. Упоённый успехами дня, он бросил свой взвод и ночью на одной машине вырвался вперёд, мечтая первым из всей бригады встретиться в тылу у японцев с танкистами южной группы. Он знал приказ командира батальона дожидаться рассвета и чувствовал, что и его башенный стрелок и водитель — оба молча не одобряли его поступка. Никого не встретив и ничего не сделав, он завалился в какую-то яму. Но даже и тут, вместо того чтобы, как советовали товарищи, попробовать отсидеться до утра в танке, пока не выручат свои, он приказал снять пулемёт, вылезть и пробиваться. На его глазах, едва они вылезли, были убиты и стрелок и водитель, а он, даже не успев ни разу выстрелить, был схвачен набросившимися из темноты японцами.

Его товарищи были мертвы по его вине. А он, к своему несчастью, был ещё жив и так одинок в этом блиндаже среди окружавших его японцев, как можно быть одиноким только в плену.

Всего два часа назад у него была машина, прорвавшаяся вместе с несколькими десятками других машин в японские тылы. Всего два часа назад он торжествовал вместе со всеми своими товарищами и чувствовал себя в своём танке могучим и счастливым.

И вот он стоит, скрученный верёвками, бессильный исправить свои ошибки, бессильный вернуть к жизни погубленных им товарищей, бессильный рассказать кому бы то ни было на свете, что он думает и чувствует сейчас, в свои последние минуты, стоя перед японцами, требующими у него ответа на то, на что он им всё равно не ответит. И уже никто — ни командир роты Лактюков, ни командир батальона Климович, ни командир бригады Сарычев, ни жена, которая вместе с трёхмесячным сыном спит сейчас в их комнате в Ундур-хане, — никто на свете не узнает этого.

Он знал о себе, что в глазах командира батальона он был плохим, непутёвым командиром взвода. Он знал, что командир батальона дважды грозил отрешить его от должности и не сделал этого только из-за большой убыли в людях.

Но он знал также, что не боится сейчас смерти и умрёт, ничего не сказав.

Пока его везли сюда связанного и переброшенного, как тюк, поперёк лошади, он всю дорогу, не сдерживаясь, плакал, — японцы всё равно не видели этого. Не боясь смерти, он не переставал ужасаться только одному, самому страшному, — ведь никто никогда не узнает, что было с ним в последние часы его жизни, никто не узнает и — ещё страшнее — кто-то не поверит, что он умер лучше, чем жил.

С полным бесстрашием перед всем остальным и с чувством непроходимого ужаса перед этой безвестностью своих последних минут он стоял сейчас перед допрашивавшим его Иноуэ.

— Если вы не будете отвечать мне, вы не остаётесь живы, вы будете казнены, — сказал переводчик, делая сильное ударение на первом слоге, и это слово «казнены» с ударением на первом слоге Овчинникову

показалось незнакомым, нерусским. Он даже в первую секунду не понял его, но потом понял и продолжал молчать.

Переводчик по приказанию Иноуэ ещё раз повторил вопрос: «Где имеют нахождение русские танки?». Пленный продолжал стоять, уронив голову на грудь. Эта удручённая поза всё время вселяла в Камацубару уверенность, что русский вот-вот начнёт отвечать, но он не отвечал.

— Поднимите ему голову, — сказал наконец Камацубара, испытал неожиданное и сильное желание посмотреть в глаза танкисту.

Майор Ногато чётким шагом вышел вперёд, отсегнул меч и коротким ударом рукоятки в подбородок вздёрнул голову пленного.

Теперь русский, подбородок которого был подпёрт рукояткой меча, стоял перед Камацубарой с высоко вздёрнутой головой, глядя прямо перед собой двумя глазами: одним голубым, с чуть-чуть подрагивавшим веком, и другим — неестественно неподвижным, круглым и красным, втрое больше обычного глаза.

Иноуэ ещё раз приказал перевести пленному, что если он не начнёт отвечать, то будет сейчас же казнён. Танкист снова ничего не ответил и продолжал молча смотреть на Камацубару, который под его взглядом вдруг с раздражением почувствовал, что вся эта история с допросом была с самого начала пустой тратой времени.

— Выведите его! Отдаю его в ваши руки! — сказал Камацубара, решительно прерывая на полуслове начавшего снова болтать что-то по-русски переводчика и обращаясь к Ногато.

Майор Ногато опустил меч, но Овчинников не уронил снова голову на грудь, а продолжал держать её так же высоко поднятой, как держал до этого. Постояв так секунду, он глубоко и вольно вздохнул тем долгим вздохом, во время которого можно вспомнить всю жизнь, и сам повернулся к выходу.

Майор Ногато вышел вслед за ним, всё ещё продолжая левой рукой придерживать дужку очков и мелко и часто подталкивая пленного в спину рукояткой зажатого в правой руке меча.

Когда они вышли, Камацубара с минуту молча прислушивался. Выстрела не было слышно.

— Зарубил мечом, — сказал Иноуэ. — Он хорошо фехтует. Помните казнь в Баодине? — и он усмехнулся, вспомнив багрово-синюю щёку Ногато и его разбитые очки.

Камацубара ничего не ответил. Этот молчавший, несмотря на угрозу казни, русский танкист был последним толчком, заставившим Камацубару решиться на то, о чём он неотступно думал все последние часы, с той самой минуты, как узнал об утрате связи с Джинджин Сумэ. В двух километрах к востоку от командного пункта на маленькой замаскированной площадке стоял штабной самолёт, который ещё чудом не разбила русская артиллерия. На нём можно было через полчаса перелететь через кольцо русских танков и продолжать командовать всем оттуда, из Джинджин Сумэ, оставив здесь за себя Иноуэ. Это ещё не поздно было сделать сейчас и уже не удастся сделать с рассветом.

«Такого решения требуют благоразумие и обстановка», — говорил себе Камацубара, напрягая диафрагму и выпячивая грудь, перед тем как решиться сказать об этом Иноуэ, которому благоразумие и обстановка предопределяли оставаться здесь.

И по мере того, как он приготавливал себя, свою волю и свой голос к тому, чтобы повелительно и резко сказать эти необходимые слова и спокойно выдержать ответный взгляд Иноуэ, в нём необоримо росло чувство страха, простое, обыкновенное чувство страха от сознания того, что сейчас в десяти километрах отсюда, где-то в темноте, движутся и

сходятся русские танки, в каждом из которых сидят такие же, как этот, ещё недавно молча стоявший перед ним, а теперь зарубленный майором Ногато, русский танкист.

— Господин полковник Иноуэ! — сказал Камацубара повелительным и резким голосом, чувствуя мимолётное удовольствие от того, что голос его звучит именно так, как он хотел. — Оказываю вам доверие замещать меня на время моего отсутствия. — И он встретился с глазами Иноуэ, которые смотрели на него со странным выражением.

Это были глаза человека, который хорошо понимает, что его оставили умирать, и в котором чувство страха за собственную жизнь борется с чувством презрения к тому, кто, решив спастись сам, предоставляет умирать другому.

Начальник разведотдела группы полковник Шмелёв, долговязый блондин с лохматой курчавой головой, с длинным, умным, насмешливым лицом, сидел, по-азиатски поджав под себя ноги, в маленькой палатке, на скорую руку разбитой между остановившимися на ночёвку в степи танками.

Отрывая жёсткие, перегоревшие стебли степной травы, Шмелёв рассеянно перекручивал и ломал их в пальцах. Свеча, укрепленная поверх брошенной на землю толстой, набитой захваченными документами полевой сумки Шмелёва, освещала внутренность палатки, в которой, кроме Шмелёва, находился сейчас только один человек — китаец, унтер-офицер из перешедшего два часа назад на нашу сторону маньчжурского батальона.

Отправленный командующим в первый день наступления на высоту Палец с приказанием не возвращаться, пока она не будет взята, Шмелёв уже третьи сутки находился в танковой бригаде Сарычева. Шмелёв был человеком достаточно храбрым для того, чтобы не испугаться приказа командующего, а, напротив, даже обрадоваться ему, — на протяжении всего штурма высоты Палец он был в боях, под пулями и снарядами, и это страшило его гораздо меньше, чем возвращение в штаб и предстоящая встреча с командующим, которая, по мнению Шмелёва, не предвещала ничего доброго. С высотой Палец вместо одних суток провозились трое: она оказалась укрепленной сверх всяких ожиданий, и в этом просчёте были виноваты Шмелёв и его разведка.

Находясь в рядах штурмовавших высоту Палец войск и не имея полного представления о всём ходе операции, Шмелёв не учитывал, что высота Палец так долго держалась не только из-за своих укреплений, но и из-за того, что японцы два дня бросали ей на помощь резервы, а это, в свою очередь, осложняя наше положение на севере, в то же время облегчало нам нанесение главного удара на юге.

Не знал Шмелёв и того, что командующий, недовольный им за прошлое, в то же время считал, что он получил достаточный урок на будущее, и не намерен был возвращаться к тому разговору, после которого в первый день наступления Шмелёв вышел из его блиндажа белый как полотно.

Не зная всего этого, Шмелёв — отчасти в азарте боя, а отчасти из желания попозже попасться на глаза командующему — после падения высоты Палец на своём маленьком пулемётном броневичке двинулся дальше вместе с танкистами, решительно сказав недоверчиво посмотревшему на него Сарычеву, что там, где танкисты режут тылы противника, как раз самое место для начальника разведки.

Узнав, что маньчжурский батальон вышел навстречу танкам и с оружием в руках перешёл на нашу сторону, Шмелёв через полчаса оказал-

ся на месте происшествия, обрадованный не только самым событием, но и тем, что оно как бы задним числом оправдывало его самовольное пребывание у танкистов.

Разговаривая с китайскими солдатами, Шмелёв довольно быстро обратил пристальное внимание на одного из них. Судя по тому оттенку уважения, с которым к нему относились все остальные, он, очевидно, был их вожаком.

В конце общего разговора этот солдат подошёл к Шмелёву и тихо попросил его поговорить с ним отдельно.

Сейчас, в палатке, при свете, оказалось, что у него нашивки унтер-офицера. Он сидел в углу напротив Шмелёва и медленно, с удовольствием курил предложенную ему Шмелёвым папиросу. На его лице, попеременно сменяясь, изображались чувства усталости и наслаждения, которые испытывает человек, долго находившийся в состоянии вынужденной замкнутости.

Унтер-офицер, которого звали Лю Чжао, уже ответил на все вопросы Шмелёва, касавшиеся окружённых японских войск, и сейчас Шмелёв, засунув свою толстую потрёпанную записную книжку в карман, просто сидел и разговаривал с ним о нём самом.

Лю Чжао оказался, как и предполагал Шмелёв, руководителем небольшой группы солдат и унтер-офицеров, решивших при первом удобном случае организовать переход батальона на сторону советско-монгольских войск и начавших готовиться к этому ещё по ту сторону границы, до отправки на фронт. Он был, по его словам, одним из коммунистов, посланных Харбинской партийной организацией в войска Маньчжоу-го, чтобы вести в них антияпонскую пропаганду.

Распорвав подмётку своего порыжелого солдатского ботинка, китаец вытащил оттуда узкую полоску рисовой бумаги с несколькими рядами крошечных иероглифов и маленькой красной китайской печатью. С трудом разобрав иероглифы, Шмелёв только пожал плечами, восхищаясь мужеством сидевшего перед ним человека, и, усмехнувшись, сказал, что лежать на койке, рядом с которой по ночам стояли эти ботинки, значило каждую ночь спать рядом со своей смертью.

По лицу Лю Чжао промелькнула тень улыбки, и он ответил, что в казармах не было ни коек, ни маньчжурских канов. Японцы считали вполне достаточным, если там будет земляной пол и дырявая крыша.

— Кроме того, я хорошо служил.— Китаец коротким презрительным жестом коснулся своих унтер-офицерских нашивок.— За весь год, до сегодняшнего дня, не имел ни одного замечания.

— А подозрения? — спросил Шмелёв.

Лю Чжао ответил, что японцам трудно было подозревать кого-нибудь одного, потому что они подозревали всех китайцев сразу, даже офицеров.

— И это совсем не глупо с их стороны, — добавил он. — Командир моей роты перешёл вместе с нами. Хотя он из феодальной семьи и служил в войсках ещё при Юань Ши-кае, а потом был в охране Чжан Цзолина и вообще, — китаец улыбнулся одними глазами, — является порядочным негодяем.

— А почему он перешёл? — спросил Шмелёв.

— Когда иностранцы оккупируют страну, у разных людей в разное время бывают разные поводы быть недовольными ими. Десять дней назад, во время парада в Джинджин Сумэ, японский инструктор рассердился и избил господина командира роты перед строем тем же самым бамбуковым прутом, которым обычно господин командир роты бил нас. У него до сих пор в синяках всё лицо.

И Лю Чжао снова чуть заметно улыбнулся своей сдержанной улыбкой. Всё пережитое им за последние трое суток с трудом могла выдержать психика самого сильного телом и духом человека. Трое суток подряд находясь в пекле день и ночь полосовавшего воздух и землю огня советской артиллерии, он одновременно испытывал и страх перед почти полной неотвратимостью собственной смерти и мрачную радость при виде метавшихся, как в мышеловке, и погибавших на его глазах японцев. Однако нечеловеческое напряжение этих трёх суток сейчас не отражалось на его лице. Хотя он уже три ночи не спал, он не испытывал физической усталости; наоборот, ему хотелось, чтобы этот продолжавшийся больше часа разговор длился бесконечно.

Сидевший перед ним советский полковник объяснялся по-китайски на северном, родном для Лю Чжао, диалекте; вопросы полковника говорил о том, что он когда-то жил в Китае и знает его. И уже одно это много значило для китайца, создавая чувство дополнительной близости между ними обоими.

Когда-то, в молодости, грузчик, потом сцепщик на разных станциях КВЖД, потом слесарь паровозного депо на станции Харбин-II, Лю Чжао сам знал несколько сот русских слов и умел связывать их в те простейшие фразы, при помощи которых он вступил в первое объяснение с танкистами, выйдя им навстречу.

Но сейчас он не пользовался этим запасом русских слов и испытывал наслаждение от того, что говорил с полковником по-китайски. Без затруднений, не выбирая слов, Лю Чжао отвечал на странно звучащие в этой военной палатке, под гул артиллерии, самые простые человеческие вопросы о жене и детях, о работе в депо, о том, сколько приходилось ему работать и сколько риса попадало в чашку; вопросы человека из трудовой семьи, который расспрашивает другого рабочего человека о его жизни.

Лю Чжао даже казалось, что этот советский полковник был когда-то сам железнодорожником, и он не ошибался в этом: до революции Шмелёв работал кочегаром, а потом почти всю гражданскую войну ездил на бронепоездах.

Шмелёв, в свою очередь, испытывал удовольствие от того, как он свободно говорит по-китайски. С каждой минутой разговора он всё больше чувствовал, что, несмотря на перерыв в несколько лет, почти не забыл языка.

Разговаривая с китайским коммунистом, он невольно вспоминал время своей службы в Китае помощником военного атташе, аккредитованным при правительстве Чан Кай-ши. Как много он видел в те годы живых улыбок и надменных рож, как много неуверенных в будущем и поэтому особенно торопливых и наглых воров в генеральских мундирах прошло перед его глазами, и как мало и редко ему, в силу своего официального положения, приходилось видеть человеческих лиц, говорить с такими людьми, как этот сидевший перед ним солдат: с людьми, которые одни только и были настоящим Китаем.

«Ах, товарищ Лю, товарищ Лю! — хотелось сейчас сказать Шмелёву, глядя на сидевшего перед ним китайца. — Сколько ещё придётся перенести и перебороть тебе и твоим товарищам, прежде чем у вас станет так, как у нас! Доживёшь ли ты до этого? А если доживёшь, то не станут ли к этому времени взрослыми твои дети и седой твоя чёрная сейчас, без единого седого волоса, голова?»

Так думал Шмелёв, глядя на китайца и не произнося ни слова. Но то присущее душе советского человека свойство, которое заставляет его желать счастья простым людям другого народа с такой же силой, с ка-

кой он желает счастья собственному народу, так ясно выразалось на лице Шмелёва, что китаец почувствовал всё, быть может, верней, чем если бы несказанное было выражено словами.

— Товарищ полковник! Мне надо портрет Сталина,— впервые за всё время беседы сказал он по-русски, немножко коверкая слова, и, словно эта просьба могла показаться нескромной с его стороны, быстро добавил уже по-китайски, что портрет ему нужен для всего батальона, что он один раз, ещё в казармах, пробовал по памяти нарисовать для солдат портрет Сталина, но вышло так непохоже, что пришлось порвать,— он слишком плохой художник для этого.

Шмелёв знал, что у него нет с собой портрета Сталина, но ему так хотелось выполнить просьбу китайца, что он даже потрогал карманы гимнастёрки, словно проверяя, нет ли там портрета, и огорчённо бросил взгляд на свою полевую сумку, где тоже ничего не было.

— Слушайте, товарищ капитан,— сказал он, оборачиваясь к Климовичу, который в эту секунду, приоткрыв полог, согнувшись, влезал в палатку,— у вас нет с собой какой-нибудь книги с портретом товарища Сталина?

— А что? — спросил Климович.

— Вот просит китайский товарищ для перешедших на нашу сторону солдат, — кивнул Шмелёв на китайца, — портрет товарища Сталина, а у меня с собой нет. Я подумал, можно из книги вырезать. Для такого дела не жаль. Коммунист,— снова кивнул он на Лю Чжао.

— Когда второй эшелон пойдёт — достанем, — сказал Климович. — У меня есть в вещах.

Книга, которая лежала в его вещах и о которой Климович говорил сейчас, была сборником стихов о Сталине с его портретом. Она принадлежала погибшему при Баин-Цагане башенному стрелку Зыбину, и Климович взял себе эту книгу на память о Зыбине. На обложке книги осталось пятно крови, а корешок был порезан осколком. Но сейчас, услышав, что сидящий перед ним китаец — коммунист, Климович без колебаний подумал об этой книге.

— Не помешаю вам, товарищ полковник? — спросил он Шмелёва.

— Нет, пожалуйста, — сказал Шмелёв, который, находясь последние сутки при батальоне Климовича, несмотря на своё старшинство в звании, в то же время чувствовал себя в некотором косвенном подчинении у Климовича, распорядившегося всеми людьми и машинами батальона.

Климович сел на землю, спросив у Шмелёва разрешения закурить, вытащил из пачки последнюю смятую папиросу, оторванным от мундштука кусочком папиросной бумаги подклеил её и с наслаждением затянулся.

Пешие разведчики ещё не вернулись с донесением, но взвизывая в двух километрах к югу условная зелёная ракета сигнализировала о том, что разведка встретилась с танками бригады Махотина. Климовичем были уже отданы все приказания. Две роты танков он оставлял так, как они встали на ночь, — цепочкой вдоль границы, а сам с одной ротой был намерен продвинуться дальше на юг. Он зашёл лишь на секунду с намерением сказать, что пора складывать палатку, потому что с первыми лучами рассвета танки начнут дальнейшее движение, но, увидев, что Шмелёв ещё не закончил разговора с китайцем, решил посидеть и покурить в палатке несколько оставшихся до выступления минут, не мешая их разговору.

Китаец и Шмелёв вновь оживлённо заговорили по-китайски, и Климович с интересом прислушивался к непривычным звукам чужого языка. Он знал, что Шмелёв, которому на вид не было и сорока, совсем моло-

дым человеком успел навоеваться в гражданскую войну и получить ещё тогда два ранения и контузию, из-за которой он, разговаривая, изредка чуть-чуть подмигивал левым глазом, словно иронически приглашая собеседника помолчать и послушать, что будет дальше. На шегольской серой габардиновой гимнастёрке полковника поблёскивал новенький орден Красного Знамени, полученный им за выполнение особых заданий правительства. В нескольких коротких разговорах, которые пришлось вести Климовичу со Шмелёвым, полковник показал себя человеком умным и знающим, и сейчас тоже, разговаривая с этим китайцем, он, кажется, говорил какие-то умные и важные вещи, потому что китаец, весь подавшись вперёд, слушал его с величайшим вниманием. В то же время безрассудная храбрость, которую Шмелёв несколько раз без нужды проявлял на глазах Климовича, то под огнём вылезая из своего броневичка, то обгоняя на нём танки, вызвала у Климовича чувство осуждения, в такие минуты Шмелёв казался ему человеком слишком легкомысленным для своего звания, и сейчас он так и не мог решить для себя, что же он, в конце концов, думает о Шмелёве.

Понаблюдав с минуту за лицами обоих собеседников, Климович незаметно для себя забыл о них и вернулся к собственным заботившим его мыслям.

Кончавшаяся ночь была тревожной. На всём протяжении её Климович чувствовал ту тяжесть свалившейся на него ответственности, от которой люди устают сильнее, чем от самой тяжёлой и бессонной работы. Его растянувшиеся на несколько километров в степи танки всю ночь стояли с орудиями и пулемётами, обращёнными и на запад, в сторону окружённой японской группировки, и на восток, в ожидании возможного встречного удара японцев извне, из Маньчжурии.

Ночь была непроглядная, а людей, кроме экипажей танков, было слишком мало: одна, и то неполная, рота стрелково-пулемётного батальона, которая следовала за танками на грузовиках и сейчас была рассыпана по степи в охранении. Если бы японцы решили прорываться среди ночи, то Климович, в сущности, мог рассчитывать только на танки, которые ночью слепы. Правда, он приказал, в случае атаки, включить фары и расстреливать японскую пехоту при свете фар прямой наводкой. Но, с другой стороны, танки с зажжёнными фарами могли стать мишенью для японской артиллерии. Он поставил в охранение поголовно всех людей, кроме экипажей танков, и сам всю ночь, не смыкая глаз, обходил посты, больше всего боясь, чтобы японцы не подкрались к танкам и не сожгли их.

На западе внутри кольца всю ночь была артиллерия, а на востоке, за маньчжурской границей, стояла мёртвая тишина, казавшаяся гораздо опасней того гула боя, который слышался с запада.

Два часа назад командир взвода лейтенант Овчинников, нарушив приказание, ушёл на танке в юго-западном направлении и не вернулся. После этого оттуда не донеслось ни одного выстрела. Климович послал на розыски отделение пешей разведки, но разведчики наткнулись на японцев, были обстреляны пулемётным огнём и отошли.

Исчезновение Овчинникова подчёркивало опасность положения, в котором до рассвета оказались танки. Климович ругал сейчас себя за то, что он ещё раньше, в горячке боёв, не отрешил Овчинникова от должности за его глупое молодечество, и в то же время тревожился и жалел его и его экипаж: то, что танк даже ни разу не выстрелил, предвещало беду.

Беспокоили Климовича и китайцы. Среди ночи он не решился отправить их кружным путём в тыл, боясь нападения японцев. А сейчас, с рассветом, опасался, что, в случае внезапной японской атаки, они во

время боя окажутся между двух огней в голой степи, без всякого укрытия. Он приказал их накормить, отдав им почти весь скудный неприкосновенный запас танкистов, и час назад на всякий случай велел им рыть окопы.

Всё это заботило всю ночь и продолжало заботить Климовича, одновременно и с облегчением и с тревогой думавшего, что вот-вот начнётся рассвет. Поглядев на часы, он увидел, что пять льготных минут, которые он дал себе, миновали, и, встав, уже собрался сказать Шмелёву, что сейчас они снимут палатку и начнут движение, когда снаружи раздался знакомый протруженный басок Гордиевского:

— Где ваш командир батальона? Ведёте, ведёте и никак не доведёте!

Поспешно выйдя из палатки, Климович увидел около неё три фигуры: своего заместителя Коровина, Гордиевского и третьего — незнакомого.

— Товарищ комиссар бригады... — начал было рапортовать Климович.

— Коровин уже доложил. А вот тебе могу доложить, что пехоту привёл с собой. Рад? — прервал его Гордиевский, который за полтора месяца, проведённых на фронте, заметно погрубел внешне, ещё заметней при этом помягчев душой внутренне.

— Еще как, товарищ комиссар! — со вздохом облегчения, в котором выразилось всё пережитое им за ночь, сказал Климович.

— Сам заместитель командира дивизии с головным батальоном прибыл. Двадцать пять километров за ночь сделали! Это после боя! — возбуждённым и счастливым голосом сказал Гордиевский.

— Майор Панченко, — в темноте сказал третий, не знакомый Климовичу человек, стоявший рядом с Гордиевским, и прогнул руку, которую Климович радостно тряхнул со всей силой чувства, испытанного им в эту минуту.

— Товарищ комиссар, Коровин вам, наверное, уже доложил, что огневая связь с танками Махотина установлена. Разведку послали. Сигнальные ракеты видели.

— Огневая огневой, — сказал Гордиевский, — а давай-ка сейчас двинемся да личную связь установим. Уже светать начинает. Пора!

— Товарищ полковой комиссар, — сказал Климович, которому слышался в этих словах скрытый упрёк, — я хотел лично установить, но не решился батальон оставить ночью. Положение обоюдоострое.

— Было обоюдоострое, — попрежнему возбуждённо и весело сказал Гордиевский, который вовсе и не думал упрекать Климовича, — а теперь другое дело: пехота подошла!

Слово «пехота» он произнёс как самое радостное, большое слово на свете, вложив в него всю душу.

— Ах, как ты меня утешил! — обратился он к Панченко. — До того утешил, просто расцеловать тебя хочется! Двадцать пять километров за четыре часа! Подумать только!

— Полковник Шмелёв не у тебя? — вдруг озабоченно повернулся Гордиевский к Климовичу. — Куда он делся?

— Здесь я, — сказал Шмелёв, выходя из палатки. — Что там такое?

— Командующий вас разыскивает. Уж и Сарычеву и мне из-за вас досталось. Велел доставить вас немедленно живого или мёртвого.

— Сильно ругался? — упавшим голосом спросил Шмелёв.

— Да как вам сказать, — ответил Гордиевский, которому всё представлялось сейчас в радужном свете, — я его характер недостаточно изучил. Сарычев говорит, что ничего. Хотя и ругался, но со смешком в голосе. «Что, — говорит, — он к японцам, что ли, от меня с перепугу

решил удрать?» Но всё-таки Сарычев сказал, чтобы вы, как только вас найду, немедленно ехали, не копались, а то плохо будет. Подождите-ка, — прервал сам себя Гордиевский и, вытянув голову, прислушался.

Над их головами в начинавшем чуть-чуть сереть предрассветном небе прерывисто гудел низко шедший невидимый самолёт.

— Не наш, — сказал Климович.

Все снова прислушались. Самолёт, пройдя над головами, удалялся в сторону Маньчжурии.

— Не иначе, какое-нибудь самурайское начальство из окружения ноги уносит, — сказал Шмелёв, который немножко повеселел, услышав, что командующий говорил хотя и сердито, но со смешком.

— А что вы думаете! — весело поддержал Гордиевский. — Вполне возможно. Теперь их положение хуже губернаторского. — И он своей длинной рукой сбнял стоявшего рядом с ним широкоплечего Панченка. — До того во-время твоя пехота, что слов не подберу!

Гудение самолёта уже едва слышно доносилось оттуда, где на горизонте появилась первая узкая зелёная полоска рассвета.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Шли уже седьмые сутки наступления, а Климович всё ещё не был ранен, несмотря на двадцать атак, в которых он принимал участие. Он уже давно успел забыть о лёгком ранении, полученном при Баин-Цагане, и казался себе неуязвимым.

Выйдя на маньчжурскую границу, бригада простояла там один день, пока не подтянулись наглухо замкнувшие кольцо пехота и артиллерия. После этого бригаду сняли с границы и, разделив по-батальонно, передали стрелковым полкам, штурмовавшим главные узлы японской обороны внутри замкнувшегося кольца. К этому времени потерявшие половину своего состава и оказавшиеся в окружении японские дивизии всё ещё занимали район в пятнадцать километров в длину и десять в поперечнике. На занятом ими пространстве было разбросано несколько крупных сопок: Зелёная, Песчаная, Ремизовская и несколько сот мелких.

Все вместе они выглядели так, словно кто-то могучей рукой зачерпнул пригоршню из отрогов Хинганского хребта и швырнул неподалёку, прямо в степи.

На этом холмистом пространстве оказались запертыми около двадцати тысяч японцев, дравшихся, не сдаваясь в плен, с невероятным ожесточением.

Всё происходило так, как и должно было происходить в условиях, когда хорошо обученная и многочисленная кадровая пехота, пережив первый ошеломляющий удар и всё ещё располагая после этого сотнями орудий, миномётов и пулемётов, оставалась в окружении, тщательно и заблаговременно зарывшаяся в землю, обеспеченная боеприпасами и едой и по радио и через голубиную почту обнадёженная командованием, что рано или поздно придут к ней на помощь.

Помощь эта казалась тем ближе, что в течение 24, 25 и 26 августа в окружённой группировке всё время слышали доносившийся с востока гул боя — это Камацубара пытался извне прорвать кольцо окружения, упрямо и беспощадно бросая в лобовые атаки всё, что у него было под руками в Западной Маньчжурии: 14-ю пехотную бригаду, несколько отдельных батальонов и даже полк железнодорожной охраны.

Только к вечеру 26-го, когда все эти части почти в полном составе были похоронены в пограничных песках, а их остатки отошли в глубь Маньчжурии, на границе установилась тишина.

Тем временем внутри кольца наша пехота, поддержанная артиллери-

ей и танками, каждый день отрезала от пространства, занятого японцами, всё новые ломти изрытой окопами и блиндажами, изъязвленной воронками и заваленной трупами земли.

Окружённую японскую группировку пробовали, как металл, и на разрыв и на сжатие. Танкистам приходилось мириться с тем, что, проравшись в первые три дня на сорок — шестьдесят километров, надо было теперь сутками возиться из-за километра или пятисот метров, из-за одного или двух барханов, так перепаханых артиллерией, что казалось, на них нет живого места, и, однако, продолжавших отплёвываться минами и пулёмётными очередями.

Те несколько вздратных километров, которые занял 117-й стрелковый полк при поддержке батальона Климовича, были отмечены печальными вехами сгоревших танков. Задрав кверху орудия, они маячили на верхушках взятых барханов или, наоборот, почти незаметные издали, уткнув в землю пушку и завалась одной гусеницей в траншею, стояли в двадцати шагах от позиций взятой японской батареи, среди поднятых дыбом блиндажных накатов, обломков оружия и трупов.

В ночь на двадцатое, перед началом наступления, у Климовича было двадцать семь танков. В первые дни прорыва он потерял из них только пять, а за последние дни выдавливания японцев из барханов вокруг сопки Песчаной — девять, причём большинство — навсегда, сожжёнными.

Умом за семь дней боёв он понял всю меру опасностей, таящихся для танков в этой идеально приспособленной к обороне, холмистой, песчаной, перерывной вдоль и поперёк, словно кротовая нора, местности, но сердцем никак не мог свыкнуться со своими потерями. Вид сожжённых танков, которые стояли на буграх и были заметны отовсюду, каждый раз, как он оборачивался и глядел на них, раздирал ему сердце. Он не мог примириться с тем, что сегодня днём в бою за безымянный песчаный бархан, имевший каких-то несчастных двести метров в поперечнике, у него сгорело два танка, из них один вместе с экипажем. Сгорели три человека, которых он знал по именам, отчествам и фамилиям, знал с их достоинствами и недостатками, с их дружбой и с их дисциплинарными взысканиями, с их письмами домой и с их вопросами на политзанятиях. Сгорели три человека, которых он учил три года; и сгорели не на улицах фашистского Берлина или самурайского Токио, а здесь, у этого песчаного бархана, похожего на тысячу других, точно таких же песчаных барханов и отличающегося от них только тем, что теперь он будет фигурировать в донесениях, как бархан с сожжённым танком.

Климович знал сам и, если понадобилось бы, мог объяснить другим, что как ни мал самый малый бархан, беря который гибнут люди, но не возьми его — и не будет победы. Однако от этого понимания не делалось легче на душе, тем более, что он знал: большие потери были не только в его батальоне, но и в остальных. Ему говорили об этом и Сарычев и Гордиевский, которые, временно лишась возможности управлять всей бригадой, разбросанной по разным участкам фронта, всё время находились то в одном, то в другом батальоне, то вместе, то порознь.

Два последних дня у Климовича сидел Гордиевский. Впрочем, слово «сидел» трудно было отнести к нему, потому что он всё время находился в движении. То он отправлялся уточнять обстановку на командный пункт к командиру стрелкового полка Баталову, то, вернувшись оттуда, ехал в тыл торопить ремонтные летучки, то, вновь оказавшись на передовой, шёл в цепях наступавшей пехоты рядом с командиром батальона, атаку которого в эту минуту поддерживали танки Климовича.

Опалённый огнём войны, Гордиевский стал спокойней и уверенней

в себе. У него исчезло и казалось странным даже в воспоминаниях бывшее чувство, что он новичок в этой танковой бригаде. Короткий, но кровавый опыт вместе пережитых боёв давно сравнял его со всеми другими танкистами. Разговаривая с ними за торопливым завтраком перед боем, или после боя вечером, или выдавая им партийные билеты и кандидатские карточки тут же возле пополнявшихся бэкокомплектами танков, Гордиевский чувствовал себя одновременно и их комиссаром и просто таким же, как все они, танкистом, который в любую минуту может влезть в танк и пойти в атаку, заменив любого из них.

У него сохранилась природная быстрота в движениях, но исчезла та нервная сжимательность, та подчёркнутая резкость, при помощи которых он раньше старался показать, что он тоже вполне военный человек. Ещё в первый день августовских боёв он вдребезги разбил очки, запасных у него не было, и он ходил без очков, часто потирая пальцами глаза. Глаза у него были усталые, но внимательные, с предостерегавшими от споров с ним холодными зеленоватыми огоньками в глубине.

Сегодня после полудня Гордиевский уехал ст Климовича. Из штаба бригады прибыл на броневичке связной и сообщил, что Сарычев час назад ранен осколком мины в шею, что его надо везти в тыл, а он отказывается.

— Вот какая история! — огорчённо протянул Гордиевский, выслушав его. — А рана-то тяжёлая? — нерешительно, боясь собственного вопроса, спросил он.

— Не особенно опасная, — сказал связной, — но врач требует отправить в госпиталь, а комбриг не хочет.

— До завтра, — сказал Гордиевский, пожал руку Климовичу и пошёл к броневичку.

«Быть сегодня Сарычеву в госпитале, — подумал Климович, провожая взглядом Гордиевского, — этот его отправит, даром, что лектор». И он сам улыбнулся вдруг пришедшему на память давно забытому слову, которым они когда-то называли между собой Гордиевского.

— Вот и Сарычев ранен, — вслух проговорил Климович, когда броневичок с Гордиевским отъехал и скрылся из виду. В первый раз за всё время он подумал о собственной неуязвимости со смешанным чувством удивления и неясной тревоги. Однако долго думать об этом ему было некогда — через полчаса началась атака и предстояло заняться последними распоряжениями перед нею.

Эта атака была второй за день; она закончилась взятием двух маленьких барханов. Потом была третья атака, неудачная, ещё на один бархан, та самая, во время которой японские смертники, пользуясь моментом, когда пехота отстала, сожгли два танка бутылками с бензином. Под вечер состоялась четвёртая атака. Злополучный бархан был взят, и японцы перебиты — их оказалось немного, меньше ста, но зато двадцать из них офицеры. Со взятием этого последнего бархана впереди оставались невзятыми только два высжих горба сопки Песчаной.

В семь часов вечера начинало смеркаться. На всякий случай оставив на передовой на ночь два танка, Климович отправил остальные в тыл на заправку, а сам пошёл на новый наблюдательный пункт к командиру полка Баталову, который ещё полчаса назад вызвал его к себе. До наблюдательного пункта предстояло пройти метров восемьсот; он помещался на только что взятом бархане, возле которого стояли два сгоревших танка Климовича: один, не видный сейчас, — с той стороны бархана, а другой, хорошо видный, зарывшийся пушкой в песок, — у самого начала подъёма.

Чтобы добраться до наблюдательного пункта, Климовичу непременно надо было пройти мимо этого своего танка, в котором заживо сгорели

башенный стрелок и механик-водитель, а командира танка старшину Михеева увезли в госпиталь с такими ожогами, что Климович, содрогнувшись, подумал: он сам не знает, что теперь пожелать красавцу Михееву — выжить или умереть...

Только сейчас, вечером, по дороге на наблюдательный пункт, Климович впервые за день вспомнил о ранении Сарычева.

«Бедный Батя, — подумал Климович, уверенный в том, что Гордиевский сумел настоять на отправке Сарычева в госпиталь, — будет теперь скучать по бригаде». И он ясно представил себе, как не хотелось Сарычеву уезжать в госпиталь не из боязни, что без него не справятся, — этого за ним не водилось, он умел верить людям и не считал себя заменимыми ни себя, ни других, — а просто потому, что без бригады ему была жизнь не в жизнь. Даже из отпусков, которые он брал не каждый год, он возвращался одновременно и отдохнувшим и стосковавшимся. Кроме обычной любви к своей части, он, да и его жена испытывали к бригаде ещё дополнительную привязанность двух уже немолодых и бездетных людей. Даже детский сад в бригаде был не просто детским садом, а его, сарычевским, которым он втихомолку занимался сам, «отбивая хлеб» у политотдела. И как раз об этом вспомнил Климович, проходя мимо сгоревшего танка. Семь дней занятый жестокой сутолокой боя, он подумал сейчас о том, что стояло за ней, за этой жестокой сутолокой: о детском саде в Ундур-хане, о живших там и в тысяче других мест монгольских и советских детях, за жизнь которых сражалась армия и которые ровно ничего не знали ни о сгоревшем танке Михеева, ни об этих пепельных от разрывов сопках, ни о том, что он, Климович, увязая сапогами в песке, устало идёт вот сейчас, после боя, со своего командного пункта на наблюдательный пункт полка.

Впереди, всё ещё не засыпая, несмотря на приближавшуюся темноту, как дятлы, стучали и стучали пулемёты. Закат предвещал на завтра ветер и, значит, тучи песка, пыли и плохую видимость через триплексы.

Однако думать о завтрашнем дне было рано: впереди — ночь, а полковник Баталов вполне способен потребовать, чтобы танки поддержали его полк и в ночных атаках.

Баталов до сих пор ещё ни разу не требовал этого, но, расстроенный дневными потерями, Климович, представив себе такую возможность, долго не мог успокоиться: разве танки приданы Баталову для того, чтобы их все пожечь, чтобы тыкать их всюду, где надо и где не надо?

Позади Климовича свистнула пуля. Он сделал несколько быстрых шагов и лишь после этого огляделся.

Больше не стреляли, но он всё же ускорил шаги, стараясь поскорей миновать небольшую открытую лошину.

Сзади снова свистнула пуля, и почти сразу же вслед за ней — другая. Кто-то стрелял по нему, какой-нибудь притворившийся трупом раненый японец, который, подложив под себя карабин, лежит в степи и дожидается ночи, чтобы добраться к своим.

Было бы разумнее проползти оставшиеся двадцать шагов, но стреляли издали, неизвестно откуда, и Климовичу не хотелось ложиться на живот и ползти под этими одиночными выстрелами. Он только ещё ускорил шаги, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок. Глупей всего было бы после стольких боёв получить случайную пулю в спину.

Миновав простреливавшееся место и с облегчением переводя дух после быстрой ходьбы по песку, Климович стал вкось подниматься по склону бархана.

Склон был сплошь изрыт глубокими круглыми японскими окопами: всюду виднелись воронки и следы гусениц. В одном месте Климовичу

показалось, что это следы его танка, что два часа назад он именно здесь разворачивался после атаки. Он вспомнил подробности пейзажа, которые в дыму и взвихренном песке недавно видел сквозь смотровую щель.

Если так, то немного левей должны быть остатки японской артиллерийской позиции. Там он раздавил одну пушку, а другая так и не стреляла: то ли не было снарядов, то ли её подбили раньше.

Так и есть. Вон из песка торчит изуродованное колесо, а рядом наши артиллеристы устанавливают на закрытых позициях гаубичную батарею.

Увидев артиллеристов, Климович не стал подходить к ним ближе, но почувствовал в душе облегчение от присутствия людей на этом мёртвом поле. Хотя это и было поле выигранного боя, но всё равно тоскливо, когда идёшь по таким местам один, видя только убитых, да обломки оружия, да разные разбросанные предметы, которые вовсе ни к чему мёртвым. На ногах убитых японцев были обмотки и резиновые тапочки, похожие на варежки: четыре пальца вместе и большой отдельно. Некоторые трупы, лежавшие на солнце с утра, уже успели вздуться, и ноги в странных тапочках казались похожими на ещё одни, страшно распухшие руки.

На середине подъёма Климовичу встретился рослый старшина-артиллерист, без пилотки, обросший недельной бородой, потный и бледный, несмотря на загар. Рукава гимнастёрки у него были засучены до локтей, и обе руки с забинтованными кистями лежали на двух перекинутых через шею ляшках из бинтов. Он нёс эти руки перед собой, как ребёнка, и шёл под гору осторожно и медленно, боясь споткнуться и упасть на них.

— Когда вас ранило? — спросил Климович, который всегда говорил «вы» бойцам и младшим командирам.

— Ещё днём, — сказал старшина, останавливаясь. — Миной в обе кисти сразу.

— Что, поотрывало пальцы?

— Нет, только поковеркало, — сказал старшина, морщась и двигая мускулами лица, потому что пот со лба натекал ему на глаза.

Климович вытащил из кармана платок, с сомнением посмотрел на него — такой он был чёрный — и вытер старшине лицо.

— Что ж так, ранило днём, а только сейчас идёте? — спросил он, пряча платок.

— Батарею не хотел оставлять, все, кто побольше меня, из строя выбыли. Я со вчерашнего дня батареей командовал.

— А теперь?

— Прислали лейтенанта.

— Ну и как вы командовали? Справлялись? — спросил Климович.

— Отчего же не справляться? — почти с вызовом сказал старшина. — До армии в семилетке был, потом на сверхсрочной — в полковой школе. Да здесь семь дней академию проходил. Только что нормального училища не кончил, кубарей не ношу... Нет ли у вас покурить, товарищ капитан? — помолчав, спросил он и снова поморщился, на этот раз от боли.

И Климович понял, почему он так охотно остановился.

— Закурить есть, — сказал Климович и, вынув жестяную коробку, заменявшую ему портсигар, дал папиросу старшине, который жадно потянулся к ней губами.

— Берите правей, — сказал, зажигая спичку, Климович, — а то лощина простреливается.

— Ничего, как-нибудь перекурим это дело. Уж стреляный. Авось, не дострелят, — сказал старшина, но всё-таки взял вправо, как советовал ему Климович.

«Конечно, и у них тоже потери большие», — подумал об артиллеристах и пехотинцах Климович, продолжая подниматься на бархан.

Но даже и эта мысль не смягчила его всё нараставшее по мере приближения встречи раздражение против командира стрелкового полка. Климович делил свои потери на те, что он должен был понести и понёс, потому что без этого нельзя было обойтись, и на те, что он понёс из-за плохого взаимодействия с пехотой. Таких потерь было три: один танк он потерял позавчера, когда полковник Баталов по неверным данным своей разведки указал ему танконепроходимое направление как проходимое, — головной танк завяз в песках и в неподвижном положении был расстрелян японцами, прежде чем его вытащили; два других танка были сегодняшние, оба они, по убеждению Климовича, могли бы и не сгореть, если б пехота с самого начала шла за танками так же вплотную, как она ходила потом, когда взяли этот бархан.

Если бы пехота не отстала, японцы не смогли бы ни подсунуть на бамбуковых шестах мины под гусеницы, ни закидать потом танки бутылками с бензином. В том, что взаимодействие не было организовано в бою с самого начала, Климович винил полковника Баталова и весь день кипел желанием высказать ему это. Он заранее знал, что, говоря с командиром полка, не выйдет из рамок положенного при разговоре хотя и не с прямым, но всё-таки старшим начальником, но в то же время желал дать почувствовать Баталову всю ту горечь и боль за напрасно погибших товарищей, которую испытывал сам.

На гребне бархана, куда взобрался Климович, ещё недавно был узел японской обороны. Вниз, во все стороны змеились ходы сообщения; ещё ниже виднелись окопы в несколько рядов. В одном месте, там, где тяжёлый снаряд прямым попаданием угодил в блиндаж, как рассыпанные спички, валялись брёвна и зияла большая чёрная дыра. Здесь, на гребне, перекрытие подземного коридора тоже было разбито. Кругом валялись обломки цементных плит, искорёженные листы котельного железа и разбросанные мешки с песком.

Коридор, ведущий к блиндажу, где теперь помещался наблюдательный пункт, очевидно, служил японцам убежищем во время артиллерийских налётов. Сюда они сбегались и сползались из ближайших окопов. Песок повсюду был в тёмных пятнах.

— Где командир полка? У себя? — спросил Климович у часового, стоявшего при входе в блиндаж. Красноармеец ответил, что командир полка пошёл в батальоны и скоро вернётся.

Не торопясь заходить в блиндаж, Климович остановился, оглядывая расстилавшуюся панораму.

Почти совсем стемнело. Бой начал стихать. Впереди, на фоне чёрно-фиолетового неба, виднелась седловина Песчаной сопки с двумя горбами. Ближний горб был метрах в семистах, дальний — километрах в полутора. На обоих горбах ещё сидели японцы.

Климовичу захотелось посмотреть ещё и на невидимую отсюда Ремизовскую сопку. Он свернул в ход сообщения; в конце его на земляной скамеечке сидел за перископом наблюдатель. При виде Климовича он молча встал, но когда Климович, поставив ногу на земляную скамейку, захотел подняться над бруствером, красноармеец остановил его за руку.

— Снайперы бьют, товарищ капитан. Убили уж тут недавно...

— Темно, не разглядят, — сказал Климович высовываясь.

И действительно уже так стемнело, что ничего нельзя было разглядеть, кроме еле заметно выделявшегося на горизонте гребня Ремизовской сопки. Постояв с минуту, Климович снова прыгнул в окоп.

Красноармеец был молодой стройный парень с комсомольским значком на чистой и аккуратно заправленной гимнастёрке.

— Что, жарко было у вас сегодня? — спросил Климович, встретясь с ним глазами.

— Если бы не ваши танкисты, товарищ капитан, не взять бы нам этой высоты! — убеждённо сказал красноармеец.

Вспомнив при этих словах Михеева, который своим открытым красивым лицом, молодостью, таким же комсомольским значком на гимнастёрке и еще чем-то, чего сразу не мог вспомнить Климович, был очень похож на этого красноармейца, Климович чуть не сказал в ответ то, что было у него на душе: что Михеев напрасно сгорел из-за плохих действий пехоты.

— А если бы не пехота, так и танки ничего бы не сделали, — удержавшись, сказал он вместо этого.

— Конечно, — с достоинством ответил красноармеец.

И Климович окончательно вспомнил, чем он был ещё похож на Михеева: у него были такие же серые, чуть-чуть на выкате, смелые глаза.

— Скажите, товарищ капитан, — спросил красноармеец, — правда ли, что мы с Германией пакт подписали?

— Кто вам сказал?

— Говорят, сегодня в армейской газете напечатано.

— Что за пакт?

— О ненападении.

— Не знаю, — с сомнением сказал Климович, — не читал сегодня газет.

— Вот и я не читал, — сказал красноармеец. — Врут, наверное. А вчера не читали? Ничего не было?

— Вчера читал. Ничего не было, — ответил Климович.

— Врут, наверное, — повторил красноармеец. — А как вы думаете, товарищ капитан, не развернётся ли война в общем масштабе?

— А что вы, войны боитесь? — спросил Климович.

— Почему боюсь? — пожал плечами красноармеец. — Просто знать бы хотелось.

— Думаю, что не развернётся, — не особенно уверенно сказал Климович и пошёл в блиндаж.

На полу на корточках пристроился телефонист, а в дальнем углу сидел незнакомый майор и, сгорбившись, что-то писал. Перед ним стояла наполовину оплывшая свечка, а с двух сторон возле локтей — две тонкие жестяные подставки с вдетыми в них тлевшими с одного конца зелёными спиральками — трофейным японским средством от комаров.

— Здравствуйте, — сказал Климович входя.

— Здравствуйте.

Незнакомый майор повернул голову, близоруко сощурился, попытался разглядеть Климовича, но, так и не разглядев, снова повернулся в профиль и продолжал писать.

Климович прошёлся несколько раз по блиндажу и сел у стены, напротив всё ещё продолжавшего писать майора.

Пилотка на голове у майора сидела нескладно, как-то вкось, боком. Лицо у него было некрасивое, худое, с длинным носом. Писал он быстро и мелко, большим чёрным автоматическим пером, крепко зажатым в худых пальцах, и при этом так низко нагибался, что, казалось, водил своим длинным носом по бумаге. Петлицы, как теперь разглядел Климович, у него были не малиновые — пехотные, а темнозелёные, не то докторские, не то интендантские.

— Курить хотите? У меня «Борцы» есть, — сказал майор, не отрываясь от писания и не поднимая головы.

— Давайте, если есть, — охотно отозвался Климович. «Борцы» были самые хорошие из всех папирос, попадавших на фронт.

Майор, продолжая писать, молча вытащил из кармана коробку папирос и положил её рядом со свечкой. Так, не разгибаясь, он писал ещё минут пять, потом аккуратно завинтил перо, расстегнул карман гимнастёрки, положил туда перо и маленький блокнот, снова застегнул пуговицу, надел лежавшие перед ним на столе очки и, медленно, сладко потянувшись, наконец поднял голову и стал внимательно и бесцеремонно разглядывать Климовича.

Интендант второго ранга Лопатин уже седьмые сутки, с первого дня наступления, безотлучно находился в 117-м стрелковом полку, отсылая свои статейки в газету с редакционной «эмкой», приезжавшей каждый вечер во второй эшелон полка.

Уже отправив сегодня корреспонденцию, Лопатин занимался самым для него приятным ежедневным делом: он был в некоторых вопросах человеком неумолимой аккуратности, и при любых обстоятельствах к вечеру в его блокноте должны были появиться десять или двадцать строчек с числом и заголовком: «Главное за день».

Под главным он понимал то главное, что произошло за день на участке полка, с прибавлением некоторых собственных, показавшихся ему существенными мыслей.

За 20-е число — первый день наступления — рядом с изложением хода дела в блокноте у Лопатина было записано:

«Почти никого из красноармейцев не поражает наше преимущество в авиации, артиллерии и танках. Все считают это естественным, считают, что в принципе так оно и должно быть. Былая, чаще всего вынужденная присказка старой русской армии — «Мы, русские, и с голыми руками одолеем», кажется, окончательно отошла в прошлое.

Вечером, после боя, во втором батальоне красноармеец, работавший до призыва на Сталинградском тракторном, хваля танкистов, стал гордо говорить о пятидесяти тысячах тракторов в год в одном Сталинграде. А ещё ХТЗ, а ещё ЧТЗ!»

21-го вместо записей в блокноте была грубо начерчена схема полосы наступления полка, а 22-го было написано:

«Баталову позвонили из штаба дивизии; наши как будто уже соединяются позади японцев. Я обрадовался, а Баталов сказал довольно хмуро, что теперь-то и начнётся самая молотня: японцам и убежать некуда и сдаваться не приказано, значит, будут драться. Я спросил, чего он хмурится, — таков ведь и был план. «План планом, — сказал он, — а своих людей жалко. Теперь у меня начнутся особенно большие потери». Потом он помолчал и сказал: «Вы здесь один как перст и не можете себе этого до конца представить, а у меня, кроме семьи в Чите, все здесь, в полку, все мои друзья, товарищи и знакомые. Вот прикиньте-ка это на себя да представьте, что часть из них вы завтра или послезавтра неизбежно должны потерять. Не вообще из людей, а именно из ваших друзей и товарищей».

Я стал спорить с ним, что в его словах есть противоречие, и спорил довольно неудачно. Баталов долго слушал, а потом сказал:

— Вы мне про советских людей вообще не рассказывайте. Я потому, может быть, и в армии служу, что вообще всех советских людей люблю, но уж оставьте мне право, пока меня в другой полк не перевели, любить свой полк больше всякого другого. И никакого тут противоречия нет, имейте это в виду!

Он так разгорячился, что ушёл в батальон один, хотя за час до этого обещал взять меня».

23-го, после описания боевых действий полка, стояла всего одна фраза: «Потери сегодня не такие большие. Баталов весёлый».

24-го в блокноте стояло: «Был в штабе дивизии. Говорят, что из главных укрепленных высот остались невзятыми три: Песчаная, Зелёная и Ремизовская, но зато на них на каждый метр по японцу. Ночью лежал в окопах с бойцами, и был такой разговор. (Над головой прошли в сторону границы наши ночные бомбардировщики).

— Те-бе-третьи пошли! Бомбить Джинджин Сумэ.

— Почему Джинджин Сумэ?

— У них там тылы стоят.

— А может, прямо на Харбин или на Чанчунь пошли? Там у них главнейший штаб, говорят.

— Едва ли.

— А почему едва ли? Всё равно воевать!

— Воевать, да не всё равно. Ещё прицепятся — общую войну начнут!

— Уже прицепились!

— Это ещё не прицепились, это ещё думают. Мы им тут пить даём!

А они думают — воевать дальше или нет?

Потом, после молчания, тот же задумчивый голос сказал рассудительно:

— Гитлер меня беспокоит...

Я ожидал, что кто-нибудь пошутит, подковырнёт сказавшего, но никто не пошутил. Все долго молчали. Гитлер беспокоил всех».

25-го Лопатин записал: «Мы привыкли каждый день к вечеру заново устраивать и командный и наблюдательный пункты полка в захваченных японских блиндажах. Это уже почти традиция. Едва устроились сегодня, как пришёл секретарь дивизионной партийной комиссии, и тут же оксоло командного пункта заседали и приняли в партию трёх красноармейцев и заместителя Баталова по строевой части майора Худякова. Я не думал раньше, что он беспартийный. Обычно резкий и, по-моему, жёлчный, он так волновался, когда его принимали, что даже голос у него иногда вздрагивал, пока он рассказывал свою биографию. Оказывается, он из студентов. В мировую войну прапорщик. В гражданскую — командир роты. У всех на лице было одно и то же выражение: «Мы же тебя знаем, чего ты так долго рассказываешь?». Но никто его не перебил, несмотря на то, что японцы изредка побрасывали мины.

Потом Худяков стал объяснять, почему он раньше не вступал в партию, хотя его об этом и не спрашивали. Объяснение, как мне показалось, было очень простое: он сначала чувствовал себя бывшим офицером царской армии, а потом привык к своей беспартийности. Но он объяснял это очень долго и сложно, стыдясь и боясь, что его не поймут. Однако его прекрасно поняли. Присутствовавший Баталов, которому, несмотря на всё уважение к собранию, под конец, по-моему, не терпелось его закончить, вдруг коротко, но очень прочувствованно сказал, что Валерий Александрович — храбрый человек и в боевой обстановке доказал, что он предан партии Ленина—Сталина.

Худяков покраснел и смутился так, что ничего не смог ответить, а я подумал о себе, что, наверно, незаконно присутствую здесь, и не спросил об этом Баталова только потому, что чувствую, как он всё время считает меня коммунистом, и в душе горжусь этим.

Так почему же, спрашивается, я, старый интеллигент (впрочем, не такой уж старый, и это ещё глупей), гордясь, что по моему поведению меня принимают за коммуниста, не подал до сих пор в партию?»

За 26-е в блокноте Лопатина была короткая запись, которую он только что начал делать, когда вошёл Климович, причём по стечению

обстоятельств запись эта касалась как раз Климовича, верней, потерь, понесённых сегодня танкистами. Запись начиналась словами: «Баталов сегодня весь день рвал и метал...».

На Лопатина, который почти весь этот день не отходил от Баталова, произвело глубокое впечатление то, как Баталов переживал, когда два вырвавшихся вперёд танка на глазах у всех были забросаны бутылками с бензином, как он потом поднимал и поднял людей в атаку и как, наконец, после взятия сопки вдвоём со своим комиссаром Саенко разносил, а в сущности, больше стыдил командира батальона Красюка, непосредственного виновника дневной неудачной атаки.

Красюк стоял перед Баталовым мрачный и очень усталый. Разноса он не боялся, потому что весь день после неудачной атаки был под пулями, выполнил всё, что причиталось на долю его батальона, то есть воевал хорошо, знал это и знал, что Баталов это знает.

Днём, придя в батальон сразу после неудачной атаки, Баталов для пользы дела обуздал свой гнев, сдержался и только, скрипнув зубами, молча провёл по лицу Красюка таким взглядом, что того обожгло, как крапивой. Теперь, когда Красюк за день не ухудшил, а наоборот, выправил положение, он, в сущности, мог уже не бояться гнева командира полка. Но Баталов умел стыдить, и Красюку было мучительно стыдно, несмотря на усталость и до дна испитую им чашу всех, какие только можно вообразить, смертельных опасностей.

— Ты на меня не смотри, — говорил Баталов, — мы ещё с Саенкой своё от командира дивизии получим. Нам ещё с Саенкой придётся в глаза танкистам смотреть. А ты вот мне скажи: кто днём танки сжёг?

— Кто сжёг? Японцы сожгли, — предугадывая то, что последует, но всё же принуждённый отвечать, угрюмо сказал Красюк.

— Нет, ты сжёг, — сказал Баталов то самое, чего и ждал Красюк. — Ты батальон в атаку не поднял?

— Я не поднял, — как эхо, повторил Красюк.

— Вот и сжёг. Где твой стыд? Где твоя совесть?

— Я сам сегодня одними убитыми девятнадцать человек потерял, — с сердцем сказал Красюк.

— И своих столько не потерял бы, если бы днём тех танков не сжёг, — безжалостно сказал Баталов.

А Саенко, молчавший всё время и только в упор смотревший на Красюка, вдруг тихо добавил:

— А ещё земляк!

Эти тихие слова доконали Красюка. Из его глаз выкатились и покатились по щекам две слезы. Он тут же вытер их раненой в первый день боёв, забинтованной рукой и снова продолжал неподвижно стоять, руки по швам. Только было видно, как у него тихонько подрагивают кончики пальцев.

Наблюдавший всю эту сцену Лопатин уже готов был в душе осудить Баталова и Саенко. Ему казалось, что нельзя дольше так жестоко говорить с человеком, который пусть ошибся, но почти весь день воевал, не щадя жизни, и будет рисковать всё одной и той же своей жизнью и завтра и послезавтра.

— Хорошо сегодня дрались твои люди, — сказал Саенко, и эта фраза была, как отпущение грехов, вслед за которой они все трое — Баталов, Саенко и Красюк — пошли в батальон к Красюку, сразу же на ходу заговорив о завтрашних делах.

Накоротке, уже при Климовиче записав этот происходивший час назад памятный разговор, Лопатин перелистнул блокнот и, найдя там страничку за 22-е со спором о праве любить свой полк больше всех других, приписал внизу:

«Больше всех любить свой полк — да! Но не дай бог показать при этом недостаточную любовь к другим! К тем же танкистам! Да ещё попробовать оправдываться тем, что своя рубашка ближе к телу, — Баталов убьёт за это!»

Засунув блокнот в карман, Лопатин стал рассматривать сидевшего напротив него капитана, которого он, кажется, где-то уже видел.

Капитан был невысокий, широкогрудый, в серой танкистской гимнастёрке, сильно засаленной, но постиранной после этого. Грудь капитана охватывали ремни дочерна пропотевшей полевой портупеи. К ремням были прицеплены полевая сумка и пистолет, из-за пыльного голенища торчали рукоятки танкистских сигнальных флажков. На бритой голове капитана была чистенькая и, наверное севшая после стирки, слишком маленькая, похожая на детскую, тропическая панама. Их носили здесь многие, и Лопатин привык к их виду, но на голове капитана панама выглядела удивительно некстати и не вязалась с его раскалённо-загорелым суровым лицом, каменными желваками на скулах и смотрешшими из-под дожелта выгоревших бровей спокойными светлосерыми глазами. Это было непримиримое лицо солдата, оно дышало войной.

«Ну, конечно же, он командир приданного полку танкового батальона, — вдруг сообразил Лопатин, — и я его видел и даже не один, а два раза, но только в шлеме и кожанке. Первый раз вечером, на четвёртый день наступления, у Баталова, и вчера мельком в башне танка».

Климович в свою очередь, как только Лопатин надел очки, вспомнил, что видел его у Баталова в первый день их совместных действий, и ему сказали, что это Лопатин, писатель — корреспондент армейской газеты.

— Что смотрите на меня, товарищ корреспондент? — спросил Климович, так и не решив, как обратиться к Лопатину по званию. Если назвать интендантом — может обидеться, всё-таки говорят, что писатель; назвать же Лопатина товарищем писателем Климович не рискнул, потому что к слову этому относился с большим уважением, а произведений Лопатина никаких не читал, кроме нескольких статей в армейской газете. И кто его знает, как он пишет, не считая этих статей?

— Вы командир танкового батальона? — спросил Лопатин. — Да?

У него была привычка говорить это быстрое вопросительное «да?», торопя ответ.

— Так точно, — коротко и неприветливо ответил Климович, вспомнив о своих сожжённых танках и предстоящем разговоре с Баталовым. Он подумал, что Лопатин сейчас некстати начнёт задавать ему вопросы о действиях танкистов.

Но Лопатин ничего не спросил. Закурив папиросу, он, не гася спички, зажёл, взамен кончившихся, две новые зелёные противокомариные спиральки и, зябко поёживаясь, прислонился к стене блиндажа.

— Холодноватые тут ночи.

— Довольно-таки холодные, — всё так же неприветливо согласился Климович, принимая фразу Лопатина за подход к вопросам.

Но Лопатин хорошо понимал причину молчаливости мрачного капитана и не собирался вызывать его на разговор о танках.

— Вы откуда родом, не из Белоруссии? — спросил он вместо этого.

— Из Белоруссии. Из-под Орши. Но жил там мало. В двадцатом году родигели разом померли от тифа. А я пошёл беспризорничать. До Ташкента доехал, как у Неверова. А почему вы подумали?

— Немножко поговору чувствуется.

— Значит, с детства въелось, — сказал Климович.

— А с тех пор не были в Белоруссии?

— Нет. То есть был, стоял по гарнизонам, по военным городкам, но это уж другой говор — армейский.

— Вот, кажется, и Баталов, — сказал Лопатин, услышав голоса у входа в блиндаж и подымаясь.

Климович тоже поднялся и, оправляя ремни на гимнастёрке, решил, что как бы там ни было, а он всё равно выскажет Баталову всё, что думает о напрасной гибели танкистов.

Но вместо Баталова в блиндаж вошёл его заместитель майор Худяков в каске и в накинутой на плечи и завязанной у горла плащ-палатке. Он быстро пересек блиндаж и, словно не замечая Лопатина, даже толкнув его, сел на его место, устало бросив на стол обе руки, потом рассеянно посмотрел прямо перед собой на свечу, на Климовича, наконец, полуобернувшись, на Лопатина и сказал: — Баталова убили, — таким голосом, в котором самое отсутствие всякого выражения означало высшее отчаяние. — Убили, — ещё раз сказал он, встал и пошёл по блиндажу обратно, словно хотел выйти вон, но у выхода повернул и быстро заходил взад и вперёд.

Сердце Лопатина пронзила острая печаль. Он подумал о завтрашнем дне и не смог представить его себе без Баталова, без того, что Баталов жив, а не убит. За несколько последних дней он успел полюбить Баталова, но не успел до конца понять это при его жизни, а понял лишь теперь, когда человек, ставший его другом, уже умер.

Лопатин посмотрел на капитана-танкиста, словно приглашая его узнать то, о чём он сам спросить был не в силах: как убили Баталова, как это случилось.

Но Климович молчал и ничего не спрашивал, только желваки медленно ходили под кожей на его напряжённо-замкнутом лице.

— Пуля в сердце, — остановившись, сказал Худяков, сам отвечая на никем не заданный, но живший в блиндаже вопрос.

Что-то грохнуло. Это телефонист уронил с ящика телефонную трубку.

— Пошёл вместе с Саенко смотреть местность, — продолжал Худяков, — сам, перед завтрашним боем. Для вас!

Он повернулся к Климовичу и сердито ткнул в него пальцем, как будто тот был в чём-то виноват.

— Чтобы танки могли пройти. И пуля в сердце. Неизвестно откуда. Дурацкая. Как всегда, когда человек дорогой, так пуля дурацкая, — с ожесточением повторил Худяков, раскашлялся и сел в угол.

— А где Саенко? — тихо спросил Климович.

Худяков, у которого перехватило горло, молча показал рукой на дверь блиндажа.

Климович и Лопатин вышли наружу, в темноту. У входа в блиндаж стояло несколько человек. Лопатин узнал по очертаниям фигуры высококого Саенко и по голосу — полкового врача.

Саенко и врач стояли на дне траншеи, а наверху, на краю её, на уровне их плеч, лежало что-то длинное и тёмное. Лопатин понял, что это тело Баталова.

— Двуколка не может въехать, всё перекопано, — сказал в темноте чей-то голос.

— Насколько не доехала? — спросил Саенко.

— Шагов двести.

— Сейчас снесём, — сказал Саенко и повернувшись и увидев фигуры Лопатина и Климовича, спросил: — Климович?

— Да.

— И я, Лопатин, — сказал Лопатин.

— Вот какое дело, — просто и печально сказал Саенко.

Он вылез из траншеи, присел на корточки рядом с телом Баталова и посветил на него карманным фонариком.

Мёртвое тело Баталова, до горла завернутое в две шинели, так, словно боялись, что ему будет холодно, лежало, вытянувшись, на санитарных носилках. На голове была фуражка. Усы казались особенно большими и чёрными на побледневшем лице, а на глазах лежало что-то, значения чего Лопатин в первую секунду не понял. Это были положенные вместо медных пятаков два винтовочных патрона.

Саенко снял патроны немного дрогнувшей рукой и поцеловал Баталова в закрытые веки. Потом он, отстранив санитаров и сказав, чтобы тот шёл к ногам, сам схватился за ручки носилок у изголовья. Санитары стали вдвоём в ногах.

— Пошли, — сказал Саенко, не обращая ни к кому в особенности.

Врач засветил фонарик и пошёл впереди. Лопатин и Климович пошли сзади. Позади них в темноте шёл ещё кто-то, и Лопатин подумал, что это, наверное, адъютант Баталова.

— Вот как, Лёша, — полуобернувшись, но не останавливаясь, сказал Саенко. — Все мы смертные. — И тут же сурово прикрикнул на санитаров, которые, перелезая через окоп, чуть не выпустили из рук носилок: — Не спотыкайтесь! Не лошади. Не дрова везём...

Двуколка стояла даже ближе чем в двухстах шагах. Тело Баталова положили на двуколку, головой вперёд. Адъютант сел в ноги.

Саенко больше ничего не говорил. Только когда двуколка уже отъехала шагов на десять, он крикнул в темноту адъютанту:

— Перегрузишь на машину — сопровождай до медсанбата и возвращайся с той же машиной сюда, ты Худякову нужен!

Сказав это, он повернулся и, сопровождаемый всеми остальными, пошёл обратно к блиндажу. У самого входа в блиндаж он отрывисто спросил Лопатина:

— Как там Худяков, очень убивается?

— По-моему, да, — сказал Лопатин, — да и как же...

Саенко перебил его:

— Это вы мне не объясняйте, это мне тоже понятно. А Худякова я в блиндаже попросил остаться, не ходить с нами, чтобы он ещё больше не расстраивался. Ему командовать надо, полк на себя брать.

Когда они вошли в блиндаж, Худяков сидел за столом и, слегка пригнувшись к стоявшему на табурете телефону, говорил с начальником штаба полка.

— Это, Сергей Сергеевич, мы потом с вами обсудим, — говорил он в трубку, — а пока начинайте перебираться к нам на наш НП, а мы на новый уйдём. Ничего не рано. Баталов приказал туда перейти. И я его приказ отменяю не собираюсь. — И хотя он говорил о том, что не собирается отменять приказ, в голосе его прозвучала властная нотка. — У меня всё.

Он положил трубку и по старой привычке подчинённого поднялся навстречу Саенко.

— Вот, — словно извиняясь за то, что уже занялся делами, показал он на карту, лежавшую перед ним на столе, — смотрю ещё раз обстановку.

— Разрешите сесть? — спросил Саенко, подчёркивая этим, что Худяков теперь командир полка.

— Посмотрел ещё раз, — сказал Худяков, садясь и жестом приглашая сесть остальных, — и кажется мне, что мы Красюку на завтра недодали артиллерии. Надо внести небольшой корректив.

— Где посоветуемся? — спросил Саенко. — Здесь или когда перейдём на новый НП?

— Можно и там.

— Сматывайте связь, — сказал Саенко, вставая и обращаясь к связисту. — Вызовите себе в помощь людей с промежуточного поста и тяните связь на новый НП. Там проводники из батальона ждут.

Он стоял посреди блиндажа, высокий и сильный. Горевшая на столе свеча бросала снизу неровные жёлтые блики на его некрасивое, но с первого взгляда западавшее в память лицо. Жилистая шея, широкий подбородок с резкой поперечной чертой, перерезанный несколькими крупными морщинами, широкий лоб с начинающимися залысинами, глубоко сидящие сурово-спокойные глаза с красными прожилками от бессонницы, — всё обличало в комиссаре полка не показную, а глубоко, как эти глаза, сидящую внутри него уверенную силу, которой были подстать и его медленные движения и глуховатый, ровный голос.

— Не пришлось тебе больше повидаться с Баталовым, — обратись к Климовичу, сказал Саенко, продолжая стоять посредине блиндажа и по-глубже запустив в карманы руки, которые дрожали и одни могли выдать его душевное смятение. — А он из-за этих твоих танков весь день переживал.

Климович встал. Слова и голос Саенко заставили его вспомнить мысли, с которыми он шёл сюда, думая попрекнуть Баталова. Сейчас Климовичу было стыдно за них не только потому, что Баталов, которого он шёл попрекнуть, был убит, но и потому, что он шёл сюда, осуждая Баталова за равнодушие к судьбе танкистов, а Баталов, оказывается, так же горько переживал всё это, как и он сам.

— Извини. Наша с Баталовым вина, — сказал Саенко, словно выполняя последнюю волю Баталова, и вздохнул так глубоко и сильно, что на груди у него скрипнули ремни портупей.

— Завтра отплатим за Баталова, даю слово от всех танкистов! — гневно сказал Климович.

— Отплатим, да не оживим, — сказал Саенко с горьким равнодушием непоправимости. Сев на скамейку, он вытянул из-за голенища пачку экземпляров армейской газеты, оставил себе одну и бросил на стол остальные. — Nate, почитайте, пока связь тянут.

Он сделал это потому, что всё время испытывал потребность говорить с Баталове, а говорить не хотел. Раскрыв газету больше для того, чтобы заслониться ею, чем для того, чтобы читать, он на первой странице увидел большой заголовок: «Японцы зажаты в стальные тиски. Завершим разгром врага». Под ним была напечатана сводка из района боевых действий за 25 августа и маленькая заметка Лопатина «У сопки Песчаной».

Заметка начиналась словами: «Вчера весь день бойцы Баталова штурмовали подступы к Песчаной сопке».

«И сегодня бойцы Баталова штурмовали подступы к Песчаной сопке, — подумал Саенко, пробежав заметку Лопатина и механически отметив, что в заметке почти всё было точно. — И завтра будут штурмовать Песчаную сопку, только без Баталова».

Он подумал о том, как теперь будут писать в армейской газете? По-прежнему: «бойцы Баталова», или напишут: «бойцы Худякова», или: «бойцы Худякова и Саенко», и решил позвонить в политотдел, чтобы в редакции этого не делали. «Пусть до конца боёв продолжают писать: «бойцы Баталова», тем более, что сами бойцы уже привыкли к тому, что их зовут баталовцами. А Худяков несколько не обидится, он не такой человек. И Песчаную сопку пусть, когда она будет взята, назовут Баталовской, как называли Ремизовскую в июле, когда был убит Ремизов».

Не заглядывая на вторую и третью страницы, Саенко перевернул газету и стал просматривать четвертую, где обычно помещались, как он называл их, «тылы» — небольшие заметки, касавшиеся разных сторон армейского быта. Саенко любил такие заметки и потому, что знал, как их любят бойцы, и потому, что был убеждён — не единой войной жив человек и нельзя ему на войне всё время писать только про войну. Он даже как-то раз из-за этих заметок резко поспорил с Баталовым. Баталов, особенно в дни, когда что-нибудь не клеилось, не хотел думать ни о чём, кроме боя, забывая сам о еде и сне, и мог в горячке сказать: «А, обойдёмся!» про застрявшую в тылу походную кухню или грузовик с хлебом и забыть наказать виновных, с которых никогда не прощавший таких вещей Саенко готов был живьём содрать три шкуры.

Несколько таких заметок было и в этом номере газеты: «Повар спешит на позиции», «Походный магазин на линии огня», «Друг бойцов старшина Мякотных», «Зубной кабинет на фронте».

Проглядев заметки, Саенко перевёл глаза правей и вдруг увидел заголовок, который заставил его впервые за последний час забыть, что убит Баталов.

«Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом» — Саенко ещё раз оглушённо прочёл заголовок и, опустив руку с зажатой в ней газетой, обвёл взглядом всех находившихся в блиндаже.

Лопатин, Худяков и Климович — все трое молча курили. Пачка газет лежала на столе так и нетронутая.

«Товарищи!» — хотел сказать Саенко, но вместо этого, словно не доверяя прочитанному, ещё раз медленно, одну за другой, перечёл все семь статей договора, начиная с первой, где говорилось, что «обе договаривающиеся стороны сдерживаются от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами», и кончая последней, седьмой, где было написано, что «договор вступает в силу немедленно после его подписания».

— Товарищ Лопатин, — сказал Саенко, вставая и протягивая Лопатину перегнутую пополам газету, — возьмите-ка, вслух прочитайте.

Лопатин рассеянно взял газету, затаился, поискал места, куда положить недокурную папиросу, и, поднеся газету к глазам, замер и долго не начинал читать, так же как Саенко, сначала молча, про себя, пробежав обе колонки сверху вниз и ещё раз — снизу вверх.

— Да! — присвистнул он и начал читать вслух.

Саенко следил за выражением лица Климовича и Худякова, ожидая увидеть на них следы тех же двух противоречивых и одинаково сильных чувств — радости и недоверия, которые он испытывал сам.

Климович сидел неподвижно, с первой секунды чтения не меняя ни положения, ни напряжённо-внимательного выражения лица.

Подвижное, в молодости, наверное, красивое, а сейчас покрытое сеткой морщин и обросшее седоватой щетиной лицо Худякова всё больше приобретало то выражение сознания только что минувшей опасности, какое бывает у человека, когда он, ощупывая себя, невредимым стоит в пяти шагах от ещё дымящейся воронки.

Саенко и сам испытывал похожее чувство. Уже шесть лет — с тридцать третьего года — в его сознании армейского политработника неотступно жила мысль о том, что существует Германия, а в Германии существует Гитлер, и всё это вместе взятое есть война, которая безотлучно стоит у наших дверей и может в любую минуту попробовать шагнуть в них.

Уже много лет Саенко жил с этим сознанием. Он иногда не бывал в

отпуске, потому что отпуск отменяли из-за угрозы войны; у него в военном городке была не квартира, а лишь комната, потому что из-за угрозы войны нужно было строить что-то более важное, чем квартиру для Саенко. Родители Саенко, жившие на Полтавщине, жаловались в прошлом году в письмах, что их колхозу, несмотря на малоурожайный год, не снизили хлебопоставок, и Саенко знал: это потому, что существует Гитлер и пужны мобилизационные запасы зерна.

Воюя здесь с японцами и даже в последние дни их явного разгрома сознавая, что эти разгромленные полки и дивизии, тем не менее, — часть сильной и хорошо обученной армии, Саенко несколько раз за время боёв вспоминал о существовании Гитлера с тревогой, которую испытывает даже самый храбрый человек, зная, что ему могут выстрелить в спину.

Лично он не боялся войны уже по одному тому, что воевал вчера, воевал сегодня и знал, что будет воевать завтра. Но даже самые жестокие бои, в которых участвуют несколько десятков тысяч военных людей в безлюдном пограничном районе Монголии, — это было одно, это ещё могло стать и могло не стать войной; а война с гитлеровской Германией, война, в которую сразу же окажутся ввергнутыми и вся армия и весь народ, — это было совсем другое, и мысли о ней наполняли тревогой уравновешенную, неробкую душу Саенко.

«Что же это такое? — сам с собою размышлял Саенко. — Неужели правда, теперь не будет войны с Германией ни в этом, ни в будущем году, ни все десять лет, о которых сказано в договоре? Весь конец этой и всю следующую пятилетку? А потом...» И он в волнении подумал о том, что у нас будет после двух пятилеток.

— А всё-таки дурак, — вслух сказал он о Гитлере.

Лопатин положил на стол дочитанную газету и, исподлобья посмотрев сквозь очки на Саенко, сказал, что если Гитлер решил отложить нападение на Советский Союз на несколько лет, думая, что он через несколько лет станет сильнее, чем мы, то он действительно дурак. Но если он вообще решил не нападать на нас, то следует приветствовать эту разумную мысль.

— А вы верите в то, что у него может быть такая разумная мысль? — неуверенно спросил Саенко и, разом с ненавистью вспомнив всё, что было связано в его представлениях и чувствах с фашизмом, уже твёрдо, с брезгливым недоверием сказал: — Я лично не верю.

Лопатин пожал плечами. Он тоже не особенно верил в такую возможность.

— Значит, там, на западе, войны пока не будет, — удовлетворённо сказал Климович, словно ставя точку на всём разговоре и одной своей короткой фразой выражая то самое главное, что испытывало, читая в этот вечер газету, большинство людей, уже с мая сражавшихся здесь, на востоке.

В дверях блиндажа появился адъютант Баталова. У него было бледное, без кровинки лицо, чувствовалось, что он еле держится на ногах.

— Товарищ майор, — прикладывая руку к пилотке, обратился он к Худякову, — можно идти на новый НП: связисты доложили, что связь протянута.

— Отвёз? — спросил Саенко.

— Так точно, — едва нашёл в себе силы выговорить адъютант.

— Ну что ж, пойдёмте, — сказал Худяков, складывая карту и засовывая её в планшет. — Вы пойдёте с нами или здесь останетесь? — обернулся он к Лопатину.

— Если разрешите, пойду с вами, — сказал Лопатин.

Худяков поднялся и уже сделал было несколько шагов к выходу, но вдруг остановился, так, словно он что-то забыл, и сказал:

— Вспоминая германскую войну и сравнивая её с тем, как мы воюем сейчас, я думаю и в последние дни даже уверен, что мы с нашим полком, полк на полк, немцев бы разбили. Может быть, трудней, чем японцев, но разбили бы. Вероятно, немцы тоже в какой-то мере представляют это себе. В мировую войну разведка у них была очень неплохо поставлена...

Высказав таким образом своё мнение о договоре, Худяков обвёл всех взглядом, коротко махнул рукой и первым вышел из блиндажа, как бы вступая в командование полком. Саенко пропустил его вперёд (как он пропустил бы Баталова) и вместе со всеми остальными вышел вслед за Худяковым в изредка пощёлкивавшую выстрелами темноту.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

К концу дня 27 августа Песчаная сопка была наконец взята со всеми её западными и восточными, южными и северными отрогами и скалами. Последние часы боя окружённые японцы защищались на таком «пятачке», что и баталовскому полку, взбиравшемуся на сопку с запада, и полку соседней дивизии, наступавшему с востока, после нескольких перелетевших через гребень сопки и разорвавшихся в цепях нашей пехоты снарядов пришлось вовсе отказаться от помощи артиллерии.

Теперь командные пункты обоих взобравшихся на сопку полков размещались в семистах метрах друг от друга, на её вершине. В обоих полках считали, что они первыми взойшли на сопку и подняли флаг. Флагов на сопке оказалось два, оба около командных пунктов полков, а вернее сказать, командиры полков временно расположили свои командные пункты около этих флагов.

Вершина сопки представляла собой не пик, а двурогий длинный гребень. Очевидно, командиры обоих полков были одинаково правы, утверждая, что их бойцы взобрались на сопку первыми. Во всяком случае, существовавшие на этот счёт споры не помешали командиру соседнего полка, плотному, рыжему полковнику, прийти обедать к Худякову и Саенко. У запасливого Саенко оказалось полфляги коньяку, тогда как у полковника не оказалось ни коньяку, ни водки, а японское трофейное сакэ за взятие сопки он пить брезгал.

Ещё не начинало темнеть, а было уже прохладно — солнце скрылось с полудня, всё небо затянуло тучами, и сдуваемый ветром с лысых бугров песок с быстрым шорохом нёсся по склонам сопки.

Худяков, Саенко, Лопатин и рыжий полковник сидели вчетвером почти на самом гребне сопки, в круглой яме, обложенной мешками с песком. Яма в последние часы служила японцам артиллерийской позицией для последней стрелявшей на сопке пушки. Пушка, взорванная самими японцами, развалив мешки с песком, опрокинулась за бруствер, и оттуда торчало только её разорванное, похожее на железную лилию дуло.

На дно ямы было брошено несколько новеньких японских зимних шинелей с большими волчьими воротниками. В одном из котлованов сопки был только что найден подземный склад в несколько тысяч штук этих шинелей и зимних шапок.

Обедавшие сидели, как кому удобней примостясь на японских шинелях, и вели тот возбуждённый, беспорядочный разговор, какие в часы передышки обычно ведут люди, давно не спавшие и очень усталые, после только что окончившейся многодневной смертельной опасности.

— Неужели всем по второму глотку не будет? — говорил рыжий полковник, отлично знавший, что по второму глотку не будет, и именно

поэтому в качестве гостя сделавший самый основательный, на треть содержимого, первый глоток.

— Можно сакэ, — сказал Лопатин. — Я в своё время на Дальнем Востоке не раз пил. Отличный напиток — рисовое вино.

— Разве ж это вино? — спросил полковник.

— Ну, водка.

— Какая ж это водка?

— А что же это тогда? — осведомился, в свою очередь, Лопатин.

— Так, говорят, брандахлыст какой-то. — Полковника передёрнуло при этих словах. — Даже неудобно как-то его за победу пить. Если бы они нас победили, в порядке наказания — ещё так-сяк!

Он нагнулся и, дотронувшись рукой до волчьего воротника лежавшей под ним японской шинели, подёргал его.

— Лезет, — ворчливо сказал он.

Чувство ненависти к врагу соединялось у полковника с чувством неприязни ко всему, что было связано с врагом: к шубам с волчьими воротниками, к ядовито-жёлтым этикеткам на бутылках с японским виски и сакэ, склад которых он ещё вчера приказал перебить в своём присутствии, к маленьким баночкам с сухим денатуратом для подогревания риса (этим спиртом у него вчера отравился один ездовой), к офицерским мечам с широкими лезвиями и длинными ручками — эти мечи, по его мнению, годились только для палачей, — к валявшимся в окопах веерам, наконец, к какому-то особому, резкому и уныло-однообразному запаху, стоявшему в японских окопах. Вспомнив об этом запахе, он сказал:

— Хорошо, что ветер, да и на гребне сидим, — выдувает. А то этот японский запах — спасу нет! И чем это от них так пахнет?

— Ничем от них не пахнет. Это креозот, дезинфекция, они им всё дезинфицируют, мне наш полковой врач объяснил, — ответил Саенко.

Полковник недовольно пожал плечами. Из физической неприязни к врагу ему хотелось, чтобы это был японский запах, а не просто креозот.

— И, надо сказать, дезинфекция у них неплохо поставлена, — сказал Лопатин.

— Дезинфекция! — усмехнулся полковник. — Вчера и сегодня сплошь и от убитых и от пленных этим сакэ да ещё какой-то спиртной дрянью воняет. Все пьяные.

— По-моему, мы их вчера от воды отрезали, у них запас кончился, и они только спиртное пили, — сказал Саенко. — Видали, вон там левой, пониже, две скважины. Это они пробовали до воды докопаться.

— Видать видал, — сказал ни с чем не желавший соглашаться полковник, — может быть, и так, но они и раньше пьяные воевали.

— Верно, — подтвердил молчавший до этого Худяков, отрываясь от котелка, из которого он ел разогретые мясные консервы. — В июле, когда они в контратаки ходили, я трёх пленных допрашивал — все были немножко выпивши.

— В общем, выдающаяся нация, — сердито сказал полковник, — всю Азию завоевать хотят, до Урала, никак не меньше, а как в атаку, так выпивши.

— Нация как нация, — возразил справедливый Саенко, — не хуже всякой другой.

— Вы меня, батальонный комиссар, не пропагандируйте. — Полковник даже покраснел. — Сам — марксист! А нация, при всём том, я вам всё-таки скажу, паршивая.

— Неверно, — снова оторвавшись от котелка, возразил Худяков, — солдаты они храбрые, а это показатель.

— Солдаты, солдаты! — повторил не желавший уступить полков-

ник. — А офицеров возьмите! Мне картина всей их жизни по одним трупам ясна!

— Какая картина?

— А такая, что в первый день на моём участке ни одного офицерского трупа не было, на второй не было, на третий — два, на четвёртый — семь, на пятый — семь, а за последние три дня, как бежать стало окончательно некуда, — девяносто! А что говорит эта картина? Что до последней возможности солдат нам подставляли, а сами уползали! Солдат в жертву, а сами — назад! А сегодня на «пятакче», когда уж некуда деться, чуть ли не каждый второй труп — офицерский! Разве это благородная нация? Паршивая нация!

— Вот это вы правы, — неожиданно для приготовившегося возражать Лопатина согласился Саенко. — Это вы в самый корень посмотрели. Исключительно паршивый правящий класс. По этим трупам, если хотите знать, как на ладони видна классовая армия. Сначала завести солдат на убой, потом без стыда и совести вымостить тут все сопки их трупами, а самим за спинами солдат сползти вместе и помереть в самую последнюю минуту, когда больше всё равно ничего не остаётся. Солдат для них — быдло, смертник. Они даже помирать, и то норовят отдельно!

— Статистика, конечно, не вполне точная, — сказал Лопатин, которому показалось, что Саенко хотя и прав, но немножко перехватил. — Во-первых, наша артиллерия классового подхода не имела и не разбирала, где офицеры и где солдаты, во-вторых, конечно, и в первые дни у них были убитые офицеры, но они их вытаскивали с поля боя и зарывали...

— А в-третьих, неправ, что ли, я? — сердито перебил его Саенко.

— Нет, вы правы, — ответил Лопатин, — но только в принципе.

— Так я, мил человек, и говорю про принцип, а не про статистику. Как, товарищ полковник?

Полковник крикнул и промолчал. Он сознавал правоту Саенко, но не хотел соглашаться, потому что у него в полку за эти дни было больше трёхсот человек только одних убитых и он не мог смирить в себе раздражение против всех вообще японцев, которые это сделали, и вместить его в рамки ненависти только к японским офицерам, генералам и правительству.

Худяков с удивлением посмотрел на чистое дно котелка. Только сейчас, перебрав в памяти час за часом события последних двух дней, он сообразил, что ничего не ел со вчерашнего утра и, кажется, всего только три или четыре раза пил из фляги воду. Вот, оказывается, почему он так проголодался, что съел целый котелок консервов. Он с сомнением погладил небритые щёки, на которых отросла такая длинная щетина, что уже почти не колола пальцев.

— Да, побриться вам надо! — сказал рыжий полковник, который сам был отлично выбрит.

— Интересно, как теперь: выведут нас из боя или Ремизовскую брать пошлют? — вместо ответа сказал Худяков и, встав, повернулся в ту сторону, где была Ремизовская сопка.

Все поднялись вслед за ним. Похожая на кратер вулкана вершина Ремизовской сопки, несмотря на шестикилометровую дистанцию, была хорошо видна отсюда, с Песчаной. По Ремизовской сопке вело огонь несколько дивизионов артиллерии, и, когда на вершине рвалось много снарядов сразу, сопка дымилась так, словно где-то внутри неё был разложен громадный костёр.

— Хорошо, если бы завернули на Ремизовскую, чтобы уж всё, от начала до конца, — приставив к глазам бинокль, молодцевато сказал рыжий полковник.

Худяков промолчал. Ему как раз хотелось, чтобы их баталовский полк (так он попрежнему называл его про себя) не завернули на Ремизовскую, а, напротив, вывели из боя, потому что Ремизовскую, по всей видимости, успешно брали и так, а в полку были очень большие потери. Но он промолчал, не желая вступать в спор, тем более ненужный, что полковник, по его мнению, думал точно так же, как он, а выражал желание, чтобы их повернули на Ремизовскую сопку, только из показного молодечества.

— Товарищ командир полка! — сказал адъютант, подходя к Худякову и называя его по должности, а не по званию, для того чтобы не обращаться к старшему по званию чужому командиру полка за решением обратиться к своему.

И Худяков и рыжий полковник обернулись одновременно.

— Здравствуйте, товарищ полковник, — козырнул адъютант и снова обратился к Худякову. — Тут Кольцов со своим взводом ещё один офицерский блиндаж обнаружил. Метров двести отсюда. Просил доложить вам. Не посмотрите?

— Что я, блиндажей не видал, что ли? — лениво сказал Худяков, которого после еды начало клонить в сон.

— Так нет, там японцы, — сказал адъютант. — Он засыпан был. Мы с вами мимо ходили. А потом они изнутри прокопали амбразуру и очередь дали.

— Ах вот чего? — сказал Худяков, вспомнив, что он тридцать минут назад отметил про себя близкую пулемётную очередь, на которую, впрочем, как и все остальные, не обратил внимания.

— Не посмотрите, как он их брать будет? — снова спросил адъютант.

— Ох мне этот Кольцов! — со смесью восхищения и раздражения сказал Саенко. — Опять с наганом в руке первым в дырку прыгать будет. И как его до сих пор ещё не убило, просто не понимаю, честное слово! Пойдём, что ли, Валерий Александрович. Надо ему запретить, а?

— Надо запретить, — сказал Худяков и пошёл, сопровождаемый Саенко, Лопатыным и рыжим полковником, которому идти было, собственно, незачем, но, раз здесь предстояла какая-то стрельба, он посчитал неудобным в эту минуту возвратиться на собственный командный пункт.

Спускаясь наискось по склону сопки, Лопатын с лёгким содроганием подумал, что ещё никогда не видел такого зрелища смерти, какое открывалось глазам с вершины Песчаной сопки.

Земля была сплошь ископана воронками; в окопах, которые шли во много рядов, один за другим, виднелись страшные следы рукопашного боя: изуродованные тела местами лежали так густо, что под ними не было видно дна окопа. А кругом валялось всё то же, что и повсюду: карабины, винтовки, противогазы, ранцы из телячьей кожи, веера, котелки, записные книжки с вывалившимися из них фотографиями, вдавленные в землю бумажки с иероглифами, солдатские шапки, вязки нанизанной, как грибы, мелкой сушёной рыбы, мешочки с галетами, рассыпанный рис.

Оставшийся раньше незамеченным блиндаж, к которому они подошли, находился в конце змеевидного, полузасыпанного землёй окопа. Из-под земли виднелась низкая дверь.

— Осторожней, товарищ майор! Левей не ходите! — крикнул Кольцов, стоявший наверху, на холме, насыпанном над блиндажом. — Там у них щель. Они оттуда и очередь дали.

Несколько красноармейцев из разведроты быстро работали лопатами, срезая выступ скопа и расчищая дорогу для броневика с сорокапятимиллиметровой пушкой. Он уже въехал в окоп и, ворча на малом газу, ожидал, когда впереди спрямят ещё один метр пространства, что

бы он мог немножко податься вперёд. Тогда дверь блиндажа окажется прямо перед пушкой.

Сбоку на бруствере сидели два бойца с пулемётом, направленным на дверь блиндажа.

— Пулемёт не берёт! — возбуждённо сказал Кольцов. — Наверное, у них с той стороны или плита, или котельное железо.

— Раскидали бы верх! — сказал Саенко.

— Долгая история, товарищ комиссар, — ответил Кольцов. — Сейчас из пушки дадим, будь здоров!

— Вот ты какой рассудительный стал, — сказал Саенко. — А мы с командиром полка боялись — ты с ножом в зубах туда полезешь.

— Бой на сегодня закончился, товарищ батальонный комиссар, — улыбаясь, сказал Кольцов, — а к вечеру помирать неохота. Я не знаю, зачем эти японцы помирать хотят.

— А ты спроси их, — сказал Саенко.

— А я уж спрашивал.

— Ещё раз предложите выйти и сдать, — строго сказал Худяков.

Кольцов лёг на покрытие блиндажа, перехватывая руками, сполз вниз так, что лицо его оказалось на уровне верхней части двери, и громко крикнул несколько слов по-японски.

— Что он им говорит? — спросил рыжий полковник у Саенко.

— Сдаваться предлагает. Он по-японски уже сотню слов знает, если не больше.

Кольцов снова прокричал несколько слов.

— А может, там и живых никого нету? — сказал Саенко.

— Они живые, — снова поднявшись и сев на покрытие блиндажа, с недоброй улыбкой сказал Кольцов. — Они живые. Вот Ермаков уже не живой, это верно. Лежит вон там, от их очереди.

И он горестно и грубо выругался, не стесняясь присутствием начальства.

— Ермаков? — переспросил Саенко. — Как же это он, а?

В голосе его прозвучало сильное огорчение — Ермаков отличился в последние дни как один из самых храбрых и, казалось, бессмертных разведчиков полка.

— Всё этой же очередью на чистом месте, — сказал Кольцов. — Не ходите, товарищ комиссар, — нервно воскликнул он, заметив движение Саенко, — а то и вас там положат!

Кольцов с минуту молча смотрел, как красноармейцы расчищают дорогу броневика, потом вдруг, ни к кому не обращаясь, тихо сказал:

— Убили Ермакова, а? Просто хоть плачь! — И улыбнулся страдальческой улыбкой.

Броневик с коротким рёвом рванулся вперёд, проехал метр, остановился и навёл пушку на дверь блиндажа. Кольцов снова на руках сполз вниз и крикнул по-японски те же слова, что уже два раза кричал раньше.

— Молчат!

Он большим прыжком перемахнул с блиндажа на бруствер окопа, пробежал по нему несколько шагов, остановился рядом с броневиком и, постучав по броне, сказал:

— Давай!

Броневик коротко ударил из пушки и дёрнулся от отдачи.

Когда рассеялся дым и опал поднявшийся столб земли и песка, за развалившейся дверью стала видна чёрная дыра блиндажа. Пулемётчики сидели наготове у пулемёта.

Кольцов быстро пробежал по брустверу и, нагибаясь и выгаскивая наган, крикнул по-русски:

— Выходи!

В блиндаже с полминуты молчали, потом там послышался шорох, короткий стон, и, переступив порог, из блиндажа в окоп, прямо навстречу броневнику, вылез японец с поднятыми руками и окровавленной головой. Держа руки поднятыми и, как замороженный, глядя в пушечное дуло, он прошёл несколько шагов на подгибающихся ногах и остановился.

— Ах гы, сволочь! — прошептал один из стоявших около броневника красноармейцев и, воткнув в землю лопату, которую он до сих пор ещё держал в руках, с искажённым лицом схватился за лежавшую на бруствере окопа винтовку.

— Что ты делаешь? — с неожиданной быстротой спрыгнув в окоп, остановил его за руку рыжий полковник. — Ты что, на пленных замахиваешься, вояка? — сказал полковник уже пренебрежительно, овладевая винтовкой, заслоняя своим плотным телом японца и легонько отпихивая от себя растерявшегося красноармейца.

— Он Ермакова убил, сволочь! — сказал красноармеец, отстраняясь, но всё ещё не сводя ненавидящих глаз с японца.

— Мало ли что сволочь. Все они сволочи, — с полной непоследовательностью сказал полковник, в то же время недоверчиво озираясь, не покусится ли ещё кто-нибудь на жизнь спасённого им японца.

Но первые секунды ожесточения уже миновали.

— Вынесите его отсюда! — крикнул красноармейцам Кольцов. — Видите, он итти-то не может, раненый.

Японец действительно не мог итти. Постояв, он мешком свалился на землю и прислонился к стене окопа, мелко подрагивая плечами и окровавленной головой. Двое красноармейцев взяли его подмышки и, приподняв и держа немножко на отлёте, чтобы не замараться в крови, осторожно стали выводить из окопа.

Кольцов спрыгнул в окоп и с наганом в руках скрылся в блиндаже. Тотчас же вслед за ним протиснулись несколько красноармейцев. Через минуту Кольцов вышел первым.

— Один. — сказал он и, словно его могли не понять, поднял палец. — Мёртвый. Офицер. А этот — денщик, наверное, — кивнул он вслед пленному. — Поглядите, товарищ майор. — И, подойдя к Худякову, Кольцов разжал кулак.

В руке у него был содранный с мундира офицерский полупогончик.

— Две полосы, три звёздочки, — сказал Худяков, разглядывая полупогончик. — Полковник.

— Скажите, пожалуйста! — неопределённо протянул Кольцов, не то удивляясь, что в блиндаже оказалась такая важная птица, не то жалея, что не удалось взять японца живым.

— Вот сволочи! Какие же сволочи! — повторял тем временем рыжий полковник, словно оправдываясь перед окружающими за то, что он только что спас пленного. — Ну, я пойду к себе, — наконец сказал он, протягивая руку Худякову, — а то как бы мои тоже какой-нибудь блиндаж не пропустили.

Он вылез из окопа и пошёл по склону сопки, несгибаемый, плотный, внушительный, полная противоположность Худякову с его собравшейся горбом на спине грязной шинелью и налезавшей на лоб слишком большой каской, без которой Лопатин его, кажется, вообще не видел. Худяков ещё в начале боёв потерял фуражку и всё время ходил в этой каске, не снимая её.

— Товарищ командир полка, — сказал адъютант, подходя к задумавшемуся Худякову.

— Да, — не выходя из задумчивости, отозвался Худяков.

— Фуражка, — сказал адъютант. — Я вам заказывал. Привезли из военторга.

Худяков посмотрел на фуражку, расстегнул брезентовый ремешок каски, снял её, бросил у ног, всё ещё не беря из рук адъютанта фуражку, устало потёр затёкшую от тяжёлой каски шею и таким же усталым движением поерошил взад и вперёд свалывшиеся волосы.

Адъютант продолжал держать фуражку в руках и, глядя на Худякова, испытывал прилив благодарной нежности к этому худощавому, невысокому, немолодому, совсем не бравому на вид человеку, который не обманул его юношеских ожиданий и в первые же сутки после смерти Баталова, при штурме Песчаной сопки, показал такую спокойную молчаливую храбрость и распорядительность, что страдающее ревнивое сердце адъютанта почувствовало: Баталова не было, но командир полка в полку попрежнему был.

Худяков взял наконец фуражку, пэщёлкал пальцем по доньшку и надел на голову, чуть-чуть заломив набок, отчего его невидная фигура в горбатой шинели приобрела неожиданную складность.

— Снимите, товарищ майор, шинель, я вам почищу, а то вы весь в глине, — сказал адъютант.

Худяков полуобернулся и внимательно, снизу вверх посмотрев на него, понял в эту секунду, что адъютант, храня скорбь по Баталову, в то же время принял в своё молодое сердце его, Худякова.

— Командира полка на провод! — подбегая, крикнул запыхавшийся связной.

Худяков вылез из окопа и, немножко горбясь, быстро пошёл вслед за ним.

— Может, всё-таки повернут на Ремизовскую? — глядя вслед Худякову, тихо сказал Саенко Лопатину.

Они оба прислушались. Сквозь сплошной гул ветра и шорох бешено летевшего по склонам песка со стороны Ремизовской сопки доносился тяжёлый, сотрясавший землю грохот артиллерии.

— Товарищ комиссар, — сказал стоявший поодаль Кольцов, — какое-то начальство едет.

Саенко обернулся и увидел чёрную «эмочку», которая, держа направление на них, упорно взбиралась по крутому склону сопки. Наконец шагах в пятидесяти она забастовала, и из неё вылезли Климович и Сарычев. Саенко пошёл им навстречу.

У Сарычева, несмотря на загар, лицо было синеватое от потери крови, гимнастёрка была расстёгнута, а шея туго, под самый подбородок, обмотана бинтами так, что Сарычев не мог ни поворачивать, ни нагибать голову, отчего его лицо приняло совершенно несвойственное ему надменное выражение.

— Ну что, временно отвоевались? — сказал он, подходя к Саенко и протягивая ему руку.

— Как начальство! — ответил Саенко. — Ему видней!

— Видно так, — сказал Сарычев. — Вот, приехал к вам собирать своих танкистов. — Он кивнул на Климовича. — Первый признак того, что будете стоять во втором эшелоне.

— Вы куда, на Ремизовскую? — спросил Саенко.

— Нет, там седьмая закругляется, а нас выводят на левый фланг, к границе.

— Как бы чего не вышло?

— Видно, так.

— А мне вчера капитан сказал, что вы в госпитале, — сказал Саен-

ко, ещё раз внимательно посмотрев на синеватое лицо Сарычева и про себя подумав, что госпиталь для него сейчас — самое подходящее место.

— Был и в госпитале, — сказал Сарычев, — да и, по правде говоря, остался бы там, если б не выходить на границу. Однако вы не думайте, что я себя там недисциплинированно вёл, — усмехнулся Сарычев в усы. — Я из госпиталя самому командующему звонил, просил разрешения выписаться.

— Ну и как?

— Ничего, он же у нас человек прямоугольный. Говорит в трубку: «Не восбращаешь, что без тебя не обойдутся?» — «Нет, не воображаю». — «Ну, тогда поезжай».

— Может, присядете, товарищ комбриг? — сказал Саенко. Его должно тревожить нездоровый вид Сарычева.

— Не стоит, сейчас поеду. У меня к вам всего два пункта. Во-первых, как у вас тут Климович работал? Не подводил?

— В донесениях указывали, — сказал Саенко.

— По донесениям я знаю. А по душам?

Скупой на похвалы Саенко посмотрел на Климовича, которого он уважал, помолчал, подумал и сказал то, чего многие люди не могли от него дожидаться годами:

— Неплохо. Помогал. — И повторил ещё раз: — Неплохо.

— Это первый пункт, — сказал Сарычев, молчаливо оценив всё то значение, какое имело слово «неплохо» в устах Саенко. — Второй пункт насчёт Баталова. Где его будете хоронить?

— Ещё не знаем точно. Должно быть, возле медсанбата. Завтра поеду туда, на похороны, сам. С делегацией от полка.

— Неверно! — сказал Сарычев. — Надо его похоронить на Баин-Цагане. Рядом с моими танкистами. Там и боевое крещение вместе получали и место видное — на горе, не затопчется. А мы, как кончатся бои, там пьедестал из японского железного лома сложим и на него поставим какой-нибудь один выбывший из строя танк. Пушкой в сторону Токио. Правильно? А, Климович?

— Жалко Баталова, — вместо ответа сказал Климович.

— Так как насчёт похорон? — снова спросил Сарычев. — Я тогда завтра на Баин-Цаган делегацию танкистов пришлю.

— Хорошо, — сказал Саенко, — я сегодня согласую с политотделом дивизии.

— А что согласовывать? — недовольно сказал Сарычев. — Когда умираем, ни с кем не согласовываем. — Он помолчал, огорчённый своими мыслями, и положил руку на плечо Саенко. — Начинали мы здесь свою боевую жизнь вместе с Баталовым, а продолжаем уже без него... Как думаешь, комиссар, надолго эта история?

— Здесь или вообще? — спросил Саенко.

— Вообще.

— После того, как прочитал вчера договор, не знаю, что и думать, — сказал Саенко.

— А я думаю, что надолго, — убеждённо сказал Сарычев и снял руку с плеча Саенко. — Это, что здесь происходит, — всё так, запевка только... Ну, как Худяков с полком справляется? — уже другим, деловым тоном спросил он.

— Ничего, неплохо, — подумав, сказал Саенко о Худякове то же самое, что за несколько минут до этого сказал о Климовиче.

— Привет ему передайте! — сказал Сарычев. — Пойдёмте, — обратился он к Климовичу.

Саенко проводил их до машины, попрощался с Сарычевым и без слов, благодарно и крепко стиснул руку Климовича.

Машина долго пятилась задним ходом, потом развернулась и понеслась вниз по склону. Провожая её глазами, Саенко вспомнил слова Сарычева: «Это всё так, записка только» — и подумал о том, что, когда он у себя на Полтавщине, в Потоках, ещё вступал в сельскую комсомольскую ячейку, командир эскадрона Сарычев уже ходил с Первой Конной на Львов, а красноармеец Баталов воевал под Кзыл-Тепе против бухарского хана.

Охваченный воспоминаниями о прошлом и предчувствием будущего, Саенко стоял и придумывал надпись на деревянной пирамидке, которая сегодня с утра была уже заказана в хозчасти полка и которую он завтра отвезёт на могилу Баталова: «Вечная память верному солдату революции полковнику Михаилу Никитичу Баталову, погибшему за свободу Монгольской Народной Республики в боях с японскими захватчиками 26 августа 1939 года».

(Окончание следует)



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

НА ТЕПЛОХОДЕ

Будила тишину волна,
Но всех уже брала дремота,
И только девушка одна
Сидела и вязала что-то.

И хоть с соседкой не знаком,
Но лейтенант, сидевший справа
(Знать, был немножко под хмельком),
К ней головой приник кудрявой.

Он сладко спал под шум морской,
К её плечу припав щекой.

Глаза потупила она
И всё низала петли кружев;
Как будто юная жена
Сидела рядом с сонным мужем.

Когда же голову его
Она рукою отстранила,
Я пожалел, что это было
Дорожным случаем всего.

СВИДАНИЕ

Город спит. Пустынно на бульваре.
Только листья шелестят слегка.
С девушкой ещё застенчив парень.
Как близка она и далека!
И не потому ль пред расставаньем
Сердца стук под пиджаком слышней.
Чувствуя дыхание дыханьем,
Он придвинулся теснее к ней,
Милою назвал и дорогою...
И впервые тёплое плечо
Чувствует сквозь кофточку рукою
Твёрдую, но робкою ещё.

Может, здесь вот и возьмёт начало
То, что счастьем называют все.
Никогда так сердце не стучало...
Небо в звёздах всё, кусты в росе.
Сильно накренилось мирозданье.
Скоро обозначится рассвет.
Радостны, светлы часы свиданья,
Только в мире их короче нет.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК

★

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

СЧАСТЛИВАЯ ДРУЖБА

Беззаботны и свободны,
Мы собрались у огня.
Дружба полночью холодной
Вас пригрела и меня.

С каждым часом веселее
И дружнее тесный круг.
А когда мы захмелеем,
Нам опорой будет друг.

День и ночь трясётся скряга
Над заветным сундуком
И не знает он, бедняга,
Что с весельем незнаком.

В шёлк и мех одет вельможа,
Но куда он нас бедней!
Даже совесть он не может,
Не солгав, назвать своей.

Нет у нас шелков и меха,
Нет и золота в ларце.
Но зато такого смеха
Не слышали во дворце!

Кубок огненный друг другу
Мы всю ночь передаём
И, пустив его по кругу,
Песню дружную поём.

В крепкой дружбе — наша сила.
Дружбе — слава и хвала.
Дружба кубок освятила
И сюда нас привела!

К ПОРТРЕТУ ФЕРГЮССОНА, ШОТЛАНДСКОГО ПОЭТА

Проклятьё тем, кто, наслаждаясь песней,
Дал с голоду поэту умереть.
О старший брат мой по судьбе суровой,
Намного старший по служенью музам,
Я горько плачу, вспомнив твой удел.

Зачем певец, лишённый в жизни места,
Так чувствует всю прелесть этой жизни?

ПОСЛАНИЕ

Сударыня,

Как этот год от нас далёк,
Когда, безусый паренёк,
Я молотить ходил на ток,
Пахал впервые поле
И, хоть порой бывал без ног,
Но рад был этой школе.

В одном со взрослыми строю,
Товарищ их по плугу,
Я знал и полосу свою
И юную подругу.

И шуткой,
Прибауткой
Под мерный звон косы
Я скрадывал минутки
И коротал часы.

Одной мечтой с тех пор я жил:
Служить стране по мере сил
(Пускай они и слабы!),
Народу пользу принести —
Ну, что-нибудь изобрести
Иль песню спеть хотя бы!

Я при уборке ячменя
Щадил татарник в поле.
Он был эмблемой для меня
Шотландской древней воли.

Пусть родом,
Доходом
Гордится знатный лорд, —
Шотландской
Крестьянской
Породой был я горд.

Я был юнцом, но и тогда
Обрывки строк в часы труда
Твердил я непрестанно,

Пока подруга юных дней
Не придала строфе моей
И склад и лад неожиданный.

Не позабыл я до сих пор
Моей подруги юной,
Чей звонкий смех и быстрый взор
Тревожил в сердце струны.

Краснея,
Не смея
Поднять влюблённый взгляд,
Срезал я,
Вязал я
Колосьев спелых ряд.

Да здравствует прекрасный пол!
Когда мороз ревнивый зол,
Обняв подругу в танце,
Мы забываем боль невзгод,
Нам сердце жаром обдаёт
Огонь её румянца.

Любви не знавший дуралей
Достоин сожаленья.
Во взоре матери своей
Увидит он презренье.

Укором,
Позором
Того мы заклеим,
Кто не любил
В расцвете сил
И не бывал любим!

Пусть вы, сударыня, росли
Под кровом дедовским — вдали
От наших изб крестьянских,
Вам незнаком амбар и хлев,
Зато вам по сердцу напев
Старинных лир шотландских.

Спасибо вам за ваш привет.
Горжусь таким союзом.
Благодарю за пёстрый плед.
Я в нём приятней музам.

Простой наряд страны моей,
Он для меня дороже
Всех горностаев королей
И бархата вельможи.

Прощайте!
Не знайте
Ни горя, ни потерь.
Пусть ссоры,
Раздоры
Минуют вашу дверь!

ТЭМ ГЛЕН

Ах, тётя, совета прошу я!
Пропала, попала я в плен.
Обидеть родню не хочу я,
Но всех мне милее Тэм Глен.

С таким молодцом мне не надо
Бояться судьбы перемен.
Я буду и бедности рада, —
Лишь был бы со мною Тэм Глен.

Наш лорд мне кивает: «Глутовка!..»
Ну что тебе, старый ты хрен?
Небось, ты не спляшешь так ловко,
Как пляшет под скрипки Тэм Глен.

Мне мать говорила сердито:
— Мужских опасайся измен.
Повесе скорей откажи ты! —
Но разве изменит Тэм Глен?

Сулит за отказ мне сто марок
Отец, да не знает он цен!
Сто марок — богатый подарок,
Но много дороже Тэм Глен!

Я в день Валентина гадала.
О как же мой жребий блажен!
Три раза я жребий кидала,
И вышло три раза: Тэм Глен.

Под праздник осенний я тоже
Гадала. И вижу: вдоль стен
Идёт — до чего же похожий! —
В штанах своих серых Тэм Глен.

Кто ж, тётя, возьмёт меня замуж?
Ты мне погадай, а взамен
Я чёрную курицу дам уж, —
Но только скажи, что Тэм Глен!

ДЕВУШКА С ПРИДАНЫМ

Дружок мой пленён моим взором и станом.
Ему полюбились мой дом и родня.
Но, кажется, больше прельщён он приданым
И любит червонцы нежней, чем меня.

За яблочко яблоню любит мой милый,
Пчелу свою любит за будущий мёд.
И так серебро его душу пленило,
Что в сердце местечка он мне не найдёт.

Ему дорогá не жена, а приплата.
 Любовь для него — не любовь, а базар.
 Хитёр он, и я уж не так простовата.
 Пускай он попроще присмотрит товар!

Побегов не жди от прогнившего корня,
 Зелёных ветвей — от сухого ствола.
 Такая любовь ускользает проворней,
 Чем тонкая, скользкая нить без узла!

НЭНСИ

— Муженёк, не спорь со мной,
 Не сердись напрасно.
 Стала я твоей женой,
 Не рабой безгласной!

— Признаю права твои,
 Нэнси, Нэнси,
 Ну а кто ж глава семьи,
 Дорогая Нэнси?

— Если ты мой властелин,
 Я начну восстанье.
 Будешь властвовать один.
 С тем и до свиданья!

— Жаль расстаться мне с тобой,
 Нэнси, Нэнси,
 Но смирюсь я пред судьбой,
 Дорогая Нэнси!

— Погоди, дождёшься дня —
 Лягу я в могилу.
 Но, оставшись без меня,
 Что ты скажешь, милый?

— Небо в помощь призову,
 Нэнси, Нэнси,
 И авось переживу,
 Дорогая Нэнси!

— Но и мёртвая не дам
 Я тебе покоя.
 Страшный призрак по ночам
 Будет пред тобою!

— Я жену себе найду
 Вроде Нэнси, Нэнси —
 И все призраки в аду
 Затрепещут, Нэнси!

ЗА ПОЛЕМ РЖИ

За полем ржи кустарник рос.
И почки нераскрытых роз
Клонились, влажные от слёз,
Росистым ранним утром.

Но дважды утренняя мгла
Сошла, и роза расцвела.
И так роса была светла
На ней душистым утром.

И коноплянка на заре
Сидела в лиственном шатре
И вся была, как в серебре,
В росе холодной утром.

Придёт счастливая пора,
И защебечет детвора
В тени зелёного шатра
Горячим летним утром.

Мой друг, и твой придёт черёд
Платить за множество забот
Тем, кто покой твой бережёт
Весенним ранним утром.

Ты, нераскрывшийся цветок,
Расправишь каждый лепесток
И тех, чей вечер недалёк,
Согреешь летним утром!

СОН

(Отрывок)

*За речи, мысли и дела карает нас закон,
Но не карает никого за вольнодумный сон.*

Прочитав в газетах оду поэта — королевского лауреата и описание торжественного приёма во дворце по случаю дня рождения короля 4 июня 1786 года, автор заснул и увидел во сне, будто он присутствует на этом приёме и читает следующее приветствие.

Прошу, примите, государь,
Привет ко дню рожденья,
Как принимали вы и встарь
Поэтов поздравленья.
В кругу вельмож поэт-плугарь —
Престранное явленье.
Но, заглянув в свой календарь,
Спешу к вам в этот день я,
В столь славный день.

Сияют яркие огни.
Теснится знать в приёмной.
И «Боже, короля храни!»
Твердят кукушки томно.

Стихами славят ваши дни
Поэтов хор наёмный,
Припомнив доблести одни,
Не видя тени тёмной
 В столь светлый день.

Но льстивых од я не припас,
Обычных в этом зале.
К тому ж я не в долгу у вас —
Мне пенсий не давали.
Сказать могу я без прикрас
И ошибусь едва ли,
Что были хуже вас у нас
И лучшие бывали
 В минувший день.

Пускай не звучно, не красно
Моё простое слово,
Но с правдой спорить мудрено.
Она всегда сурова.
Гнездо у вас разорено.
Его мы чиним снова,
А что в гнезде сохранено,
Есть только треть бывшего
 На этот день.

Законодателя страны
Я не хочу бесславить,
Сказав, что вы не так умны,
Чтоб наш народ возглавить.
Но вы изволили чины
И званья предоставить
Шутам, что хлев мести должны,
А не строною править
 В столь трудный день.

Вы дали мир нам наконец.
Мы чиним руки, ноги.
Зато стригут нас, как овец,
Жестокие налоги.
Меня пахать учил отец,
Но я живу в тревоге,
Что я найду такой конец,
Как мой баран безрогий
 В печальный день.

Подозревать я не могу
Ни в чём Вильяма Пигта.
С баранов шерсть я сам стригу,
Он нас стрижёт сердито.
Я знаю, вы кругом в долгу,
Расходы непокрыты.
Но чёрт возьми! — Пусть сберегут
Хоть флот ваш знаменитый
 В столь грозный день.

Итак, прощайте! Долгих лет!
 Пускай под вашей сенью
 Мы видим вольности расцвет,
 Конец растрат, хищенья.
 Хотя на празднества поэт
 Пришёл без приглашенья,
 Он королеве шлёт привет,
 А также поздравленья
 В столь славный день!..

ПРОЩАНИЕ

Поцелуй — и до могилы
 Мы простимся, друг мой милый.
 Ропот сердца отовсюду
 Посылать к тебе я буду.

В ком надежды искра тлеет,
 На судьбу роптать не смеет.
 Но ни зги передо мною.
 Окружён я тьмой ночьюю.

Не клянусь своей я страсти.
 Кто твоей не сдастся власти?
 Кто видал тебя, тот любит.
 Кто полюбит, не разлюбит.

Не любить бы нам так нежно,
 Безрассудно, безнадежно,
 Не сходитьсь, не прощаться, —
 Нам бы с горем не встречаться!

Будь же ты благословенна,
 Друг мой первый, друг бесценный.
 Да сияет над тобою
 Солнце счастья и покоя.

Поцелуй — и до могилы
 Мы простимся, друг мой милый.
 Ропот сердца отовсюду
 Посылать к тебе я буду.

СОВА

О птица ночи! Жалобу свою
 Ты изливаешь в полночь скорбным стоном —
 Не оттого ль, что в северном краю
 Родится холод — смерть росткам зелёным?

Не оттого ль, что, облетев, листва
 Тебя лишит укромного навеса?
 Иль зимних бурь страшишься ты, сова,
 Ночной тоски безжизненного леса?

Твой стон летит в неслышащую тьму.
 Всегда одна, зловеща и угрюма,
 Ты не вверяешь в мире никому
 Своих тревог, своей бессонной думы.

Пой, плакальщица ночи! Для меня
 Твой грустный голос — тайная утеха.
 В полночной тьме без звука и огня
 Твои стенанья продолжает эхо.

Неужто лик земли не так красив,
 Когда природа плачет в час ненастья?
 Бедней ли сердце, горе пережив,
 И от участия меньше ль наше счастье?

Нет, одинокий стон из тишины
 Мне по сердцу, хоть он рождён тоскою.
 Он непохож на голоса весны,
 На летний щебет счастья и покоя.

Пусть днём не слышно песен из гнезда
 И самый день заметно стал короче,
 Умолкла трель вечерняя дрозда, —
 Ты в сумраке не спишь, певичка ночи.

С высокой башни где-нибудь в глуши,
 Где ты ютишься в тайном закоулке,
 Где лес и стены древние в тиши
 На каждый звук рождают отклик гулкий, --

Твой хриплый голос для меня звучит,
 Как трели соловья чете влюблённой.
 Так ловит тот, кто всеми позабыт,
 Унылый отзвук песни отдалённой...

ЖАЛОБА ДЕВУШКИ

Я часто плачу по ночам
 И каялась не раз,
 Что верила твоим речам
 И взорам лживых глаз.

Где нежный цвет девичьих щёк?
 А был он так румян!
 Где прежний тесный поясок,
 Что стягивал мой стан?

Я часто слышу злобный смех
 Соседок за собой,
 Хоть не один сокрытый грех
 Найдётся у любой.

Отец мой, вспомнив обо мне,
 Ниц опускает взор.
 И плачет матушка во сне,
 Припомнив мой позор.

Услышав тяжкий шаг отца,
Я прятаться бегу,
И материнского лица
Я видеть не могу.

Был сладок цвет любви моей,
Но горький плод принёс.
И каждый взгляд твоих очей
Мне стоил многих слёз.

Пускай же радостного дня
Не будет у того,
Кто бросил в рубище меня
И сына своего!

ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР

Из всех ветров, какие есть,
Мне западный милей.
Он о тебе приносит весть,
О девушке моей.

Люблю твои поля, ручьи,
Леса твоих долин.
Но мне милей лесов, полей
Ты, ласковая Джин.

Тебя напоминает мне
В лесу цветок любой.
И лес в вечерней тишине
Заворожён тобой.

Бубенчик ландыша в росе,
Да и не он один,
А все цветы и птицы все
Поют о милой Джин.

На Клайд-реке богат, хорош
У девушек наряд,
Но лучше Джинни ты найдёшь
Красавицу навряд.

Девиц мы знаем городских,
Одетых в шёлк, муслин.
Но всех прекрасней щеголих
В холщёвом платье Джин.

Она милей и веселей
Ягнёнка на лугу.
И никаких грехов за ней
Признать я не могу.

Её глаза яснее дня.
А грех её один:
С такою щедростью меня
Дарит любовью Джин!

О ветер западный, повеи,
Зашелести листвои.
Пусть нагружённая с полей
Летит пчела домой.

Мою любовь ко мне верни
С холмов твоих, равнин.
Улыбкой пасмурные дни
Мне озаряет Джин.

Какие клятвы без числа
Соединили нас,
Как нам разлука тяжела
Была в рассветный час!

Кто знает души всех людей
До самых их глубин, —
Тот видит, что всего милей
Мне в этом мире Джин!



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. СТРУЧКОВ

★

ПЕРВЫЙ ТОМ ТРУДОВ МАО ЦЗЕ-ДУНА

Трудящиеся Китая под руководством своей Коммунистической партии, установив власть народной демократии и создав свободное, независимое государство, вступили на широкий путь глубоких демократических преобразований, на путь мира и прогресса.

Этот путь великого китайского народа к новой эре своей истории лежал через буржуазно-демократическую революцию (1924—1927), длительную и тяжёлую гражданскую войну (1928—1937), восьмилетнюю войну с японскими империалистами (1937—1945) и ожесточённую борьбу с презренным наёмником американского империализма — предателем Чан Кай-ши.

После Великой Октябрьской социалистической революции в СССР и победы Советского Союза над силами фашизма во второй мировой войне победа китайской революции является самым важным событием, ярко свидетельствующим о великой жизнеутверждающей силе марксизма-ленинизма. Китайская революция нанесла мощный удар по международному империализму, в первую очередь по американскому, ещё больше укрепила лагерь мира, демократии и социализма. Китайская революция способствовала могучему росту национально-освободительного движения народов колониальных и зависимых стран Востока.

Победа антифеодальной и антиимпериалистической революции в Китае, строительство новой жизни в Китайской Народной Республике неразрывно связаны с именем выдающегося вождя китайского народа и Коммунистической партии Китая товарища Мао Цзе-дуна.

Верный марксист-ленинец, творчески применяющий марксизм-ленинизм в сложных условиях Китая, Мао Цзе-дун привёл китайский народ к победе над сильными и многочисленными врагами и к установлению строя народной демократии.

Вооружённая учением Ленина — Сталина и своего вождя Мао Цзе-дуна, героическая компартия Китая накопила богатейший опыт антифеодальной и национально-освободительной борьбы.

Этот опыт, в свете марксистско-ленинского учения, обобщён в трудах товарища Мао Цзе-дуна. Его избранные произведения начали выходить в Пекине, подготовленные к печати Комиссией ЦК компартии Китая. В настоящее время первый том сочинений Мао Цзе-дуна вышел и на русском языке. В него вошли работы, относящиеся к 1926—1937 годам.

Появление трудов Мао Цзе-дуна имеет огромное значение не только для Коммунистической партии Китая, но для всего международного коммунистического движения, опирающегося на великий опыт партии Ленина — Сталина.

«История ВКП(б), — пишет Мао Цзе-дун, — есть высший синтез, высшее обобщение коммунистического движения во всём мире за последние сто лет, единственный во всём мире полноценный образец единства теории и практики. На примере того, как Ленин и Сталин связали общие теоретические истины марксизма с конкретной практикой Октябрьской революции и на этой основе развили марксизм, мы можем научиться тому, как нам следует работать у себя в Китае».

В 1924—1927 годах в Китае происходила буржуазно-демократическая революция. Она должна была освободить страну от чужеземного господства и уничтожить полуфеодальный социально-экономический строй. Компартия Китая, которая в эти годы формировалась, закалялась организационно и идейно, стремилась обеспечить пролетариату руководящую роль в революции, чтобы успешно разрешить стоявшие перед ней задачи и создать условия для некапиталистического развития Китая.

Мао Цзе-дун правильно оценил характер развернувшейся революции, её движущие силы и перспективы её развития.

Решительно отменяя контрреволюционные «теории» китайских троцкистов, переоценивавших уровень промышленного развития Китая и степень проникновения капитализма в деревню, Мао Цзе-дун постоянно подчёркивал, что Китай — страна полуфеодальная и полуколониальная, где «бок о бок с небольшим числом современных промышленных и торговых центров существует огромное количество застывших в своём развитии деревень...».

Полуфеодальный строй страны, при господстве в ней империалистических колонизаторов, предопределял и характер китайской революции. «Китаю насущно необходима буржуазно-демократическая революция, и осуществить её возможно только под руководством пролетариата», — писал Мао Цзе-дун в 1928 году.

Задачей демократической революции в Китае вожьд китайского народа считал «свержение господства империализма и его орудия — милитаризма, завершение национальной революции и проведение аграрной революции, которая ликвидирует феодальную эксплуатацию крестьянства со стороны тухао и лэшэнь¹».

Основной движущей силой буржуазно-демократической революции Мао Цзе-дун считает пролетариат и крестьянство. «И хотя численность промышленного пролетариата невелика, именно он олицетворяет новые производительные силы и является самым прогрессивным классом современного Китая, ставшим руководящей силой революционного движения».

Китайский пролетариат, говорит Мао Цзе-дун, имеет много отличительных положительных черт, позволяющих ему стать руководящей силой революции. Пролетариат находился под жесточайшим политическим и экономическим гнѐтом международного империализма, буржуазии и феодальной реакции. Революционность рабочего класса находит своё объяснение и в том, что почти с момента своего возникновения рабочее движение в Китае направлялось героической компартией.

Огромной заслугой Мао Цзе-дуна является то, что он, правильно оценив роль крестьянства в китайской революции, отстоял в длительной борьбе с махровым оппортунизмом Чэнь Ду-сю, с левыми загибщиками и троцкистами чистоту марксистско-ленинского учения и в аграрно-крестьянском вопросе. Бедноту, составлявшую до 70 процентов всего сельского населения Китая, Мао Цзе-дун относит к полупролетариату и считает её самым революционным элементом деревни. «Промышленный пролетариат — руководящая сила нашей революции. Весь полупролетариат и мелкая буржуазия являются нашими ближайшими друзьями».

Уже в первых своих работах Мао Цзе-дун неопровержимо доказал, что буржуазно-демократическая революция в Китае — это революция крестьянская. Возглавить её, учил он, является основной задачей китайского пролетариата и его партии.

Сын крестьянина провинции Хунань, Мао Цзе-дун превосходно знал жизнь китайской деревни, интересы и чаяния трудового крестьянства и прозорливо предвидел на-растание мощного крестьянского движения. «Пройдет очень немного времени, — писал он, — и во всех провинциях Центрального, Южного и Северного Китая поднимутся сотни миллионов крестьян; они будут стремительны и неодолимы, как ураган, и никакой силе их не сдержать. Они разорвут все связывающие их путы и устремятся к освобождению».

Правильно предвосхитил Мао Цзе-дун и поведение господствующих классов в буржуазно-демократической революции. Называя помещиков и крупную компрадор-

¹ Тухао — деревенские кулаки и ростовщики, связанные с помещиками; лэшэнь — «учёное сословие», в большинстве чиновники или офицеры в отставке.

скую (торгово-посредническую) буржуазию вассалами международной буржуазии, он указывал: «Эти классы олицетворяют наиболее отсталые и наиболее реакционные производственные отношения и препятствуют развитию производительных сил Китая».

Средняя (национальная) буржуазия, олицетворявшая капиталистические производственные отношения, занимала, по определению Мао Цзе-дуна, противоречивую позицию. Это было вызвано тем, что в руках империалистов оказались основные отрасли промышленности, торговля, транспорт. Под гнётом чужеземных захватчиков находились не только трудящиеся массы. Притеснения испытывали и некоторые слои национальной буржуазии. Они могли в известных условиях и на известный срок поддержать китайскую революцию.

«В период первого этапа революции, — писал И. В. Сталин, — когда революция была революцией общенационального объединённого фронта (кантонский период), союзниками пролетариата были крестьянство, городская беднота, мелкобуржуазная интеллигенция, национальная буржуазия»¹.

12 апреля 1927 года Чан Кай-ши, возглавлявший реакционные элементы гоминдана, в страхе перед ростом рабочего движения и в угоду иностранным империалистам, совершил контрреволюционный переворот. Национальная буржуазия предала революцию. С этого времени, отмечает И. В. Сталин, китайская революция вступила в высшую фазу своего развития, «в фазу аграрной революции, подобрав к себе поближе широкие массы крестьянства»².

Коммунистическая партия Китая высоко оценила правильное, марксистско-ленинское понимание Мао Цзе-дуном аграрно-крестьянского вопроса в буржуазно-демократической революции. В документе компартии Китая, относящемся к апрелю 1945 года, говорится, что товарищ Мао Цзе-дун ещё в период революции 1924—1927 годов не только указывал, что задача революции — это борьба против империализма и против феодализма, но и особенно подчёркивал, что аграрная борьба крестьян — основное содержание антиимпериалистической и антифеодальной борьбы в Китае, что буржуазно-демократическая революция в Китае фактически — крестьянская революция.

Мао Цзе-дун совместно с Чжу Дэ создавали, воспитывали и закаляли в боях с многочисленными врагами китайского народа героическую китайскую Красную армию, позднее — Народно-освободительную армию.

Осенью 1927 года произошло событие огромной важности — знаменитое «Восстание осеннего урожая», организованное Мао Цзе-дуном. В «Биографическом очерке» Мао Цзе-дун указывает, что в августе 1927 года партия направила его в гор. Чанша (столица провинции Хунань) для организации крестьянского движения. Рискую ежeminутно быть опознанным (в Хунани тысячи людей знали его по прежней работе), мужественный вождь китайской компартии развернул огромную и разностороннюю деятельность. Революционным, пламенным словом и личным боевым примером Мао Цзе-дун поднимал и вёл за собой миллионы крестьян. Он лично производил раздел помещичьих земель и уничтожал на полях межи — символ векового крестьянского рабства. Его имя уже было известно всему Китаю, и поэтому к нему в Хунань стекались кули, рабочие Кантона, Ханькоу, батраки, студенты, учителя из ряда южных провинций.

Однажды, разъезжая по провинции, Мао Цзе-дун был схвачен минтуанями (местной полицией). Только благодаря своей храбрости и находчивости он спасся от неминуемой смерти.

Руководимое Мао Цзе-дуном крестьянское восстание охватило всю Хунань, где была восстановлена созданная в годы революции власть крестьянских союзов, а помещичья земля передана крестьянам.

Великое значение этого восстания состоит ещё в том, что в ходе его, как это описывает Мао Цзе-дун в статье «Борьба в Цзинганшане», осенью 1927 года были созданы первые вооружённые отряды революции, из которых впоследствии выросла Красная армия. В «Биографическом очерке» Мао Цзе-дун писал, что в мае 1928 года в Цзин-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 9, стр. 340.

² Там же, стр. 341.

ганшань пришёл со своим отрядом Чжу Дэ и наши войска объединились. Здесь был заложен фундамент героической китайской Красной армии и сформирован знаменитый 4-й корпус. ЦК компартии Китая назначил Чжу Дэ командиром 4-го корпуса, а Мао Цзе-дуна — политическим комиссаром.

Ещё юношей, находясь в Хунанской учительской семинарии, Мао Цзе-дун говорил своему однокласснику Эми Сяо: «Нужно, чтобы наша страна стала богатая и чтобы у неё была сильная армия. Только тогда с нами не повторится то, что случилось с Индо-Китаем, Кореей, Формозой».

Позднее Мао Цзе-дун уделил огромное внимание строительству вооружённых сил революционного китайского народа. Нужно добиваться такого положения, говорил он, когда решающее большинство рядового состава армии состоит из батраков, кули, бедняков и середняков. Кадры командного состава, особенно низшего и среднего, необходимо создавать из красноармейцев, выделяющихся своей революционной сознательностью, и прежде всего из рабочих. Возникшие тогда в деревнях «отряды восстания» он рекомендовал переводить на рельсы регулярной воинской организации, расширяя их борьбу за пределы защиты узко-местнических интересов. Регулярную армию Мао Цзе-дун мыслил как армию восставшего крестьянства, руководимого пролетариатом.

Поскольку в рядах компартии Китая имелись люди, недооценивавшие массовое движение рабочих и крестьян и ставившие ставку только на армию, Мао Цзе-дун разъяснял, что без широкого массового движения военный фактор не является решающей силой. Всякие попытки отдельных частей Красной армии «делать революцию» за крестьян, всякие попытки поставить себя вне зависимости от революционных органов власти неизбежно повлекут за собой вырождение этих частей или в бандитские, защищающие интересы кулачества, или в обычные феодально-милитаристские войска.

Жизнь блестяще подтвердила глубину указаний Мао Цзе-дуна. Созданная на основе этих указаний Народно-освободительная армия разгромила банды Чан Кай-ши.

Ещё в период Северного похода кантонцев (1926—1927) И. В. Сталин писал, что перед коммунистами Китая стоит задача огромной важности — завоевание армии. «В Китае вооружённая революция борется против вооружённой контрреволюции. В этом одна из особенностей и одно из преимуществ китайской революции. В этом же кроется особое значение революционной армии в Китае»¹.

В ноябре 1927 года в Цзинганшане возникла красная власть. Мао Цзе-дун, являясь в это время председателем фронтового партийного комитета, был одновременно организатором и вдохновителем красной власти, органы которой носили название «правительство рабочих, крестьян и солдат».

О программе компартии и нового правительства на том этапе демократической революции Мао Цзе-дун писал: «Программа последовательной демократической революции в Китае предусматривает: в области внешнеполитической — свержение господства империалистов и полное национальное освобождение; в области внутривластной — ликвидацию компрадорской буржуазии в городе, завершение аграрной революции, уничтожение феодальных отношений в деревне и свержение правительства милитаристов. Только через такую демократическую революцию можно создать подлинную основу для перехода к социализму».

Красная власть, укрепившись в отдельных уездах провинций Цзянси и Хунань и опираясь на широкую поддержку и сочувствие местного населения, осуществила здесь демократические преобразования. Была уничтожена полуфеодалная зависимость крестьян от помещиков и других эксплуататоров, земля передана крестьянам, созданы местные органы власти. Для защиты революционных завоеваний в городах были созданы отряды Красной гвардии, а в деревнях — вооружённые отряды крестьянской самообороны.

Авантюристические элементы внутри компартии требовали от Мао Цзе-дуна политики немедленных наступательных действий, организации преждевременных восстаний и захвата больших городов. Но силы революционного правительства были ещё

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 8, стр. 363.

слабы, и Мао Цзе-дун, поддерживаемый большинством компартии Китая, отверг эту пагубную политику. Тем самым были сохранены красные районы Цзинганшаня, сыгравшие в истории китайской революции исключительно важную роль.

В созданных компартией революционных районах крепнущие части Красной армии отбивали ожесточённое наступление войск Чан Кай-ши, щедро вооружённых иностранными империалистами.

В октябре 1934 года основным силам Красной армии пришлось перебазироваться на северо-запад. В течение двенадцати месяцев Великого похода, пишет Мао Цзе-дун, части Красной армии пересекли одиннадцать провинций, преодолели высокие горные хребты, покрытые вечными снегами, прошли заболоченные равнины. Прорывая окружения, громя заслоны врага и уходя от преследования почти миллионной армии Чан Кай-ши, Красная армия прошла походным порядком 12 500 километров и в октябре 1935 года успешно достигла новой опорной базы на севере провинции Шэньси.

В период этого легендарного похода доблестные бойцы Красной армии часто не имели ни одежды, ни продовольствия. Не раз красноармейцы отбивались от врага прикладами, камнями и даже дубинками.

Отступив в сторону границ Советского Союза, китайская Красная армия приобрела надёжный и прочный тыл и получила возможность вступить в борьбу против японских интервентов, которые осенью 1931 года напали на Китай.

К середине тридцатых годов положение в стране резко изменилось. «Сейчас японский империализм стремится превратить весь Китай из полуколонии, в которой несколько империалистических государств имеют каждое свою долю, в колонию, над которой Япония господствовала бы безраздельно», — писал Мао Цзе-дун в 1935 году.

Клика Чан Кай-ши выдвинула лозунг: «Прежде чем бороться с внешним врагом, нужно навести порядок у себя в стране». Под этим лозунгом реакционное гоминдановское правительство организовало войну не с японскими захватчиками, а с частями Красной армии. Только за первый год пребывания красных частей в Пограничном районе они провели свыше десяти крупных и около десяти мелких боёв с гоминдановскими войсками. Предатели национальных интересов Китая организовывали бесконечные походы против Красной армии, преграждали ей путь для сражения с японскими интервентами, зверски подавляли патриотическое и демократическое движение народа.

Разбойничье нашествие японских захватчиков грозило Китаю потерей национального существования. Только общенациональная борьба против смертельного врага могла спасти китайский народ от порабощения.

В январе 1935 года расширенное совещание Политбюро ЦК компартии Китая сместило левацкое руководство и избрало новое руководство во главе с Мао Цзе-дуном.

Правильно оценив обстановку, вождь китайского народа выдвинул идею создания единого национального фронта сопротивления Японии без прекращения борьбы против национальных предателей — феодалов, компрадорской буржуазии и других реакционных элементов. «Организовать многомиллионные народные массы, двинуть огромную революционную армию, — вот что требуется сегодня для наступления революции на контрреволюцию. Только такая сила способна разгромить японский империализм и китайских национальных предателей; это — очевидная истина. А поэтому только тактика единого фронта и является марксистско-ленинской тактикой».

Смертельная опасность, нависшая над Китаем, поставила вопрос и о создании Китайской Народной Республики. Как указывал Мао Цзе-дун, эта республика должна была представлять интересы всех слоёв народа, входящих в состав антиимпериалистических, антифеодалных сил. Ядром же её правительства должны были быть представители рабочих и крестьян. Задачи, стоявшие перед Китайской Народной Республикой, заключались в том, чтобы дать Китаю свободу и независимость, избавив страну от империалистического гнёта и полуфеодалных порядков.

Мао Цзе-дун указывал, что отличие Китайской Народной Республики от обычной буржуазной республики заключается в том, что она будет основана на союзе рабочих, крестьян, городской мелкой буржуазии и буржуазии.

Борьба за создание демократической республики не означала идейных уступок

буржуазии. «Коммунисты отнюдь не отказываются от своих социалистических и коммунистических идеалов; пройдя через этап буржуазно-демократической революции, они придут к социалистическому и коммунистическому этапу», — писал Мао Цзе-дун.

Мао Цзе-дун творчески применил марксизм-ленинизм в разработке вопросов стратегии и тактики революционной войны в Китае. Он указывал, что опыт гражданской войны в Советской России, которой руководили Ленин и Сталин, имеет всемирное значение. «Этот опыт и его теоретическое обобщение Лениным и Сталиным служат компасом для всех коммунистических партий, в том числе и для Коммунистической партии Китая». Критикуя левачкую, авантюристическую тактику части партийного руководства, отрицавшую необходимость оборонительной войны на её определённых этапах, Мао Цзе-дун писал: «Эти люди называли себя марксистами-ленинцами, но в действительности в марксизме-ленинизме они ничего не поняли. Ленин говорил, что суть марксизма, его живая душа — в конкретном анализе конкретной ситуации».

Как подлинно пролетарский полководец, Мао Цзе-дун глубоко и всесторонне рассматривает факторы победы революционной армии. Он указывает, что исход войны решают военные, политические, экономические и природные условия, в которых находятся воюющие страны. Большое значение придаёт Мао Цзе-дун хорошо обученному и инициативному командному составу, преданному делу революции.

Мао Цзе-дун изучил историю войн своей страны, он хорошо знаком с военными доктринами великих китайских полководцев, на которых ссылается в статье «Стратегические вопросы революционной войны в Китае» и в других работах.

Коммунистическая партия Китая претворила в жизнь замечательную идею своего вождя о создании революционных территориальных баз, так как одни только партизанские формы ведения войны не могли обеспечить победу. В созданных базах, говорил Мао Цзе-дун, мы приступим к расширению районов красной власти. «Только таким образом можно внушить революционно настроенным массам всей страны такую же веру, какую внушает Советский Союз всему миру. Только таким образом можно поставить господствующие классы перед лицом огромных трудностей, поколебать почву под их ногами и ускорить их внутренний распад. И только таким образом можно на деле создать Красную армию, которая превратится в самое мощное орудие грядущей великой революции. Одним словом, только таким образом можно ускорить наступление революционного подъёма».

В статье «Почему в Китае может существовать красная власть?» (1928) Мао Цзе-дун теоретически обосновал необходимость и жизненность небольших красных районов. Он указывал, что противоречия между различными кликами милитаристов в Китае отражают противоречия, существующие между различными империалистическими государствами. Поэтому возможность сговора между группами милитаристов пока что исключена, а всякие компромиссы между ними будут носить лишь временный характер. Длительная рознь в лагере милитаристов создаёт условия для существования отдельных красных районов, окружённых территорией белой власти. Политическая и экономическая раздробленность и отсталость страны, наличие замкнутых районов также способствовали организации и обороне революционных баз. Важнейшим условием их длительного существования и развития красной власти Мао Цзе-дун считал наличие крепкой организации Коммунистической партии и проведение ею правильной политики.

Ход китайской революции полностью подтвердил правильность стратегического плана Мао Цзе-дуна и продемонстрировал провал авантюристической линии «леваков», возражавших против создания красных районов и усматривавших залог победы только в постоянных наступательных действиях разрозненных партизанских частей. Партизанские формы борьбы с врагом Мао Цзе-дун умело сочетал с боевыми действиями регулярной Красной армии.

Как подлинный вождь народа, Мао Цзе-дун тесно связан с массами. В них видит руководимая им компартия источник своей силы и непобедимости. Известный китайский поэт, биограф Мао Цзе-дуна — Эми Сяо писал: «Мао Цзе-дун пользуется исключительной популярностью среди народных масс Китая. Выходец из недр народа, обла-

дающий глубоким знанием народных нужд, он всегда понятен и любим. Те сотни крестьянских народных песен, которые он знает наизусть, он цитирует в своих политических выступлениях. Речь его всегда убедительна, проста и доходчива для слушателей. После его доклада или беседы с ним чувствуешь, как всё становится для тебя ясным и понятным. Эта простота достигается благодаря огромному политическому развитию Мао и его многообразным знаниям. Если в детстве его считали «самым учёным» в семье, то теперь по праву мы можем считать его одним из самых учёных в стране. Самоучкой он получил законченное классическое китайское и марксистское образование».

В статье «Больше заботы о жизни народа, больше внимания методам работы» Мао Цзе-дун писал: «Революционная война — это война народных масс, вести ее можно, лишь мобилизуя народные массы, лишь опираясь на народные массы». Опираясь же на народные массы можно лишь тогда, когда эти массы поймут, что компартия является выразителем их интересов и живёт одной с ними жизнью. Поскольку, говорит Мао Цзе-дун, многомиллионный народ всем сердцем и всеми помыслами с нами, мы сумеем разгромить контрреволюцию и освободить весь Китай.

Произведения Мао Цзе-дуна, как и вся его многообразная деятельность, пронизаны подлинным пролетарским интернационализмом, духом дружбы с Советским Союзом.

В справедливой и тяжёлой борьбе с мировым империализмом за своё национальное освобождение и за преобразование страны на новых, демократических началах китайский народ рассчитывал на братскую помощь рабочего класса СССР и других стран. «Нам в антияпонской войне, — писал Мао Цзе-дун, — нужна помощь зарубежных народов и прежде всего помощь народов Советского Союза, и они, конечно, помогут нам, ибо мы связаны с ними узами кровных интересов».

В статье «Задачи Коммунистической партии Китая в период антияпонской войны» (1937) Мао Цзе-дун призывал компартию и весь китайский народ «объединиться с неизменным и лучшим другом китайского народа — Советским Союзом...».

1 октября 1952 года исполнилось три года со дня провозглашения Китайской Народной Республики.

В приветственной телеграмме И. В. Сталина на имя Председателя Центрального Народного Правительства Китайской Народной Республики товарища Мао Цзе-дуна по случаю третьей годовщины провозглашения Китайской Народной Республики говорилось:

«По случаю третьей годовщины провозглашения Китайской Народной Республики прошу Вас, товарищ Председатель, принять мои сердечные поздравления.

Желаю великому китайскому народу, Правительству Китайской Народной Республики и лично Вам новых успехов в строительстве могучего народно-демократического китайского государства.

Пусть крепнет и процветает великая дружба Китайской Народной Республики и Союза Советских Социалистических Республик, являющаяся прочной опорой мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире!»

Китайский народ под руководством Коммунистической партии Китая и своего испытанного вождя Мао Цзе-дуна в тесном союзе и дружбе с народами Советского Союза и стран народной демократии уверенно строит своё демократическое государство.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Б. ПЕТРУШЕВСКИЙ

★

НА РАЗВЕДКЕ ПУСТЫНИ

1

Мы, геологи, в своей среде иногда употребляем выражение «поиски землетрясений».

Поиски землетрясений?.. Странное занятие, скажет читатель. Кому и зачем могут понадобиться подобные поиски, когда известно, что землетрясение — это стихийное бедствие, часто сопровождающееся гибелью людей и разрушением городов. Но именно потому, что землетрясения влекут за собой тяжёлые последствия, человечеству необходимо знать о них как можно больше.

Вот произошёл подземный толчок, и в посёлке разрушилось несколько домов, тогда как остальные стоят целёхонькие. Почему? Оказывается, пострадали дома неудачной конструкции — с тяжёлой плоской крышей и непрочными стенами из плохо скреплённых камней. А дома другой конструкции хорошо перенесли землетрясение. Бывает и так, что на одной улице сильно страдают все постройки, а на соседней — разрушения несравненно слабее. Причиной является разный состав грунта: дома, стоящие на скальном основании, более устойчивы, например, чем построенные на глинистой или песчаной почве.

Области, где происходят подземные толчки, называют сейсмическими (от греческого слова «сейсмос» — землетрясение). Сюда и направляются учёные, чтобы побольше узнать о природе землетрясений. Это позволяет с известным приближением судить о причинах их возникновения и, что особенно важно, о районах, где они наиболее вероятны.

Определить районы, в которых землетрясения могут оказать наиболее разрушительное воздействие, — одна из основных задач геологов и сейсмологов. Решение её имеет огромное практическое значение. Знание опасных районов позволит при крупном строительстве обойти их или же принять необходимые меры по укреплению сооружений, возводимых на их территории.

В Советском Союзе (преимущественно по южной его окраине) значительные по площади области относятся к сейсмически активной зоне.

Сейсмическая активность не представляет такой неотвратимой опасности, как иногда это считают неспециалисты. Действительно опасна она лишь в тех случаях, когда при строительстве не принимают её во внимание.

Оценка этой активности производится по баллам условной шкалы, основанной на интенсивности землетрясений. Подавляющее большинство из них принадлежит к числу очень слабых. Многие из подземных толчков улавливаются только специальными приборами, другие, более значительные, ощущаются людьми, замечаящими, однако, часто не самый толчок, а его результаты — раскачивание висящих предметов, дребезжание посуды в шкафу и т. д. Сильные землетрясения, начиная с 6-го балла, случаются не часто, а наиболее разрушительные, достигающие в эпицентре¹ предельной силы, принимаемой за 9—10 баллов, происходят крайне редко. Из ста тысяч ежегодно регистрируемых землетрясений всего около ста, или 0,1 процента принадлежит к числу разрушительных.

¹ Эпицентром называют то место на земной поверхности, которое находится (по перпендикуляру) над очагом землетрясения, расположенным на той или иной глубине в недрах земли.

Строителей интересует сейсмическая активность, начиная с 5—6-го балла. В этом случае необходимо выполнить ряд мероприятий по укреплению возводимых сооружений, по увеличению их сопротивляемости подземному толчку (железобетонные антисейсмические пояса в зданиях и т. д.). Правильно осуществлённое антисейсмическое строительство гарантирует целостность сооружений даже в наиболее подверженных землетрясениям областях.

Естественно поэтому, что после решения Советского правительства о сооружении Главного Туркменского канала начались тщательные исследования территории его трассы, поскольку в западной своей части она проходит по сейсмически активной области.

Эта задача была возложена на Арало-Каспийскую экспедицию Геофизического института Академии наук СССР. Автор настоящего очерка работал в экспедиции в качестве геолога.

2

Давно установлено, что сильные землетрясения, захватывающие значительные площади, происходят преимущественно лишь в горных областях, представляющих собой сравнительно молодые (в масштабе геологического времени, измеряемого сотнями миллионов лет) складчатые сооружения на поверхности земного шара.

В результате сложных процессов, происходивших в минувшие геологические периоды в недрах земли, в её поверхностной оболочке, называемой земной корой, развивались огромные напряжения. Природа этих процессов ещё не ясна; вероятно, здесь имеют место сложные физико-химические явления: в результате распада радиоактивных элементов или благодаря перераспределению вещества в глубинах земли в её ядерной части концентрировались тяжёлые элементы — железо и никель, тогда как более лёгкие — магний, алюминий, кремний — оттеснялись кверху. Отдельные участки коры, более пластичные и податливые по сравнению с соседними, вовлекались в интенсивные движения, благодаря чему пласты горных пород, слагавшие данные участки, сминались в гигантские складки. Интенсивными подобными движениями можно называть, конечно, лишь при учёте огромной длительности происходящих процессов. В этом случае такое, например, само по себе ничтожное поднятие, как на один сантиметр в течение одного года, должно рассматриваться как очень быстрое движение, ибо за 100 000 лет — срок в геологическом смысле весьма небольшой — данный участок окажется поднятым на значительную высоту — 1 000 метров. Позднейшие поднятия этих районов превращали их в горные области.

Как бы ни были относительно пластичны горные породы, они всё же обладали настолько значительной механической жёсткостью, что при движениях, происходивших в земной коре, часто разрывались и распадались трещинами. По этим трещинам, называемым разрывами или разломами, нередко происходили перемещения пластов относительно друг друга: одна часть складки надвигалась на другую или вся она в целом на соседнюю и т. д.

В тех районах, где интенсивные движения полностью закончились, разрывы сейчас не происходят. Примером таких древних складчатых зон может служить Урал. В молодых же горных образованиях, подобных Кавказу, Копет-дагу, Крыму, Альпам и многим другим, в которых интенсивные движения ещё не закончились, разрывы происходят и в настоящее время, образуясь на различных глубинах.

При этих разрывах в земной коре возникают колебания, идущие во все стороны от породившего их очага. Они-то и называются землетрясениями. Оговоримся, что речь идёт здесь только о землетрясениях, связанных с движениями земной коры и принадлежащих к категории так называемых тектонических. Именно они бывают особенно разрушительными и нередко ощущаются на обширных площадях. Землетрясения, связанные с извержениями вулканов, с крупными подземными обвалами (например, в больших пещерах), здесь не рассматриваются.

Глубины очагов большинства разрушительных землетрясений на территории СССР не превышают нескольких десятков километров и лишь изредка достигают 100—120 километров. Нельзя быть уверенным, что в подобных глубинах, где вещество подвер-

гается огромному давлению, разрывы имеют такой же физический характер, как и на поверхности земной коры. В ещё большей степени это относится к очагам более глубоких землетрясений, находящимся на глубине 700—800 километров (они никогда не бывают разрушительными). Не исключено, что в этих случаях упругая волна возникает не в результате разрыва, а под влиянием каких-либо других причин, например, быстрого освобождения большого количества энергии в результате химических реакций между различными веществами, распада радиоактивных элементов и т. д.

Эти процессы, как и заведомые разрывы, порождающие «обычные» землетрясения, бывают в тех областях, где ещё не полностью закончились интенсивные движения (либо они возобновились после длительного состояния покоя).

Районы, которые расположены вдали от гор и относятся к областям с давно закончившейся складчатостью, находятся в состоянии сейсмического покоя.

К числу таких районов принадлежит равнинная территория Европейской части СССР, где землетрясения сейчас не возникают, а отмечаются лишь колебания почвы, названные далёкими землетрясениями. Подобные толчки зарегистрированы, например, на Украине во время крымского землетрясения 1927 г. Многие жители Москвы ощущали в 1940 году подземный толчок, явившийся отзвуком сильного землетрясения на Карпатах. Эти слабые, приходящие издалека колебания никогда не бывают разрушительными.

Значительно труднее определить степень сейсмичности в зонах, подверженных землетрясениям. Как оценить здесь силу возможных в будущем сотрясений, как провести границы участков, характеризующихся различной балльностью? А ведь чем выше балл, тем сложнее антисейсмическое строительство; несоблюдение его правил может при землетрясении повлечь за собой гибель людей и разрушение построек.

3

Неподвижны, с точки зрения человеческого восприятия, горы. Рассечённые глубокими ущельями, изрытые промоинами, они лежат тяжёлыми массивами. Как распознать здесь те участки, на которых могут произойти землетрясения, притом в первую очередь разрушительные? Ведь даже самые сильные из них сравнительно редко сопровождаются заметными сдвигами и смещениями пластов, позволяющими более или менее точно судить о направлении толчка, о характере воздействия упругой волны на поверхностную оболочку земной коры. В большинстве же случаев землетрясения не сопровождаются деформациями на поверхности, если, конечно, не считать оползней и обвалов, которые происходят даже помимо подземных толчков и обычно лишь усиливаются под их воздействием.

Достаточно надёжный способ определения силы и направления крупных толчков — показания очевидцев и осмотр повреждённых построек — применим лишь там, где местность более или менее густо населена. В отношении же давних землетрясений, если они не были своевременно изучены, опросные данные и непосредственный осмотр не могут дать почти ничего сколько-нибудь ценного.

Ещё сложнее обстоит дело с определением сейсмичности равнин, примыкающих к горам. На равнинах не видны пласты слагающих их горных пород, и часто можно лишь строить предположения относительно того, имеются ли под песчаной или глинистой поверхностью складки горных пород. Между тем иногда именно с подобными залегающими в глубине складками бывают связаны землетрясения.

Всё же советские геологи и геофизики, работая совместно, научились оценивать сейсмичность. Результатом этой работы явилась составленная профессором Г. П. Горшковым карта сейсмического районирования СССР. На этой карте вся территория нашей страны разделена на зоны, характеризующиеся той или иной балльностью, имеющей практическое значение, — с 5 по 9 балл включительно.

Подобных карт нет ни в одной другой стране, даже в такой, как, например, Япония, которая на всей своей территории подвержена сильнейшим катастрофическим землетрясениям.

Эта карта представляет не только научный, теоретический интерес. Ни одно строительство в пределах сейсмически опасных областей не может производиться без соответствующего разрешения, основанного на учёте балльности данного района.

Составление сложных сейсмических карт отдельных районов стало возможным благодаря успехам, достигнутым советскими учёными, сумевшими создать усовершенствованную аппаратуру, регистрирующую землетрясения. Учёные сумели также более глубоко понять связь землетрясений с геологическими процессами.

Колебания почвы, происходящие при землетрясениях, записываются особыми приборами — сейсмографами. На заре сейсмологии (в 80-х годах прошлого века) запись обычно производилась остриём, чертившим по закопчённой бумажной ленте, намотанной на медленно вращающийся барабан. Точность таких записей была крайне низка.

В начале нашего столетия академик Б. Б. Голицын изобрёл сейсмограф, действующий с помощью гальванометров. Принцип гальванометрической регистрации был положен в основу и последующих, более усовершенствованных сейсмографов, что способствовало увеличению их чувствительности.

В современных сейсмографах запись производится световым лучом (или, как его часто называют, световым зайчиком), отбрасываемым высокочувствительным зеркальным гальванометром на медленно и равномерно движущуюся ленту фотобумаги. При отсутствии колебаний почвы в сейсмографе не возникает электродвижущей силы и гальванометр не отклоняет светового луча — зайчик оставляет на бумаге след в виде прямой линии. Происходящие же при землетрясениях колебания почвы возбуждают электродвижущую силу, вследствие чего зеркальце гальванометра отклоняет световой луч; это отклонение фиксируется в виде ломаной линии. В сейсмографах этой системы исключена необходимость преодолевать трение, неизбежное при непосредственной записи — остриём по закопчённой бумаге — и понижающее чувствительность прибора. Запись на современных сейсмографах становится видна лишь после проявления фотобумаги.

Не так давно записи велись с помощью аппаратуры, позволявшей отмечать происходящие при землетрясениях колебания с увеличением в тысячу раз. Приборы такой же или более высокой чувствительности (с увеличением до трёх тысяч раз) продолжают применяться и сейчас на постоянно действующих сейсмических станциях. Эти приборы отмечают подземные толчки, происходящие за многие тысячи километров от места расположения станции.

Однако для изучения сейсмичности в пределах небольших районов, где обязательно знать характер и очень слабых колебаний, не отмечаемых удалёнными станциями, понадобились более высокочувствительные приборы. Они сконструированы советскими учёными. На сейсмографах конструкции старшего научного сотрудника Геофизического института Д. А. Харина достигнуто увеличение до 50 000 и даже 100 000 раз. Тем самым мы получаем данные о местоположении эпицентров даже самых ничтожных землетрясений и точнее можем судить в целом о сейсмичности исследуемой области.

В самые последние годы на опытной аппаратуре конструкции члена-корреспондента Академии наук СССР Г. Гамбурцева удалось добиться увеличений до 500 000 раз.

Немалую роль в достигнутых советскими сейсмологами успехах сыграло резкое увеличение количества постоянно действующих станций, расположенных ныне в сейсмически активных зонах.

Наряду с этим происходила тщательная систематизация сведений о ранее происходивших землетрясениях, были составлены обширные их каталоги. Этот огромный статистический материал оказал существенную помощь при составлении карт сейсмического районирования.

Успехи современной геологии, в частности той её отрасли, которая называется тектоникой и занимается вопросами строения земной коры и истории развития слагающих её крупных разнородных участков (геологи зовут такие участки структурами или структурными комплексами), позволили более уверенно связывать сейсмические проявления с определённой геологической обстановкой.

Знание характерных черт развития изучаемых структур и сравнение получаемых данных с материалами геолого-сейсмических исследований в районах, где уже бывали землетрясения, позволяют оценивать сейсмичность и тех областей, о которых отсутствуют сведения, касающиеся подземных толчков.

Уже первые русские геологи, занимавшиеся в конце прошлого и начале настоящего столетия изучением землетрясений, — И. В. Мушкетов, К. И. Богданович, Б. Н. Вебер — указали на тесную их связь с некоторыми особенностями геологического строения районов, где они произошли. В частности, подчёркивалась связь землетрясений с разломами.

Успехи, достигнутые за последние годы советской геологией и, в частности, тектоникой, позволили обобщить все предшествующие наблюдения русских исследователей.

Перед советской геофизикой и геологией возникла новая важная задача: дать надёжный прогноз землетрясений не только по месту возможного их возникновения, но и по времени.

Говоря о прогнозе землетрясения по месту, мы имеем в виду уже не общие указания достаточно обширных районов, в которых могут произойти сотрясения такой-то силы, а определение тех конкретных участков или узких зон, где вероятно местонахождение эпицентров землетрясений.

В наше время, развивая намеченные геологами предшествующих поколений идеи о связи землетрясений с определённой геологической обстановкой, советские учёные разрабатывают новый принцип сейсмического районирования. Используя современные представления о тектонике и опыт своих многолетних работ в Таджикистане, И. Губин провёл основанное на определении зон различной балльности опытное сейсмическое районирование этой территории вдоль многочисленных разломов, которые, как он доказывает, связаны с наблюдающимися здесь землетрясениями. Из этих разломов лишь некоторые видны непосредственно, другие установлены по совокупности геологических данных. Всё же многие из этих предположительных разломов признаны сейсмически опасными; тем самым в карту внесён большой элемент прогноза.

Попытки предсказаний подобного рода пока можно делать лишь для немногих областей, особенно хорошо изученных в сейсмо-геологическом отношении.

Хотя в этом направлении сделаны пока лишь первые шаги, несомненно, что сейсмическое районирование должно идти именно по пути установления тесной зависимости между землетрясениями и особенностями геологического строения данной территории.

С небольшой долей вероятности мы можем говорить пока о прогнозе землетрясений по времени, то есть о предсказании их за определённый срок до подземного толчка. Ясно, что практически это было бы исключительно важно, так как позволило бы избежать человеческих жертв даже при самых разрушительных толчках.

По своей трудности и сложности проблема прогноза землетрясений — одна из важнейших и интереснейших задач современной геофизики и геологии.

4

Нашей экспедиции предстояло уточнить сейсмичность юго-западной Туркмении.

Мы знали, что в своём нижнем отрезке сухое русло Узоя, по которому должен пройти Главный Туркменский канал, вступает в сейсмически активную область. Начала это русло извивается по узкому проходу между крупными горными массивами Большого и Малого Балхана, затем, пересекши вблизи города Небит-Дага Ашхабадскую железную дорогу, оно тянется к югу от неё, более или менее параллельно склону Большого Балхана, и достигает Каспийского моря у восточной оконечности Краснодарского залива.

В этом районе неоднократно происходили землетрясения, достигавшие иногда большой силы. В 1895 году разразилось сильное красноводское землетрясение, эпицентр которого находился в нескольких десятках километров к югу от Краснодарска. В 1946 году в восточной части Большого Балхана произошло новое землетрясение, хотя и более слабое, чем красноводское, но причинившее значительные повреждения городу Казанджику. Часто наблюдались здесь отдельные заметные толчки.

При строительстве канала и связанных с ним гидротехнических сооружений участки, где можно ожидать сильных землетрясений, следовало обойти или же осуществить в их пределах необходимые антисейсмические мероприятия.

Мы знали, что встретимся с очень слабыми колебаниями, улавливаемыми лишь чувствительной аппаратурой. Поэтому прежде всего надо было создать в изучаемом районе сеть временных сейсмических станций и снабдить их приборами, которые позволили бы заметить эти ничтожные колебания, это «дыхание» гор. Тщательно изучив геологическую обстановку, выяснив, какие структуры здесь имеются и какова история их развития, особенно в новейшие времена, мы должны были сопоставить собранные сведения с показаниями приборов, учесть имеющиеся данные о прежних землетрясениях и определить зоны различной сейсмической балльности в нашем районе.

Мы понимали, что будет либо полностью подтверждена схема сейсмического районирования, существующая для обследуемой территории, либо, что казалось вероятнее, более детальные исследования внесут в неё некоторые изменения. Но какие? В сторону увеличения или уменьшения степени балльности тех или иных зон?

Ответы на эти вопросы весьма интересовали организацию, занимающуюся проектированием Главного Туркменского канала.

Геофизическая часть нашей экспедиции выехала в Туркмению весной 1951 года, геологическая — в середине лета.

Отправляемся отдельными группами. Я еду последним.

Время перед отъездом уходит на изучение геологической литературы. Работ по Туркмении опубликовано много, но нет ни одной, где имелось бы подробное описание истории развития структур Копет-дага, Балханов, Краснодарского района с детальным освещением изменений, происшедших в четвертичный период. Именно с этим связана расшифровка новейших движений земной коры.

Многие данные, которые мы нашли в книгах, оказались противоречивыми. Существует или нет вдоль северного подножия Копет-дага огромная трещина в пластах — так называемый Главный копет-дагский разлом? Одни геологи утверждают, что существует; другие доказывают, что его нет. В то же время отдельные исследователи полагают, что именно по этому разлому, уходящему на большие глубины в недра земли, продолжают подвиги, сопровождающиеся разрывами, которые и вызывают землетрясения.

Не удовлетворили нас и сведения о разломе по южному подножию Большого Балхана, с которым, по мнению некоторых геологов, было связано красноводское землетрясение 1895 года.

5

В поезде Москва—Ашхабад едущие на строительство канала собираются группами и обычно держатся вместе.

Среди них можно увидеть представителей большинства республик Советского Союза, людей самых разных специальностей, возрастов, различного жизненного опыта. Экскаваторщики, электрики, шофёры, дорожники; одни — только что со школьной скамьи, другие — участники строительства крупнейших предприятий, в одиночку или семьями, командированные или по собственному желанию, — все они едут в Туркмению, на одну из великих строек коммунизма. То и дело слышатся географические названия, раньше известные лишь специалистам или местным жителям: Тахиа-Таш, Сарыкамыш, Узбой, Куртыш.

Есть среди этих людей «старички», уже побывавшие на трассе будущего канала. Их отличает крепкий загар, уверенность высказываний. Но большинство едет впервые. Новичков интересует всё — и сухие равнины степей, и хлопковые просторы Ташкентского оазиса, и семяющие иногда вдоль железнодорожного полотна маленькие длинноухие ишаки.

Спешат на юг товарные поезда с лесом, машинами, новенькими грузовыми автомобилями, с громоздкими, плотно упакованными ящиками, на которых значится пункт назначения — Тахиа-Таш. Щедро посылает страна всё, что необходимо великой стройке.

Чарджоу. Сходит чуть ли не треть пассажиров, чего раньше здесь никогда не бывало. Это всё едущие в Тахиа-Таш, на восточный отрезок трассы канала, где сейчас ведутся основные подготовительные работы к строительству.

Перед Чарджоу поезд пересекает реку Аму-Дарью. Под мостом стремительно бежит кофейно-коричневая вода. Она завивается в крутящиеся воронки, выбрасывающие комья грязной пены. Через несколько лет эта своенравная река, усмирённая человеком, потечёт от Тахиа-Таша на запад, через Кара-Кумы, орошая пока ещё бесплодные и пустые земли закаспийских равнин.

В Ашхабаде меня встречают сотрудники — мой помощник Игорь Резанов и коллектора-студенты. Резанов только этой весной окончил институт и впервые будет работать почти самостоятельно. Поблёскивая очками и пряча от солнца уже успевший облупиться нос, он засыпает меня новостями, из которых самая важная та, что в Геологическом управлении скопированы подробные карты нашего района. Значит, есть надёжная основа для того, чтобы вести наблюдения над структурами.

Едва кончив рассказывать о картах, Игорь суёт мне в руку запаянную ампулу с надписью «антигюрзин» и начинает расхваливать это лучшее, по его словам, противоядие от укуса змей. Затем он пускается в заочную полемику с одним из наших предшественников-геологов. Как всегда, Резанов полон энтузиазма.

Вечером мы едем дальше. Полная луна висит над чёрной стеной хребта Копет-дага, тянущегося слева от полотна. Внимательно всмагриваюсь в него. Что-то он принесёт нам интересного, какие здесь будут установлены структуры, какие определены эпицентры землетрясений?

Глубокой ночью высаживаемся в Казанджике. Наша база в двадцати пяти километрах от города, у колодца Чиль-мамед. Добираемся до базы на высланной за нами полторке.

Небольшой плосковерхий побелённый дом нашей базы, с неподвижно обвисшим на шесте флагом, стоит на границе такырной полосы и каракумских песков. Такыр — это идеально плоская голая равнина с таким твёрдым, окаменевшим под туркменским солнцем глинистым грунтом, что на машине можно ехать по нему в любом направлении с максимальной скоростью.

Неподалёку от дома поднимаются гребни высоких барханов, ярко освещённых луной. На них чернеют койки сотрудников — в доме спать нельзя из-за жары. Правда, вне дома — миллионы moskitov, но на барханах ветерок, и там moskitov меньше.

Песок бархана мягок, нежен, прохладен. Разуваемся и зарываем в него ноги. Под верхним, остывшим за ночь слоем, песок почти горячий.

Чуть заметно светает, порозовел восток. Поднимается лёгкий ветер. Из аула, расположенного рядом с базой, доносятся крики верблюдонка.

6

Сейсмические станции нашей экспедиции, расположенные в 50—70 километрах одна от другой, образуют гигантское кольцо. Такое расположение позволяет определять эпицентры землетрясений — подземные толчки регистрируются одновременно несколькими станциями. Под наблюдение взяты районы от западной оконечности Копет-дага почти до Красноводска, то есть как раз та сейсмически опасная зона, которую должна пересечь трасса канала.

Устройство даже временных, облегчённого типа, сейсмических станций — дело достаточно сложное. Сейсмографы настолько чутки, что, если их поместить в землянке, они будут отмечать шаги наблюдателя и на сейсмограммах появятся пики в той ровной линии, которую круглые сутки тянет по фотоленте световой зайчик. Пики должны быть только от землетрясений, и поэтому сейсмографы отнесены на некоторое расстояние в сторону и закопаны в землю. Приборы, производящие запись колебаний, должны быть надёжно укрыты от ветра и пыли. В землянках же оборудуются фотолаборатории, где проявляются фотоленты сейсмограмм. Там же размещается и остальное хозяйство: хронометры, радиоприёмники, аккумуляторы, — всё, кроме сейсмографов.

Чуткость сейсмографов причиняет много хлопот при выборе мест для станций. Приходится уходить на 12—15 километров от железной дороги, иначе будут записаны колебания почвы, происходящие при движении поезда. Нельзя также располагаться вблизи механических двигателей. Однако необходимость расстановки станций по кольцу уменьшала возможность выбора участков для их размещения. И, наконец, надо было учитывать третий, очень важный в условиях Туркмении фактор — наличие питьевой воды.

Устанавливать станцию в безводном месте или около колодца с солёной водой руководство экспедиции не хотело. Когда температура в тени доходит до 45 градусов, воздух становится так горяч, что кажется ощутимо упругим; когда ураганный ветер несёт и швыряет песок, образуя уже в двадцати метрах от вас мутную завесу, когда в душные бессонные ночи привольно чувствуют себя только москиты, — в таких условиях нельзя обрекать людей на голодный водяной паёк. Организовать же регулярную доставку свежей воды не представлялось возможным.

И всё же пришлось поставить некоторые станции у солёных колодцев. На одни из этих станций пресную воду раз в несколько дней привозят наши автомашины, на другие её доставляют вьюками на верблюдах или ишаках туркмены из соседних колхозов.

В соответствии с природными условиями сотрудники экспедиции делают станции на несколько «категорий». Есть «плохая» станция Алты-кую в Балханском коридоре — глубоком понижении между горными массивами Большого и Малого Балхана. Она стоит у солёного колодца, на берегу Узбоя, русло которого здесь покрыто солончаками и иногда небольшими озерами с настолько солёной водой, что на её поверхность можно сидеть. Днём по Балханскому коридору всегда дует ветер, поднимая пыльные бури, а ночью, когда он стихает, появляются прожорливые москиты и комары.

Есть «хорошие» станции, как Даната и Таш-арват, стоящие в предгорьях, на родниковой воде. Таш-арваты очень гордятся садиком из нескольких плодовых деревьев. Данатинцы в свободное время увлекаются охотой на кекликов — горных куропаток, многочисленных в окрестных горах.

И есть ещё «обетованная земля» в виде станции Ясхан. Она расположена на берегу одноимённого пресного озера в русле Узбоя, за высокими, труднопроходимыми песками. Правда, комары сильно докучают ясханцам, но разве это может идти в какое-либо сравнение с возможностью ежедневно купаться, рыбачить, валяться на зелёной траве у кромки густых камышей!

На каждой станции работают от двух до трёх наблюдателей. Записи ведутся круглосуточно, ленты меняются несколько раз в течение суток.

Работа на станциях в основном проходит гладко. Иногда, впрочем, то здесь, то там не ладится что-нибудь с аппаратурой или вдруг объявляются неожиданные помехи. Начальник сейсмического отряда Д. Н. Рустанович за три года работы в экспедициях, подобных нашей, привык ко всяким неожиданностям и удивляется, если их долго нет. Он молча сворачивает свой спальный мешок, садится в машину — и волейбольная команда базы на несколько дней лишается одного из самых энергичных игроков. «Хозяйство» у Рустановича разбросанное. Он непременно заедет и на те станции, где всё идёт как будто нормально.

Раз в неделю на станции отправляется «рейсовая» машина. Она развозит продукты, воду, запасные части к приборам, газеты и доставляет на базу сейсмограммы.

Здесь они поступают в группу обработки или, как её чаще зовут, в интерпретаторскую группу, где сейсмограммы внимательно, сантиметр за сантиметром, просматриваются. Вот какие-то отклонения в записи. Нет, это не след землетрясения — это влияние одной из помех. А вот эти острые пики — уже не помеха. Интерпретатор вооружается лупой. Сомнения нет — ещё одно землетрясение, правда, такое же ничтожное, как и все предыдущие.

Каждая лента сейсмограммы имеет пометку своей станции и дату; время суток на ней отмечается автоматически: лента движется равномерно, так что нетрудно установить час, минуты и секунды зарегистрированного подземного толчка.

Изучение сейсмограмм других станций за этот же день показывает, какие из них также отметили данное землетрясение. Затем следуют длительные, многократно проверяемые математические вычисления, и через день-два на карту наносится кружок, обозначающий эпицентр вновь пойманного землетрясения.

Наши интерпретаторы определяют местонахождение эпицентра с точностью до десяти километров. Это значит, что возможная ошибка в определении условной точки, принимаемой за эпицентр, не превышает этого расстояния. Такую точность сейсмологи считают очень высокой, — ведь станции, регистрирующие удалённые землетрясения, определяют их эпицентры с точностью до пятидесяти километров, а ещё совсем недавно интервал возможной ошибки достигал ста километров.

... Идут жаркие дни туркменского лета, растёт количество сейсмограмм, аккуратно уложенных в длинные ящики — особый для каждой станции, всё увеличивается число кружков эпицентров на карте. Поиски землетрясений проходят успешно.

7

Ко времени нашего приезда на базу зарегистрировано уже несколько десятков подземных толчков. Все они очень слабые, силой обычно менее одного балла. Такие сотрясения почвы не ощущаются не только людьми, но и приборами удалённых станций.

Рассматриваем карту. Эпицентры располагаются на ней не беспорядочно, а группируются пучками. Два из них приходятся на Большой Балхан, третий — на Малый. Только несколько кружков разместились где попало. Это нас не смущает. Интересно другое — отсутствие эпицентров в западной части Копет-дага. Многочисленность их на Балханах достаточно хорошо увязывается с теми представлениями о геологии этого района, которые сложились у нас ещё в Москве. Но почему же нет землетрясений в Копет-даге? Или слишком кратковременны наблюдения? Ведь на Малом Балхане все пять или шесть толчков произошли в течение трёх недель июня, и с тех пор Малый Балхан молчит. Может быть, в скором времени заговорит и Копет-даг?

Нам надо успеть исследовать обширную территорию, и поэтому от одного участка работы до другого будем добираться на автомашинах.

Первый маршрут пролегает по Копет-дагу. Мы движемся по долинам, взбираемся на горы, ночуем у колодцев или там, где застает ночь. Автомшины избавляют нас от многих хлопот, неминуемых при работе с вычным караваном: мы в изобилии везём с собой всё необходимое — прсвизию, кухонную посуду, дрова, воду в бочках, койки.

Выясняется, что в посещённой нами части Копет-дага складкообразовательные силы проявились слабее, чем это можно было предполагать по имеющимся в литературе данным. Пласты горных пород смяты здесь в сравнительно простые складки, а кое-где залегают почти горизонтально; разломов в них меньше, чем показано на геологических картах. Может быть, с этим спокойствием тектоники связано и спокойствие сейсмичности, и тогда не случайно наши станции не отмечают здесь землетрясений?

В этом предположении надо внимательно разобраться. Следует провести обследование от окраины Копет-дага — там, где его передовой хребет граничит с равниной. Этот район будет изучать отряд Резанова, а я со своим отрядом займусь более удалённым районом Большого Балхана, где группируются основные, отмеченные нашей экспедицией эпицентры землетрясений, и обследую южную часть Красноводского полуострова.

И вот снова каждодневная езда по выбитым грунтовым дорогам или по бездорожью, восхождения на горы по каменистым склонам, по осыпям, без всякой надежды найти хоть кусочек тени, с единственной мечтой, что на вершине подует ветерок. Обрывистые ущелья, сухие овраги, плоские равнинные участки, на которых иногда показываются быстроногие дикие козы — джейраны. Ночлеги под широким звёздным небом. Редкие встречи с людьми.

Ко всему этому я привык за двадцать лет экспедиций, но ничто мне не надоело. Сидишь в кабине и с интересом ждёшь, что окажется вон за тем поворотом, какой вид откроется с перевала, на который с трудом вползает машина.

Работу очень облегчают скопированные в Ашхабаде геологические карты. Пусть они не всегда во всём правильны, но без них пришлось бы трудно. С благодарностью думаю о людях, которые несколько лет назад, вот так же, как и мы сейчас, бродили сухими ущельями и карабкались в палящий зной на горы.

Многие из геологических вопросов, ещё недавно казавшиеся малопонятными, начинают проясняться. У Красноводска действительно есть разлом, но он представляет такую, с геологической точки зрения, ничтожную трещину в пластах, что с ним, конечно, нельзя связывать очаг землетрясения 1895 года, находившийся на большой глубине.

Повидимому, нет на поверхности и разлома, изображаемого некоторыми геологами по южному подножию горного массива Большого Балхана. Однако выясняется, что Балхан и прилегающая к нему с юга Прикаспийская впадина принадлежат существенно различным структурным комплексам. Современная геология и геофизика учат, что эти различия могут сохраняться и на очень большие — до сотен километров — глубины и что граница раздела между такими разнородными структурами может иметь вид плоскости. Допустить возможность сдвигов по этой плоскости тем легче, что одна из структур, Большой Балхан, испытывает давние тенденции к поднятиям, сохраняющиеся и поныне, а другая — Прикаспийская впадина — не менее давно испытывает тенденции к прогибаниям. Естественно, что встречные, противоположно направленные движения крупных разнородных структур могут сопровождаться в глубине срывами по границе раздела, по стыку этих участков. Но тогда понятны и повышенная сейсмическая активность всего этого района и обилие здесь эпицентров землетрясений.

Так геологический анализ дополняет и объясняет данные, полученные сейсмографами наших станций.

Мы успеваем посетить много мест. Я не узнаю некоторых городов — так они изменились за те пятнадцать лет, что я не был здесь. Вместо маленького Красноводска, прижавшегося к прибрежной скале, мы видим большой город, занявший вместе со своими заводами не только ближние приморские, но и дальние холмы. Пыльный глинобитный посёлок Небит-Даг уступил место городу с газонами вдоль асфальтированных улиц, с красивыми домами.

8

Мы снова на базе. Эпицентров заметно прибавилось. Новые кружки на карте попрежнему ложатся главным образом на Большой Балхан и его окрестности, но два-три появились и на Копет-даге. Всё же разница между ним и Балханом существенна.

Наблюдения Резанова подтверждают впечатления, создавшиеся после первого маршрута: тектоника западной окраины Копет-дага сравнительно проста даже в передовом его хребте, по северному подножию которого Резанов не нашёл крупного разлома.

Всё это хорошо согласуется между собой и с данными наших сейсмических станций, но необходимо сейчас же продолжить и углубить исследования. Ведь для того, чтобы дать несколько пониженную оценку сейсмичности западного Копет-дага, пониженную по сравнению с существующей картой, надо быть совершенно твёрдо уверенными в своих выводах. наших наблюдений ещё не вполне достаточно. Да и за остающиеся полтора месяца могут прибавиться новые данные.

Но тут на нас сваливается небывало ранняя осень. Она подкрадывалась уже давно, с середины сентября, когда разыгралась сильнейшая многочасовая пыльная буря и прошли первые дожди. В конце месяца было несколько гроз, и на два-три дня сделались непроходимыми солончаки — шоры и такыры, превратившиеся в грязевые болота, недоступные для автомашин.

Настоящая осень приходит в начале октября. По целым дням не видно солнца, злобствуют холодные ветры, дождь то моросит, то льёт, словно где-нибудь в Московской области. Шоры раскисают окончательно, а на некоторых такырах образуются озёра во много километров длиной.

Местные жители утверждают, что на их памяти никогда не было подобной осени.

Наблюдатели сейсмических станций в сравнительно лучшем положении, нежели геологи: их приборы стоят в надёжных землянках, сами наблюдатели никуда не ездят. И летняя жара, и осенняя непогода влияют на их работу меньше, чем на работу геологов, вынужденных ежедневно ходить в далёкие маршруты и часто менять лагерные стоянки.

Один раз мы даже оказываемся в положении «спасаемых». Возвращаясь из маршрута в конце октября, попадаем во время ночлега, всего в тридцати километрах от станции Даната, в грозу. Утром мы видим, что такыр, по которому надо ехать, превращён в огромное озеро. Вернуться мы не можем, так как путь лежит через то же озеро. Ждать нет смысла, ибо дожди льют так часто, что земля не успевает просыхать. Да и продукты на исходе — мы ведь рассчитывали завтра быть дома.

В течение пяти дней мы добираемся до Данаты. Прямой путь составил бы тридцать километров, но нам приходится делать бесконечные объезды, вилать, подчас поворачиваясь к Данате спиной. Наш шофёр Толя Кожанов и раньше всегда с честью выбирался из трудных мест, которыми изобилует бездорожье. Но сейчас он начинает творить настоящие чудеса. Мы не знали, что полуторка может ловко прыгать через ручьи или, веером разметая брызги, пробиваться по глубокой жидкой грязи. Мы застреваем, выкапываемся, снова застреваем, делаем в ручьях запруды, отводим воду, мокнем под очередным дождём, а после трудового, нелёгкого дня едим варёную капусту с солью — ничего другого у нас больше нет.

И вот, когда до желанного края сухой земли остаётся не больше километра, а оттуда до Данаты — уже проезжей дорогой — ещё восемь, над нами появляется небольшой самолёт. Он снижается, делает круг, второй, — и вдруг с него летит какой-то тючок и шлёпается в воду. Не может быть, чтобы это было нам! Лётчики, верно, ошиблись. Но в тючке оказывается несколько буханок хлеба, консервы и записка на моё имя. Узнаю почерк Николая Константиновича Бобровского, заместителя начальника нашей экспедиции. Бобровский и обычно пишет неразборчиво, а тут, очевидно второпях, нацарапал такое, что я скорее догадываюсь, чем читаю: «Ждём, волнуемся, высылайте связных». И приписка: «Если это машина Петрушевского — махните белым». Мы машем кто чем может! Самолёт снова снижается, летит второй тючок с продовольствием.

Молодцы наши товарищи! Решили, что мы попали в беду, и немедленно приняли меры. Разве мог усидеть в таком случае на месте Бобровский — старый комсомолец, как зовёт он себя. И это верно — живости и энергии у него, как у юноши.

Мы не одиноки на этом злосчастном грязном такыре, который держит нас уже пятый день! Последний километр грязевого болота преодолеваем быстро, и вот уже сухая земля — Даната. Побились.

Позднее мы узнаём, что в организации наших поисков, помимо Бобровского, активно участвовали и другие сотрудники экспедиции. Выяснив, что мы давно прошли Небит-Даг, но никуда не вышли, они подняли тревогу, вызвали по телефону из Казанджика Бобровского, обратились за помощью в Небитдагский горком партии. По просьбе товарищей из горкома в первый день поисков из областного центра вылетел самолёт, но он не нашёл нас. На второй день, несматра на резкое ухудшение погоды, вылет совершил другой самолёт.

В этой встревоженности за судьбу товарищей, в быстроте и действенности помощи великолепно проявилась одна из характернейших черт советских людей, воспитанных коммунистической партией.

В Казанджике нас ждут новости: вода, дошедшая с гор, затопила Чильямедский такыр, и дом нашей базы стоит на микроскопическом островке. Базу переносят в Казанджик.

Снова льют дожди; на горах выпал первый снег.

Мы работаем с большим трудом, урывками, в короткие сухие перерывы. Погода начинает сказываться и на деятельности станций: на одной залило водой землянку, на другой из-за непроезжей дороги не смогли во-время доставить фотобумагу для сейсмограмм — станция два дня не работала.

И всё-таки накапливаются новые факты, новые наблюдения, позволяющие экспедиции выполнить план — осветить проблему сейсмичности юго-западной Туркмении.

Середина ноября. Неожиданно устанавливается отличная погода — сухая, солнечная; днём можно ходить в одном костюме. О дождях напоминает лишь молодая зелёная трава; она лезет отовсюду, и издали кажется, что по предгорьям Копет-дага тянутся сплошные поля озимых, — вид для Туркмении необычный.

Теперь бы только и работать, но экспедиция сворачивается. Пора в Москву. К январю мы должны представить отчёт и карты. На зиму остаются три сейсмические станции, — их данные будут очень полезны в дальнейшем.

Мы с Резановым занимаемся составлением карт. Сначала мы рисуем схему структуры района.

Изображённая на листе бумаги, вся в сложном переплетении условных линий и знаков, она получается очень наглядной. Подобных карт для обследованной нами территории пока не делалось.

Вот Большой Балхан и Красноводский полуостров — это один крупный структурный элемент нашего района.

Копет-даг и Малый Балхан составляют другой элемент.

Состав и мощность горных пород этих двух участков, форма и размеры имеющихся на них складок, ряд других особенностей геологического строения подтверждают существенные различия истории развития обоих структурных элементов.

Копет-даг принадлежит молодой (в геологическом, конечно, понимании) складчатой области, с не вполне ещё закончившимися складчатыми процессами: в пределах этой области движения земной коры в целом и отдельных составляющих её участков являются ещё и сейчас достаточно резкими.

Большой Балхан представляет собой южную окраину тектонически более спокойной зоны, интенсивная складчатость в пределах которой закончилась довольно давно. Благодаря этому современные её движения отличаются медленностью и плавностью.

По границе этих двух областей, особенно там, где они в настоящий момент характеризуются различно направленными движениями, мы и вправе ожидать наибольшей активности. Связь сейсмичности с тектоническими структурами становится очень хорошо видной после наложения воскопла с показанными на ней эпицентрами землетрясений на структурную схему.

Картой сейсмического районирования мы занимаемся уже в Москве. Подтверждаются намечившиеся ранее выводы о несколько пониженной активности западного Копет-дага по сравнению с расположенными западнее районами Балханов и Красноводска и с прилежащим с востока Ашхабадским районом.

Все наблюдения на этот счёт согласуются друг с другом: западный Копет-даг принадлежит одному, а не разным структурным элементам. Тектоника его довольно проста: наши станции показали здесь лишь несколько эпицентров очень слабых землетрясений.

Предшествующие наблюдения, проводившиеся постоянно действующими станциями в течение многих лет, в этом районе не зарегистрировали ни одного эпицентра землетрясения, тогда как и восточнее и западнее они отмечены.

Взятые все вместе, эти данные — и геологические и геофизические — позволяют изобразить на схеме сейсмического районирования западный Копет-даг и прилежащие к нему равнины зоной несколько менее активной, чем более западную территорию.

В 1951 году мы должны были дать предварительную карту сейсмического районирования.

Уточнённую, окончательную карту предстояло составить позже, после дополнительных полевых исследований, проведённых уже в 1952 году только что закончившейся экспедицией.

Здесь уместно отметить, что обычно над составлением подобных карт работают многие годы.

Нашей же экспедиции ввиду срочности задания пришлось проделать эту работу в гораздо более короткое время — всего в полтора года.

Но уже и предварительная карта может оказать существенную помощь проектировщикам Главного Туркменского канала. Она позволит им в сейсмически активной зоне провести трассу по наиболее благоприятному направлению. Конечно, при уточнении положения трассы на тех или иных участках важную роль будут играть многие факторы: удобство осуществления строительных работ, наличие водных источников, подъездных путей и т. д. Но в ряду этих факторов определение степени сейсмичности того или иного района является одним из весьма важных.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЗАЛЕСКИЙ

★

ТЕМА БОРЬБЫ ЗА МИР В СОВЕТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Советский художник, внимательно наблюдающий за всем происходящим вокруг, не может пройти мимо основного конфликта современности — борьбы двух миров, двух лагерей: лагеря социализма и демократии — и лагеря империализма. Он не может молчать, когда современные варвары ведут истребительные войны против целых народов, когда империалистические прохвосты пытаются заглушить голос человеческой совести. Он призван употребить весь свой талант, всю силу своего мастерства на то, чтобы помочь остановить наступление чумных бактерий на человечество, чтобы вырвать из рук зарвавшихся поджигателей факел новой войны.

Определяя задачи партии в области внешней политики, тов. Г. М. Маленков в отчётном докладе ЦК ВКП(б) XIX съезду партии сказал:

«Продолжать борьбу против подготовки и развязывания новой войны, сплачивать для укрепления мира могучий антивоенный демократический фронт, крепить узы дружбы и солидарности со сторонниками мира во всём мире, настойчиво разоблачать все приготовления к новой войне, все происки и интриги поджигателей войны».

Советская литература, самая передовая, самая идейная литература в мире, призвана оружием художественного слова бороться за осуществление этих задач. Помогая сплачиванию всех честных людей в единый лагерь мира, в единый антивоенный демократический фронт, советские писатели должны беспощадно разоблачать врагов трудового народа, поджигателей войны. Советские писатели — активные борцы за мир во всём мире.

Один из ответственных участков советской литературы — драматургия. За последние годы советские драматурги создали ряд значительных художественных произведений, посвящённых благородной теме борьбы за мир. Такие пьесы, как «Русский вопрос» К. Симонова, «Заговор обречённых» Н. Вирты, «Голос Америки» Б. Лавренёва, «Миссурийский вальс» Н. Погодина, «Остров мира» Е. Петрова, не только надолго вошли в репертуар советского театра, но и были с успехом поставлены на сцене театров стран народной демократии и даже в ряде капиталистических государств.

Достоинства этих пьес заключаются в ясности и определённости драматического конфликта, в яркости и живости характеров — индивидуальных, своеобразных и вместе с тем типических, обобщённых. Жизнь человека изображается в них в самые кульминационные, драматические моменты, когда с наибольшей отчётливостью и силой возникает и обостряется борьба между героями, олицетворяющими идейно-политические интересы различных социальных групп. Борьба эта, определяя взгляды, стремления, чувства героев, питает драматические конфликты пьес, достигающие большой напряжённости в своём развитии.

Выдающееся место в репертуаре театров занял «Русский вопрос» К. Симонова. Это случилось не только потому, что пьеса актуальна и остра. Основные её тематические линии получили глубокое образное утверждение и развитие. Политическая идея пьесы не тонет в усложнённых поворотах интриги, характеры запоминаются в подробностях психологического рисунка, острый драматический конфликт

движет их развитие, а характеры, в свою очередь, повинуются логике происходящей борьбы, обостряют, обнажают идейный конфликт. У К. Симонова логика развития образа не является чем-то заданным, внешним, а воплощается в последовательности действий и переживаний героев, диктуемых реальными противоречиями самой действительности.

В «Русском вопросе» типическое раскрывается в рядовом, обыкновенном. В самом деле, Макферсон — это не какой-нибудь исключительный тип изверга; он рядовой босс американской буржуазной газеты. И все эти Престоны и Харди — рядовые подручные своего босса. И Джесси — совсем не роковая женщина. И даже сам Гарри Смит — один из многих средних американских интеллигентов. В этих образах нет никакой исключительности. И вместе с тем каждым этим образом очень многое сказано о современной Америке. Такова сила художественного синтеза общего и конкретного, типического и индивидуального. О многом говорит и конфликт пьесы: в борьбе вокруг книги Гарри Смита столкнулись две Америки; эта борьба показана как одно из характерных и выразительных проявлений острого политического размежевания общественных сил современной Америки. Иначе говоря, идея здесь органически воплощена в жизненно-естественном, но драматургически-типизированном движении человеческих судеб. Это и придаёт пьесе большую силу воздействия, художественную убедительность и яркость.

Интересна в этом смысле и пьеса Н. Вирты «Заговор обречённых». Народ — творец истории, — вот основная её идея. Автор утверждает эту идею драматическим действием, системой образов. Почти для каждого персонажа автор находит то индивидуальное, что характеризует мир его идей и чувств. «Классовый признак» в характеристике героя не кажется чем-то вроде «бородавки», как говорил А. М. Горький, а является тем внутренним центром, который как бы управляет всеми поступками, мыслями, чувствами изображаемого лица; «классовый признак» не приписан извне, а показан изнутри. Вот почему такие образы, как Ганна Лихта, Коста Варра, Макс Вента, Иоаким Пино, Христина Падера, кардинал Бирнч, Гуго Вастис, предстают

перед нами с большой психологической полнотой, как реальные, живые люди.

Ярко выписана центральная фигура пьесы — Ганна Лихта. Что является самым главным в её образе? Государственный ум, страстность политического темперамента, преданность партии и народу. Черты эти предстают не в отвлечённой обобщённости, а в живой конкретности — Н. Вирта показывает, что личные, индивидуальные свойства героини как раз и заключаются в её общественных качествах гражданина и коммуниста. Ганна всегда действует по законам своей природы, от себя, от самой своей сущности, а не по произволу автора. Даже такие, казалось бы, взаимоисключающие черты, как ощущение счастья и ощущение одиночества, автор не противопоставляет, не сталкивает, а соединяет в характере героини. У Ганны погибли дети и муж, «она потеряла всех, всех», — говорит о ней Мина. Но эту мысль об одиночестве Ганны автор тесно связывает с её непреклонным желанием бороться за то, чтобы навсегда уничтожить причины, порождающие такие потери. С высоким сознанием человечности и величия того дела, которому она служит, связаны её стойкость, сила духа, оптимизм, вера в будущее.

Из другого человеческого материала создана Христина Падера, антипод Ганны Лихта. Вначале кажется, что характер её состоит из одних противоречий. Её вчерашний день — борьба в Испании на стороне антифашистских сил, её сегодня — борьба против всех, кто идёт за коммунистами. Однако почему Христина Падера вчера участвовала на стороне прогрессивных сил в гражданской войне в Испании, а сегодня полна ненависти к коммунистам? Объяснять это только одним азартом борьбы — значит ничего не объяснить. Надо понять, откуда рождается её политический авантюризм, игра ва-банк, риск. Кажущаяся противоречивость природы Падера обусловлена «классовым признаком», который определяет её истинные цели в жизни. Жадное стремление к власти, господству, желание сохранить, обезопасить себя от наступления новых исторических сил — вот её суть. Всё остальное — следствия, частности, связанные часто с изощрённостью мимикрии. Вирта показывает, как «классовый признак» Христины Падера

ра становится главной пружиной её психики, поступков, стремлений.

И так почти в каждом образе. Обобщая те или иные типичные черты персонажа, автор умеет найти и показать и наиболее характерные черты, свойственные только данному лицу, составляющие его особую выразительность, неповторимость.

Идейно-художественные достоинства имеют и пьеса «Миссурийский вальс» Н. Погодина, наносящая оружием сатиры удар по «американскому образу жизни».

Героем пьесы является Керри Фостер, молодой учёный, сторонник прогрессивной партии, вступающий в борьбу с местным миссурийским боссом Томасом Брауном. Изображение этой борьбы ограничено одним эпизодом — выборами некоего Генри Фелонея в сенат от демократической партии. «Выборами» руководит Томас Браун, прообраз пресловутого Тома Пендергаста, в своё время превратившего штат Миссури в личную вотчину. Томас Браун, как он показан в «Миссурийском вальсе», отличается доведённым до предела профессиональным цинизмом, политической развращённостью и гангстеризмом. Реалистическое воспроизведение этих черт, равно как и характеристика камарильи демократической партии штата, начиная с Джонни Дженнари — главного адъютанта Брауна — и кончая мелким газетным жуликом Кларком, наносит политический удар по всей американской растленной «машине» выборов.

Сильна своей сатирической направленностью и пьеса «Голос Америки» Б. Лавренёва. Особенно примечателен выведенный в ней образ сенатора Герберта Д. Уилера, в котором зоологическая ненависть ко всему честному, смелому, благородному сочетается со страхом перед завтрашним днём, с беспокойством по поводу судьбы того самого «американского образа жизни», который, по его мнению, призван господствовать во всём мире.

Эти пьесы, созданные советскими драматургами в 1946—1949 годах, завоевали признание зрителя своей правдивостью, своей боевой идейной целеустремлённостью, художественной выразительностью образов.

В дальнейшем советские драматурги стали уделять теме борьбы за мир, изображению зарубежной жизни всё большее и большее внимание. Однако почти все

новые пьесы во многом уступают первым произведениям на эту тему.

Анализ новых пьес убеждает, что ряд наших драматургов подходит к делу без глубокого изучения изображаемой жизни, без достаточно взыскательной работы над характерами, языком действующих лиц. Нередко при этом они убаюкивают себя надеждами на актуальность темы...

Во многих новых пьесах бросается в глаза однообразие, однолинейность изображаемых характеров. Очень часто образ героя рисуется одной-двумя красками, приблизительно, с обильным использованием литературных образцов, без живого ощущения реальной сложности изображаемых типов и жизненных обстоятельств, определяющих их поведение, психологию.

Художник должен стремиться к тому, чтобы жизнь его героев была показана во всех измерениях, под любым возможным углом зрения, всесторонне и глубоко.

Пора понять, что театр не может, не имеет права «иллюстрировать» жизнь, он должен отражать и объяснять происходящие процессы.

А между тем драматурги, берущиеся за важную тему борьбы за мир, нередко занимаются лишь иллюстрацией общезвестных положений.

И дело даже не в том, имеют ли место в нашей драматургии случаи спекуляции на важности и злободневности темы, когда читателю и зрителю подсовываются произведения невысокой художественной ценности.

Беда в том, что люди с вполне добрыми намерениями подчас не умеют, не научились показывать своего героя так, чтобы он выглядел не «картинкой», а живым и действующим лицом. Ведь в драматургическом произведении всё утверждается через людей, через трагические, героические или комедийные перипетии, через поступки, мысли, чувства, ощущения героев.

Сказанное относится к пьесам, посвящённым борьбе за мир, в точно такой же степени, как и к пьесам на любые другие темы.

Герой современной реалистической пьесы — это прежде всего человек, рождённый и воспитанный в определённых условиях

политической, экономической, духовной жизни. Чтобы сделать его героем художественного произведения, надо хорошенько его узнать, увидеть, изучить.

Но как быть драматическому писателю с теми героями, которые находятся вдали от его непосредственных жизненных наблюдений, когда художник должен к ним добираться как бы издалека? Именно с этой проблемой пришлось столкнуться тем драматургам, которые в основу своих произведений берут тему борьбы за мир в зарубежных странах.

Когда Н. Погодин начинал работу над «Миссурийским вальсом», он внимательно и долго изучал документы и литературные материалы, относящиеся к делу миссурийского босса Тома Пендергаста. На этой основе была найдена сюжетная канва и драматический конфликт пьесы. Но сюжет и конфликт — это ещё не вся пьеса. Необходимы ещё образы-характеры, ясно увиденные и глубоко познанные в своей человеческой сущности. И здесь на помощь художнику пришло знание политической обстановки, понимание исторических закономерностей и многое другое, что обуславливается жизненным опытом. Однако и это ещё не всё. Надо уметь любить и ненавидеть своих героев, надо чувствовать реальность их существования и воссоздать эту реальность в драматическом действии. Всё это даётся талантом художника, его творческим воображением, его способностью находить глубокие и неожиданные ассоциации, сравнения и параллели. И в результате Н. Погодиным было создано произведение, отличительным достоинством которого является живость, естественность, психологическая законченность большинства образов.

Только на том пути, на котором были созданы «Русский вопрос», «Заговор обречённых», «Голос Америки», «Миссурийский вальс», могут возникнуть новые полноценные произведения на тему борьбы за мир. Всякая облегчённость в драматургическом решении этой темы, всякие попытки найти в ней избавление от трудностей создания современной драмы — неизбежно ведут драматурга к просчётам и провалам, идейным и художественным. Отдалённость жизненного материала не облегчает, а осложняет задачу художника, — об этом всегда надо помнить драматургу, как бы ни было заман-

чиво разнообразие открывающихся его взору конфликтов, заключённых в этом материале!

2

В пьесах, посвящённых борьбе за мир, очень большое значение имеет проблема положительного героя, проблема создания образа последовательного борца за мир.

А. М. Горький неоднократно подчёркивал, что действие пьесы может развиваться с жизненной естественностью, если в ней имеются твёрдо очерченные характеры. «Имея эти характеры, — писал он К. С. Станиславскому, — вы уже имеете не только материал, но и неизбежность драмы; поставьте эти характеры друг против друга, они тотчас же начнут действовать, т. е. жить».

Но чтобы создать такие характеры, необходимо найти в них индивидуальное начало, то, что является конкретным выражением их социальной сущности, что определяет их собственную линию в развитии конфликта. Представить такие твёрдо очерченные характеры — это значит увидеть их явные и тайные помыслы, их страсти, чувства, мысли, склонности, возможности, интересы; это значит показать, какими они кажутся сами себе и каковы они на самом деле; это значит узнать не только то, что они делают сейчас, но и что они могут делать в любых других «предлагаемых обстоятельствах».

Советские драматурги должны уметь создавать многообразие характеров людей, приходящих в лагерь мира, показывать сложные пути и перепутья их человеческих судеб, всё то, что ведёт их и приводит в стан борцов. А такие характеры могут возникнуть в пьесе лишь тогда, когда они показаны в движении, в развитии.

Художественный талант предполагает умение улавливать и показывать драматические переходы одного чувства в другое, одной мысли в другую — не результат, а именно развитие психологического процесса, когда раз только ещё возникают, как говорил Чернышевский, «едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием...». Знание человеческого сердца, умение раскрывать его тайное тайных Н. Чернышевский считал самым важным достоинством

таланта писателя. В этом умении и заключён секрет создания драматического характера. Но как часто драматурги боятся показать тонкую и сложную «диалектику души» героя! Их словно пугает самая возможность заглянуть в эту душу (мало ли что из этого может выйти!). Они обычно спешат загрузить героя «обстоятельствами действия» так, чтобы он и минуты не имел для «внутреннего монолога», для свободного суждения о смысле и целях жизни, о том, что ему дорого и что отвратно, словом, обо всём том, о чём думают, говорят, судят люди в жизни. Даже о любви, о чувствах дружбы, симпатии, о своих привязанностях герои наших пьес чаще всего говорят как-то торопливо, «на бегу». В результате внутренний мир героя остаётся нераскрытым. А раз не раскрыт этот мир, то не раскрыт и драматический нерв конфликта.

Что, например, можно сказать по поводу образа Фредерика Дюмон-Тери, героя пьесы «Гражданин Франции» Д. Храбровицкого? Сумел ли автор хотя бы в сотой доле раскрыть «жизнь человеческого духа» этого благородного человека, показал ли он, хотя бы отчасти, тот неистощимый, чудодейственный источник, откуда он черпает силы для своего героического поведения? Объяснена ли пружина внутренних движений человеческой мысли? Автор может сослаться на то, что он описывает психологическое состояние героя через драматические коллизии, возникающие в его жизни. Но как даётся это описание? Факты и события обступают героя тесной толпой, их очень много, слишком много нагромождено для одной пьесы. Роль развивается, как телеграфный код: точки — тире, точки — тире и — факты, факты. Нет никакой возможности разобраться в том душевном процессе, в ходе которого возникают мысли и чувства героя. Вот Фредерик Дюмон-Тери только что открыл искусственную радиоактивность вещества; вот он отказывается воспользоваться предложением американского посла последовать за ним в его «дугласе» в США; вот он произносит патетическую речь перед студентами Коллеж де Франс; вот он соглашается руководить тайными фабриками боеприпасов; вот его арестовывают эсэсовцы, и вот его спасают коммунисты; вот он вступает в ряды французской ком-

партии, испытывает урановый котёл, собирается на Конгресс мира в Стокгольм и т. д. и т. п. Сколько фактов, сколько событий! Но ни в одном из них мы не видим душу этого человека, его внутренний мир.

В пьесе действует второстепенный персонаж — американский журналист, корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн» Пирсон. И, право, этому вечно суеотящемуся человеку удаётся как-то больше «самораскрыться», чем центральному герою пьесы. Однако и Пирсон — при всей его жизненной активности — не больше, чем перепев уже знакомых, известных нам по другим пьесам образов. Зная «Русский вопрос» с изборождённой здесь плеядой журналистов и их нравов, не так уже трудно составить свой «синтетический» образ американского газетчика...

Творческий метод, которым пользуется Д. Храбровицкий при создании характера, сам по себе бесплоден, лишён живописности и бесконечно далёк от подлинной жизни. В его пьесе нет ни внутреннего драматического напряжения, ни того, что можно назвать поэзией жизни. Вот почему внутренняя тема, которую, очевидно, хотел в образе Дюмон-Тери раскрыть драматург, — тема формирования героического характера — потонула, растворилась в нагромождении фактов и событий.

Слабость пьесы «Гражданин Франции» заключается и в том, что она лишена необходимой концентрации действия и, по существу, иллюстративна.

Этой иллюстративности, схематизма во многом сумел избежать драматург А. Арбузов в своей новой пьесе «Европейская хроника». Через пьесу проходит группа героев, с которыми мы встречаемся в дни знаменательных исторических событий: начало гражданской войны в Испании, позор мюнхенской капитуляции, конец советско-финской войны, схватки датских патриотов с германскими оккупантами, начало новой, американской оккупации Дании.

Ещё в экспозиции автор как-то сразу сумел определить «самостоятельность» судьбы каждого из героев пьесы. Среди них мы видим известного французского художника Анри Шарлюса, датского писателя Эдварда Люне, журналиста Яльмара Бергстеда. И тут же рядом с ними — весёлую, разбитую датскую девушку Дагни

Киркегор, умную, тонко чувствующую, глубоко думающую Марию Йенсен, не нашедшего себя Гарольда Хога.

Но проходят исторические сроки, в мире совершаются большие политические события. Решаются судьбы родины, Европы, мира. Каждый из героев пьесы пытается по-своему решить и личную судьбу. И каждый из них, находя своё место в жизни, раскрывает свой внутренний мир. Всё яснее определяются политические убеждения писателя Люне, всё ближе к нему становится Мария, без колебаний и сомнений выбирающая трудный, но славный путь коммунистки. Всё дальше от неё уходит Бергстед, в душе которого живёт червь неверия и малодушия. Быстро освобождается от всяких иллюзий анархической «свободы» Гарольд Хог, превращаясь по воле случая из люмпена в фабриканта смерти, владельца оружейного завода. Мучительные сомнения переживает художник Анри Шарлюс (чем-то напоминающий художника Самба из романа «Девятый вал» И. Эренбурга), растерявшийся перед творческими и жизненными трудностями. Навсегда уходит от Эдварда Люне Дагни, соблазненная высокими гонорами голливудской звезды.

Достоинство пьесы Арбузова заключается в том, что душевные движения героев показаны автором в остром драматическом диалоге, во внутреннем монологе, через взаимодействие героев, через их поступки, через отношение к тем или иным событиям. Правда, не всё здесь удаётся автору. Подчас очень заметным становится самый механизм развития действия — через случайные совпадения, столкновения, встречи. Иногда автор явно перебарщивает, наделяя своих героев таким даром политического предвидения, какой не сообразуется с реальными обстоятельствами и характерами. Встречаются психологические провалы в развитии некоторых образов. Неудачным следует признать образ коммуниста Лунда. К концу пьесы заметно тускнеет, в ней появляется искусственность, надуманность. И тем не менее надо отметить принципиальную удачу автора в построении большинства образов, его умение воссоздать жизнь в движении, в развитии живых противоречий.

В нашей критической литературе как-то велась дискуссия на тему: должен ли со-

временный автор следовать классическим законам драматургической поэтики, или же в современной драме, исходя из новых эстетических требований, можно ими пренебречь. Спорившие тогда критики старались хитроумно избежать ответа по существу. Одни боялись, что их заподозрят в архаизме, в воскрешении «мёртвых» канонических правил; другие просто не знали, что ответить. Понятно, смешно сейчас требовать верности «трём единствам». Современное содержание драмы давно определило те формы, в которых оно с наибольшей для себя пользой может наиболее полно и ярко уложиться.

Но абсолютно не верно на этом основании утверждать, что современная драма не имеет никаких специфических особенностей, не знает точных границ формы. Драматургическая форма складывается согласно требованиям жизненного материала. Однако вряд ли следует, исходя из этого, анархически третировать основы драматической поэзии, связанные с её спецификой. Даже такой «разрушитель» старой поэтики, как Н. Погодин, написавший много пьес, где были взорваны старые канонические правила, как-то воскликнул: «Концентрация действия, говоря по правде, — это идеал драмы, к которому втайне стремится каждый драматический писатель, хоть он вынужден бывает вслух защищать иные свои драматические способы...».

Границы или формы драматического жанра, препятствуя распылению жизненного материала, дают ему опору, служат развитию конфликта, действия, драматического характера. Конечно, определения этих границ и форм меняются, но они не теряют своей специфической чёткости. Во всякой драме характер должен действовать и раскрываться по ходу развития конфликта, развиваться, формироваться так, как он формируется в жизни. Однако сама эта жизнь должна быть собрана и сжата до предела — иначе драма перестает быть драмой.

Об этом частенько забывают драматурги.

Нехватает определённости, цельности, самостоятельности развития характера «от себя», «от самой своей сущности» такому, например, герою, как Вилли Хауэр в пьесе Ю. Германа «Тёмной осенней ночью». В этом образе, по замыслу драматурга,

должны быть воплощены типические, собирательные черты, характерные для тех людей послевоенной Германии, которые в пору нацистского господства были духовно развращены германским империализмом и посланы на Восток, на равнины России добывать для немецких концернов «жизненное пространство». Вилли Хауэр попал в число тех, которым судьба сохранила жизнь. Советские люди научили их уважать неприкосновенность советской земли и через труд вернули вновь к человеческой жизни. В Германской Демократической Республике Вилли нашёл своё новое, свободное отечество. Какой интересный человеческий материал для драматурга, поставившего себе целью показать пути-дороги людей послевоенной Германии, обнаружить преступность замыслов американских фашистов, пытающихся вновь обратиться германский народ в пушечное мясо..

Для раскрытия этой темы у драматурга было всё или почти всё: удачно выбранное место действия, острый конфликт, чёткая расстановка действующих лиц. Но Вилли Хауэр почему-то почти не участвует в развитии основного драматического конфликта. Его не занимают мысли и чувства о родине, о том, что же теперь он должен делать среди честных людей своего народа, как надо помочь выкорчевать зло, посеянное нацистами и вновь возвращаемое американскими гаулейтерами. Его волнуют лишь мучительные подозрения в отношении верности своей молодой жены. Вилли Хауэр выглядит только тупым, озлобленным ревнивцем, не способным логически мыслить, легко поддающимся грязным наветам провокаторов. Характер Хауэра почти совершенно не раскрыт. Автор находится в плену литературных реминисценций, он насыщает жизнь Вилли Хауэра деталями, заимствованными из дешёвого любовного романа, вносящими в образ черты, для него неорганичные. Когда же автор спохватывается и вовлекает героя в основной драматический конфликт, остаётся слишком мало сценического времени для того, чтобы показать, как Хауэр всё же входит в новую жизнь, как он приходит в лагерь борцов за мир.

Серьёзные промахи такого рода встречаются и в пьесе В. Любимовой «Под солнечным небом». Изображённые в ней жизнь, характеры, ситуации выглядят неярко,

тускло, во многом кажутся трафаретными, придуманными. Враги мира показаны слишком примитивными, а борцы за мир представлены поверхностно, невыразительно. Правда, и здесь мы видим живые, оригинальные характеры (Тереза, Бруно, Лучия), но большинство образов лишено индивидуальности, неповторимости, жизненной полноты, богатства психологических оттенков. Такие персонажи, как капиталист Фульвио Кадаверо, американец Альфред Грамер, коммунист Фоссати, уличный певец, дедушка Габриэле,— все они выглядят неживыми, отвлечёнными, абстрактными.

Слабость некоторых положительных образов снижает идейно-художественные достоинства и пьесы А. Первенцева «Младший партнёр». Увлёкшись сюжетным многообразием, автор слишком ограничил поле действия своих героев. В «Младшем партнёре» — целая серия крупных и мелких конфликтов. Каждый из них имеет своё сюжетное развитие, подчас слабо связанное с развитием главного конфликта. Так, если главным конфликтом является столкновение лондонских докеров с американской военщиной, то наряду с ним в пьесе присутствует ещё целый ряд других конфликтов. Это — столкновение Эрнста Хилера, владельца колониальной фирмы по торговле какао, со своим «компаньоном» — американским полковником Джексонном; это — конфликт между тем же Джексонном и Эвелин, дочерью Хилера, между английским пилотом Генри Куком и Джексонном, между американским лётчиком Чарльзом Линдом и его командованием и т. д. Это множество конфликтов то собирается в один узел, то распадается на ряд отдельных сцен и сюжетных мотивов, лишая действие композиционной стройности и последовательности. Но это полбеды. Более существенно то, что не все эти конфликты находят глубокое развитие в системе психологически разработанных образов. В частности, это можно сказать о таких драматических столкновениях, как столкновения Кука и Джексона, Джексона и Линда; недостаточно глубоко разработан и главный конфликт пьесы — между докерами и американской военщиной.

Борьба Джексона со сторонниками лагеря мира разгорается в связи с прибытием в лондонский порт американских лайнеров с военными грузами. Рабочие-докеры отка-

зываются их разгружать. В порту начинается забастовка. Автор стремится показать, как постепенно крепнет лагерь мира, как приходят в него не только докеры Блэйк, Боб и их товарищи, но и английский пилот Генри Кук, американские лётчики Чарльз Линд и Джордж Колдера... Однако, за исключением Блэйка и американского сержанта Колдера, характеры которых показаны в развитии, представители демократического лагеря обрисованы скупо, невыразительно. Особенно обеднён образ Генри Кука, по некоторым авторским намёкам человека активного, волевого, смелого и умного. Однако, вместо того чтобы раскрыть в нём все эти качества, автор главным образом предоставляет ему право переживать нежные чувства к дочери капиталиста Хилера — Эвелин. А между тем роль Генри Кука могла бы стать главной, ведущей в развитии основного драматического конфликта. Но таковой она, к сожалению, не стала.

Не разработан в пьесе и другой положительный образ — капитана Линда. В начале пьесы мы знакомимся с ним как с участником дебоша, происходящего за сценой, затем он появляется на сцене и тепло говорит о роли русской армии в борьбе с нацизмом. Проходит пять лет. Вновь приехавшего в Англию Линда занимает вопрос о цели пребывания военной авиации США на английских аэродромах. Спровоцированный Джексонем, Линд попадает в тюрьму. Трагична судьба честного Линда, но в тот момент, когда его арестовывают, мы больше волнуемся не за него, а за его друга Колдера, которому также угрожает опасность очутиться в наручниках. А происходит это потому, что роль Колдера ярче выписана драматургом, тогда как у Линда нет своей индивидуальности, своего характера, своего языка. В пьесе он выступает только как рупор автора.

Даже в одной из лучших пьес, посвящённых борьбе за мир, в «Голосе Америки» Б. Лавренёва, образ положительного героя, по нашему мнению, не вполне удался автору. Речь идёт о капитане Кидде. Капитан Кидд поссорился в Европе с влиятельным американским сенатором, министром Уилером, из-за определения целей минувшей войны. Через два года, вновь столкнувшись с этим господином, он испытывает на себе все «прелести» американ-

ской «демократии», лишаящей его офицерского мундира, чести, крова и гражданских прав.

Автор с большой симпатией рисует образ человека, заражённого, по выражению А. М. Горького, свсеобразной болезнью, именуемой «американским идеализмом». В тридцать два года он ещё верит в незыблемость принципов Линкольна, в силу законов Вашингтона, почти ничего не знает о Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и держится хорошего мнения о своём бывшем командире Хаустоне. И только в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности у Кидда раскрываются глаза на многое из того, что происходит в США. Его иллюзиям приходит конец. Освободиться от этих иллюзий помогает Кидду его боевой друг сержант Макдональд. Он прошёл с Киддом весь путь войны; потом дороги их разошлись. Вновь они встретились в тот момент, когда для Кидда стали меркнуть американские звёзды. Коммунист Макдональд является во-время. Он направляет Кидда на путь борьбы, но сам Макдональд в пьесе раскрыт весьма скупо.

Правдива ли история Кидда? Да, правдива. В чём-то его судьба напоминает историю Гарри Смита из «Русского вопроса». Однако, нам кажется, наивность Кидда не всегда оправдана, его характеру не хватает определённости, собранности, внутренней силы, а это, в свою очередь, оказывает влияние и на развитие конфликта, несколько снижая его драматическую напряжённость.

В новых пьесах советских драматургов очень мало таких героев, в которых воплотились бы черты борца-коммуниста, непреклонного в своей борьбе за мир, за счастье и освобождение народа. Миллионы людей, которые приходят в лагерь мира, совершают свой путь не только под влиянием внутренних размышлений, не только потому, что они убеждаются в бесчестии правителей своих стран, но и на основании тех благородных примеров, которые дают в своей деятельности передовые борцы за мир — коммунисты, под влиянием их правдивого слова, их борьбы за массы. К сожалению, эта тема остаётся почти не решённой в советской драматургии.

Не приходится доказывать важность и

значение этих образов: ведь в них художественно воплощается величайшая закономерность нашей эпохи — ведущая роль коммунистических партий в борьбе за кровные интересы народа. Разрабатывая тему борьбы народных масс за мир и демократию и не показывая в ярких, художественных образах коммунистов, драматурги не могут быть верными исторической правде, правде великой борьбы лагеря мира против лагеря войны.

Вместо того чтобы показать коммунистов в главном, в решающем, что определяет их жизнь, в чём может глубоко и полно раскрыться их характер, некоторые драматурги ставят самих героев в такие сюжетные положения, которые только затмевают решающие черты их характеров. Так, например, в пьесе «Джон—солдат мира» Ю. Кроткова в биографии коммуниста Дании Лайяна как наиболее яркий жизненный факт вписывается история неудачной любви к Аннет — жене провокатора Стива Эмери. В пьесе «Тёмной осенью ночью» Ю. Германа образ коммуниста Норберга, редактора рабочей газеты, борющейся против милитаризации промышленности Западной Германии, несёт чисто служебные функции в развитии сюжета: сначала его имя связывается с мнимой супружеской изменой комсомолки Мари Хауэр, а затем Норберг становится жертвой чудовищной провокации американского босса Мак-Клосски. А что за человек Норберг, как он борется, как руководит, как действует в борьбе с американскими гаулейтерами, с фашистами, — всё это в пьесе не показано.

Чувства героя, события его личной жизни, в том числе и самые драматические, могут и должны войти в пьесу и помочь драматургу сделать образ героя более многогранным, жизненным. И речь идёт не об «очищении» образа героя от всего личного, не связанного с выполнением им своих главных общественных обязанностей, двигающих конфликт пьесы, а о том, чтобы главное, то, ради чего драматург ставит своего героя в центр драматического конфликта, не заслонялось, не вытеснялось искусственными, мелодраматическими частностями.

Не удался, по-моему, образ коммуниста и в пьесе «Вперёд, отважные!» А. Заха и И. Кузнецова. В заметках «О драматургии

для детей», напечатанных недавно в «Дневнике писателя» «Нового мира», Валентин Катаев, касаясь этой пьесы, упомянул образ Раймона Робера, как «полный глубокого обаяния». Но в чём заключается это обаяние — В. Катаев не объясняет. Как же на самом деле показан коммунист Робер?

В пьесе Робер впервые появляется во второй картине. Это только что приехал из Парижа в свой родной город. Здесь всё ему знакомо, здесь он свой, близкий, всем нужный человек. Первое появление Робера почти полностью «уходит» на приветствия. Кроме весьма малозначительных фраз, вроде: «Здравствуй, малыш!», «Дай я тебя обниму, старый друг», «Ну, рассказывай, Андре, рассказывай...», «Как относишься к забастовке железнодорожники?», — Робер почти ничего не говорит и тем более ничего не делает. Во второй раз мы встречаем Робера в доме мэра Бонара (кстати, прекрасно очерченная авторами фигура), куда он пришёл, чтобы заявить протест против закрытия школы. Диалог Робера и Бонара подтверждает, что Робер — энергичный человек и готов бороться против закрытия школы, но и в этой сцене мы не ощущаем живой индивидуальности героя. Далее Робер становится жертвой полицейской провокации: его без всякого основания арестовывают. И в этой сцене не происходит ничего такого, что бы нас сблизило с героем, что помогло бы узнать какие-то новые черты его характера. Затем мы встречаем Робера в небольшой сцене, где он сталкивается с американцем Брегли. В последний раз видим его на баррикаде, у школы. Девушка Мари запекает песню «Привет семнадцатому», а Робер, стоя сзади неё, призывает солдат не стрелять в рабочих. Вот и всё, что связано с этим героем. Авторы не раскрыли внутреннего мира Робера, не показали своеобразия его характера. И если уж говорить о достоинствах этой хорошей в целом пьесы, то в первую очередь надо назвать образы «отважных», в которых чувствуются яркие индивидуальности, живость, непосредственность. Это — беззаботный, но смелый Жак, решительный и упорный Рене, неунывающая, отважная Ирен, скромная, застенчивая, всегда немного печальная Мари. Удались авторам и фигуры врагов — Эдмон, Пьер, мэр Бонар.

Можно было бы продолжить список

неудач и потерь в области создания полноценного образа коммуниста, борца, человека, являющего пример для подражания своим характером, поведением. Но и так ясно, что задачи в этой области ещё не решены советскими драматургами. Исключение лишь составляет образ Ганны Лихта («Заговор обречённых»). Само по себе это исключение ещё больше подчёркивает неудовлетворительность общего положения. Пока наши драматурги создают только «должность» коммуниста, но им ещё не удаётся создать человека, характер. Ведь что такое в нашем понимании «человек с характером»? Это значит: он многое пережил и закалён переживаниями, в нём есть нечто сильное, могучее, благородное, на что можно положиться, чему можно довериться. Вот таких сильных борцов, не аскетических подвижников, а глубокочеловечных, многогранных и ярких в своей жизненности людей хочет видеть советский зритель в новых пьесах советских драматургов.

«Сила и значение реалистического искусства,— говорит тов. Г. М. Маленков,— состоит в том, что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей».

3.

С проблемой создания полноценного характера тесно связаны проблемы национальной типичности и языковой характеристики сценического героя.

Недавно мне довелось ознакомиться с пьесой «На голубой реке» В. Пушкива. Пьеса изображает один из эпизодов гражданской войны в Китае. Тема пьесы благородная, в её основу положен острый конфликт. И тем не менее пьесы не получилось. Нет в ней ни подлинно живых образов, ни настоящего волнующего драматизма. В этой пьесе поражает одно обстоятельство. Всех её героев вполне возможно представить в любой сюжетной ситуации, в любом географическом месте, в любых национальных костюмах. А происходит это потому, что автор, создавая образы-характеры, прибегает таким важным «строчительным» материалом, как национальный колорит, ори-

гинальность склада речи, её интонационное своеобразие. Всё это и привело к национальной обезличенности героев. С другой стороны, внутри каждой социальной группы реплики одних персонажей можно свободно передать другим. От этого ничего не изменится. Понятно, в такой пьесе ни о какой индивидуализации и типизации характеров говорить не приходится. Какая уж там индивидуализация, когда так легко можно изменять и переставлять всё, что должно составлять неповторимый характер человека!

Писатель, создавая национальный характер, не может не считаться с той специфической образностью, манерой речи, которые отличают язык каждого действующего лица, выражают особенности его психического склада. Нельзя написать характер без передачи всего того, что составляет манеру речи персонажа — её ритм, темп, интонационное, модуляционное своеобразие, если для этого не будет материала в самой структуре, в лексике и грамматическом строе этой речи.

Когда мы говорим об интонационном своеобразии речи, отражающей особенности национального характера, мы вовсе не предлагаем стилизовать речь, отказываться от собственного, присущего только данному автору литературного языка. Весь вопрос в том, чтобы в пределах литературного языка автора так построить речь персонажа, чтобы в ней слышался национальный колорит, чтобы артисты могли найти «зерно» характера в самом строе его речи. Например, А. М. Горький в пьесе «Зыковы», создавая образ Хеверна, синтаксически так построил его речь, что с первого момента для нас ясно его иностранное происхождение.

Создавая образ героя нерусской национальности, драматург должен сделать всё для того, чтобы актёр мог правдиво передать типические черты характера. Чтобы, например, реплики героя-француза могли лететь, сверкать, передавая интонационные особенности французской речи, надо создать своеобразный строй языка данного персонажа. Не может диалог вестись в нужном для такого строя темпе, если герои, участвующие в этом диалоге, будут говорить длинными, вялыми фразами, со многими придаточными предложениями. А, к сожалению, так иногда у нас и пи-

шутся пьесы, в которых изображаются французы.

В какой степени может характеризовать речь старика-итальянца (в пьесе В. Любимовой «Под солнечным небом») такой оборот: «Синьора... т о-б и ш ь, миссис Грамер приказала вымыть площадку...»? Или в какой мере создают национальный колорит образа американского советника лисынмановской полиции Спельмана (в пьесе И. Штока пьесы «Южнее 38-й параллели» Тхай Дян Чуна) такие выражения, как «пошёл вон», «болван», «не валяй дурака», выражения, скорее всего заимствованные из лексикона какого-нибудь зауряд-прапорщика царской армии?

Русский язык настолько богат и гибок, настолько подвижен и совершенен его грамматический строй, что талантливый художник, берущийся за пьесу во всеоружии языковой культуры, может, не впадая в стилизацию или имитацию, так передать речь персонажа-иностранца, чтобы в ней отчётливо ощущался национальный колорит.

Ведь сумел же К. Симонов в пьесе «Русский вопрос» так выписать образы героев, что сразу возникает впечатление, будто перед нами действуют живые американцы. В частности, это достигается тем, что автор сумел в каждом из них найти своеобразное, индивидуальное, то, что отличает одного персонажа от другого, что делает их собирательными образами. Автор словно подслушал речь своих героев в реальной действительности.

Вот перед нами относящееся ещё к довоенным временам выступление одного из бывших редакторов газеты «Нью-Йорк трибюн» Джона Суинтона перед нью-йоркскими журналистами:

«Ни один из вас не смеет честно высказать своё мнение. Вы заранее знаете, что, если вы честно выскажете своё мнение, оно никогда не появится в печати. Мне платят 150 долларов в неделю за то, чтобы я не выражал своего мнения на страницах моей газеты. Все вы получаете приблизительно те же деньги за то же самое. Если бы я позволил себе выразить своё искреннее мнение о своей газете, то в 24 часа лишился бы работы... Мы являемся орудиями и вассалами богатей, остающихся в тени. Мы интеллектуальные проститутки».

А вот как почти о том же говорит один из персонажей в «Русском вопросе»: «В конце концов я для него (хозяина — В. З.) не больше, чем рабочий на конвейере. Вчера я привёртывал левое колесо, а сегодня он приказал мне привёртывать правое. Он искренне удивится, если я начну возражать, и найдёт другого. И этот, другой, всё равно будет делать то, что захочет он. А он хочет крайностей, потому что этого хотят его большие хозяева с Уолл-стрита. И если он начнёт им возражать, они точно так же найдут другого вместо него, как он — другого вместо меня...».

Или: «Лучше гадость за тридцать тысяч, чем за десять долларов. А делать гадости придётся, всё равно. Никуда не уйдёшь...».

Суинтону платили за «гадость» 150 долларов в неделю. Журналистам в «Русском вопросе» платят в зависимости от того, какие гадости они пишут по заданию своих хозяев. Говоря об этих гадостях, они высказывают почти те же мысли и в той же интонации, что и Суинтон. То, что происходит в действительности, конденсированно отражается в пьесе, в частности — через своеобразие речевой характеристики персонажей.

Другим примером типизации может служить пьеса «Заговор обречённых». Изображение типического в этой пьесе имеет свою особенность. Автор сознательно не назвал точного места действия, ограничившись ремаркой, что «действие происходит в одной из западных стран в тысяча девятьсот сорок... году». Но, зашифровав место действия и национальную принадлежность своих героев, автор в их характеристике всё-таки настолько конкретен, что читатель и зритель достаточно ясно могут представить себе, где, в какой стране всё это происходит, и довольно точно отыскать «родину чувств» героев.

Характеры героев этой пьесы прекрасно оттеняются своей острой, ясной индивидуализированной речью, по которой хорошо чувствуется и социальная их принадлежность. Проста и грубовата речь крестьянина Косты Варра. Он часто как бы подбирает слова для выражения своих мыслей. Правда, в его языке проскальзывает иногда и политическая терминология, слова, услышанные и усвоенные через общение с политическими деятелями, что

совершенно естественно для человека, стоящего во главе мощной общественной организации. Свообразна речь промышленника Вастиса. Это мало общительный и плохо воспитанный человек. В его языке часто встречаются грубые обороты и поговорки. Иным языком говорит Христина Падера. Её речь плавна, закруглённа, она претендует на изысканность. В словарном материале, которым характеризуются кардинал Бирнч или его секретарь — монах Яков Ясса, автор уместно пользуется лексиконом католических священников. Особый склад речи у Исакима Пино, министра общественной безопасности и лидера социал-демократической партии. Это фальшивый, двуличный человек, краснобай, любитель политической фразы. Он необыкновенно изворотлив и по природе демагог. Все эти черты характера находят своё образное выражение в языке Пино.

Более однообразна речь героев пьесы — коммунистов. Язык их нивелирован, художочен, он не живописует внутреннего склада, характера этих людей. И это большой недостаток пьесы.

Насколько серьёзен и сложен вопрос о национальной типичности характера, показывает пьеса «Люди доброй воли» Георгия Мдивани. Героем этой пьесы Г. Мдивани сделал Габу, тёмного, забитого крестьянина, который всю жизнь мечтал разбогатеть. Он день и ночь думал о клочке плодородной земли, на котором он разбил бы сад и посадил яблони. Габу гнул спину под тяжестью безрадостного труда, низко кланялся богатым и был послушен властям. И, когда к нему пришёл сельский учитель и предложил подписаться под Стокгольмским Воззванием, Габу не захотел стать в ряды борцов за мир. Правда, он не хочет войны, но ещё сильнее он хочет осуществления своей мечты о садике у дома...

Рисуя образ Габу, автор показывает всю несбыточность его мечты о маленьком счастье, заключённом в хрустящих американских банкнотах: враги родины дали наконец ему деньги, но отняли у него жизнь. И, только умирая, Габу пишет: «Мир... я требую мира...». Так ставит он свою подпись под Стокгольмским Воззванием, так приходит он в лагерь мира.

Г. Мдивани определяет место действия

своей пьесы: «там, где возможна война». Но такое определение мешает и драматургу и театру выявить национальную принадлежность героев, их образ жизни и бытовые привычки, сложившиеся на протяжении веков, переходящие от поколения к поколению, а без этого не может осуществиться художественная конкретизация образов.

Примечательно, что Н. Добролюбов в анализе «Грозы» стремился показать, в чём заключается «русский сильный характер». Он приглашал своего читателя задуматься над вопросом: «точно ли русская живая натура выразилась в Катерине, точно ли русская обстановка во всём, её окружающем, точно ли потребность возникающего движения русской жизни сказалась в смысле пьесы...».

Отвечая на вопрос — в чём же выражен этот характер,— Добролюбов писал: «Он прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам. Не с инстинктом буйства и разрушения, но и не с практической ловкостью улаживать для высоких целей свои собственные делишки, не с бессмысленным, трескучим пафосом, но и не с дипломатическим, педантским расчётом является он перед нами. Нет, он сосредоточенно-решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны. Он водится не отвлечёнными принципами, не практическими соображениями, не мгновенным пафосом, а просто натурою, всем существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его сила...».

А ещё раньше об этом говорил Гоголь. В «Петербургских записках» за 1836 год он писал: «Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров, не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек»,— только такое изображение приносит существенную пользу».

В традициях русской классической драматургии всегда было активное стремление к максимальной конкретности в изображении национальных особенностей дей-

ствующих лиц, быта, обстановки. Эти традиции продолжены и развиваются советской драматургией. Однако большинство критиков, оценивавших спектакль «Люди доброй воли», согласилось с художественным приёмом драматурга. Но раскрыть такой образ, как крестьянин Габу, минуя его национальные черты, почти невозможно. Нельзя создать этот образ и неким «синтетическим» путём, выбирая для него кое-что от характерных черт корейского, албанского, греческого или французского крестьянина.

Речь Габу лишена национальной окраски. Автор только слегка постарался придать его речи социальную окраску: так, мол, как говорит Габу, вообще говорят крестьяне, но какие и где, в какое время—на этот вопрос автор не смог конкретно ответить. Представьте положение актёра, которому надо играть эту роль. Где он найдёт «родину чувств», как он представит себе национальный образ героя? Здесь можно сколько угодно фантазировать, но что из этого получится? И вот в Габу, созданном артистом М. Штраухом в спектакле Малого театра, мы неожиданно в чём-то находим сходство с образом Миколы Задорожного из пьесы «Украденное счастье» Ив. Франко. Это сходство слышится в мелодике и ритмике речи; оно заметно в пластическом воплощении образа, то зажигающегося огнём и страстью, то развивающегося в тихих, спокойных тонах, подчас переходящих в своеобразное меццо-воче. Именно так звучала речь крестьянина-гуцула в известной пьесе Ив. Франко. Но какое это имеет отношение к образу Габу? Он-то во всяком случае—не гуцул!

Вот как трудно пришлось актёру искать «родину чувств» героя. Вот какие могут быть тут случайности и просто «непопадания»...

Невыразительность языка, лишённого конкретности, своеобразия—национального, социального, индивидуального,—очень часто сводит на нет работу драматурга над образом героя пьесы.

Большого языкового мастерства от драматурга требуют массовые сцены. В массовых сценах, как известно, действуют такие же герои, как и во всей пьесе. В их характеристике автор, может быть, ещё в большей степени должен уметь «рисовать

словами», рисовать людей в непрерывном движении, в действии (массовые сцены ведь наиболее действенные, динамические сцены в пьесе). Но как рисовать характеры, когда у каждого действующего лица так мало слов, так мало времени для них? Драматург должен в своём словарном запасе найти особенно точные, веские, особенно характерные обороты и выражения, которые определяли бы максимально чётко каждый образ, иначе массовая сцена не прозвучит.

Проблема построения массовых сцен сейчас волнует многих драматургов, о чём свидетельствует та часть статьи И. Попова «О творческой смелости» (журнал «Театр» № 4, 1952 г.), где он касается вопроса о массовых сценах. Он пишет: «У нас есть боязнь показа собраний; чуть ли не аксиомой признано, что если собрание, то это обязательно скука. Здесь правда заключается лишь в том, что в большинстве случаев мы действительно скучно изображаем собрания. Но нельзя же на основании нескольких неудач совсем отказываться от возможностей показа ярких столкновений, предоставляемых сценами собраний. Почему сцена один на один может волновать зрителя аргументацией борющихся сторон, а сцена собраний не может? Позвольте привести один пример,— правда, из глубокой старины, но пример, остающийся убедительным и сейчас. Одна из самых волнующих сцен у Шекспира в «Юлии Цезаре»—это собрание, даже, если хотите, два: спор в сенате, предшествующий нападению сенаторов на Цезаря, и «собрание» при похоронах Цезаря, занимающее целую картину. Из чего состоит эта картина? Перед толпой выступает Брут с объяснениями, почему он убил Цезаря, затем оратора сменяет Марк Антоний, произносящий длинную речь в оправдание деятельности Цезаря и в обвинение его убийц. Кто помнит эту сцену, согласится, что по драматичности она—сильнейшая в пьесе».

Верно ставя вопрос о массовых сценах, И. Попов, однако, ошибается, полагая, что приведённые примеры могут в чём-то помочь делу. Ведь когда Брут выступает с объяснениями, почему он убил Цезаря, а затем произносит речь Марк Антоний,—это не массовая, а фактически та же самая «сцена один на один». Масса в ней только

присутствует, но не действует. Она внимает, но не говорит. А масса, народ в советской пьесе должны жить, говорить и действовать!

Как строить массовые сцены, как характеризовать в них отдельных персонажей, создавать запоминающиеся, живые, оригинальные образы — этому учит опыт русской классической литературы. В некоторых исторических пьесах Островского, в пушкинском «Борисе Годунове» (так же, как и в одноимённой опере Мусоргского в сцене под Кромами), в «Живом труп» Л. Толстого (сцена суда), в пьесах А. К. Толстого мы найдём живое, образное воспроизведение массы. Герои этих сцен иногда одной-двумя репликами предстают перед нами, как типические фигуры, как живые характеры.

Перед советскими драматургами, пишущими на благородную тему борьбы за мир, стоят серьёзные творческие задачи. Для советского писателя давно уже стало нравственной обязанностью активно участвовать своим искусством в той великой битве за мир, которую ведёт всё прогрессивное человечество. В этой битве он — в первых рядах. Она воодушевляет, вдохновляет его, подсказывает темы, рождает острые драматические конфликты, яркие образы-характеры героев.

Отдавая должное вкладу, внесённому советской драматургией в дело борьбы за мир, мы не должны, не имеем права не замечать тех недостатков, которые ещё значительны в этих произведениях. Для

того, чтобы утверждать средствами сценического искусства святое и правое дело мира, чтобы беспощадно разоблачать поджигателей войны, необходимо большое мастерство, высокое умение создавать образы, находить острые драматические конфликты, нужны всё более отточенные, совершенные приёмы и средства воздействия. Мы ждём не «проходных» пьес на эту тему. Нам нужны зрелые художественные произведения, раскрывающие во всём могуществе искусства подвиги простых людей, показывающие их борьбу, чувства, мысли. Мы должны быть нетерпимы ко всякой незрелости, незавершённости, слабости художественных произведений, посвящённых этой теме.

Читатель и зритель уже давно требуют, чтобы образы смелых и мужественных борцов за мир получали высокое художественное решение, чтобы драматические конфликты не повторялись, чтобы изображению их было отдано всё мастерство, всё вдохновение художника слова.

До конца и последовательно выполняя свою миссию, советский драматург должен непрестанно обогащать своё знание жизни, той действительности, которую он взятся изображать.

Только высокое качество — единственный критерий оценки. Только им проверяется профессиональное мастерство, только через него раскрывается благородная идея, глубокий смысл, то нравственное чувство, что зажигает и вдохновляет людей, что зовёт их на подвиги и что являет им достойный пример.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Михайлова. По страницам «Советской Украины». — **Т. Трифонова.** Роман об алтайской деревне. — **А. Тарасениов.** Пути лирика. — **А. Караганов.** Поучительный опыт. — **И. Нуруллин.** Татарские рассказы. — **В. Коротеев.** Неудавшиеся мемуары. — **В. Гоффеншефер.** Традиционный образ и современность. — **Е. Русакова.** Серые слова. — **П. Вершигора.** Добросовестно, но с орехами. — **А. Ерёмин.** Сборник статей о Л. Толстом.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Доктор технических наук **А. Черкасов.** Путь к улучшению природы. — **В. Левачёв.** Стройки коммунизма и транспорт. — Кандидат географических наук **И. Забелин.** Создатели карты нашей Родины. — **Н. Ляшко.** Воспоминания рабочего-революционера. — **Н. Щербиновский.** Иранские впечатления. — **Ю. Арбатов.** Правосудие доллара. — Кандидат исторических наук **М. Соловьёв.** История археологии Европы. — **О. Эрастов.** Небесные камни.

Литература и искусство

По страницам «Советской Украины»

Первый номер «Советской Украины» — журнала русских литераторов, живущих и работающих в УССР, — вышел в январе 1951 года. За истёкшие месяцы родились и упрочились определённые тенденции в развитии журнала, обозначилось его лицо, сформировался авторский актив. Какова же тематика и какова продукция, ежемесячно представляемая вниманию читателя на восьми печатных листах журнала?

Читая «Советскую Украину», явственно ощущаешь стремление редакции с возможной полнотой отразить те великие свершения, те исторические перемены, которые произошли во всех областях жизни нашего общества на пути его постепенного перехода от социализма к коммунизму, перемены, которые ярко воплотились и в жизни украинского народа.

С новым героем, с его отношением к труду, как к высшему общественному и личному долгу, мы знакомимся уже в пер-

вых двух-трёх номерах журнального комплекта.

Перед нами демобилизованный солдат Пётр Грицюк из повести А. Живодара «Рыбаки», сварщик Харченко из рассказа Т. Леоновой «Награда», колхозник-мичуринец Михаил Юстинович Яворский — герой очерка С. Бачуры «Хозяин земли», проходчик Куцаковский из очерка С. Ахматова «Главное измерение». Всё это люди вдохновенного мастерства, смелого новаторства, творческих дерзаний. Именно такими хотели показать их авторы. Реализуя этот замысел, писатели, однако, ограничились показом в основном одной черты жизнедеятельности их героев — труда, работы. За пределами произведений остались многие стороны жизни, многие связи и явления, формирующие человека в подлинной действительности (а если они и намечены авторами, то лишь пунктирно). И потому, хотя мы знаем, что у Харченко есть жена, а у Грицюка — невеста, что один из них помоложе, а другой постарше, мы всё-таки представляем их себе только по профессиональному признаку: одного — рыбаком, другого — сварщиком. Общее,

«Советская Украина», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Ответственный редактор **Б. Палийчук.** Киев, №№ 1—12 за 1951 г., №№ 1—6 за 1952 г.

типичное для советского человека показано у обоих, но индивидуального, характерного так мало, что было бы нетрудно поменять этих персонажей местами.

Что наиболее яркого опубликовал журнал «Советская Украина»?

Вот ещё не завершённый печатанием роман Степана Мишуры «Бережаны». Однако и опубликованные части позволяют сделать ряд наблюдений, высказать некоторые замечания.

С. Мишура умеет хорошо написать пейзаж, дать выразительный внешний портрет человека, и — главное — он стремится показать людей и явления изнутри, в их внутреннем содержании. Автор затронул животрепещущую проблему: преобразование природы, внедрение новых сельскохозяйственных культур в сельское хозяйство Украины, освоение засушливых земель. Проблема эта дана автором не в качестве некой готовой предпосылки для развития сюжета. Наоборот, именно развитие сюжета приводит читателя к пониманию необходимости жизненно важных преобразований природы Приднепровья, где происходит действие романа.

Виноград в степях Украины — не только новое слово агрономической науки, но и новая культура для местных работников сельского хозяйства, и она не сразу находит признание.

«— Как можно... не понимать, что такое плановое хозяйство? Хотят превратить совхоз, хозрасчётное предприятие, в опытное поле... Что нам? Нам наплевать на всё! На климат, на суховеи, на почву», — возмущается директор совхоза Баглей.

Автор сообщает интересную подробность: когда-то Захар Николаевич Баглей на этой же земле сам вырастил два куста винограда. Но тогда это был эксперимент молодого, увлекающегося учёного, а сейчас бывший почвовед, опытник стал директором, хозяйственником, отвечающим за судьбу большого зернового совхоза. На первых порах его пугает та ломка, которую неизбежно придётся внести в чётко действующее, с большим трудом налаженное хозяйство.

Лучшие земли, на которых вызревала первосортная пшеница, придётся отдать винограду. Но план по пшенице остаётся планом — его надо выполнять. И можно понять Баглея в момент, когда он, уста-

лый, немолодой человек, издёрганый семейным разладом, выдвигает свои возражения в беседе с директором треста Макогоном или в споре со своим воспитанником Борисом Медведевым, уже в послевоенные годы получившим агрономическое образование.

Постепенно Баглей расстаётся со своими заблуждениями. Расстаётся не только благодаря вмешательству партийной организации, не только под давлением административного районного и республиканского руководства, но прежде всего потому, что Баглей — честный коммунист.

Образ Баглея — несомненная удача С. Мишуры. Это многосторонний, глубокий характер. Верить, что это живой человек, а не литературная условность, и тогда, когда он наедине со своими мыслями, и когда в поле во время уборки он беседует с трактористами, и когда нежно говорит с дочерью.

Читатель наблюдает сложный процесс становления героев, понимая, под воздействием каких сил происходит формирование характеров.

К сожалению, недостаток места не позволяет подробно охарактеризовать каждого из персонажей романа. Наиболее интересны Борис Медведев, дед Кузьма, молодая художница Юлия Баглей, секретарь комсомольской организации совхоза Степан Корзун, управляющий Леонтий Бутько, бригадир виноградарей Лариса Дубовенко; с любовным юмором написаны образы молодых трактористов. Это всё новая интеллигенция советской деревни, выращенная и воспитанная партией. Особняком среди них стоит главный агроном совхоза Горев — обыватель, который на свою работу, на своё служебное положение смотрит с единственной точки зрения: отвечает оно или нет его личным потребностям. Подобные люди готовы во имя своего спокойствия провалить любое дело. Они везде чужие, везде «временные». Так и Горев. Тут, в этих краях, он рос и учился, здесь его родина, но он вздыхает: «Эх, провинция!».

Не случайно Горев становится противником виноградарства и врагом своего школьного товарища Медведева, в котором он видит соперника и в работе и в любви. Чтобы помешать начинаниям Медведева, предлагающего отвести под виноградники

пустошь, он исподтишка пускается на саботаж, на клевету, на склоку. Мы видим Горева в рабочем кабинете, дома, рядом с девушкой, которую Горев любит, — и всюду он одинаково пресен, мелок, эгоистически расчётлив.

Вопреки ряду неудачных картин (таковы, например, предистория появления Бориса в Бережанах, вечеринка в день рождения хирурга Ольги Павловны Сергиенко и некоторые другие), достоинство первых двух книг романа в том, что автор показывает не выдуманную идеальную ситуацию, а жизненно-правдивый конфликт, пробует решить его, не прибегая к облегчённым литературным средствам.

Новаторство, воспитание кадров является темой повести Григория Ашкинази «Прокатчики». Материалом автору служит, как это уже видно из заголовка, заводская обстановка.

В центре повествования — рабочая семья. Через своих героев автор попытался показать те события и процессы, которые происходят в сегодняшнем рабочем классе. Расстановка сил в романе Г. Ашкинази несколько напоминает «Журбинных» Вс. Кочетова. И там и здесь перед читателем — целых три поколения людей, связанных с родным заводом, с любимой профессией. Но, к сожалению, в повести Г. Ашкинази читатель встречается не с живой советской семьёй, как в романе Вс. Кочетова, а лишь с её схемой.

Повествование начинается в тот момент, когда в рельсо-балочном цехе, начальником которого является один из героев книги — Николай Терещенко, происходит авария. В цехе недостаточно опытных рабочих, много ещё необученной молодёжи, план не выполняется. Уж где-где, а в семье старого прокатчика Фёдора Степановича — отца Николая — непременно стали бы судить и рядить об этих делах, советовать, искать выхода. Но — странная вещь! — в доме Терещенко молчат. Членам семьи нечего сказать друг другу. Николай «придёт суровый, уткнётся в газету и всё молчит».

Вот возвращается с работы инженер Маша Терещенко. Фёдор Степанович встречает её у калитки:

«— Что там, дочка? Авария серьёзная?»

— Да, — ответила она коротко и вошла в дом».

Безмолвствует Маша, безмолвствует и Николай: «Войдя в комнату, Николай сразу же укладывается спать».

Почему такая душевная чёрствость у героев повести?

Жена Николая, Софья, с обидой думает: «Николай не расскажет толком, не посоветуется... Считает, что ей, учительнице, не до него».

Правда, от себя автор сообщает читателю, что «вся семья жила жизнью завода. Личные заботы как-то отошли на второй план. За обедом, ужином только и речи о слитках, о рельсах, какая смена впереди?». Но таких сцен читатель в повести не находит, разговоров не слышит, да и каких-либо личных забот у героев не замечает.

Чем же объясняется этот своеобразный заговор молчания? Очень просто: говорить способен живой человек, но не его тень. О персонажах, причисленных автором к семье Терещенко, хочется сказать словами Беллинского: это силуэты, очерки, а не портреты; бюсты, а не живые лица. Но надо оговориться: такими они выглядят в семье. На заводе, в цехе и Николай, и Маша, да и многие другие персонажи действуют как вполне реальные люди. В этой, очевидно хорошо знакомой ему, обстановке и сам автор чувствует себя увереннее. Здесь появляются правдивые художественные детали, нужные слова, живые краски. Знания же и умения писать рабочий быт у Г. Ашкинази пока нет. Поставив перед собой цель раскрыть многообразный духовный мир советского рабочего, автор не добился полной удачи.

И всё же, несмотря на срывы отдельных авторов, стремление показать человека во всей совокупности реальных обстоятельств жизни начинает всё чаще отражаться на страницах «Советской Украины». Не упрощать жизнь героев, а рисовать их со всеми их радостями и огорчениями, успехами и ошибками, испытать их в любви и дружбе — таким желанием руководствовались автор повести «Фабрика «Победа» Ольга Баркова, писатель Михаил Пархомов в своей повести «Половодье». В этом же направлении работают и авторы «короткого жанра» — Евгений Кривенко, выступивший с рассказом «У нас в Каховке», Григорий Володин, написавший

рассказ «Путь», Тамара Леонова, автор рассказа «Девчоночка», Юрий Черный-Диденко, автор рассказа «Тополя».

Наряду с профессиональными литераторами на страницах «Советской Украины» выступают «бывалые люди», работники промышленности, науки, сельского хозяйства. Живой интерес вызывают у читателя записки архитектора, Героя Советского Союза Семёна Тутученко, озаглавленные «Во имя мира» и рассказывающие о возрождении Киева, «Повесть о большой семье» врача П. Бейлина, в которой описан новаторский опыт работников одной из сельских больниц на Житомирщине, новая глава из книги П. Ангелиной «Люди колхозных полей». Однако редакции следовало бы позаботиться о более тщательном редактировании подобных материалов; тогда в повести П. Бейлина, например, не попадались бы сомнительные афоризмы такого рода: «Больничная среда, как она выглядит теперь, может причинить вред больному», «шум в больнице имеет силу смыслового воздействия», «шёпот — это новое качество речи» и т. п.

Журнал регулярно печатает содержательные и хорошо (за немногими исключениями) написанные очерки. Здесь читатель встречает и образ человека, и интересное публицистическое отступление, и ценный фактический материал. «Шахтёрская юность» С. Богдановича — один из таких удачных очерков. В нём рассказано о том, как овершается «чудесное превращение в шахтёров полтавских, херсонских, тернопольских юношей, которые уже смотрели на Донбасс, как на свою вторую трудовую родину». Интонация очерка — взволнованная, приподнятая. Автор даёт правдивую картину воспитания молодых шахтёрских кадров. Запоминаются старые и молодые шахтёры, выведенные в очерке, волнуют читателя их дела и мысли.

О замечательном опыте, о широкой деятельности украинских рабочих-новаторов рассказывает в своих очерках Н. Халемский. Один из его очерков посвящён разметчику днепропетровского завода имени Молотова — Фёдору Корнеевичу Петриченко, другой — коллективу рабочих и инженеров, освоившему и внедрившему в производство водонепроницаемый тубинг для московского метро.

Чётко, лаконично, с несомненным знанием предмета написаны эти очерки. Н. Халемский рисует чудесных мастеров, патриотов своего дела, «думающих людей». Чувствуется, что автор проникся неподдельным интересом и уважением к делу, которым живут его герои, и в этом причина его успеха.

Близок по манере к очеркам Н. Халемского очерк Л. Серпилина «Утро в депо», в котором показан «новый машинист — рабочий и интеллигент одновременно», как об этом говорит руководитель партийного коллектива депо Михаил Данилович Выходцев.

С интересом и пользой прочтёт читатель очерки: Л. Никулина «Столица столиц» — о Москве, В. Коротеева и К. Погодина «Мечта, воплощённая в жизнь» — о строительстве Волго-Дона и Сталинградской ГЭС, М. Соломонова «На великой Волге», Вл. Холодковского «В Москве, на Ленинских горах», Ю. Черного-Диденко «На родине великого Кобзаря».

Обилие злободневного очеркового материала — свидетельство деятельного вторжения журнала в жизнь. Однако в этом разделе журнала есть и промахи. Появляются иногда сырые, скучные, поверхностные произведения.

«Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне»¹, — писал В. И. Ленин в одном из писем к Горькому. Вот такое, в значительной мере внешнее понимание и изображение людей мы находим в очерках Н. Строковского «Рассказ инженера» и Михаила Степичева «В большую жизнь».

В основе очерка Н. Строковского — рассказ начальника строительства Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов, инженера Андрея Ефимовича Бочкина о себе и о своей работе. Однако Н. Строковский не потрудился как следует над собранным материалом. Его очерк превратился в скороговорку, перегруженную цифрами и фактами и уснащённую претенциозными и пустыми фразами. Вот образчик: «С первых же слов между Бочкиным и Кузнецом завязалась перепалка. Нападал Бочкин. Посыпались цифры, названия точек на трассе, факты, раздался смехок, который в общем арсенале средств борьбы

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 34, стр. 355.

должен был играть роль неотразимого аргумента. И всё это в предельно лаконической форме, подчёркивающей, что все здесь до тонкостей знают и предмет спора, и друг друга, сильные и слабые стороны каждого».

Руководители-то строительства, видимо, и в самом деле знают свой «предмет», чего, к сожалению, нельзя сказать о Н. Строковском.

Очерк М. Степичева также явно неудачен, он отличается трафаретным построением, дурной беллетризацией, штампами.

Довольно большое место занимает в журнале поэзия.

Взволнованно звучит поэма Виктора Кондратенко «Инженеры» — о нашем времени, о людях, которые когда-то воздвигали, позже восстанавливали ДнепрогЭС и сегодня осуществляют великие сталинские преобразования на Днепре.

Хуже обстоит дело со второй поэмой, напечатанной в журнале, — «В Каховке на рассвете» Леонида Вышеславского. Автору свойственна риторичность, стих его сух, мало образен. Часто попадаются в поэме вялые строки, общие, избитые слова.

Но в нём к тому ж ещё жила
особенность иного рода,
которая всегда была
законной гордостью народа.

Или:

Вокруг сидят, придвинув скамьи,
творцы, что могут всякий раз
своим трудом простые камни
ценнее сделать, чем алмаз.

Таких невыразительных стихов, напоминающих рубленую прозу, в поэме немало.

Отметим два цикла стихов И. Рядченко — «Черноморская тетрадь» и «Штормовые будни». Они привлекают серьёзностью содержания, своеобразием поэтической интонации.

Отчётливая печать времени лежит на двух циклах стихов Владимира Мухина, посвящённых шахтёрам Донбасса. Здесь слышен живой голос, видна искренняя потребность автора выразить волнующие его чувства.

Неровны стихи Евг. Кривенко. Наряду с довольно удачным стихотворением «Чуден Днепр», отдельными стихами из цикла «Первые в мире», посвящённого послево-

енному строительству, — в цикле «Степная МТС» читаем очень слабое стихотворение «Шевченко смотрит в степь», идея которого не претворена в поэтические образы.

Перечень отдельных сравнительно удачных стихов можно было бы продолжить, сославшись на произведения П. Беспощадного, М. Ларина, Н. Ушакова, Л. Балкина, В. Ликашина, на стихи архитектора А. Ларкиной, молодых рабочих Михаила Тимонина и Александра Шевчука. Но в целом отдел поэзии всё же оставляет впечатление бедности и по темам и по краскам.

Плохо то, что в журнале давно не выступали такие известные русские писатели, работающие на Украине, как В. Добровольский, В. Некрасов, В. Попов, которые к тому же являются членами редколлегии «Советской Украины». Не сумела редакция объединить вокруг журнала и серьёзные критические кадры. Критика и библиография — самый слабый раздел журнала. Рецензии в «Советской Украине» являются без всякого плана. В большинстве они такого низкого качества, что ни читателю, ни писателю фактически никакой пользы не приносят. Как пример можно назвать рецензию Б. Буркатова «Дело чести, славы, доблести и героинства», в которой идёт речь о трёх книжках, вышедших в серии «Знатные люди Советской Украины», и которая состоит из общих мест и цветистых фраз; рецензию Л. Солонько и М. Богущко «Неудачный сборник С. Гордеева»; «В бою и в труде» М. Логвиненко и В. Тараненко — о рассказах Юрия Збанацкого; Д. Цмокаленко «Поверхностность и схематизм» — о романе Г. Олексенко, состоящую из поверхностных суждений и противоречивых оценок, и многие, многие другие.

Среди рецензий, напечатанных в полуторагодовалом комплекте, едва ли найдётся десяток, представляющих действительный интерес. Среди них хочется указать на рецензии Юрия Петрова, посвящённые разбору стихов львовского поэта Григория Глазова и донецкого поэта Владимира Труханова. Это деловой разговор, из которого авторы разбираемых сборников смогут извлечь для себя несомненную пользу.

Положительной оценки заслуживают статьи: И. Киселёва о новых пьесах моло-

дых авторов, В. Пашенко «Битва за книгу» — об образе борца за мир в прогрессивной французской литературе, П. Факторовича «Литература и новаторы производства», Б. Минчина «Два великих сатирика» — о преемственности сатирических образов Гоголя и Щедрина. Кстати, на страницах журнала регулярно появляется отдел сатиры и юмора. Это хорошее начинание. Но, к сожалению, редакция ещё не нашла полноценных форм подачи сатирического материала, качество многих выступлений этого отдела (например, таких, как сатирические стихи Б. Тимофеева) оставляет желать лучшего. Можно отме-

тить лишь боевые эпиграммы Степана Олейника, Бор. Палийчука.

«Советская Украина» — молодой журнал. Его первые успехи пока скромны. Следует пожелать редакции давать читателю больше значительных произведений прозы и поэзии, всесторонне рисующих характер советского человека, приметы нашего времени, смелее и принципиальнее говорить о проблемах и фактах литературного процесса. Это поможет «Советской Украине» занять подобающее место в ряду других, центральных и республиканских, литературно-художественных журналов.

Л. МИХАЙЛОВА.



Роман об алтайской деревне

В конце книги поставлена дата: «Ноябрь 1927 — февраль 1951 г.». Почти четверть века прошло с тех пор, как Е. Пермитин начал писать свой роман о глухой алтайской раскольничьей деревне, вступившей на путь коллективизации, путь к коммунизму. Огромные изменения произошли за эти годы в жизни и сознании советского крестьянства. «Как видите, советское крестьянство — это совершенно новое крестьянство, подобного которому ещё не знала история человечества»¹, — сказал товарищ Сталин. Эти слова вождя автор поставил эпиграфом к роману, определив тем самым основную свою задачу.

Роман Е. Пермитина состоит из пяти частей; три первые части являются переработкой самостоятельных книг, изданных ранее: романа «Капкан» (1930), романа «Враг» (1933), а также романа «Любовь» (1937), в который были включены эти две первые книги, как части трилогии. Таким образом, впервые публикуются четвёртая и пятая части «Горных орлов», повествующие о предвоенных и послевоенных годах жизни героев романа.

В своё время, в начале тридцатых годов, когда горячо обсуждались проблемы литературного языка, поставленные Горьким, Ефим Пермитин был одним из тех писате-

лей, которые с благодарностью приняли суровую критику основоположника литературы социалистического реализма. В своём письме Горькому, опубликованном в «Литературной газете» в 1934 году, Пермитин писал:

«Вашим ударом по мне вы толкнули меня на большую ожесточённую работу над произведением. Вообще-то я много работаю, и первое резкое, осуждающее слово о своей работе услышал только от вас. И оно мне в дальнейшей моей работе окажется более полезным, чем самая восторженная похвала». «Тяжёлые дни пережили я после вашего открытого письма к Серафимовичу. Но, мучаясь, я взялся за «Врага» снова... Помимо того, что я выжиг из неё весь отвратительный, — именно отвратительный, — словесный областной мусор, я сжал длинные нудные диалоги... Убрал ряд ненужных сцен...»

В результате работы писателя язык повествования стал чище и ясней, он освобождён от излишних диалектизмов, от натуралистической передачи грубоватой речи алтайских крестьян. Многие натуралистические описания, многие эпизоды, отяжелявшие повествование, теперь отброшены, и развитие сюжета приобрело благодаря этому большую чёткость и стройность. Переработка ранее написанных частей положительно сказалась и на основных образах романа: они приобрели большую убедительность и, главное, стали более типическими.

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 512.

Суровый и могучий в своей дикой красоте край изображён Е. Пермитиным строгими чертами. Суровые и могучие люди нарисованы чётко, правдиво. Писатель не приукрашивает своих героев: он показывает и положительные и отрицательные черты характеров.

В первых трёх частях романа Е. Пермитину удалось создать образы, которые привлекают своей силой, смелостью, талантливостью, удалось показать, какие прекрасные качества людей были подавлены, как калечил и уродовал человека старый, эксплуататорский строй. Таков один из наиболее интересных образов — бедняк Тишка с его радостной любовью к песне, к природе. Но хищнические законы собственнического мира толкают Тишку на путь жестокости, обмана, ведут его к преступлению. Бесчеловечная расправа кулака Рыклина озлобила Тишку, он стал отщепенцем. Он не только похищает соболя, попавшего в чужой капкан, но и убивает встретившегося «чужого» охотника. Тишка становится беспутным гулякой и бездельником, задатки творчества в нём подавлены. Убедительно дано дальнейшее развитие этого интересного образа. Искреннее стремление Тишки к новому, его попытки стать честным участником общего труда во вновь организованном колхозе не сразу осуществляются, потому что очень уж тяжёлый груз прошлого в его сознании, очень уж привычно ему всеобщее презрение, очень уж долго был он оторван от труда. Совершенно закономерно, что его тяга к новой жизни полностью проявляется именно в моменты наиболее напряжённой борьбы: Тишка участвует в погоне за ушедшими из деревни кулаками и погибает в схватке с врагом. Гибель Тишки в этой схватке — не случайный эпизод, зарисованный писателем: этим эпизодом автор подчёркивает готовность даже такого обременённого пережитками прошлого человека бороться и жертвовать жизнью во имя нового. Нет для трудящегося человека счастья без свободы! Лучше умереть, чем остаться под гнётом кулаков! — вот о чём говорит судьба Тишки.

Сложный путь проходит и Селифон Адуев — один из главных героев романа. Его судьба во многом близка тишкиной, хотя они совсем разные люди. Честный и прямой, трудолюбивый и мужественный Селифон

становится жертвой случайности. Его обвиняют в преступлении, которого он не совершал, а его сильное и искреннее чувство к Марине подвергается тяжёлому испытанию: Марину стараются очернить в его глазах и, поверив клевете, он надолго расстаётся с ней. Только пройдя через ряд трудностей, достигает Селифон счастья и, вернувшись в родное село, снова соединяется с Мариной.

Те пережитки прошлого, которые были так сильны в Тишке и так непосредственно проявлялись в его поступках, влияют и на судьбу Селифона, хотя в более косвенной форме. Собственнические инстинкты, замкнутость, оторванность от своих односельчан, неумение разобраться в действительности — вот то, что мешает Селифону стать полноценным человеком нового общества. Для того чтобы противостоять этим разнообразным и подчас случайным влияниям, ему надо было вырасти духовно, из «робкого долговязого парня» превратиться в «энергичного, решительного мужчину с самобытным умом и широким кругозором, в человека, жадно впитывающего всё новое, каждую свободную минуту не расстающегося с книгой, думающего о больших, важных делах и вопросах». Это превращение заканчивается к концу третьей части романа. Эта победа нового перекликается с выразительным описанием весеннего утра:

«Всю ночь в окна хлестал спорый весенний дождь с ветром, а на заре подняло, сломало и с гулким шумом пронесло Черновую. Утром и дождь и ветер стихли, и выкатившееся из-за обмытых хребтов солнце погнало такой пар из земли, что, казавшись, загорелась она в чёрной своей глубине неугасимым огнём, Курились и жирные солнцепёки, и мокрые, набухшие беловато-золотистые прошлогодние жнивники, и завалянки у помолодевших под весенним небом изб. Селифон вышел на двор. Просыпающаяся земля сладко и лениво потягивалась, звала, манила тёплым, парным своим дыханием, свежим запахом полей, первым смолистым душком лесов с оттаявшей темнозелёной хвоей. Он обвёл глазами Теремки и синюю марь тайги, серебряные хребты белков на горизонте, раскинутую, полную утренних шумов любимую свою деревню, глубоко втянул опьяняющий воздух и, не сдержав радости, на весь двор сказал: — Всё у меня есть теперь!..»

Для Пермитина природа — постоянный участник действия, она помогает ему раскрывать внутренний мир героев. После длительной борьбы за новую жизнь деревни, после жестокой схватки с кулаками-раскольниками, после многих горестей — путь к счастью открыт перед Селифоном, перед всем селом, перед всем крестьянством. Картина природы, ждущей весны, превращается здесь в поэтический образ, почти в символ.

Всё сказанное относится к трём первым частям романа, являющимся результатом многолетнего труда писателя. Именно в них завершаются, в сущности говоря, главные его сюжетные линии. Принесла свои плоды борьба против злых защитников старого, противившихся колхозному строю; на ясную дорогу вышли Селифон и Марина; нашёл свой путь, хотя и погиб в бою, Тишка; стал активным участником колхозной жизни вчера ещё робкий, не верящий в своё равноправие казах пастух Рахимджан; неизмеримо выросла вчерашняя батрачка Матрёна Погонишева, одна из активисток колхоза.

И хотя в первых частях романа подчас присутствовал некоторый элемент случайности, действие его развивалось с драматическим напряжением, характеры раскрывались в острых конфликтах.

Последние две части романа такой остроты конфликтов лишены. Разумеется, те трудности, с которыми сталкиваются и борются советские люди после решающей победы социализма в нашей стране, носят совсем иной характер, нежели трудности первых лет борьбы за колхозный строй. Но трудности есть, есть и борьба, есть и противоречия, которые выражаются в многообразных конфликтах между старым и новым.

Радостные картины расцвета колхозного хозяйства, выросшей культуры села Черноушки и его жителей выглядели бы убедительно, захватили бы читателя, если бы автор показал эту новую жизнь в движении, в преодолении трудностей и испытаний. Одним из таких решающих испытаний была Великая Отечественная война, показавшая преимущества советского строя и доказавшая всему миру силу советского народа, советской социалистической державы. Это испытание опущено Пермитиным, который сразу переходит от изображения

довоенных лет к событиям 1949 года. Разве алтайские колхозники не были на фронтах, не работали самоотверженно в тылу во имя победы? Этот недопустимый провал, свидетельствующий о непонимании важнейшего этапа истории советского народа, привёл к серьёзному нарушению жизненной правды, к странному отрыву алтайского колхозного крестьянства от жизни всей страны.

Лишённый конфликтов, лишённый в связи с этим чёткого сюжета, роман, особенно в последней части, превращается в ряд зарисовок, связанных местом действия и персонажами, но не объединённых драматическим развитием человеческих судеб. В такой цепи картин, не раскрывающих процесса движения и развития жизни, не могут развернуться и характеры: им не в чем проявиться, им не на чем показать свои новые качества.

Правдивое отражение жизни и верное изображение характеров возможны лишь на основе глубокого знания действительности. Только из такого знания могут возникнуть и правдивые конфликты и живые образы. Если в первых трёх частях романа Е. Пермитин обнаружил знание старой деревни и понимание психологии индивидуалиста, если он обнаружил понимание перелома, происшедшего в деревне в годы коллективизации, то в последних частях книги он ограничился рассудочными схемами, в которые читателю трудно поверить.

Так, вместо того чтобы раскрыть образы коммунистов, руководителей села в действительности, автор часто ограничивается суммарной характеристикой. В особенности это сказалось на образе Татурова, который предстаёт перед нами как человек, сосредоточивший чуть ли не всё своё внимание на физкультуре, на физическом здоровье. Курьёзно звучит описание первого знакомства с Татуровым.

«— Секретарь партийной ячейки у нас Вениамин Ильич Татуров», — говорит приехавшему из района уполномоченному Селифон и приглашает пойти к Татурову.

«Осенние утра в горах очень холодны, но оконные рамы в домике были раскрыты настежь. Адуев слышал, что Татуров приучает к свежему воздуху жену свою Аграфену и сам собирается зимой, при любом морозе, спать с открытыми форточками...

Когда гости вошли в дом, Татуровы, в одних трусах и майках-безрукавках, делали физкультурную зарядку. Ещё в сених Адуев услышал голос Вениамина Ильича: — Глубже, глубже приседай, Груня! Дыши ровней! Ну, начинаем: ра-а-аз... Татуров с двумя двухпудовыми гирями над головой делал медленное приседание... Татуров кивнул головой вошедшим и так же медленно стал подниматься с гирями». И дальше, рассказывая об этом человеке, автор всё время подчёркивает его неукротимую любовь к физкультуре. В специфически физкультурном аспекте даётся и прошлое Татурова: оказывается, служа в Красной Армии, он победил известного профессионального борца Забурун-Загоряйного, о чём рассказано чрезвычайно подробно и обстоятельно. Что же касается других качеств, привитых Татурову в армии, других свойств его характера, то о них Пермитин говорит сухо и невыразительно: «Два чемодана политической и сельскохозяйственной литературы, которые Татуров привёз после службы в Красной Армии... были не просто прочтены им, а проработаны с большой тщательностью. Татуров очень скоро увидел прямую зависимость хозяйственных успехов, дисциплины труда в колхозе от политической сознательности его членов». Но эта-то зависимость между хозяйственными успехами и политическим сознанием руководителя слабо раскрывается в образе Татурова. И трудно поверить автору, что «большому авторитету Татурова» будто помогало «его физическое здоровье».

Хотя в книге уже нет тех недопустимых вульгаризмов, той засорённости, которую отмечал Горький, далеко не всё удовлетворяет читателя и теперь в языке романа.

«Всем его существом неудержимо завладели ноги», — описывает Пермитин пляску своего героя. В другом месте мы читаем: «Дружно и стремительно назревали хлеба». Есть и другие нескладные фразы, безвкусные описания, вроде «музыкального ржания лошадей», которое «раскалывается на множество хрустальных эхо». В лирико-публицистической концовке Е. Пермитин, пытаясь «перекликнуться» с Гоголем, пишет:

«Не на лихой тройке, а на миллионах стальных крыл, выращенных твоими сынами, устремилась ты...». Стальные крыла, выращенные сынами?

Но главные погрешности в языке и стиле романа связаны именно с тем недостаточным раскрытием некоторых образов и событий, о котором речь шла выше. Поверхностное изображение невольно влечёт автора к канцелярским оборотам, к сухим перечислениям, к общим фразам, неуместным в художественном произведении. Рассказывая о счастье Марины, наконец соединившейся с Селифоном, автор пишет: «Марина не знала ещё тогда, что так стремительно растут в Советской стране все честные, любящие труд люди». А вот молодые колхозники горячо взялись за учёбу: «Девушки поняли, что, опираясь на одну дедовскую практику, нельзя надеяться на быстрый подъём животноводства и что колхоз, хозяйствующий по старинке, обречён на прозябание».

В рассказе об агрономе Дымове и его дочери (тоже агрономе) есть живые, свежие чёрточки, но они теряются среди сухих, протокольных описаний: Дымов «считал этот сбор не только не предельным, но обидно-малым и готовился значительно увеличить его посевом ранне-весенних и поздне-осенних выводимых им медоносных растений с повышенным процентом сахара в нектаре». Несколькими страницами далее автор усаживает агронома «в широкое, удобное кресло» и на протяжении целой страницы даёт ему возможность рассказать о том, каковы преимущества «углублённого сева с равномерно размещёнными зёрнами по всей световой поверхности, при значительно увеличенных нормах высева», и о том, что «для увеличения же самого колоса и его озернённости хороши местные азотистые подкормки».

Всё это отяжеляет книгу обилием технических подробностей и агрономических понятий, которые в романе должны раскрываться не в рассуждениях, а в живой практике героев.

Т. ТРИФОНОВА.

Пути лирика

С чувством гордости берёшь в руки этот большой, нарядный том, выпущенный в городе, почти дотла сожжённом немецкими оккупантами, но уже возрождённом из пепла и праха и снова ставшем одним из центров советской культуры. Автор этого тома — Николай Рыленков — уже не молодой поэт. В его книге содержится немало стихов, помеченных последними годами, но есть и произведения двадцатилетней давности. Перед нами путь поэта, большой, поучительный путь. На нём были трудности, ошибки, но достижения Рыленкова наглядны и серьёзны.

Отчётлива патриотическая окрашенность творчества поэта; особенно сильно она сказалась в стихах, либо посвящённых темам Великой Отечественной войны, либо являющихся её эхом, её отражением в последующие годы советской жизни.

С патриотизмом поэзии Рыленкова тесно связана его горячая влюблённость в русскую природу. В его произведениях обычен среднерусский пейзаж: поля и перелески, реки и озёра, придорожные берёзки, золотые нивы, соловьиные песни и туманные зори, короче говоря, — всё то, что так традиционно, так издавна характерно для русской литературы, живописи, музыки.

Важное место занимает в творчестве Рыленкова любовная лирика — чистая, ясная, благородная.

Любовь к Родине, без сомнения глубокая и искренняя, выражается у Рыленкова не посредством общих формул, а в настойчивом и последовательном изображении людей, жизненных фактов и происшествий, конкретно выражающих преданность долгу, самоотверженность в борьбе за народное счастье. Не случайно обращается поэт к образам великих людей прошлого — Ломоносова, Кутузова, Пушкина, Глинки, Некрасова, Левитана. Эмоциональное содержание этих образов в стихах Рыленкова родственно содержанию образов партизан Смоленщины, образов советских солдат и офицеров, утвердивших великое знамя социализма над поверженными твердынями врага.

Николай Рыленков. «Стихи и поэмы». Редактор Д. Дворецкий. Смоленское областное государственное издательство, 1952.

В сильном стихотворении «Наступление весны» герой Рыленкова вспоминает дни боёв за Берлин, вспоминает своих со товарищей по воинской славе:

Великого Сталина нямя
Над ними гремит, как салют,
И мёртвые вместе с живыми
Встают и в атаку идут.

Но воспоминания о победной весне 1945 года сменяют впечатления новой весны — весны труда, когда слышен треск раскальвающих на реке льдин, когда «петушинный рассвет» напоминает о готовности к великим работам: «Весна в наступленье зовёт!».

Выразительно и просто написано Рыленковым и другое стихотворение на тему, схожую с «Наступлением весны», — «Победитель».

Врагом оставленные пушки
И танки чёрные у рва,
А в синей роще, на опушке,
Трубят зарю тетерева.
И ты, скрестив на сердце руки,
Готовый всё начать с азов,
Стоишь и слышишь в каждом звуке
Необоримый жизни зов.
Он всё победней, всё свободней,
Его нельзя вместить в слова..
Среди атавы прошлогодней
Пробилась свежая трава,
Набухли почки у берёзы,
Побеги новые сузя,
И улыбается сквозь слёзы
Дождём омытая земля.
Дорожный прах и пепел серый
Стряхни и по ветру развей
И припади с сыновней верой
К груди праматери своей.

Дальше в этом ярком стихотворении поэт говорит о строительстве новой, возрождённой жизни, о ясной и большой судьбе родины социализма. Он избегает при этом общей фразеологии, предпочитая конкретность жизненных деталей и непосредственность зрительного восприятия людей и природы. Именно поэтому патриотизм стихов Рыленкова поэтически убедителен — за ним чувствуется неподдельная искренность, зрелость мысли. Природа в его стихах неотделима от людей, она как бы одушевлена их присутствием, их трудом, их раздумьями, их повседневными заботами и делами.

Вот — взятые почти наугад — строфы из различных стихов поэта:

те, прежнего «застенчивого мальчика». Что ж, это справедливо. Но далее следуют неожиданные строки, во внутренней правдивости которых да позволено будет усомниться:

И ты поймёшь, что счастье нечего,
Как флейту иволги, стеречь,
Что я люблю тебя застенчиво,
Как в пору первых наших встреч!

Трудно поверить, что любовь взрослого человека, опалённого огнём великой войны, прошедшего тяжкие испытания времени, — та же «застенчивая» любовь, что была прежде. Ведь и сам лирический герой отвергал эту мысль. Почему он вдруг к ней вернулся? Трудно поверить и в то, что солдат будет кокетливо сравнивать своё чувство с «флейтой иволги». Здесь больше литературных ужимок, чем подлинной жизни.

К сожалению, склонность к ложной красивости, к образным намёкам и ассоциациям явно книжного происхождения встречается в стихах Рыленкова не так уж редко. Вот «лунно-дымчатые» берёзы. Вот ветка, которая, «заломив руки», стоит над пепелищем. Вот неудачные, отдающие книжностью строки о немецком оккупанте: «Пришлец с кашеевой душой бросает тень окрест». Неужели о зверстующих фашистах можно сказать, что они «бросали тень»? Это и литературно неудачно, да и в политическом смысле слабовато, неточно. Вряд ли в стихотворении, посвящённом тяжёлым переживаниям человека, испытавшего войну, уместна столь мудрёная и выспренняя концовка:

Не вспоминайте ж дней тоски, не раньте
Случайным словом, вздохом неподад.
Вы помните, как молчалив стал Данте,
Лишь в сновиденьи посетивший ад.

Решительно неправдоподобны в устах колхозного бригадира, партизанящего в родных лесах, такие витиеватые строки:

И пока не кончится война —
Сеять мне лишь гнева семега.

Это всё издержки таланта Рыленкова, говорящие о том, что иногда ему изменяет вкус и такт, что нередко он употребляет пустые, банальные, первые подвернувшиеся под руку слова.

Существенный недостаток ряда стихов Рыленкова — созерцательность. Выше мы

отмечали несомненные удаchi поэта в описании родной природы. Эти описания хороши тогда, когда существуют в стихах не сами по себе, а как средство раскрытия чувств и переживаний человека. Но иногда бывает и так, что, увлекаясь словесной живописью, Рыленков забывает об этом непрерывном условии поэзии. Тогда из-под его пера один за другим выходят стихи условно-декоративные, стихи чуть ли не бунинского стиля, в которых совсем мало признаков советской эпохи. Таковы «Косые ливни звездопада», «Ещё дороги не пылят...», «Не оторвёшь подошв горячих от земли...», «В рассол для огурцов кладут пучок укропу...», «Всё: и вечерних облаков изломы...», «Взгляни отсюда, будь добра...» и ряд других стихотворений. Спору нет, и в этих стихах есть немало ярких, самобытных строчек, и здесь мы не раз полюбуемся вместе с автором удачно найденными деталями, точной и звучной рифмой. Но холодок эстетизма заметно портит эти, да и некоторые другие стихи Рыленкова. Хочется, чтобы в его произведениях было больше простора мысли, больше горячности, вдохновенного дерзания, больше тематической широты. Перечисленные выше стихи, в которых особенно явственно слышатся эстетские мотивы, относятся к довоенным годам. Отрадно отметить, что этот упрёк всё реже и всё с меньшим правом можно предъявить к стихам, написанным Рыленковым в наши дни. Однако свои старые стихи поэт включил в новую книгу. Следовательно, разговор об их недостатках продолжает сохранять свою остроту и актуальность.

Вообще надо сказать, что свой сборник поэт составил не совсем верно: стихи отобраны недостаточно строго, он не считался с тем, что многое в них повторяет друг друга; расположены они в хронологическом порядке, что уместно в собрании сочинений, но никак не годится в сборнике живого, активно действующего поэта.

В самом деле, почему читатель должен в первом, открывающем книгу разделе «Истоки» знакомиться с юношескими и, разумеется, далёкими от совершенства стихами? Здесь ещё слишком много общих мест, дурной и неточной, псевдолитературной «словесности». Лето здесь почему-то названо «прокипячённой порой». О грозах говорится, что они «рвутся в поле, весну топя», меж тем как первые грозы бывают

лишь в конце весны. Здесь же читателя поражают такие экстравагантные образы, как «яростная рожь», «зари малиновая пена». Здесь поэт ещё склонен жертвовать простотой и ясностью формы в угоду эффектной приёму (так, совершенно лишён смысла неизвестно почему полубившийся автору назойливый рефрен в стихотворении «Лесной хозяин»: «...и если хоть слово старик солжёт, нигде, значит, правды нет»). Подобных стихов в сборнике зрелого поэта, каким является Рыленков, должно было бы быть гораздо меньше. И если уж автору обязательно хотелось познакомить читателя со своими юношескими «экзерсисами», то лучше это было бы сделать в конце книги, так сказать, в виде «приложения» к основному тексту. Во всяком случае не начинать же книгу с малоудачных стихов!

К перечисленному можно добавить, что две поэмы, включённые в сборник, явно слабее лирических стихов, что не всегда автор до конца отделяет язык своих произведений, что во многих стихах есть длинноты, водянистые строки и строфы.

И всё же, знакомясь с книгой Рыленкова в целом, нельзя не сказать о ней доброе слово. В ней есть душевная щедрость и чистота, есть горячая, взволнованная мысль, есть большая, искренняя любовь к своей Родине и населяющим её трудовым людям. И потому, не прощая недостатков поэзии Рыленкова и не милясь с ними, читатель верит, что поэт сможет их преодолеть, сумеет ещё и ещё шагнуть вперёд. В одном из своих последних стихотворений Рыленков сердечно и просто говорит о себе, о своей поэтической работе:

...с малолетства
Родное слово свято чту.
То не от деда ли в наследство
Я получил его мечту?
И я готов молчать сурово,
Чтоб ветер дум не погасил,
И я ищу такого слова,
Что прибавляет людям сил.

Это сказано верно. Пусть же поэт почаще находит такие нужные людям слова. Они и есть поэзия.

А. ТАРАСЕНКОВ.

★

Поучительный опыт

В драматургии, как и во всяком другом деле, нельзя успешно продвигаться вперёд, не осмысливая пройденного, не используя накопленного в пути опыта, в особенности опыта тех драматургов, чьи произведения десятилетиями живут на сцене, с нестареющей силой действуя на сердце и разум зрителя. Большой интерес в этом смысле представляет издание сборника пьес, статей и речей К. А. Тренева.

К. Тренев, помимо того, что был талантливейшим мастером драмы, обладал высокой способностью к теоретическому осмыслению явлений советской драматургии и своего собственного творчества. Его авторитетное слово по вопросам драматургии было всегда конкретным: за этим словом — знания, наблюдения, раздумья, искания. И поэтому его труды, впервые собранные воедино, не могут не стать активными участниками обсуждения и раз-

К. Тренев. «Пьесы, статьи, речи». Составитель сборника и автор комментариев Е. Сурков. Редактор В. Титова. Государственное издательство «Искусство», 1952.

работки вопросов современной драматургии, поставленных в редакционной статье «Правды» — «Преодолеть отставание драматургии».

«Строительство душ, — говорил К. Тренев на съезде писателей, — труднейшее, ответственнейшее из строителей, и не только потому, что нигде, как здесь, не требуется такая точность и в то же время прочность работ, но главным образом и потому, что... мы всякий раз должны создавать то, чего не было, мы должны создавать единственное, неповторяемое и совершенно не похожее на то, что было создано до нас.

Злейший наш враг — это шаблон. Где шаблон — там нет строительства душ, а есть вредительство. В искусстве штамп — печать смерти».

Но К. Тренев хорошо понимал, что нельзя создавать новое, передовое, нигилистически третируя пройденное. Он последовательно боролся против тех критиков, которые видели новое во всём, что не похоже на старое, не разбираясь глу-

боко: а насколько же оно лучше старого, насколько оно нужнее народу? Такого рода критики рассматривают новое как отрицание пройденного, забывая, что в пройденном было не только старое, отжившее — антагонист нового, но и прогрессивное, ценное, что должно остаться, не может не остаться в новом как живая традиция художественного развития советского общества. Критики, о которых идёт речь, очень любят «перестраиваться». Но слишком частые «перестройки», при которых забывается, что говорилось и писалось вчера, — удел конъюнктурщиков, внутренне гордящихся тем, что они всегда знают. «куда ветер дует», а на самом деле лишённых глубокого чувства и понимания современности; поэтому-то они и шарахаются из стороны в сторону, из одной крайности в другую, меняют свои концепции и критерии не по требованиям жизни, а «по соображениям», чаще всего продиктованным испугом и растерянностью перед величием и сложностью задач, которые ставит искусству советская жизнь.

Именно такого рода критики — о них напомнил К. Тренев в той же речи на съезде писателей — жарко выступали в рапповских организациях против изображения в литературе психологии и личной жизни людей, за якобы новаторское, а на самом деле упрощённое, примитивное решение «производственной темы». Именно они выдвигали в своё время псевдоноваторскую идею о создании «нового типа» комедии — без отрицательных типов и трагедии — без трагизма. Создание такой комедии, говорил К. Тренев, — задача, сама по себе пахнущая примиренческим разоружением в литературе и низводящая наиболее боевой род драматургии к стилю беззубо-умилённого жанра, к созданию бомбоньрки со сладостями для юношей.

Говорилось это в 1934 году. За 18 лет, прошедших с тех пор, не потускнела в своей злободневности и действенном значении ни одна из этих треневских строк. Что же даёт им такую силу? Только одно: глубокое понимание требования — «пишите правду», умение решать все коренные эстетические и творческие вопросы искусства, исходя из этого требования.

К. Тренев дебютировал в драматургии пьесой «Дорогинь», перекликающейся в беспощадном разоблачении либерализма с

горьковскими «Врагами» (пьеса была напечатана в 1912 году в журнале «Заветы», с которым связал Тренев А. М. Горький). В начале двадцатых годов Тренев создаёт «Пугачёвщину». Вслед за тем он начинает работу над пьесой «Любовь Яровая», которой суждено было сыграть огромную роль в истории советского театрального искусства и в развитии самого писателя.

Творчески осваивая процессы и противоречия революционной действительности, постигая на практике силу социалистических идей и их влияние на человеческие судьбы и исторические события, Тренев овладевал новым революционным мировоззрением. Процесс творческого проникновения в события революции был процессом идейно-политического роста писателя.

Конечно, сложный и длительный процесс идейного формирования Тренева не ограничивался рамками работы над «Любовью Яровой», — к постижению великих идей коммунизма Тренев шёл через многие годы и десятилетия литературного труда и изучения жизни. Но решающее значение «Любови Яровой» в идейном развитии писателя бесспорно — именно он «установил и выразил», говоря его словами, своё отношение к революции.

Соприкосновение писателя с революционной действительностью определило не только идейную направленность пьесы, но и особенности работы над её художественной формой. Вглядываясь в события, питавшие драматургию «Любови Яровой», осмысливая перемены в народной жизни, вызванные революцией, драматург понял, что об этих событиях и переменах нельзя рассказать по-старому. Революция небывало раздвинула рамки народной жизни, придала ей новый размах, наполнила новым содержанием. И Тренев стремился передать в своей пьесе всю ширь народной жизни, показать героев пьесы на многокрасочном социальном фоне.

Но когда пьеса была подвергнута испытанию практикой сценического воплощения, писатель понял, что многое в ней не отвечало законам и требованиям сцены. Не тем законам, которые эстетствующие шаманы «театральности» считают неизблевыми и используют как прокрустово ложе для жизненной правды, а тем постоянно меняющимся под влиянием жизни законам, что составляют подлинную спе-

цифику сценического искусства, — следовавшие им и делает литературное произведение произведением для сцены.

Так возникло в творческой работе Тренева острое и подчас даже мучительное противоречие между стремлением к эпической полноте драмы и требованиями сценичности, сжатости действия. Являясь одной из форм борьбы художника с непокорным жизненным материалом, одной из граней процесса художественного освоения действительности в драме, это противоречие неизбежно обостряется, когда драматург ставит перед собой новаторские задачи, прокладывает путь по нетронутой целине; и оно совсем неведомо тем авторам, которые довольствуются повторением пройденного, применяя к любому жизненному содержанию готовые литературные болванки, обтёсанные и опробованные предшественниками.

Противоречие, о котором идёт речь, разрешалось в работе над «Любовью Яровой» не односторонним приспособлением первоначальных вариантов пьесы к требованиям театра, — движение было обоюдным, встречным: драматург добивался всё большей сценичности пьесы, а театр, под влиянием замечательной треневской пьесы, обогащался новыми понятиями о сценичности, отвечающими особенностям новой революционной драматургии.

В первых вариантах пьесы, вспоминает Тренев, история и драма Любови Яровой занимали более скромное место, нежели потом. В пьесе было (да и осталось) много персонажей и сцен, которые можно выбросить без ущерба для интриги пьесы. Но, понимая всю заманчивость и сценичность построения пьесы на живой и цельной в своём развитии интриге, освобождённой от побочных сюжетных мотивов и персонажей, Тренев не шёл на такое ограничение её содержания — он считал его опасным для идеи пьесы. Он говорил, что его пьесы «движутся многоколёсным механизмом», и ценил такое построение драмы, которое позволяет включить в неё широкие и пёстрые картины народных движений и классовой борьбы.

Ничем не поступаясь в эпическом размахе драматического действия, Тренев стремился (и чем больше сближался с театром — тем упорнее) к углублению образов центральных фигур пьесы. Беско-

нечно требовательный к себе, тонкий и вдумчивый художник, он и после триумфального успеха «Любови Яровой» в Малом театре продолжает работу над пьесой, шлифует речевые характеристики её героев, композицию отдельных сцен. Когда пьеса ставилась в Художественном театре, Тренев снова упорно работает над образами Любови Яровой и Шванди, внося все новые детали и уточнения, стремясь к органичному художественному синтезу эпической широты, в изображении событий и психологической углублённости в обрисовке действующих лиц.

Оценивая позднее всю плодотворность сотрудничества с театром, Тренев, однако, снова и снова подчёркивал первенствующее значение обращения непосредственно к жизни.

«И всё же теперь, — говорил он, — написавши ещё несколько пьес, я убеждаюсь, что вообще-то работа над пьесой вдали от театра — не такой уж порок. И если автор изображает в своей пьесе, например, картины и сцены, развёртывающиеся в поле или в лесу, в городе или в деревне, то необходимо, чтобы он представлял себе именно поле и лес, город и деревню, а не изображающие их декорации. Ещё более относится это к персонажам пьесы. Писать роли, представляя в них в то же время того или иного актёра, как рекомендуют у нас некоторые драматурги, — это значит, по-моему, идти по ложной дороге театральщины. Автору, конечно, необходимо работать в самом тесном контакте с театром. Но это уже после того, как пьеса предъявлена театру. До этого же театр не должен стоять между автором и жизнью, а актёр — между автором и образами».

Подчёркивая решающую роль изучения жизни для работы писателя, Тренев указывал, что важнейшим условием правдивости пьесы является умение её автора видеть противоречия реальной действительности и изображать их в остро конфликтном драматическом действии. При этом он раскрывал ограниченность взглядов тех драматургов, которые трагическое и драматическое видели только в сшибках классово враждебных сил, в событиях войны. Попытки изображать в пьесах обязательно только благополучное течение событий всегда будут, говорил Тренев, свидетельствовать только о неблагополучном

положении произведений такого рода. Словно только что написанными звучат по своей злободневности слова из его статьи «Не бойтесь дерзать» (1945 год):

«Трагическое имеет великие права на существование в нашей послевоенной литературе, так же как и комическое — не только увеселительное комическое, но серьёзная обличительная комедия-сатира, которую подчас пытаются, как и трагедию, подменить бесконфликтной, безобидной благополучной стряпнёй... мы так сильны, что нам нет нужды закрывать глаза на наши недостатки. Мы знаем, мы всеми силами нашей потрясённой души чувствуем, — светел лик нашего великого народа, широк и прям его путь, и вскрытие пороков отдельных лиц и групп не может повредить ему. Оно лишь расчищает его путь. Советская литература должна смеяться над пороками смехом, завещанным ей нашей великой литературой».

Тренев так глубоко и чётко ставил коренные вопросы драматургии потому, что всегда и во всём исходил из правды жизни; она была для него решающим требованием, решающим критерием драматического искусства. Всем своим творчеством: и «Любовью Яровой», и «Анной Лучининой», и «На берегу Невы», и другими пьесами — Тренев наглядно показал, что драматург может создать оригинальные художественные произведения только при условии глубокого изучения жизни, её противоречий и процессов её развития. Когда же драматург плохо знает жизнь, он неизбежно становится на путь ремесленного сочинительства сюжетов, конфликтов и типов, на путь подражания литературным образцам. Правда в искусстве накрепко обручена с творческой смелостью; игнорирование или незнание правды жизни ведёт к бескрылому эпигонству, к появлению косяков одноликих пьес.

«...Не плестись вдогонку жизни, а идти впереди неё, не иллюстрировать её, говорить о ней не только ту правду, которая уже доказана и всем видна, а ту, которую обязан видеть прежде всех и вскрывать глубже всех художник, которая состоит в смелой постановке и правильном решении больших, часто больших вопросов жизни. Каждая пьеса должна быть именно художественным разрешением больших

проблем», — к этому призывал Тренев своих собратьев по перу.

В годы, когда К. Тренев активно работал для сцены, появились многочисленные кадры советских драматургов, работающих над современными темами. Однако большинству писателей, пришедших в драматургию с новыми темами, свежими жизненными наблюдениями, не хватало мастерства. Пьес, строившихся на идейно верном замысле, тематически интересных, выходило множество, а хороших пьес было до крайности мало. Выживание со сцены старой и новой непролетарской макулатуры требовало решительного поворота советских драматургов к вопросам мастерства. И Тренев, всегда очень чуткий к запросам и интересам молодых писательских кадров, остро ставил вопрос о мастерстве и в своих статьях и в выступлениях в Союзе писателей, на секции драматургов, которой он руководил много лет.

«...Получается так, — говорил К. Тренев о недостатках драматургии: — мы берём широкие темы, ставим большие вопросы, ставим чётко, разрешаем как будто бы правильно, но в нашем отображении богатые идеи часто выглядят убогими мыслями. Красочность и богатство нашей мысли превращаются часто в бледные, холодные и схематические образы, на большие и глубокие вопросы получаются мелкие ответы». А в советском искусстве «только то общественно ценно, что и художественно полноценно. Художественно неполноценная пьеса, как бы ни убедительна казалась её полезность, не даёт зрителю новых, важных мыслей, не вызовет нужных эмоций». Считая, что открытая и прямая критика недостатков молодой советской драматургии — лучший помощник её роста, Тренев резко критиковал тех литераторов и театральных деятелей, которые важностью и полезностью темы пытались прикрыть художественную немощь ряда новых пьес.

В сборнике пьес, статей и речей К. Тренева имеется много ценнейших его высказываний и мыслей и о языке драматических произведений, и об изображении характеров, о психологической глубине в их обрисовке, и о театральной критике... И каких бы сторон сложного и трудного процесса рождения пьесы ни касался Тренев, — он всюду обнаруживает целеустрем-

лѐнную последовательность в утверждении и развитии принципов социалистического реализма; новаторские по самой своей сущности, его мысли о драме всюду опираются на богатство классического наследия драматургии, на опыт передовых советских драматургов.

В конце сборника напечатаны содержательные пояснительные статьи Е. Суркова о каждой из треневских пьес, а статьи и речи Тренева сопровождаются обстоятельными комментариями. Эти пояснительные статьи и комментарии содержат много

ценных материалов для изучения пьес Тренева и его драматургической поэтики. Жаль только, что сборнику не предпослана общая статья о жизни и творчестве замечательного советского драматурга. Целесообразность такой статьи диктовалась всем характером книги, рассчитанной на то, чтобы стать важной частью работы по обобщению и популяризации творческого опыта и лучших традиций советской драматургии.

А. КАРАГАНОВ.

★

Татарские рассказы

Издательство «Советский писатель», выпустив объёмистый сборник татарских рассказов, взяло на себя благородный труд познакомить русского читателя с состоянием татарского рассказа за сорок лет. Такой широкий охват связан, конечно, с большими трудностями. Ведь нужно так подобрать произведения, чтобы сборник в какой-то мере отражал этапы развития литературы. Скажем сразу, составитель не вполне справился с этой задачей. Каким, например, был рассказ в начале XX века, какие проблемы он поднимал, как их решал? На этот вопрос читатель не получит ответа, ибо такой крупный татарский писатель, как Ф. Амирхан вовсе не включён в сборник, Ш. Камал представлен... повестью, М. Гафури — рассказами, написанными в 1923 году, причём один из них, «Дикий гусь», — рассказ неудачный, идейно бедный, художественно примитивный. Помещённая в книге автобиография Г. Тукая не соответствует жанровому профилю сборника.

Не посчастливилось также тематике революции и гражданской войны, — произведения М. Максуда, много писавшего на эту тему, не включены в сборник, а К. Наджми, тоже широко осветивший в своём творчестве эти темы, представлен отрывком из романа «Весенние ветры» и повестью «Первая весна».

Шире всего в сборнике даны произведения, посвящённые тематике Великой Отечественной войны: они занимают примерно треть его объёма.

«Татарские рассказы». Составил Мирсай Амир. Редактор Н. Бузинокшвили. «Советский писатель», М., 1951.

Достоинство этих рассказов в том, что в них хорошо показан советский патриотизм, проявленный в борьбе с фашистскими захватчиками. В рассказе Ф. Карима «Записки разведчика» приводится характерный эпизод: старуха из деревни, временно оккупированной немцами, достаёт спрятанную повестку на выборы и показывает её советским разведчикам. «Участок-то наш был в семи верстах от деревни, — рассказывает она, — так нам подали лучшего коня. Зелѐные и красные ленты в гриву ему вплели. Меня и Евдокию, мать бригадира Григория, усадили в сани. За кучеров сели двое: Наташа правила конѐм, а Василий играл на гармонии. Да ведь и не одни наши сани были так упряжены: двинулись мы всей деревней, набралось подвод, поди, пятьдесят. И на всех санях песни пели. В такой-то вот радости, среди такого счастья мы выбрали в депутаты Сталина... Уж не во сне ли это было? Увидим ли снова такие дни?»

В бесхитростном рассказе старой женщины выражена глубокая правда о жизни советской.

Следуя жизненной правде, писатели показывают советских воинов как людей мирного труда, вынужденно оторванных от станка, от колхозных полей, от детворы.

Лейтенант Сулейманов в рассказе И. Гази «Их было трое» на переднем крае думает о сыне, о жене, о светлом дне победы. Вспомнил он дупло у вяза, где каждый год поселялись ласточки. С тревогой подумал о колодце у бани, куда может упасть сын Салават...

В рассказе А. Ахмета «Солдатские дети» бойцы всем отделением читают письма

детей Гайнуллы, рассматривают их подарки — модели самолёта и танка.

Разведчик Хасан из рассказа М. Амира «Земляк» жадно спрашивает земляка, прибывшего с пополнением: какие журналы выходят в Казани, что ставят в театре, как соревнуются колхозы, какой колхоз идёт впереди и т. д.

Обращение ко вчерашнему мирному дню нисколько не ослабляет воинов, наоборот, оно придаёт им силу: людей, познавших счастье социалистического образа жизни, невозможно поставить на колени.

Через рассказы этого периода проходит тема дружбы народов, являвшейся одним из источников победы нашего народа над фашистскими захватчиками. Тепло описана в них фронтовая дружба воинов различных национальностей.

В рассказах послевоенного периода картины созидательного труда связываются с героическими делами вчерашних фронтовиков.

Однако при чтении этих рассказов бросается в глаза узость тематики (всего два рассказа из жизни рабочих, ни одного — о семье и школе), недостаточно высокий идейно-художественный уровень ряда произведений. Тут уж повинен не составитель, а сами писатели, которые в последние годы ослабили внимание к жанру рассказа.

Говорят, что специфика рассказа заключается в формуле «в немногом — многое». Это верно. Но как добиться того, чтобы в немногом рассказать о многом? Умение писателя композиционно построить рассказ, мастерское владение языком — качества безусловно необходимые. Однако имеется и другой момент, никак не менее важный, на который указывал Белинский: «Есть события, есть случаи, которых, так сказать, нехватит бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить её и в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки».

Писатель должен уметь выбрать такой жизненный материал, который сам просится в рассказ, — выбрать случай, эпизод, конфликт, глубоко и ярко выражающий ту или иную важнейшую черту эпохи.

Те рассказы, в основу которых положены идейно глубокие эпизоды, острые и

жизненные конфликты, при прочих равных условиях, как правило, наиболее удачны. Для примера сравним два рассказа одного и того же автора — И. Гизи: «Их было трое» и «Мы ещё встретимся!».

В первом речь идёт о том, как три советских воина во главе с лейтенантом Сулеймановым пошли взрывать вражеский мост. После выполнения боевого задания они, окружённые большим отрядом фашистов, яростно отбиваются от врага. Читатель полон горячей симпатии к Сулейманову — нежному отцу и любящему супругу, к Козицкому — неробкому, но ещё «зелёному» юноше, он начал уважать угрюмого Коненка. В схватке с врагом раскрываются их качества бесстрашных бойцов и патриотов.

Персонажи второго рассказа (их также три) по силе жизненной достоверности значительно уступают героям первого, хотя рассказ вдвое больше по объёму. Почему? Да потому, что этот рассказ, в отличие от рассказа «Их было трое», охватывает ряд лет жизни героев, в том числе и предвоенные годы, включает слишком много эпизодов из фронтовой жизни, держит в поле зрения всех трёх героев, сражающихся иногда на разных участках фронта. Естественно, автор вынужден галопом скакать от эпизода к эпизоду, сухо и торопливо перечислять события. Например: «Кто знает, чем только не занималась Разия на войне: она была зенитчицей, потом десантницей, участвовала в штыковых схватках и даже... в кавалерийских атаках!».

Стремление втиснуть жизненный материал, требующий для своего раскрытия повести или даже романа, в рамки рассказа не может не сказаться на идейно-художественном качестве произведения.

Удача рассказа А. Шамова «Дед Миннур», одного из самых сильных в сборнике, заключается, кроме прочего, и в выборе жизненного материала, положенного в основу. Сюжет рассказа сводится к следующему: дед Миннур, временно исполняющий обязанность сторожа в правлении колхоза, при обсуждении вопроса о приусадебных участках колхозников неожиданно берёт слово и разоблачает присутствующего здесь печника Шарифулла, который нарушил устав сельхозартели.

В один из морозных дней печь деда

Миннур выходит из строя, а печника, кроме Шарифуллы, в селе нет. Шарифулла сначала отнекивается, а потом соглашается сложить печь. После завершения работы, слово за слово — и он упрекает старика за нанесённую обиду. Но Миннур, дороже всего ценивший правду, правду советскую, прямо говорит то, что думает о Шарифулле. Последний, приходя в ярость, разрушает не успевшую ещё высохнуть печь. Старик не идёт жаловаться. Он, прозорливый и умный, твёрдо уверен, что совесть принудит Шарифуллу довести до конца взятую на себя работу. Так и случается.

В этом резком столкновении ярко выражается борьба двух начал в нашей жизни: коммунистического и мелкособственнического.

В рассказе М. Амира «Победа» борьба этих двух начал происходит не между отдельными героями, а в сознании одного человека. Известный на заводе рационализатор, старший мастер Иван Кузьмич думает, что он уже совершенно свободен от пережитков старого. Но вот у него созрела рационализаторская идея, способная ликвидировать отставание цеха, в котором он работает. Оказывается, одновременно к такой же мысли пришёл молодой стахановец Ибрай Хусайнов. Как быть? Кого признать автором предложения? Вот тут-то и понял Иван Кузьмич, что внутри него затаился «последний чертёнок», как он сам выражается, мешающий принять правильное решение.

Наконец старший мастер побеждает этого «чертёнка». Замечательно, что после этого в душе Ивана Кузьмича не только не остаётся сожаления по поводу минувшей его славы и очередной премии, но он чувствует огромное удовлетворение, такое понятное людям социалистического труда.

В этих двух рассказах, а также и в некоторых других, схвачены такие жизненные моменты, такие эпизоды, такие конфликты, в которых наиболее ясно выступает духовный мир советских людей.

А вот в рассказе Г. Галеева «Его вклад» на пяти страницах рассказано о строительстве зерносушилки, в одни сутки пропускающей до двухсот пудов зерна, о работе её в течение лета, о соревновании двух колхозов и т. д. Естественно, в рассказе нет ни одного живого характера,

всё написано примерно в таком стиле: «Вот уже две недели воздвигается новая сушилка. Все колхозники побывали у нового, большого сруба. Стройка разернулась вовсю».

Несколько слов о качестве переводов. От перевода, как известно, требуется точная передача идейного содержания, сохранение художественных особенностей и интонации оригинала.

Наряду с удачными переводами, такими, как «Мальчик из слободки» и «Первая весна» (К. Наджми) К. Горбунова, «На сабантуе» (М. Гали) Н. Чертовой, «Где-то за Камой» (А. Абсаямов) Я. Винецкого, в сборник вошли и переводы с существенными недостатками.

Особенно недопустимы искажения в произведениях умерших писателей, которые лишены возможности протестовать против произвола переводчиков. Однако Мих. Никитин, переведший автобиографию Тукая, и Э. Хаджиева, переведшая повесть «Чайки» другого классика татарской литературы — Ш. Камала, с этим не посчитались. Многие места текста они просто пропускают, а Мих. Никитин часто занимается от себя, реплики одних персонажей вкладывает в уста другим. Так, например, татарскую поговорку: «Если содержишь ребёнка-сироту, рот и нос будут в крови...», которую приводит приёмная мать Тукая, переводчик заставляет произносить Сагди — приёмного отца, человека бесконечной доброты. Перевод совершенно не передаёт характерной для Тукая манеры письма. В конце первой главы повести «Чайки» сезонным рабочим, мечтающим о сорока рублях заработка в месяц, писатель противопоставляет хозяев рыбного промысла, которым снятся сорок тысяч рублей барыша. Переводчица же довольствуется таким безобидным предложением, как «на берегу, в тёмных бараках, на соломе, спали люди, ожидая улова и заработка», — вытравливая тем самым социальную остроту картины.

Пережиток старого в сознании Ивана Кузьмича из рассказа М. Амира «Победа» в какой-то мере поддерживает его жена Зинаида Васильевна, которая «больше интересуется тем, сколько причитается мужу премиальных денег; а сколько находчивости, тонкого ума, сколько опыта потребовалось для дела, сколько творче-

ских сил потрачено,—это вовсе не касалось её». В переводе рассказа этих и некоторых других строк нет. Зато мы читаем такую перестраховочную фразу, которой нет в оригинале: «Зинаида Васильевна очень гордилась мужем и переживала вместе с ним все его удачи и неудачи» (кстати, этих искажений нет в переводе рассказа, включённого в сборник, который издан в Казани, хотя переводчик тот же — Б. Аитов).

В рассказе «Их было трое» сказалась излюбленная манера И. Гази—изображать героев «земными», не затушёвывать их отрицательных черт. Переводчик Я. Винецкий старательно и методично освобождает действующих лиц от присущих им недостатков и слабостей. Так, например, он смягчил тот момент, когда лейтенант Сулейманов, получив письмо от жены, на время забывает, что он солдат; устранил испуг в глазах Козицкого, которому сообщили, что и он пойдёт на выполнение опасного задания.

Наиболее характерным примером бесце-

ремонного отношения к оригиналу могут служить переводы Мих. Никитина рассказов «Гость» (Г. Баширова) и «Земляк» (М. Амира).

В первом рассказе, посвящённом гражданской войне, описывается красивая и чистая любовь дочери лесника к красноармейцу. Переводчик опустил много мест, проникнутых задушевым лиризмом. А ведь этот лиризм является одной из основных особенностей творчества Г. Баширова.

О тексте «Земляка» можно сказать, что это рассказ, написанный на мотивы произведения М. Амира, но никак не перевод. Рассказ, быть может, и неплох, но ведь читателю в данном случае нужен не никитинский, а амировский текст.

При составлении сборников писателей братских народов необходимо выбирать только такие произведения, которые достойны выйти на всесоюзную арену. Но уж если они выбраны, нельзя допускать произвола при их переводе.

И. НУРУЛЛИН.

Неудавшиеся мемуары

За последние годы вышло немало мемуарных произведений, посвящённых Великой Отечественной войне. Лучшие из них привлекают читателя своей искренностью и простотой, точностью и документальностью, знанием деталей и меткостью наблюдений, богатым жизненным и военным опытом их авторов.

Вполне понятен интерес читателя к таким книгам.

И вот перед нами ещё одна работа подобного рода: «Северо-западнее Сталинграда. Записки армейского редактора».

Читатель, с живым интересом относящийся ко всему, что связано с именем героического Сталинграда, многого ждёт от произведения с таким значительным названием.

Автор книги Н. Филиппов редактировал армейскую газету «Боевой товарищ» на одном из участков северо-западнее Сталинграда. Естественно, что он многое видел, многое знает, ему есть о чём рассказать.

Однако, прочитав книгу, убеждаешься, что «Записки армейского редактора» — не плод личных наблюдений, переживаний, мыслей очевидца, а не в меру длинный и не в меру скучный обзор одной из армейских газет. Но даже и обзор мог бы представлять интерес, если бы в нём был обобщён драгоценный опыт фронтовой газеты. В книге Н. Филиппова этого, к сожалению, тоже нет. Читатель найдёт в ней описания ряда малозначительных боевых эпизодов, сюда попали десятки страниц из комплекта газеты «Боевой товарищ» за 1942 и 1943 годы, корреспонденции и очерки сотрудников редакции. Творческий метод автора весьма примитивен: многие страницы книги заполнены политдонесениями, оперативными сводками штаба армии и разведдонесениями. И всё это использовано автором без отбора и без учёта того, что может сегодня интересовать читателя. Сухие информационные сообщения, подчас никак между собой не связанные, не раскрывают ни характера работы фронтовой газеты, ни той особой обстановки, в которой эта газета создавалась. Вот как, например, выглядит дневник редактора:

Н. Филиппов. «Северо-западнее Сталинграда. Записки армейского редактора». Редактор И. Розанов, Воениздат, М. 1952.

«28 июля. Мы печатаем передовую «Правды»... (Следует подробное изложение передовой).

«30 июля. В частях агитаторы проводят с бойцами беседы, читают газеты. Почти каждый боец ознакомлен с передовой статьёй газеты «Красная Звезда» за 19 июля «На Юге».

«4 августа. В газете «Красная Звезда» напечатана передовая статья...» (Опять следует изложение передовой).

«5 августа. Наша газета опубликовала письмо, присланное из Сталинградского обкома ВКП(б)».

В записи, датированной 7 августа, автор упоминает, что красноармеец Соснин опасен для жизни лейтенанту Черных, а младший лейтенант Варламов спас другого командира. А как это происходило — об этом ни слова.

Не связанные с общим замыслом операции, боевые эпизоды, описанные в книге, не раскрывают специфики боёв в районе Дона, северо-западнее Сталинграда. Подобные операции ротного и взводного масштаба можно было наблюдать и на других фронтах. А вот в чём заключалось то особенное, неповторимое, что характерно именно для событий, происходивших в те дни северо-западнее Сталинграда, — этого книга Н. Филиппова не передаёт. Конечно, в заметках, в своё время напечатанных в газете «Боевой товарищ» и использованных автором в книге, нашёл своё отражение героизм наших солдат. Но сейчас, десять лет спустя, читатель вправе потребовать от автора обобщённого раскрытия происходивших событий, а не механического воспроизведения отдельных газетных сообщений.

Поставив перед собой задачу показать, как газета помогала бойцам овладеть военным мастерством, автор не сумел привести ни одного яркого, выразительного примера. Вместо этого — общие, малоговорящие чигателю фразы. Так, в записи, помеченной 9 октября, читаем: «Сегодня в газете выступил ставший знатным снайпером комсомолец Усманов. Он пишет о том, как готовит новых снайперов, передаёт им свой опыт, навыки».

Но о том, как делился с бойцами своим опытом снайпер Усманов, каков этот опыт, — в книге ничего не сказано

«22 октября. Открылся первый слёт снайперов...»

После вступительного слова начальника политотдела и краткого доклада представителя штаба на трибуну вышел комсомолец Зарайский. Он рассказал характерные случаи из своей практики, касаясь деталей, которые могли бы пригодиться его товарищам.

А ведь именно на этих деталях и следовало остановиться подробнее!

Н. Филиппов пытается ознакомить читателя с тем, как политотдел в условиях напряжённейшей боевой обстановки осуществлял руководство газетой. Но и здесь вместо живых эпизодов, впечатляющих деталей — общие фразы, декларация, лишние, незначительные подробности.

«10 июля. Рано утром раздался телефонный звонок. Начальник политотдела вызывал к себе. Когда я вошёл в его «кабинет» в местной школе, невысокий бригадный комиссар стоял перед долговязым штатским портным, снимавшим мерку для плаща. Улыбнувшись по этому поводу, он попросил подождать минутку, а потом, проводив портного, рассказал о том, что некоторые наши части, ещё не заняв указанных им рубежей, уже имеют раненых от налётов авиации противника.

Заложив руки за спину и делая четыре шага от стола к окну и обратно, он спокойно (?) говорил:

— Мы близки к соприкосновению с противником и поэтому надо держать бойцов в состоянии постоянной готовности в любую минуту вступить в бой».

На этом и заканчивается беседа. Какие указания, какие советы даёт редактору начальник политотдела, — остаётся неизвестным.

Непосредственно за этим, столь «значительным» эпизодом следуют выдержки из оперативной сводки штаба, по сути дела ничего не гозорящие записи.

«15 июля. Разговаривал с заместителем начальника политотдела. Новых сведений ещё нет ни у него, ни у меня. Нервничает, так как на одном из участков произошёл бой с разведкой противника, есть пленные, а в редакции ни строчки...»

Что даёт такая запись? Зачем её приводить?

«16 июля. Ведя бой с разведкой про-

тивника, боевое охранение подбило на высоте 197,0 вражеский танк.

17 июля. Гитлеровцы не ведут активных действий, на правом берегу Дона роют окопы. Однако по некоторым хуторам на левой стороне реки бьёт их дальнобойная артиллерия.

18 июля. Противник попрежнему ведёт лишь редкую артиллерийскую стрельбу и строит укрепления по правому берегу реки.

По данным разведки, перед нами действуют 336-я, 376-я и, предположительно, 305-я немецкие пехотные дивизии».

Перечисление потерь неприятельских дивизий делается настолько вне всякой связи с предыдущим рассказом, что кажется, будто в текст книги по ошибке попали обрывки старых разведдонесений.

А вслед за этим совершенно неожиданно начинается подробный рассказ о прошлом Чкаловской области и города Орска. В чём дело? Чем вызван этот географический экскурс? Оказывается, в частях армии служат чкаловцы. Но, если следовать этому принципу, подобный повод должен был заставить автора поместить в книге исторические справки о целом ряде советских городов, так как в армии были, конечно, не только уроженцы города Орска.

Живых деталей, дающих представление о жизни и работе армейской газеты, в книге очень мало. Но зато большое место занимают подробные описания организационно-хозяйственных дел редакции. Настойчиво, несколько раз кряду, автор сообщает, что штат редакции полностью укомплектован. Читатель имеет возможность познакомиться с прошлым некоторых сотрудников редакции, но представления о живой, конкретной работе газеты он не получит.

Автор пишет:

«Никита Михеевич прислал материал из гвардейской мотомеханизированной части с запиской:

«Я сейчас уезжаю в Морозовский. Может быть, завтра буду в Миллерово, смотря по обстоятельствам. Передавать корреспонденции будет трудно, оперативного же материала будет достаточно и буду стараться передавать как можно скорее именно эти оперативки». К сожалению, кроме этой записки, в книге нет почти никаких фактов, дающих представление о живом опыте корреспондента газеты, находящегося в полках, о плане газеты, её отделах, о методах и формах организации газетных материалов; не знакомит автор читателя также с письмами военкоров в редакцию газеты.

Ценный опыт солдатской газеты не нашёл в книге Н. Филиппова достойного отражения.

Интерес представляют только те страницы книги, которые содержат личные наблюдения самого автора, либо те, где излагается содержание наиболее значительных статей и очерков газеты. Корреспондент «Боевого товарища» Юрий Шляпужников написал содержательный очерк о лётчике Жигарине. Н. Филиппов уделяет несколько страниц этим действительно интересным запискам Шляпужникова. Тепло описана встреча бойцов в освобождённом Ворошиловграде с Яковом Семёновичем Пархоменко — отцом легендарного комдива. Удачна глава, посвящённая ветеранам-чапаевцам.

Но эти отдельные удача тонут в груде безжизненного, по сути дела, архивного материала. Холодная и бесстрастная книга Н. Филиппова не согрета живой мыслью, дыханием грозных событий 1942 года.

В аннотации издательства указывается: «Записки армейского редактора не претендуют ни на полное освещение событий, ни на показ всей многообразной работы редакции армейской газеты». Прочтя книгу, читатель испытывает недоумение: на что же претендуют эти «Записки»?

В. КОРОТЕЕВ.



Традиционный образ и современность

Народ, освобождённый Великим Октябрем, отвергает сказания, воспевающие варварские нравы и обычаи или восхваляющие угнетателей. Но попрежнему продолжают свою жизнь те образы и сказания, в которых отразились черты подлинно народной жизни и гуманистического мировоззрения. Таковы, например, многие кабардинские нартские сказания. В них воспеваются легендарные и в то же время очень земные воители и труженики, свободолюбивое и пылливое богатырское племя. Лучшие из этих сказаний демократичны, преисполнены гуманизма; в них — утверждение человеческого достоинства, хвала труду и умелым рукам.

Легендарные образы, сопутствовавшие народу в его исторической борьбе за свободу, оказали влияние и на молодую кабардинскую поэзию, родившуюся после Октября.

Мы имеем здесь дело не со слепым подражанием традиционной поэзии или с автоматическим применением старых поэтических образов. Ещё народный поэт Кабарды Бекмураза Пачев после Октября пел о том, что нельзя жить прошлым, что «жить сегодняшней жизнью» — это значит «видеть в будущем силу свою». Об этом же говорил и основоположник кабардинской советской поэзии Али Шогенцуков. Освобождённый народ и его певцы берут из прошлого только то, что способствует движению к будущему: идеи прометеевской борьбы и дерзания, образцы богатырских подвигов на благо человечества, любовь к труду.

Своеобразие творческого освоения культурного наследия прошлого ярко выражено в тех стихах Алима Кешокова, в которых, наряду с критическим отношением к идеалам прошлого, многие традиционные образы привлекаются для утверждения и поэтизации настоящего и будущего.

Мы днями не мерим, как мерили предки,
Свой путь, — далеко мы решили шагнуть,
Мы взяли мерилом размах пятилетки,
И с нартвской славою вышли мы в
путь, —
(Перевод С. Липкина)

говорит он в стихотворении «Труд».

А. Кешоков. «Стихи». Перевод с кабардинского. Редактор А. Чеснокова. «Советский писатель», М. 1951.

Отталкиваясь от народного эпоса и национально самобытных образов, Кешоков использует их по-новому, обогащает родную поэзию широкими обобщениями, которые могли появиться только у поэта, возвращённого социалистическим обществом и глядящего на мир глазами борца-коммуниста.

Всадник, конь, клинок. Эти традиционные для поэзии северокавказских народов образы, казалось бы, стали столь же банальными, как образы розы и соловья в азербайджанской или среднеазиатской лирике.

Но традиционный образ ощущается как банальность лишь тогда, когда он: из элемента содержания превращается в элемент формы, лишь там, где он призван традиционной ассоциацией прикрасить отсутствие современной мысли и подлинного человеческого чувства. Банальность никогда не может возникнуть там, где традиционный образ одухотворён новой мыслью и новым чувством, помогая их наилучшему выражению.

Характерны в этом отношении несколько стихотворений Кешокова, в которых говорится об отважных всадниках, о вечном движении вперёд, о счастье, обрётённом в этом движении, в борьбе. В них своеобразно выражены чувства и стремления передового строителя коммунизма.

Кабардинцы называют Млечный путь — «Путём всадника». Кешоков назвал так одно из своих программных стихотворений и целый сборник стихов, вышедший на кабардинском языке. Рассказав о легендарном всаднике, оставившем на небе неугасимый след, лирический герой Кешокова мечтает о том, чтобы оставить такой же бессмертный след на земле.

Скакуна чудесной силы мне бы
На него б. держась за гриву, я вскочил
И такой же, как зон тот по небу, —
По земле свой путь бы проложил!

И если в стихотворении «Путь всадника» мечта о бессмертном деле выражена символически и абстрактно, то в стихотворении «Наш путь», в котором говорится о нашем движении к коммунизму, она приобретает вполне конкретное выражение.

Настоящее четверостишие пригодится в моём переводе.

И этот путь проляжет навсегда,
 Как млечный путь пролёг по небосклону.
 Над нами — путеводная звезда,
 Но мы идём не праздничной колонной,—
 Мы, как войска, идём на штурм высот,
 Дается с бою каждая победа,
 И поколение новое идёт
 За нами, по проложенному следу.

(Перевод М. Петровых)

Поэт воспекает неустанное движение в будущее. И в этом движении — счастье. Когда герой одного из стихотворений Кешокова, вняв голосу «прошлых столетий», предполагает, что счастье недвижно стоит вдали, и собирается поскакать за ним, «чтоб, как возлюбленную, счастье умчать на скакуне своём», — наша современность говорит ему:

То, что ты ищешь, — пред тобой.
 Вступи за счастье в бой горячий:
 Зовётся счастьем этот бой.

И я вступил на путь бойца,
 И нет пути тому конца.

(Перевод С. Липкина)

Обе темы — «путь всадника» и «движение — борьба — счастье» — мы находим в их органическом единстве в стихотворении «На мчащемся коне».

С честью послужит скакун быстроногий
 Только тому, кто стремится вперёд.

Сила реки, сокрушающей скалы,
 Лишь в неустанно бегущей волне...
 Где бы в пути меня смерть ни застала,—
 Встречу конец на летящем коне!

(Перевод М. Петровых)

Мы остановились на этом мотиве не только потому, что он является одним из ведущих в поэзии Кешокова, но и потому, что его образное воплощение показывает, как национально-традиционный образ, будучи одухотворён передовой идеей, обретает новую силу и активно служит современности.

В сочетании традиционных форм и образов с советской современностью нет и не может быть канонов или запретов. Главным законодателем и судьёй является здесь то, что всегда определяет жизнь искусства, — сама действительность. Современность, наша советская действительность, которую стремится отразить поэт, сама диктует форму своего поэтического воплощения и является в этом отношении превос-

ходным контролёром качества и приемлемости этой формы.

Успешно используя в ряде своих произведений национально-традиционные образы, Кешоков в некоторых стихотворениях всё же оказывается в положении поэта, не столько подчиняющего традицию своим задачам, сколько влекомого её инерцией.

Цикл фронтовых стихов Кешокова далёк от традиционных образов. Это стихи о солдате, который сидит в окопе, ходит в атаку, воздаёт хвалу своему котелку или порывшим сапогам, — в них он дошёл до Берлина и в них же по возвращении домой пляшет «кабарлинку, как победный танец». Национальная самобытность определяется здесь характером лирического героя, а не традиционными образами. Но вот стихотворение «Ночь», в котором отражение вражеского воздушного налёта нашими прожектористами и зенитчиками описано так:

Во мраке гром гремел под облаками.
 Вот синий луч зажгётся, вот потух...
 Казалось, лучезарными руками
 Перебирала тучи Адриох.

Сосруко, может быть, ночной порою
 Семь сабель в небо чёрное вонзил...

(Перевод В. Потановой)

Адриох и Сосруко — герои нартского эпоса. Но как бы ни были известны имена этих героев, упоминание их при описании воздушного налёта звучит неуместно и вычурно: это не отражение жизни, а её архаическая стилизация. Вряд ли убедительно выглядело бы стихотворение русского поэта, в котором он, подражая традициям классицизма, назвал бы, например, лучи прожектора «перстами Авроры», а грохот зенитных орудий — «гласом Перуна»!

Есть у Кешокова интересная поэма «Земля молодости». В ней, в связи с нашей борьбой против фашистских человеконенавистников и одержанной над ними победой, рассказывается легенда о злых силах, безуспешно пытавшихся присвоить красоту и юность вольной земли нартов. Патриотическая тема сочетается здесь с темой несовместимости зла и красоты. Но до чего же осложнило выражение этой интересной темы то, что древний сюжетный материал облечён ещё и в архаическую форму! Поэма представляет собой драматизированное сказание, восходящее не только по основ-

ным образом, но и по жанру к традициям нартского эпоса.

Хорошо, когда поэт при осознании идей и событий современности обращается к народной мудрости. Но плохо, когда народная мудрость предстаёт перед нами только как «сказанье старины седой». Историческая параллель и притча не могут заменить прямого изображения и осмысления сегодняшней действительности, а традиционный образ и форма не всегда способствуют её выражению.

Это подтверждают не только такие произведения, как «Ночь» или «Земля молодости» Кешокова, но и некоторые произведения других поэтов. Сравнительно недавно в печати появилось стихотворение Николая Грибачёва «Легенда о Терек» («Огонёк», 1952, № 15). По своим мотивам оно перекликается со стихотворением Кешокова «Терек». «Легенда о Терек» Грибачёва, повествуя о переменах, происшедших в наши дни на Кавказе, в то же время изобилует традиционными «легендарными» образами.

В ней рассказывается о том, что Каспий ищет, где Терек, «а Терека нет...», того Терека, которому,

Одеваясь туманом, Дарьял
Легенды
И тайны свои поверял.
Ему
Отдавала на веки веков
Царица Тамара
Своих женихов.
* * * * *

Как данник,
Влестя серебром при луне,
Бросался он в ноги
Каспийской волне.

И вот — «Терека нет». И нет прежнего Терека потому, что он перекрыт плотинами «и к труду приучен». Об этом рассказали Орёл и Ветер, посланные в разведку Каспием. «На дружбу с людьми он тебя променял!»

Мне представляется, что избранная Грибачёвым форма легенды и традиционный для народной поэзии образ владыки — Каспия находится в противоречии с содержанием стихотворения, посвящённым нашей современности. И не знаменательно ли, что для правдивой повести о новой судьбе Терека поэту пришлось написать неправду о Каспии, судьба которого изображается исторически неизменной, застывшей в

своей архаике. Вопрошающий о судьбе Терека Каспий сам как бы выключен из советской действительности, как бы остался таким же, каким он предстаёт перед нами в лермонтовских «Дарах Терека». В «Легенде» Н. Грибачёва Каспий существует как бы неизменным, он привык к тому, чтобы Терек, «как данник, блестя серебром», бросался «в ноги каспийской волне».

Куда правильнее поступил Кешоков. Его стихотворение «Терек», оставаясь насквозь «кавказским», в то же время — и по содержанию и по стилю — противостоит традиционным «легендарным» образам. Оно имеет подзаголовок «Разговор рек». Не облекая сюжет в форму легенды или сказки, Кешоков сразу подчёркивает условность избранной им «разговорной» формы. Разговаривают участники событий: притоки рассказывают Тереку о том, какие изменения они наблюдают в стране, и о своём участии в этих переменах. После рассказа самого автора и «работающих рек» о колхозных оросительных каналах, богатых полях и садах, гидроэлектростанциях и других сооружениях, созданных советскими людьми, Терек восклицает:

Слава труженицам-рекам,
Чья работа велика!
В дружбе с новым человеком
Им дано войти в века.

Не руинам башни старой
В неприступной высоте
И не царственной Тамары
Легендарной красоте,—

Новостройке величавой
У Дарьяла древних скал
Я теперь обязан славой
Всей, которую снискал.

(Перевод В. Потаповой)

Не только сюжетно, но и всем строем «разговора» «тружениц-рек» стихотворение противостоит традиционным легендам о Терек, Каспии, Дарьяле, замке Тамары и традиционным образам древнего эпоса, сохранившимся в народной поэзии.

Традиции народной поэзии, как и народная мудрость, восходят не только к далёкой истории. Сегодняшняя жизнь народа пронизана новой мудростью, в ней рождаются и новые традиции. В ряде своих стихотворений Кешоков показал это. Наиболее интересно это отражено в серии небольших стихотворений о людях новой Кабарды

Высоко над небом горячим,
Одетый в прозрачную просину,
Как в сказке, красуется город
Меж древних утёсов и скал.
Там в сутки ты разом увидишь
И лето, и зиму, и осень,
Там люди орлиной породой
Стране добывают металл.
(«Заоблачные люди». Перевод С. Липкина)

Поэт пишет о героических тружениках высокогорного рудника, о «заоблачных людях», которые однажды сошли вниз, — «и переходящее знамя они получили и гордо на небо его увезли». Поэт как бы говорит: «Вот наша советская сказка-быль, которая интереснее и чудеснее сказок о нартах». И, например, сравнение с мифическим титаном-кузнецом Тлепшем не могло бы, конечно, передать того чувства гордости своей работой, которое испытывают горняки — герои социалистического труда.

Этим чувством гордости за свой свободный и почётный труд в социалистическом коллективе пронизано и стихотворение «Плакат». В нём рассказывается о том, как старый колхозник-садовод принимает портрет Мичурина за свой собственный, находя вполне естественным, что в нашем обществе могут выпустить плакат и о нём, простом труженике, хорошо работающем садовом-мичуринце. Кешоков рассказывает об этом случае с любовной улыбкой — он как бы радостно удивляется переменам, происшедшим в жизни народа, новым чертам и обычаям.

Эта улыбка, естественно, наиболее явно проступает в цикле шуточных стихотворений («Косари», «Пастушьа шуточная песня», «Влюблённый», «Горный ветер»), где говорится о трудовой доблести и о любви. И пусть, например, в стихотворении, где «он» — косарь, «она» — завезущая фермой и где «зависят от сена влюблённых дела» («Косари»), или где «она» говорит «ему»: «Справим свадьбу осенью на славу, — нераздельны наши трудодни» («Влюблённый»), — пусть в этих стихах непосредственность конфликта и характеров нарочито подчеркнута, — мы видим за шуточной меткою зарисовку деталей станов-

ления новых отношений между людьми и новых традиций.

Но вот в голосе поэта любовная улыбка сменяется патетикой. Кешоков рассказывает о кабардинской девушке, ведущей машину по трудной высокогорной дороге, и в этом стихотворении мы видим большое поэтическое обобщение.

Не дрогнет руль в руке её умелой;
За поворотом что рассмотрит взгляд?
Но ясен путь моей орлицы смелой.

Она и жизнью правит и машиной.¹

(«Девушка-шофёр». Перевод В. Звягинцевой)

«Ясный путь орлицы смелой» проходит по «пути всадника». Но это уже не традиционный образ, абстрактно символизирующий наше движение вперёд. Это реальный и конкретный образ, в котором отражено не только раскрепощение кабардинской женщины, но — шире — путь освобождённого человека, человека, который сам своею «жизнью правит».

Чем конкретнее поэт изображает современную действительность, тем дальше отходит он от архаических традиционных образов и форм. В этом есть своя закономерность. Неустанное движение, которое воспевают поэт, — не только закон действительности, но и закон поэзии, как части и зеркала этой действительности.

Вместе с жизнью — истоком своим — под мощным влиянием русской литературы поэзия социалистической кабардинской нации, возникшая после Октября и благодаря Октябрю, растёт, мужает и изменяется. От использования традиционных образов — к созданию новых национально-самобытных художественных образов и приёмов, воплощающих черты социалистической действительности и нового человека, от абстрактной символики и риторики — к конкретному изображению, — таков путь этой поэзии. Это путь к мастерству, к реализму.

В. ГОФФЕНШЕФЕР.

¹ В оригинале это сказано ещё выразительнее: «Она и жизнью своей правит, как управляет машиной».

Серые слова

Новая, только что вышедшая в свет книга... Перелистываешь её и думаешь: какие новые миры откроет она, какими обогатит мыслями и чувствами, с какими людьми познакомит?

И бывает так, что за яркие блёстки таланта, разбросанные щедрой рукой, за выскоккий образ, созданный писателем, за мысль, которая осветила то, чего ты раньше не понимал, — хочется простить автору все недотяжки, все промахи и ошибки в его книге.

Но бывает и другое: промахов и недотяжек так много, что они поглощают собой всё произведение, и отдельные островки удач не могут спасти его.

Именно такой является книга И. Никитина «Они вступают в жизнь». Тема её большая, важная: книга посвящена ремесленникам — будущему пополнению рабочего класса Советской страны. Однако бедность образов, небрежная, серая форма выражения мысли и недостаток художественного чутья «укорачивают» большую тему, сводят её на нет.

Книгу о ремесленниках нельзя представить себе без романтики труда, без романтики овладения профессией, знаниями. Должно быть в ней отражено и формирование характера подрастающего советского человека.

Любовь к профессии как к делу своей жизни (именно в этом-то и заключается романтика!) должна вытекать из духовного облика человека — героя литературного произведения. Но такое отношение героя к своему делу может быть выражено только в том случае, если самый его образ будет живым, объёмным.

Тщетно мы будем искать такой образ на страницах книги И. Никитина, хотя персонажи её многочисленны. Главная причина этого заключается в том, что автор не вжилась ни в один образ, не продумал, не почувствовал его. Он смотрит на образ как бы со стороны, подменяя художественное его раскрытие беглым жизнеописанием героя.

Через всю книгу проходит, например, образ ремесленника Бориса Рылеева. Мы узнаём, что сперва он был «трудным» под-

ростком: дёргал девочек за косички, дразнил их, плохо учился. Затем под влиянием комсомольского коллектива он исправился, стал лучшим учеником училища, инициатором скоростных методов работы. Кажется, всё правильно в поведении Рылеева.

Но верно наметить путь развития образа, основные грани его характера — это ещё не значит создать образ. Если он не раскрыт в каких-то очень конкретных, присутствующих только ему деталях, то перед читателем предстанет лишь схема образа.

Таких деталей мало в образе Бориса Рылеева. Вот Борис сидит на комсомольском собрании, слушает сообщение о работе и учёбе лучших учеников училища. Ему стыдно за своё недавнее прошлое и хочется стать таким же, как его передовые товарищи. Но, вместо того чтобы отразить его душевное состояние в движениях, мыслях, свойственных только ему, Борису, И. Никитин ограничивается общей, описательной фразой: «Борис отводил в сторону смущённый взгляд и давал слово не уступать своим товарищам ни в учёбе, ни в работе. И не уступал».

Процесс формирования человека, воспитания в нём новых черт характера сложен и никогда не проходит гладко, без срывов.

Однако превращение Бориса Рылеева из «плохого» в «хорошего» протекает в книге настолько легко, что этому не веришь. Секретарь комсомольского комитета Зоя поговорила с ним по душам, и «...неожиданно в его жизнь влилась новая, свежая струя. И с того дня о безобразиях Бориса не стало слышно».

Ни раздумий, ни возврата к прошлому — всё гладко и просто! Эта неправдоподобная лёгкость вытекает из той же причины: следуя начерченной схеме, автор не раскрыл здесь образа Бориса в индивидуальной его конкретности. Именно поэтому, закрывая книгу, трудно воспроизвести облик Бориса, его жесты, улыбку, слова, трудно вспомнить чувства и мысли, которые его волнуют. Образ Бориса слабо раскрыт изнутри, читатель остаётся равнодушным к этому герою. Значит — писатель не достиг своей цели, не донёс до читателя всего, что он хотел выразить.

Но если даже при всей беглости описания дел и поступков Бориса читатель что-то узнаёт о его характере, то его подруга

Ира Авдюнина настолько безлика, что читатель её совсем не видит, не представляет.

Недостатки в обрисовке образа сказываются здесь ещё более ясно. Ира Авдюнина во всём примерная девушка. Талантлива, хорошо рисует, хорошо поёт, учится только на «отлично». Подруги в ней души не чают. Казалось бы, о таком человеке можно рассказать горячо, любя его и любясь им. Вместо этого в книге читаем: «Ровно и гладко протекала трудовая жизнь Иры Авдюниной. Ещё на первом курсе она записалась в хор. У неё приятный голос, чистый, звонкий. А на втором году обучения вместе с Тоней Шафировой Авдюнина была зачислена в хор городского ансамбля песни и пляски трудовых резервов. С этого дня жизнь её стала ещё более интересной. Днём — классные занятия или производственная практика, вечером — подготовка уроков, хор, рисование или чтение хорошей книги, театр или кино».

Все жизненные конфликты Иры Авдюниной также протекают «ровно» и «гладко». Получит она выговор — знаешь, что это случайное недоразумение, которое будет благополучно разрешено; ревнует отца к мачехе — и это сложное, мучительное чувство будет изжито ею без больших душевных бурь. И действительно, так и выходит: Ира мирится с мастером, начинает горячо любить мачеху...

И всё в книге И. Никитина происходит так: какой бы сложный и трудный конфликт в жизни любого героя ни назревал, он разрешается быстро, гладко, ко всеобщему удовольствию.

В жизни нельзя встретить человека, который бы разговаривал совершенно так же, как другой. Это и понятно: сколько характеров, столько и оттенков речи. В истинно художественном произведении у каждого героя тоже своя речь. Но в книге, где образы не продуманы, схематичны, герои говорят всегда одинаково. Не вытекая из сущности образа, не характеризуя его, разговорная речь героев теряет индивидуальную окраску, сглаживается, выравнивается под один шаблон, превращается в речь сухую, книжную.

«— Успокоение, Зоя, наш лютый враг. У нас ещё много недостатков, и работать нам надо, засучив рукава, напористо, с огоньком, с комсомольской страстностью. И так работать, чтобы колесо приводило в

движение все приводные ремни», — так говорит Иван Сергеевич Рябинин, секретарь партбюро училища.

«— Я не требую, чтобы твои ученики полностью овладели методом скоростного точения. Это пока им не по силам. Но я хочу, чтобы наши мастера повысили общие режимы резания, о чём я говорил на совещании, и прочно закрепили практические навыки учеников... Мне кажется, что творческое новаторство и должно являться основной чертой в воспитании ремесленника», — так говорит директор училища Григорий Иванович Рябев.

«— Маша права. Надо работать на станке и не забывать учёбу. Настоящий строитель коммунизма должен любить труд, свою профессию, уметь хорошо и производительно трудиться. Необходимые трудовые навыки вы получаете уже здесь, в училище. Вам надо быть культурными, физически здоровыми, всесторонне развитыми молодыми людьми», — так беседует с ремесленниками замполит Павел Захарович Лаврененок.

Обезличенная разговорная речь, в свою очередь, обезличивает и образ, в особенности, когда он слабо показан и в действии. Рябинина, Рябева и Лаврененка трудно отличить друг от друга. Кто из них замполит, кто директор, а кто секретарь партбюро — запомнить сложно.

А ведь и Рябинин, и Рябев, и Лаврененок — это те герои, которые должны выразить основные мысли и чувства автора, по ним юный читатель должен захотеть равняться.

Не сумев через образную ткань своего повествования передать пафос и романтику труда и увлечённость в овладении профессией, И. Никитин пытается наверстать это техническими описаниями производственного процесса.

В главе «Скоростники» Борис Рылеев впервые показывает мастеру Короткову, как он овладевает скоростной обточкой, держит перед ним своеобразный экзамен. Волнуются и мастер и ученик, но в момент наивысшего напряжения мы вдруг читаем:

«На этот раз Борис начал обточку шестерни при скорости до 1200 оборотов шпинделя в минуту, при подаче 0,35 миллиметра, при глубине резания в 2 миллиметра и при скорости резания от 600 до 700 метров в минуту».

Но это же слова из популярной технической брошюры, а не из художественного произведения!

И так часто, именно в тех местах, где художественным словом должно было быть передано высокое человеческое волнение, мы встречаемся с подобного рода описаниями.

Не чувствуется в книге стремления автора к тому, чтобы каждая фраза была отточена, чтобы она возможно ярче и полнее выражала содержание. Книга полна серых слов, смеси шаблонной «лирики» с канцелярскими оборотами речи.

«А вечер был по-весеннему тёплый, первый такой в текущем году».

«Афанасьев-старший... не порывал связи с училищем, часто бывал здесь и принимал активное участие в волейбольной игре».

И всё это говорится без тени юмора!

Или такая фраза:

«Фёдор Степанович принёс с войны полдюжины осколков и в лёгких, и ещё где-то под лопатками... его оперировали, но полностью освободить от осколков не могли».

Книга И. Никитина даёт некоторое представление о жизни описываемого им ремесленного училища. Но и только! Она не заражает читателя пафосом и романтикой труда, не возбуждает в нём жажды знаний, желания походить на её героев. Мысли, высказанные в ней, правильны, но лежат они мёртвым грузом, ибо выражены «суконным языком проповеди», ибо нет в сухих словах ни лирики, ни публицистического накала.

Да, тема книги И. Никитина — большая и важная. Но ведь столько раз уже говорилось, что большая тема сама по себе, без мастерского, художественного её ограничения, не может «вывести» произведение.

Е. РУСАКОВА.

★

Добросовестно, но с орехами

Одним из замечательных людей первой половины прошлого столетия был поэт-партизан, незаурядный военачальник суворовско-кутузовской школы, историк и теоретик партизанской войны — Денис Давыдов.

Белинский говорил, что Давыдов «примечателен как человек, как характер».

Характер этот, столь ярко проявлявшийся в различных видах общественной деятельности, был освещён пламенем подлинного патриотического служения родине, России. Знаменателен девиз самого поэта-партизана: «...несмотря на поговорку: «никуда не проситься и ни от чего не отказываться»... я всегда следовал правилу, что в ремесле нашем можно иногда напрашиваться и ни от чего не отказываться».

Проявления его таланта были настолько многогранны, общественная и личная жизнь, служебные и социальные условия, в которых она протекала, столь противоречивы и трагичны, что сама жизнь поэта, воина, учёного должна стать не только предметом изучения историков, но может послужить благодарнейшим материалом

для поэтического вдохновения, сюжетом для увлекательной и поучительной исторической повести, ибо сюжет — это и есть история характера.

С этой точки зрения появление первого тома книги Н. Задонского «Денис Давыдов», названной автором исторической хроникой, следует от души приветствовать. Построенная как последовательная биография Давыдова, книга эта охватывает его жизнь с рождения (16 июля 1784 года) и до взятия им в декабре 1812 года города Гродно, где и завершилась «весёлая и залётная» судьба Давыдова как знаменитого партизанского командира. В трёх частях книги подробно, со знанием дела показана жизнь Давыдова — сына разорившегося дворянина, романтического юноши, мечтавшего о военной славе, но за вольнолюбивые стихи изгнанного из гвардии в армию, где он проходит суровую суворовскую школу у Кульнева, а затем у Багратиона; первого из офицеров русской армии, отважившегося на партизанские действия в тылу армии Наполеона.

Автор собрал и в беллетризованной форме изложил все наиболее значительные факты из жизни Давыдова до 1812 года. Во многом эти факты мало известны, и с

Н. А. Задонский. «Денис Давыдов. Историческая хроника». Редактор А. Степанов. Куйбышевское областное государственное издательство. 1952.

этой стороны историческая хроника Н. Задонского представляет значительный интерес.

Как историк-биограф автор сделал многое, и сделал это с любовью. В книге не ощущается насилия автора над историческим материалом в угоду «сюжету», автор не придавлен глыбой исторических фактов. Описание ведётся ровно, спокойно, без литературных выкрутасов.

Н. Задонский дал в основном верную канву биографии Давыдова. Но он не везде правильно освещает исторические факты и отношения.

Считая автором плана партизанской войны Дениса Давыдова, Н. Задонский тем самым допускает уменение роли Кутузова. Писатель здесь идёт на поводу у остальных и неверных исторических концепций.

Началом партизанской борьбы в 1812 году долгое время считали конец августа 1812 года, когда Кутузов по рапорту Д. Давыдова, просившего разрешить ему с партией казаков и гусар выйти на коммуникации наполеоновской армии, приказал выделить 50 гусар и 80 казаков для открытия партизанской войны.

Так представлялось более ста лет начало партизанской войны в России, оказавшей такое влияние на истощение и гибель армии Наполеона. И в этом есть своя правда. Но это только частная правда, верная лишь для начала сентября 1812 года (время оставления русской армией Москвы), когда Давыдов вышел вблизи Москвы со своим отрядом на Смоленскую дорогу в тыл врагу.

Партизанское народное движение в Отечественной войне было очень многообразным по своим формам и проявлениям. Начиналось оно в разных местах и по-разному. В зависимости от периода войны то одни, то другие приёмы партизанской борьбы, так же как и состав отрядов, оказывались на первом месте. От состава и задач, которые намечали себе отряды или которые были им поставлены, менялись их боевые приёмы, их тактика.

Участник, а затем историк Отечественной войны Михайловский-Данилевский утверждает, что Москва к концу сентября была охвачена тройным кольцом, состоявшим из крестьян, партизан и ополчения.

К сожалению, Н. Задонский, писавший книгу об одном из главных лиц партизан-

ского движения 1812 года, не до конца разобрался в объективной исторической правде. Не следовало приписывать Д. Давыдову не присущих ему — ни по масштабу действий, ни по образу мышления — заслуг.

Как свидетельствуют документы, реляции, приказы, дневники боевых действий, письма исторических деятелей, действительным автором плана организации партизанской войны в стратегических целях был М. И. Кутузов. Именно Кутузову принадлежит заслуга перенесения опыта народной войны в войска и тесной координации действий воинских партизанских и народных крестьянских отрядов. План развития партизанской борьбы возник у Кутузова ещё до оставления Москвы. Когда в штаб главнокомандующего стали поступать из Калуги донесения о появлении в соседних уездах наполеоновских отрядов, Кутузов немедленно (27 августа) приказал начальнику калужского народного ополчения генерал-лейтенанту Шепелёву «защищать губернию и саму Калугу и истреблять появившихся мародёров». Командиру 1-го корпуса генералу Витгенштейну он писал: «...решился я, избегая генерального боя, вести малую войну; ибо отдельные силы неприятеля и оплошность его подают мне более способов истреблять его».

Действительный план партизанской войны, подчинённый общим стратегическим замыслам Кутузова, и был осуществлён в знаменитом Тарутинском манёвре великого русского полководца.

Сочетая государственную деятельность с руководством войсками, Кутузов опирался в своих действиях на народ, в нём он искал поддержки в трудную годину. Сразу после оставления Москвы Кутузов стал деятельно осуществлять план развития партизанской войны.

3 сентября в письме к генералу Винценгероде Кутузов заявил, что он будет неприятелю «угрожать с тылу... и посылать партии по Можайской дороге».

Но уже 4 сентября в письме к царю Кутузов писал: «...партиями¹ моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым, отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу

¹ Партизанская партия — общепринятое во всех военных документах Отечественной войны 1812 года название, равноценное современному названию — отряд.

своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию. Генералу Винценгероде предписано от меня держаться самому на Тверской дороге».

Это письмо говорит о том, как мастерски Кутузов сумел использовать стратегическую обстановку, подчинить стихийное движение патриотически настроенных масс конкретным планам ведения войны. Не подлежит сомнению, что у него был свой план партизанской войны, который к 4 сентября стал официальным документом.

Поэтому понятно настойчивое (датированное концом августа!) требование Кутузова, направленное начальнику народного ополчения генерал-лейтенанту Шепелёву, — готовить Калужское ополчение и с его помощью защищать губернию.

Уже 7 сентября, вслед за отрядом Давыдова, Кутузов выделил для подрыва коммуникаций Наполеона крупный отряд в 2 000 сабель конницы (лейб-драгуны, Екатеринославские гусары, три кавалерийских полка с двумя орудиями). Ещё до получения известий об удачных действиях Давыдова Кутузов послал этот отряд под командованием генерал-майора Дорохова на Смоленскую дорогу. Затем идут ежедневные распоряжения о посылке новых и новых партий во фланг и тыл врагу.

Кутузов не бросил на произвол судьбы первую, малочисленную партию Давыдова, а, узнав, что Давыдов достиг цели (первое донесение Давыдова, датированное 6 сентября, было получено в главной квартире 9 сентября, то есть сразу по выходе Дорохова на выполнение этой задачи), пишет Дорохову, что Давыдову «предписано в случае нужды присоединиться к корпусу под начальством вашего превосходительства или генерал-лейтенанта Винценгероде, стоявшего 6-го числа при дер. Пешках, в 50 в. от Москвы по бол. Петербургской дороге или испросить себе подкрепление, в чём ваше превосходительство соображаясь с обстоятельствами не оставьте ему сделать вспоможение»¹.

Следовательно, сразу же, как только было получено донесение первого войскового партизана, Кутузов, обрадованный его ус-

пехами, принял меры к тому, чтобы связать оба отряда, помочь малочисленному отряду Давыдова, подбодрить более крупного, но менее инициативного начальника первым опытом небольшого отряда, а может быть, вызвать между ними дух товарищеского соревнования и взаимной помощи в сложной обстановке.

Кроме упомянутых выше войсковых партий Давыдова (отряд к этому времени он увеличил в несколько раз) и генерала Дорохова, были посланы на главные юго-западные коммуникации Наполеона отряды полковника Вадбольского, поручика фон-Визина, капитана Сеславина, капитана Фигнера, полковника Кудашева, полковника Ефремова, генерал-майора Орлова-Денисова.

Генерал-майору Орлову-Денисову Кутузов при постановке задачи писал в приказании о выходе: «...на новую Калужскую дорогу и оттуда делая нападения на Можайскую и если возможно и на Рузенскую дороги, стараясь причинить всякого рода вред неприятелю, наиболее иметь в виду сожжение артиллерийских парков, которые к нему от Можайска идут. Не нужно упоминать вам сколь деятелен и решителен должен быть партизан, и для того, имея в виду какое-нибудь отважное предприятие, не опасайтесь потерять пушки, ибо лишь бы достичь своей цели имеете вы действовать по собственному Вашему благорассмотрению»¹.

В такие конкретные формы облекался план Кутузова, о котором 4 сентября Кутузов писал царю: «...партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую...».

Взглянем на север.

Генерал-адъютант Винценгероде, прикрывая 2-й армией дорогу на Петербург к северу от Москвы, находился с главными силами своей армии у Клина. По приказу Кутузова он также высылал отряды, но уже в обход левого фланга армии Наполеона. В тыл французов он направил отряды флигель-адъютанта полковника Бенкендорфа — в сторону Волоколамска, майора Пренделя — к Рузе, полковника Чернозубова — в окрестности Можайска, войскового старшины Победнова — на Дмитровскую дорогу, ряд казачьих отрядов от Клина на Дмитровскую и Ярославскую дороги.

¹ Деда Главной Квартиры при Красной Пахре. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд ВУА, дело 3463, лист 56, 1812 г.

¹ Там же, лист 49.

Таким образом к концу сентября армия Наполеона в Москве была обложена со всех сторон кольцом войсковых партизанских отрядов.

Весь сентябрь и половину октября Кутузов, готовясь нанести врагу сокрушительный удар сохранённой им и пополненной главной армией, исключительное внимание уделяя партизанским действиям. Об этом говорят даже письма главнокомандующего к родным и особенно к дочери Екатерине, муж которой — Кудашев — также был в числе офицеров, возглавлявших партизанские отряды армейского типа. Ряд писем указывает на отношение Кутузова к партизанской войне и объясняет его план контрнаступления (письмо Трошинскому).

Гордостью за наших великих предков наполняется сердце и ум, когда соприкасаешься с этими документами. Они опровергают лживые утверждения закордонных «историков», все теоретизирования которых направлены к тому, чтобы умалить значение великого русского полководца, доказать, что русские победили случайно, что никакой стратегии у Кутузова не было.

Внимательный исследователь должен был бы обратить внимание на то, что именно Денис Давыдов был одним из тех, кто, в отличие от царя и придворных, понимал историческую роль Кутузова и верил, что русский народ оценит его заслуги перед родиной. В четверостишии «На монумент Пожарского» Давыдов, предвосхищая славу Кутузова, писал:

Так правосудная Россия награждает!
О, зависть! содрогнись, сколь бренея
твой оплот:
Пожарский оживает —
Смоленский оживёт!

Мы проследили, как созрел и настойчиво, с великой силой убеждения проводился план партизанской народной войны его автором, великим полководцем России Кутузовым. В этом плане был заложен глубокий стратегический замысел: в то время как главные силы отдыхали, получали пополнение и готовились к решающему удару по врагу, — сосредоточить своё главное внимание в период пребывания французов в Москве на действиях партизан.

Понимания всего этого нет в исторической хронике Н. Задонского. А жаль! Как выиграл бы замечательный образ Дениса

Давыдова, будь он показан в конкретной исторической обстановке, сообразно своим силам и своей исторической роли.

Обращают на себя внимание скачки в развитии действия, кстати, почти везде отмеченные отточиями. Ежели это следы редакторских купюр, на что весьма смахивают эти пробелы, то они очень досадны.

Подробно, но недостаточно смело, без размаха и вдохновения намечены в книге образы соратников, учителей Давыдова: Кульнева, Багратиона, Раевского. Невыразительно написан Платов.

Конфликт Давыдова с царём автор показывает. Конфликт же со средой в книге не отражён. Но ведь не только царь и его приближённые, а и посредственные военные чинуши, завистники и просто влиятельные дураки немало крови испортили Денису. Буржуазная историография во многом шла на поводу у этих невежд. Их влияние действует и по сей день. К сожалению, до сих пор среди некоторых партизанских историков распространено мнение, будто Дениса Давыдова не стоит даже упоминать в патристических памятках о нашем славном прошлом.

Совсем не нашёл места в книге конфликт Давыдова с самим собой, — автор не разобрался в сложной противоречивости характера своего героя.

Н. Задонский нарисовал портрет военного специалиста и партизана. Хуже у него получился Давыдов-поэт, знаток народной жизни. Автор не даёт поэтического образа человека, которого великий Пушкин называл своим учителем:

.
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смиренного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.

Ошибки исторические в хронике существенны, но их можно исправить. А вот творческую «детонацию» со своим героем и его временем автору установить пока не удалось.

А дело задумано и во многом выполнено благородное. Для дальнейшей работы не стоит пожалеть ни сил, ни времени.

П. ВЕРШИГОРА.

Сборник статей о Л. Толстом

Изучение художественного наследия Л. Н. Толстого, глубокое и всестороннее раскрытие значения этого наследия в развитии русской и мировой литературы составляет одну из важных задач советского литературоведения. Пути изучения творчества великого русского художника слова с предельной ясностью и чёткостью указаны в работах В. И. Ленина о Толстом.

Более четырёх десятилетий тому назад, когда Толстой-художник был ещё мало известен широким народным массам, В. И. Ленин писал: «Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»¹.

Исполнились пророческие слова мудрого учителя и вождя: после Великой Октябрьской социалистической революции художественные творения Л. Толстого стали действительно всенародным достоянием.

Понятен тот живой интерес, который вызывает у наших читателей каждое новое исследование, посвящённое творчеству великого русского писателя.

Рецензируемый сборник открывается статьёй Д. Благого «О некоторых задачах изучения Толстого», правильно ориентирующей исследователей Толстого на разработку самых актуальных проблем его творчества, на создание подлинно научных трудов, освещающих творческий путь великого писателя-реалиста, своеобразие его художественного мастерства, мировое значение созданных им произведений. Д. Благой подчёркивает, что «исследователи Льва Толстого располагают таким, не только определяющим пути развития всей нашей науки о литературе, но и имеющим прямое отношение к предмету их непосредственного изучения, общетеоретическим и историко-литературным сокровищем, как цикл ленинских статей о Толстом».

¹ В. И. Ленин. Сочинения. т. 16, стр. 293.

«Лев Николаевич Толстой». Сборник статей и материалов. Редакция: Д. Д. Благой, К. Н. Ломунов, И. Н. Успенский. Издательство Академии наук СССР. М. 1951.

Последующие статьи сборника конкретизируют некоторые из общих положений, высказанных в статье Д. Благого.

На основе большого, тщательно собранного материала К. Ломунов в статье «Толстой в борьбе против декадентского искусства» раскрывает, как настойчиво и беспощадно писатель разоблачал буржуазный строй и одно из его закономерных порождений — упадочное, растреленное, безнудейное искусство. Используя разнообразные, частью неопубликованные материалы — статьи, письма, дневники Толстого, — автор статьи отчётливо показал, что устами Льва Толстого русская литература первая выразила протест против чуждого и враждебного народу декадентского искусства. Бессмыслицей и бредом называл Толстой человеконенавистнические измышления Шопенгауэра и Ницше, составившие идейную основу декадентства. Великий писатель ясно видел, что насквозь лживое, аморальное декадентское искусство с его изощрённой, вычурной формой, прикрывающей убожество мысли, служит угнетателям народа. «...Наше утонченное искусство, — писал он, — могло возникнуть только на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство... Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого утонченного искусства». Толстой верил, что наступит время, когда народ будет ценителем и творцом искусства, когда «все гениальные художники, теперь скрытые в народе, сделаются участниками искусства и дадут образцы совершенства».

Подвергая уничтожающей критике упадочное буржуазное искусство, Толстой предостерегал молодых писателей от увлечения ядовитыми «цветами зла», убеждал хранить верность правде жизни, реализму.

Выступления Толстого против декадентства встречали сочувственный отклик и поддержку со стороны передовых писателей и художников России и Запада. К. Ломунов верно замечает, что Л. Толстой помог прогрессивным писателям Запада утвердить реалистические основы их творчества и вступить на путь борьбы с декадентством.

Но Толстой не знал истинного пути освобождения. До конца своей жизни он так и не смог понять великой исторической

роли рабочего класса. Вследствие ограниченности и противоречивости своего мировоззрения Л. Толстой не смог дать и последовательной, научно-глубокой критики декадентства, не мог вскрыть подлинных причин упадка буржуазной культуры эпохи империализма. Он ошибался, рассматривая декадентство лишь как вырождение классического искусства, заблуждался, полагая, что причиной упадка буржуазной культуры является только «безверие высших классов». Но ошибки Толстого, ослабляющие силу его критики, справедливо отмечает К. Ломунов, «не могут закрыть от нас сильных сторон суждений великого писателя об искусстве, его страстной защиты реализма, его борьбы с извращённым буржуазно-декадентским искусством».

Многие высказывания Толстого об упадочном буржуазном искусстве, о западных и русских декадентах и в наше время сохраняют свою боевую обличительную силу, помогают понять всю глубину растленности и цинизма буржуазного искусства Америки, воспевающего «красоту» грабежа, насилия и разврата и сеющего свои «цветы зла» в маршаллизованных странах Запада.

Написанная хорошим, ясным языком, содержащая богатый фактический материал, статья К. Ломунова — одна из лучших в сборнике.

Значительный интерес представляет тема статьи И. Успенского «Горький с Толстом». Исследовав большую фактический материал, автор делает вывод, что взгляды Горького на творческое наследие Толстого складывались под огромным направляющим влиянием статей В. И. Ленина о Толстом. Решительно отвергая толстовскую проповедь пассивности и покорности злу, выступая против «толстовщины», Горький в то же время высоко ценил художественный гений Л. Толстого. Статья И. Успенского, однако, чрезмерно растянута, некоторые страницы её представляют сырой материал.

Национальная самобытность творчества Толстого, его художественная самостоятельность и оригинальность впервые были раскрыты в критических статьях великого революционера-демократа Н. Чернышевского. В статье А. Шифмана «Чернышевский о Толстом» показана упорная борьба

Чернышевского против либерально-эстетского лагеря за Толстого-реалиста.

Наиболее полное освещение в сборнике нашёл ранний период творчества Л. Толстого. Статья Р. Заборовой посвящена анализу повести «Казачьи». В статье дана характеристика основных образов повести, показано отражение в ней социальных и этических вопросов, волновавших Толстого. Существенный недостаток статьи — отсутствие анализа поэтического мастерства Толстого, художественных средств, при помощи которых им были созданы незабываемо яркие образы героев повести.

Раннему Толстому посвящена также статья С. Леушевой «Особенности реализма молодого Толстого (50-е годы)». Раскрывая идейное содержание первых произведений Толстого, глубину протеста молодого писателя против буржуазного и крепостнического рабства, правдивость в изображении жизни, С. Леушева показывает, что уже в этот период Толстой с большой силой и остротой говорит о социальной несправедливости, о нищете и бесправии народа. Автору статьи удалось показать новаторство Толстого как художника и те особенности его реализма, благодаря которым его творения обрели могучую силу идейного и эстетического воздействия.

Идейные взгляды, художественные вкусы и симпатии Л. Толстого формировались в те годы, когда в русской литературе ведущая роль принадлежала «натуральной школе». Каково было отношение к ней молодого Толстого? Как отразились её традиции в его творчестве? Ответ на эти вопросы даёт Н. Гудзий в своей содержательной статье «От «Романа русского помещика» к «Утру помещика». В итоге детального исследования содержания и стиля указанных в заглавии произведений автор приходит к заключению: «От традиций «натуральной школы» нужно вести «самый трезвый реализм» Толстого, «срыванье всех и всяческих масок», старание «дойти до корня» и преклонение перед самым любимым его героем — перед правдой».

Судьба народа, его нравственное величие и героизм нашли необычайно глубокое отражение в гениальной эпосе «Война и мир». Показать, как нарисовал здесь Толстой доблестных защитников Родины, поставил своей задачей А. Сабуров в статье

«Образ русского воина в «Войне и мире». Многие в этой статье являются спорным и просто неверным.

Автор пытается доказать, что Толстой не создал индивидуализированных образов русских солдат. Статья изобилует рассуждениями о том, что в массовых сценах, батальных картинах Толстой рисует некий «монолитный и единый образ русского солдата». В романе Толстого, говорит автор, «не отдельные образы махального, запевалы, плясуна и прочих, а единый образ русского солдата, ибо лишь в сочетании этих фигур раскрывается замысел».

Многократно повторяя, что в эпопее «Война и мир» выступает «обобщающий», «единый», «массовый» образ народа, А. Сабуров делает вывод: Толстой создал «особый компонент, почти неизвестный роману до Толстого, — коллективный образ». Нельзя согласиться с подобной точкой зрения, являющейся, на наш взгляд, глубоко порочной. Величие Толстого-художника в том, что он создал не схематический, «обобщающий» образ русского солдата, не безликий символ, означающий — народ, не безжизненный контур, а живые, зримые образы, пусть иногда лишь на миг появляющиеся, но всё же отчётливо осязаемые, овеянные дыханием жизни.

Беспомощная в научном отношении работа А. Сабурова является наиболее слабой статьёй сборника.

Последнее великое создание Толстого, по праву называемое вершиной русского и мирового критического реализма, — роман «Воскресение». «Ни в одном из произведений Толстого его обличительный пафос не достигал такой сокрушительной силы, как в «Воскресении», хотя именно здесь с особенной чёткостью обнаружилось и слабые, реакционные стороны мировоззрения Толстого», — справедливо говорит А. Озерова в своей статье, посвящённой этому роману. Автор даёт обстоятельный анализ идейного содержания романа и его художественного своеобразия.

Гениальный художник, тончайший знаток и ценитель русского языка, Лев Толстой внимательно и неустанно изучал богатую и красочную речь народа, сокровища его поэтического творчества. В произведениях народного поэтического искусства он видел отражение мудрости народа, благо-

дарный и неиссякаемый материал для художника. Сам Толстой бережно собирал, записывал народные поэтические произведения, использовал их в своей творческой работе. Более тысячи одних только пословиц и поговорок содержится в его произведениях, письмах и дневниках. В статье «Народная песня и пословица в творчестве Л. Н. Толстого» исследователь Э. Зайденшпур приводит большой фактический материал, свидетельствующий о глубине фольклорных интересов Толстого. Этой статьёй завершается первый раздел сборника.

Второй раздел, значительно меньший по объёму, составляют неизданные черновые тексты к III и IV томам «Войны и мира», письма Толстого к Н. Страхову и несколько писем И. А. Гончарова к Толстому.

Первоначальные наброски и варианты, возникавшие в процессе работы Л. Н. Толстого над «Войной и миром» и отвергнутые им, красноречиво говорят о громадном, настойчивом труде гениального художника, о его взыскательности и высоких требованиях, которые он предъявлял к себе. Читая эти страницы, нельзя не вспомнить слова Горького о том, что творения Толстого «останутся в веках как памятник упорного труда, сделанного гением».

«Сборник статей и материалов» — содержательная и полезная книга. Но помимо указанных недостатков, имеющих в отдельных работах, в нём есть и недочёты общего характера. Так, например, непонятно, почему в сборнике оказался совершенно обойдённым роман «Анна Каренина»? Почему четыре статьи из десяти посвящены именно раннему периоду творчества Толстого? Есть существенные недостатки в стиле отдельных статей: нередки стёртые, шаблонные обороты, неудачные выражения. Работа литературоведа должна быть образцом чистоты и правильности языка. Забвение этой элементарной истины отразилось на некоторых статьях книги о Толстом.

В целом сборник представляет собою ценный вклад в дело научного изучения творческого наследия великого писателя земли русской.

А. ЕРЕМИН.

Политика и наука

Путь к улучшению природы

Свой труд, удостоенный в нынешнем году Сталинской премии первой степени, А. Н. Костяков создавал в течение десятилетий: отдельные его части публиковались начиная с 1916 года. «Основы мелиораций» по существу представляют собой ряд оригинальных исследований, хотя изданы в качестве учебника.

Книга открывается обширным введением, поясняющим задачи мелиорации, а также исходные положения автора, опирающегося на идеи наших выдающихся агробиологов — Докучаева, Костычева, Вильямса, Тимирязева, Мичурина, Лысенко, — а также на достижения отечественной школы гидрологов и гидротехников.

Автор определяет мелиорацию как средство улучшения природных — почвенных, климатических и гидрологических — условий для получения высоких и устойчивых урожаев и правильно отмечает её важную роль в деле преобразования природы. Введение даёт глубоко естественное-научное обоснование мелиорации. Оно оригинально и содержательно.

За введением следует раздел об орошении. Сначала приводятся условия применения орошения и описывается его влияние на почву и растения. Затем подробно излагается учение автора о водном режиме на орошаемых полях — сроках, нормах и технике полива. Это одна из наиболее оригинальных и ценных глав книги; первоначально она была издана в виде монографии, вышедшей в свет ещё в 1919 году. С тех пор А. Н. Костяков непрестанно её совершенствует и обогащает новыми фактами и мыслями.

Сроки, норма и техника полива — решающие элементы орошения. Они определяют, сколько надо дать воды растению, когда это надо сделать, как биологически полезно и хозяйственно выгодно осуществить передачу воды из канала в организм растения. Автор глубоко анализирует сущность физиологического воздействия орошения на растение, основы эксплуатации

оросительной системы, размеры вложенного в неё труда и средств.

До А. Н. Костякова всё это и не подвергалось расчёту. Здесь безраздельно царил эмпиризм. А без осмысления явления нельзя научиться сознательно управлять им и улучшать производственный процесс.

Собрав огромный практический материал, автор уяснил основные закономерности в бесконечном разнообразии форм комплекса вода — почва — растение — человек и дал схему расчёта элементов орошения, позволяющую выбрать наилучший вариант из множества возможных. Впервые применив метод количественного учёта элементов полива, А. Н. Костяков выступил как новатор и творец научных ценностей, общепризнанных теперь во всём мире.

В книге подробно излагаются принципы устройства временной оросительной сети по новой системе орошения, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР (август 1950 года). Автор знакомит с историей развития идеи временной сети, а также с современными вариантами её устройства и расчётом её элементов.

Учитывая современные требования, автор даёт расчёт оросительных каналов. При этом он, естественно, затрагивает и злободневный вопрос о плановом водопользовании, приводит несколько обобщённых схем работы оросительной системы в целом. Попутно излагаются и принципы конструкции оросительных систем, снабжающих водой территории площадью до нескольких сотен тысяч гектаров.

В последние годы предметом острой дискуссии были меры борьбы с заболачиванием и засолением орошаемых земель. А. Н. Костяков полностью воспринял и использовал учение В. Р. Вильямса о благотворной роли травопольной системы земледелия в борьбе с засолением почвы. Развивая это учение, автор одновременно показывает целесообразность промывки засоленной почвы и устройства дренажа при определённых условиях.

Новые соображения внёс А. Н. Костяков в проблему об источниках воды для орошения. Он дал подробный водохозяйственный расчёт пруда, а также оригинальный

Академик А. Н. Костяков. «Основы мелиораций». Пятое, переработанное издание. Редактор М. Г. Рябышев. Сельхозгиз, М. 1951г.

и пока никем не превзойдённый расчёт лиманного орошения, то есть весеннего увлажнения почвы водой от снеготаяния.

В книге не оставлен без внимания и такой важный вопрос, как орошение участков гарантированного урожая. Это орошение начало практиковаться в послевоенные годы по решению Февральского пленума ЦК ВКП(б) в 1947 году. Оно ещё в стадии становления и содержит ряд моментов, теоретически пока не решённых. Поэтому нужно признать, что А. Н. Костяков весьма своевременно публикует расчёт этого нового орошения и, в частности, так называемой мобильной системы орошения, когда площадь орошаемого участка может меняться в зависимости от влажности года. Это имеет место в лесостепи и северной степи.

Второй раздел книги посвящён осушению. Он открывается изложением биологических основ борьбы с переувлажнением почвы. Опираясь прекрасно подобранным экспериментальным материалом, автор устанавливает условия применения осушения и знакомит с его сельскохозяйственным эффектом.

Учение о создании нужного водного режима при осушении — ценный вклад А. Н. Костякова в науку. Ещё в 1916 году он предложил основы расчёта элементов осушительной системы. Академия наук удостоила тогда труд молодого учёного премии. Ныне, спустя десятилетия, он вновь даёт расчёт тех же элементов, но расчёт улучшенный в итоге многолетней работы самого автора и успехов науки вообще.

А. Н. Костяков впервые предложил научный расчёт элементов осушения: каналов, подземных труб и других сооружений. Метод его пока остаётся лучшим из всех существующих. Важно то, что учёный учитывает многофакторность явлений: наряду с гидрологическими факторами принимаются во внимание и биологические. Например, расстояние между соседними осушительными каналами обусловлено у него количеством атмосферных осадков, интенсивностью испарения почвенной воды, свойствами почвы, уклоном местности, состоянием её поверхности. Для сравнения напомним, что у буржуазных учёных Фаузера и

Брейтенбаха расстояние между этими осушителями зависит только от механического состава почвогрунта или от его гигроскопичности.

Теория поверхностного стока, предложенная А. Н. Костяковым, является стройным гидрологическим исследованием, законченным научным очерком. В книге исследование это предваряет и обосновывает гидротехническую часть теории осушения.

Последний раздел — о борьбе с эрозией почвы и оползнями грунта — построен на основе комплекса Докучаева—Вильямса, а рекомендованные операции базируются на созданном автором способе расчёта, причём выводы подтверждены экспериментальным материалом.

Язык книги строг и точен, хотя и требует от читателя подчас напряжённого внимания.

Многочисленные примеры и иллюстрации, подтверждающие положения автора, целиком взяты из советской практики. Книга является итогом больших достижений советской мелиорации.

Отдельные неточности в труде А. Н. Костякова встречаются, но они редки. Например, фраза «Урожай культур... достигают по картофелю и корнеплодам свыше 1 300 ц/га» верна только в отношении корнеплодов, ибо урожай картофеля пока не превысил 1 100 центнеров с гектара. Более чётко следовало автору сказать о влагозарядочных поливах, о землеройных машинах, применяемых в мелиорации. Однако это лишь второстепенные недочёты.

В целом «Основы мелиораций» А. Н. Костякова — наиболее ценная из книг по мелиорации, вышедших в нашей стране, и лучший из известных мне трудов, в том числе на английском, немецком и французском языках.

Отличительной чертой книги является новизна материала и глубокое обоснование даже мелких деталей. Автор идёт от запросов социалистического общества и от биологии растения к техническим приёмам мелиорации. Эта идейная направленность и позволила ему создать труд большой ценности и значения.

Доктор технических наук
А. ЧЕРКАСОВ.

Стройки коммунизма и транспорт

Успешное сооружение гигантских гидроэлектростанций на Волге, Дону, Днепре и Аму-Дарье было бы невозможно без чётко спланированной работы социалистического транспорта. В свою очередь, стройки коммунизма дают могучий толчок для его дальнейшего развития.

Новые крупные новостройки изменяют экономический облик не только отдельных районов, но и всей страны.

Вступивший в строй Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина соединил пять морей. В новой пятилетке будет завершена работа по строительству Куйбышевской, Камской, Горьковской и ряда других гидроэлектростанций, а также по переустройству Волго-Балтийского водного пути. Это позволит создать единую глубоководную транспортную систему в Европейской части СССР.

Великие стройки коммунизма оказывают большое влияние и на технические условия работы транспорта. Плотины на Волге, Дону и Днепре изменяют судоходный режим в бассейнах этих рек, а каналы между ними объединяют их в единое транспортное целое. Кроме того, плотины создают сухопутные транспортные связи между отдельными частями бассейнов, ранее разорванными водными рубежами.

Попытку популярного изложения важной народнохозяйственной проблемы «Великие стройки коммунизма и транспорт» представляет собой книга члена-корреспондента Академии наук СССР В. В. Звонкова.

Описывая изменения, которые произошли в транспортной технике за годы советской власти, автор приводит интересные данные о сравнительном росте грузооборота и сети транспортных путей в СССР и в капиталистических странах. Вот некоторые выразительные цифры. В то время как грузооборот железнодорожного транспорта США с 1913 по 1940 год возрос на 25 процентов, в нашей стране за этот же период он увеличился в шесть раз.

Почти вдвое возросла сеть судоходных внутренних путей, в том числе шлюзованных рек и каналов.

В. В. Звонков. «Великие стройки коммунизма и транспорт». Ответственный редактор — член-корреспондент АН СССР Б. Н. Веденисов. Издательство Академии наук СССР, М. 1952.

В первой послевоенной пятилетке грузооборот всех видов транспорта в СССР продолжал неуклонно увеличиваться. Значительный рост транспорта предусмотрен в пятом пятилетнем плане развития СССР.

Автор приводит техническое описание отдельных объектов строительства и напоминает о поистине грандиозных объёмах производимых работ. Доходчиво рассказывает он о малоизвестных широком кругам читателей изменениях, которые возникают в работе транспорта после ввода в эксплуатацию могучих гидроэлектростанций, плотин и каналов.

Сооружение плотин и шлюзов позволит регулировать уровень и скорость течения воды в реках. Благодаря этому будет достигнуто удлинение судоходного периода, создание глубоководных фарватеров, а также крупных искусственных водохранилищ, условия судоходства по которым напоминают морские. Всё это даёт возможность значительно эффективнее использовать водные магистрали, вызывает к жизни совершенно новые технические средства транспорта, которые не могли быть применены ранее. Вступают в строй большие быстроходные суда с глубокой осадкой. Коренным образом переустраиваются существующие и строятся новые речные пристани с совершенным техническим оснащением: они будут располагать волноломами, современными причальными устройствами и насыщены высокопроизводительными погрузо-разгрузочными механизмами.

Рассказывая о дальнейшем росте грузооборота всех видов транспорта после завершения строек коммунизма, автор перечисляет новые железнодорожные и автомобильные магистрали через Цимлянскую, Куйбышевскую, Сталинградскую и Каховскую плотины.

Заключительная часть книги посвящена научным проблемам, возникающим в результате ввода в эксплуатацию строек коммунизма. Значительное место в этих проблемах занимают, например, исследования в области рационального использования гидроэнергии для транспорта.

В общем полезная книга В. В. Звонкова не лишена, однако, и существенных недостатков.

Вызывает серьёзные возражения композиция книги. Изложению явно не хватает

стройности. В различных разделах автор часто уходит от основной темы, дробит её. Так случилось, например, в разделе «Великие стройки коммунизма и их транспортное значение».

В самом деле, после рассказа о Волго-Донском водном пути (включая Куйбышевский и Сталинградский гидроузлы), то есть о транспортной проблеме, автор вдруг переходит к описанию организации строительных работ и технической оснащённости стройплощадок.

Эти вопросы следовало выделить в особый раздел, дав в нём описание работы высокопроизводительных строймеханизмов и транспортных средств и на других стройках.

Мы вполне согласны с автором, когда он пишет: «Естественно, что новые грандиозные сооружения Волго-Донского соединения нельзя рассматривать изолированно от ранее построенных и вновь возводимых гидроузлов на Волге, Дону, Каме и на других, примыкающих к ним водных путях, создающих в своём замечательном комплексе исключительно благоприятные условия для использования великого судоходного пути».

Не менее верна мысль о том, что «реконструировать и улучшать эксплуатационную деятельность водных путей невозможно изолированно от других видов транспорта» и что все виды транспорта — «...звенья единой неразрывной транспортной системы, тесно связанной со всеми отраслями народного хозяйства».

Однако ощущения этой комплексности у читателя, к сожалению, не возникает по той же причине неправильного, нелогичного порядка изложения, принятого автором.

В частности, мы не узнаем из книги, в какой мере великие стройки изменят условия судоходства, хотя только на Волге зарегулированные водные пути удлинятся на сотни километров.

Поэтому не случайно, что и приложенная к книге схематическая карта размещения новых гидроэлектростанций, водных путей и оросительных каналов не отражает этой взаимосвязи. На карте не только не показаны намечаемые новые сухопутные магистрали, но даже отсутствуют новые транзитные пути внутреннего водного транспорта.

В другом разделе — «Водные ресурсы СССР и их использование» — автор рассказывает об усовершенствовании технических средств, возвращаясь к этой теме и в дальнейшем. Более логичным было бы сгруппировать вместе родственные друг другу темы, завершив ими первый раздел книги.

Не совсем убедительно расположен материал и в разделе «К новому подъёму советского транспорта». Казалось бы, именно здесь должно быть отражено влияние комплекса строек коммунизма на транспорт и его технику, рассказано о том, какие требования предъявляются к транспорту в новых условиях эксплуатации и как советская транспортная наука и техника обеспечивают удовлетворение этих возрастающих требований.

Автор стал на другой путь.

В начале раздела излагается значение транспорта в народном хозяйстве; далее следуют данные о росте грузооборота — от дореволюционного времени до наших дней — и описание развития транспортных средств. Несомненно, всё это было бы уместнее дать в начале книги.

При описании Туркменского канала автор справедливо указывает на некоторое предстоящее понижение уровня Аральского моря в результате отвода реки Аму-Дарья и на необходимость в связи с этим углубить подходы к аральским портам. Однако В. В. Звонков почему-то ни словом не обмолвился о мероприятиях, обеспечивающих судоходство на Каспии после отвода части волжской воды, хотя общеизвестно, что грузооборот на Каспийском море значительно больше, чем на Аральском, и что каспийские порты несравненно крупнее и оснащённее.

А вопрос об этом неизбежно возникает у читателя, знающего, что Каспийское море, как и Аральское, является закрытым морем или, вернее, очень большим солёным озером, уровень которого также зависит от притока воды впадающих в него рек.

Наименее удачным нам представляется последний раздел — «Транспортная наука великим стройкам коммунизма». В разделе преобладают общие указания о том, что «предстоит научно обосновать...», «наука должна разрабатывать...» и т. д. Затем приводится перечень основных комплексных научно-исследовательских направ-

лений, «...которые получают сейчас большое значение для всех видов транспорта».

У читателя может создаться ложное мнение, что транспортная наука очень мало сделала для строек коммунизма. Получилось это из-за неправильного плана книги. Описание многих новых удачных технических решений, разработанных советскими транспортниками для облегчения строительных работ на великих стройках и для подготовки к новым эксплуатационным условиям после их завершения, оказалось разбросанным по отдельным разделам книги.

О некоторых работах, осуществляемых Академией наук СССР в связи с великими стройками, автор почему-то вовсе не упоминает.

Нужная, достаточно популярно написанная книга «Великие стройки коммунизма и транспорт» немало теряет от подчас неудачного подбора и расположения материала. Этот упрек следует адресовать не только автору, но и редакции научно-популярной серии издательства Академии наук СССР.

В. ЛЕВАЧЕВ.

★

Создатели карты нашей Родины

Трудно назвать другой документ человеческой культуры, в который было бы вложено столько труда и личного героизма, сколько в географическую карту. Много столетий ушло только на то, чтобы в общих чертах представить себе контуры материков и океанов, нанести на бумагу направления основных горных хребтов, распутать речную сеть, отделить низменности от плоскогорий. Разноцветные поля географических карт исчерчены невидимыми маршрутами караванов, кораблей, самолётов. Положите ладонь на любой участок карты мира, и на прикрытых ею пространствах наверняка найдутся могилы безвестных тружеников, отдавших свои жизни во имя географических открытий и исследований.

Мы помним имена наиболее крупных мореплавателей и путешественников, открывших материки, архипелаги, горные страны, высочайшие хребты. Никогда не сотрутся в памяти человечества имена Колумба и Магеллана, Беллинсгаузена и Лазарева, Беринга и Чирикова, Пржевальского и Ливингстона, Крузенштерна и Головина. Навсегда запечатлены на карте нашей страны имена Черского и Чернышёва, братьев Лаптевых и Дежнева, Челюскина и Врангеля и многих других.

Многих, но не всех. Разве знаем мы, кто пересекал топи Васюганских болот Западной Сибири, вычертил все речки Тянь-Шаня и Памира, нанёс на карту озеро Таймыр и речную систему Алдана, проследил

все протоки дельты Лены и измерил глубины Охотского моря?.. Какие трудности пришлось этим людям вынести в пути, какой ценой достигли они успеха, кто из них погиб, а кто завершил маршруты погибших? Только небольшой круг специалистов помнит их имена, имена тех, кто внёс большой вклад в создание одной из лучших в мире карт — карты нашей Родины. Рассказать, как трудятся наши современники — геодезисты и географы, как пунктирные линии на картах заменяются сплошными, как стираются последние расплывчатые пятна в горных районах нашей страны, — задача почётная и ответственная.

В своей книге «Мы идём по Восточному Саяну» геодезист-писатель Г. Федосеев рассказывает о геодезистах, топографах, географах — создателях карты нашей Родины.

Хребты Восточного Саяна, в которых работала экспедиция Федосеева, расположены на юге Сибири. По сей день они остаются сравнительно слабо изученным районом нашей страны. А в годы, когда на огромных пространствах Советского Союза начался гигантский процесс преобразования природы, с особым интересом относиться к исследованиям малоизученных территорий.

Книгу Федосеева следует причислить к научно-художественному жанру. Авторам подобных произведений приходится объединять самые различные научные и бытовые материалы, располагая их таким образом, чтобы книга читалась с увлечением и в то же время оставалась документально точной. А сделать всё это далеко не просто.

Г. Федосеев. «Мы идём по Восточному Саяну». Редактор В. Трисвятская. «Молодая гвардия», М. 1952.

...Ранней весной, ещё по снегу, уходит в горы геодезическая экспедиция, направляясь в центральную, неисследованную часть Восточного Саяна. Испытания на долю участников экспедиции выпали немалые. Не раз приходилось им рисковать жизнью, голодать, сознательно идти на риск. Если бы люди не были спаяны в тесный коллектив, если бы у них не было одной общей цели, если бы они не чувствовали, что, работая в тайге, они связаны со всей страной, экспедицию постигла бы неудача. Тема коллектива, тема большой дружбы советских людей — это главная и, несомненно, удачно решённая тема книги Федосеева.

В русской художественно-географической литературе при описании путешествий существует хорошая старая традиция: авторы (в большинстве случаев начальники экспедиций) сосредоточивают внимание на своих товарищах по странствиям, отодвигая самих себя на второй план. Этой традиции остался верен Федосеев. Читатель запомнит влюблённого в природу Трофима Пугачёва, вдумчивого следопыта Днепровского, умного старика Павла Назаровича Зудова, отличного товарища силача Бурмакина, жизнерадостного повара Алексея Лазарева, страстно любящего своё дело погонщика Самбуева, мужественного Мошкова, за несколько секунд до смерти вспомнившего о товарищах и предупредившего их об опасности.

Книга содержит значительный познавательный материал, который может заинтересовать и специалистов-естествоиспытателей. Федосеев приводит немало любопытных деталей экспедиционного быта (походная кухня, изготовление лодок-долблёнок, способы подъёма лошадей на крутые скалы), которые небезынтересны и для опытного экспедиционного работника.

Есть в книге и художественные удачи. К ним прежде всего следует отнести картину весны в тайге, хорошо, поэтично описанный глухариный ток, волнующие сцены охоты на медведей.

Книга Г. Федосеева выходит вторым изданием. Впервые она вышла в свет в Новосибирском областном издательстве в 1951 году. И автор и редактор проделали большую и плодотворную работу, подготавливая книгу к переизданию. Им удалось заметно улучшить её язык, освободить текст от позгоров, длиннот. Целеустремлён-

нее, прямолинейнее стало само повествование, выпуклее отдельные сцены.

Экспедиционный материал, положенный в основу произведения, многообразен и однообразен в одно и то же время. Тем тщательнее нужно было его отобрать, смелее жертвовать второстепенным ради главного. В первом издании автор не сделал этого. Не раз возвращался он к описаниям одних и тех же событий и предметов. Так, бесконечно повторялись описания мёртвого леса, гольца Козя и др. Приятно отметить, что этот существенный недостаток в нынешнем издании в основном устранён.

Г. Федосеев написал нужную книгу. Она исполнена любви к родной природе, учит бороться с трудностями, любой ценой добиваться поставленной цели. Именно потому, что книга получилась в целом неплохой, особенно досадны те недостатки, которые ещё остались в ней, но легко могли быть устранены.

Всякий, кто брался за перо и пробовал писать о пережитом, знает, как трудно подчинить личные впечатления и переживания законам построения художественного произведения, облечь их в ясную и логичную форму. Глубоко волнующие автора воспоминания рвутся наружу, ломают заранее намеченный план, оттесняют главное.

Не избежал этого и Федосеев. Автор настолько увлекается описаниями природы, рассказом об экспедиционных приключениях и событиях, что забывает о самом интересном для читателя — о работе геодезиста. В результате подчас теряется конкретная цель каждого перехода, становится трудно следить за работой отряда.

Г. Федосеев делает немало интересных отступлений, в которых делится с читателями наблюдениями, полученными в других экспедициях. Но и здесь нужен был более серьёзный отбор. Незачем, например, было приводить широко известную легенду о Байкале, Енисее и Ангаре.

Если собственные наблюдения автора над природой оригинальны и интересны, то пересказ чужих материалов выглядит примитивно и наивно. Это в первую очередь относится к описанию геологической истории Восточного Саяна, сделанному по популярной брошюре В. Солоненко и И. Кобеляцкого «Восточные Саяны» (Иркутское областное издательство, 1947).

Встречаются в книге некоторые фактические неточности. Так, не следовало ставить

знака равенства между маралами и изюбрами. Это разные подвиды, распространённые в разных районах. Не могут лоси нырять на дно озёр за корневищами. Федосеев пишет: «На смену погибшей тайге, как ни странно, первыми пришли малинник да высоченный пырей». Странного в этом ничего нет — так всегда бывает. Хуже, что автор спутал кипрей с пыреем. Неправильно называть братьев Лаптевых и Беринга землепроходцами — они руководили большими научными экспедициями.

Хотя язык книги стал лаконичнее и чище, автор попрежнему излишне часто употребляет такие выражения, как «девственная природа», «первобытная тайга». К сожалению, остались ещё и стилистические погрешности, которые особенно досадны. Вот некоторые из них: «Неожиданно на северном горизонте появились чёрные тучи», «Оторвав взгляд от востока, я посмотрел на запад...», «...по гребню, поросшему зелёными кедрами, был ток», «Двадцать километров, отделяющие Можарское озеро от Кизира, так завалены лесом...», «Она-то (кабарга — И. З.) и была предме-

том его раздражённого внимания», «Впереди попрежнему шагал Днепровский, ведя в поводу Бурку», «...порывы ветра гулко разносились по долине», «Добыча спасла продовольственное положение экспедиции».

Едва ли нужно было прибегать к таким областным выражениям (особенно в авторской речи), как «поняжки» (котомки), «похоронки» (запасы), «заветерки» (защищённые от ветра места), «пауты» (сибирское название оводов), «занюхтил» (почуял), «поршень» (название обуви), «ошкурил» (в смысле — снял шкуру). Следовало бы объяснить такие специальные термины, как «сутунки», «набои», смысл которых уловить по тексту очень трудно. Иногда Федосеев слова из областных диалектов употребляет не в общепринятом значении. Так, «карчами» обычно называют затонувшие в реках деревья или брёвна, и даже существует особый прибор — карчеподъёмник — для удаления их со дна рек. А у Федосеева наводнения смывают карчи с берегов и они плывут по реке.

Кандидат географических наук
И. ЗАБЕЛИН.

★

Воспоминания рабочего-революционера

„Крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу...!»¹ — таким был, по ленинскому слову, Иван Васильевич Бабушкин. Его «Воспоминания», ярко освещающие одну из славных страниц истории борьбы русского пролетариата, представляют исключительную ценность.

Просто, но вместе с тем впечатляюще рассказывает И. В. Бабушкин о революционном рабочем движении конца 90-х и начала 900-х годов, о далёкой поре первых героических схваток рабочего класса с царизмом. Непосредственное участие в них принимал сам автор, активный деятель революционного подполья.

«В тяжёлой борьбе за создание марксистской партии Ленин возлагал на Бабушкина особые надежды, и Бабушкин эти надежды оправдал. Он был одним из тех

деятелей, которые помогли установлению связей «Искры» с социал-демократическими группами в России», — говорится в краткой биографической справке, предпосланной Госполитиздатом рецензируемой книге.

«Воспоминания», написанные И. В. Бабушкиным по настоянию В. И. Ленина и доведённые только до 1900 года, впервые были опубликованы после Великой Октябрьской социалистической революции. В настоящем издании они дополнены корреспонденциями Бабушкина, напечатанными «Искрой» в 1901 году, и некрологом, написанным В. И. Лениным.

И. В. Бабушкин родился в 1873 году. Сын крестьянина-бедняка, он рано лишился отца и с десятилетнего возраста начал трудовую жизнь. Работая в кронштадтской механической мастерской, затем на Семянниковском заводе в Петербурге, Бабушкин втягивается в революционную борьбу. Ему посчастливилось попасть в марксистский кружок, руководимый В. И. Лениным. Встреча с великим вождём пролетариата

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 331.

«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина. 1893—1900 гг.». Редактор Н. Мазз, Госполитиздат, М. 1951.

определила дальнейшую жизнь и деятельность Бабушкина. Он вступает в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», пишет листовки, организует кружки и сам всё время настойчиво и страстно учится.

В 1896 году Бабушкина арестовывают и после тринадцатимесячного одиночного заключения высылают в Екатеринослав (Днепропетровск). Устроившись на одном из заводов, Бабушкин связывается с местной революционной организацией, создаёт подпольную типографию, становится членом Екатеринославского комитета РСДРП. Здесь родилась нелегальная рабочая газета «Южный рабочий».

Скрываясь от преследований царской полиции, Бабушкин часто меняет своё местожительство. Он ведёт революционную работу в Смоленске, Полоцке, Москве, Орехово-Зуеве. По поручению Ленина он пишет брошюру «В защиту иваново-вознесенских рабочих», получившую широкую известность среди рабочих промышленных центров.

С появлением газеты «Искра» Бабушкин становится её активным корреспондентом и распространителем. Вместе с Н. Э. Бауманом Бабушкин проводит большую организационную работу по сплочению московских социал-демократов вокруг «Искры».

В 1902 году, после нового ареста, Бабушкин бежит из тюрьмы и уезжает в Лондон. Там он встречается с В. И. Лениным, посвятившим его в планы дальнейшей работы по созданию марксистской партии. По возвращении в Петербург Бабушкин был арестован и направлен в якутскую ссылку.

В дни революции 1905 года Бабушкин возглавляет движение в Иркутске. Пытаясь доставить революционерам оружие, он попадает в руки карательной экспедиции палача Ренненкампа. Вместе с пятью товарищами Бабушкин был злодейски убит на станции Мысовая.

В «Воспоминаниях» Бабушкина нашли яркое отражение его сверкающий ум, поражающая активность пролетарского революционера-профессионала. Такой же большевистской закалки были Моисеенко, Артём, Камо и другие выдающиеся деятели партии, выпестованные В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

В своих мемуарах И. В. Бабушкин не только рассказывает об отдельных сторо-

нах своей работы или о деятельности тех или иных нелегальных организаций, но живо и эмоционально передаёт мысли и чувства, волновавшие его, борца за счастье трудящихся.

Деятельность Бабушкина относится к тому периоду, когда Лениным была поставлена важная историческая задача — поднять политическое самосознание рабочего класса, сплотить его, довести до такой организованности, которая могла бы обеспечить ему победу над самодержавием и капитализмом. Все помышления и вся жизнь И. В. Бабушкина были проникнуты духом идей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», явившегося первым зачатком революционной пролетарской партии, над созданием которой с 90-х годов прошлого столетия во главе с В. И. Лениным и И. В. Сталиным работали передовые люди рабочего класса.

И. В. Бабушкин нёс в массы пламенное ленинское слово, сплывал передовых рабочих, готовя их к предстоящей трудной и самоотверженной борьбе.

Подготовке революционных выступлений пролетариата, этому могучему движению, освежившему застойный, душный воздух царской России, была посвящена вся деятельность Бабушкина, все его выступления в печати.

Книга Бабушкина по-настоящему волнует читателей. Мы встречаем в ней признание автора, что «крестьянский мир — это его прошлое, а настоящее — это рабочий класс с его надеждами и борьбой; живо воспринимаем его восхищение отдельными представителями интеллигенции, которые беззаветно несли в рабочую среду свои знания; ощущаем вместе с ним радость освобождения после длительного пребывания в тюремном заключении и боль за товарища, запутавшегося в паутине мелкобуржуазных теорий. Вместе с автором мы переживаем успехи и поражения нелегальных революционных организаций..

Брошюры, содержащие жизнеописания людей, подобных Бабушкину, Владимир Ильич считал «лучшим чтением для молодых рабочих...». По ним они будут учиться, указывал Ленин, «как надо жить и действовать всякому сознательному рабочему»¹.

Н. ЛЯШКО.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 334.

Иранские впечатления

Вплоть до последнего времени у нас не появлялось очерков о современном Иране. А между тем любознательный советский читатель хочет побольше знать о нашем ближайшем соседе, с которым мы имеем не только общую границу, но и многовековые политические, культурные, торговые связи.

Этот пробел в какой-то мере восполняет книга профессора Ф. Талызина. Автор был командирован в Иран, где около двух лет возглавлял группу советских врачей по борьбе с тяжёлыми эпидемиями, вспыхивавшими то на севере, то на юге страны, а также в Ираке.

Тысячи километров по нагорным пустыням Ирана и Месопотамской низменности проехал Ф. Талызин. Внимательно вглядывался он во всё, что проходило перед ним; его путевые очерки читаются с живым интересом. Без сусальных прикрас встаёт перед нами реальный мир современного буржуазно-феодалного Востока, где человек является не гордым властелином, преобразующим природу, а беспомощной, жалкой игрушкой её грозных стихий.

С первых же страниц книги проникаешься чувством глубокого уважения к скромным советским врачам — посланцам нашего народа. Мы узнаём, что один из участников экспедиции по борьбе с эпидемиями в Иране, врач И. А. Серёгин, погиб на своём посту.

Первая битва за жизнь туркменского населения Ирана началась на севере, в Горганской провинции. Прибыв туда, наши врачи разработали обширный план срочной борьбы с эпидемией сыпного тифа.

О масштабах проведённых мероприятий можно судить хотя бы по тому, что было продезинфицировано 19 тысяч жилищ, 80 тысяч комплектов одежды. Населению были розданы бесплатно сотни комплектов белья, мыло и дезинфицирующие средства, присланные из СССР.

В течение нескольких недель, не зная сна и отдыха, работал врачебный персонал. После напряжённого труда не пришлось отдохнуть ни одного дня. Срочная

телеграмма предлагала немедленно выехать в город Исфahan, находящийся в центре пустынного высокогорного плато.

Группа в составе Талызина, врача-терапевта Орлова, шофёра советской тегеранской больницы Шарапова и переводчика-проводника иранца Ширази едет от каспийского побережья в древнюю столицу Ирана.

Экспедиция переваливает через Эльбурские хребты, совершает трудный переход через Деште-Кевир — одну из самых знойных в мире пустынь, пробивается сквозь песчаную бурю, делает ряд ценных научных открытий и раньше срока прибывает к месту назначения.

Просто и безыскусственно рисует автор картины тяжёлого быта трудящихся Востока.

В селении Нейрабаде врачам сообщают о женщине, укушенной змеей. Ей грозит неминуемая смерть. Но советские люди, утомлённые тяжёлым переходом через пустыню, тем не менее делают крюк в 30 километров и спасают человека.

Они входят в глинобитную лачугу в южном городе Дисфуле, где семья из нескольких человек в тяжёлом лихорадочном состоянии лежала на груде соломы и пучков хлопка. Несчастные не спали пять суток. Врачи бесстрашно исследуют грязное тряпье, служившее ложем этой семье, находят в нём мельчайших клещей, проводят обеззараживание помещения и дают наставление по уходу за больными. Покидая лачугу, они, к великому удивлению хозяина, привыкшего к обязательным поборам, отказываются от всякого гонорара.

Мы узнаём о бедственном положении крестьян, арендующих клочки земли у помещиков, о тяжёлой работе кустарей в различных мастерских, о подневольном труде подростков на ковровых фабриках, где до сих пор за гроши работают дети с пяти-шестилетнего возраста.

Последней поездкой, о которой пишет автор, была экспедиция в чумной очаг на берегу реки Тигр в южном Ираке.

«Там, где стояло селение, теперь всё было мертво... — Куда же девались люди? — спросил Орлов. — Одни умерли и сожжены, а других угнали в карантин, — ответил по-английски полицейский».

Ф. Талызин. «По Ирану и Ирану. Записки врача-эпидемиолога». Научный редактор член-корреспондент Академии медицинских наук СССР профессор А. Я. Алымов. Госкультпросветиздат, М. 1952.

Местность, охваченную эпидемиями, англичане окружали отрядами полицейских и сжигали дотла заражённые селения.

Не лучше относились к страданиям людей и американцы. Автор рассказывает о встрече с американским миссионером в Шуштере, этом «городе слепых», где группа американских врачей обещала искоренить глазные болезни.

«Мы зашли в дом и увидели в просторной комнате одинокую фигуру за столом... Преподобный отец-миссионер, судя по всему, был вдребезги пьян. Когда мы назвали себя, он осоловело взглянул на нас и пробормотал по-английски: — Русский врач? О, русская водка лучше виски. Она очень полезна для желудка. — Этим и была исчерпана наша «медицинская» беседа...»

Другой американский врач говорил в припадке откровенности: «Нас удивляет возня советских врачей с этими больными персами. Лечить их — значит удлинять жизнь лишним людям. Это просто негуманно с точки зрения высшей философии. Чем скорее умрёт перс, тем ему будет легче и тем лучше для нашей цивилизации».

Кратко, но метко обрисовано в книге поведение иностранцев, чувствующих себя хозяевами в Иране. Вот одна из таких зарисовок. Осмотрев шахский дворец-музей в Тегеране, Талызин, Орлов и Ширази вышли на улицу. «Из-за угла показалось четверо сильно подгулявших американских солдат. Они нагнали перса, сопровождавшего женщину с ребёнком. Неожиданно один из пьяных ударил прохожего по лицу и столкнул в канаву женщину. Мы подошли к месту происшествия. Хулиганы двинулись нам навстречу. — Дзис исрашен! (Это русские!), — крикнул солдатам Ширази. И все четверо мгновенно куда-то скрылись... — Я преподаватель тегеранской школы, — представился перс. — Как видите, я сегодня получил очередной американский урок, — сказал он, прощаясь с нами».

Живо и образно описывает Ф. Талызин скупую и суровую природу Ирана, лишь на каспийском побережье и на северных склонах Эльбурса имеющую пышную субтропическую растительность.

В книге содержится много интересных сведений о клещах, москитах, комарах и других переносчиках тяжёлых заболеваний. Автор знакомит читателя и с миром ночных животных — джейранами, архара-

ми, дикобразами, описывает обитателей вод Персидского залива — от гигантских акул и пилы-рыбы, достигающей десятиметровой длины, до жемчужных раковин и замечательных сифонофор, плывущих, подобно светящимся голубоватым шарам, по поверхности ночного залива.

Ф. Талызин умело вводит в свои описания фрагменты истории.

В Тегеране автор рассматривает сокровища древних рукописей, хранящихся в государственной библиотеке, и знакомит читателя с отдельными строфами великих поэтов. Вместе с автором мы посещаем старый шахский дворец, ныне превращённый в музей, где можно увидеть высокое искусство внутренней отделки жилищ богатых иранцев XVIII—XIX ввек.

Автор рассказывает о замечательных памятниках в Исфагане эпохи шаха Аббаса, говорит об удивительном мосте над бурной во время разливов рекой Зендеруд, об огромной площади Мейдане-Шах, окружённой старинными мечетями и дворцами, о качающихся минаретах.

Однако прошлое не заслоняет от него современности. Много интересного мы узнаём о нефтяных богатствах Ирана, расхищавшихся британскими империалистами из Англо-иранской нефтяной компании. Свои личные впечатления автор пополняет историческими справками. Он характеризует деятельность английской концессии, занимавшей свыше ста тысяч квадратных километров и получавшей сотни миллионов фунтов стерлингов чистой прибыли за счёт бесчеловечной эксплуатации 65 тысяч иранских, аравийских и других рабочих.

В книге много бытовых сцен. Крестьянская свадьба, встреча с цыганами, посещение «подземной бани», провинциальные чайханы, базары, где выступают бродячие актёры, кукольные театры, укротители змей, — всё это передано жизненно и живописно.

За два с лишним года, которые мне довелось провести в Иране, Ираке и смежных государствах почти одновременно с Ф. Талызиным, я проехал почти по всему маршруту, описанному автором, и могу засвидетельствовать, что книга его написана правдиво.

Однако работа Ф. Талызина не лишена недостатков.

На первой же странице читаем: «Едва

мы вступили на иранскую землю, как нас окружила шумная, смеющаяся детвора. Маленькие персы тянулись к нам...». И дальше всё время повторяется — персидские дети, персы... персы...

Называть персами всех жителей Ирана неправомерно. Повидимому, ребята, встретившие русских врачей в Астаре у самой границы с Азербайджанской ССР, были не персами, а азербайджанцами. В Иране персы составляют лишь около половины населения. Десятки народностей и племён, населяющих Иран, не имеют ничего общего с персами, говорят на своих национальных языках, имеют свою самобытную культуру. Таковы, в частности, азербайджанцы, курды, белуджи, арабы, бахтиары, лурь и другие.

Следовало бы дать пояснение о валютах Ирана и Ирака. Каков эквивалент тумана? Что больше — пятьсот филсов, за которые нищий араб хотел продать иностранцам свою малолетнюю дочь, чтобы спасти от голода большую жену, или пять

динаров, во что уличный фокусник оценил очковую змею-кобру? Далеко не все читатели знают, что динар, приравненный к английскому фунту стерлингов, делится на тысячу филсов.

Нельзя говорить о пустыне Деште-Кевир, простирающейся свыше чем на 200 тысяч квадратных километров, что она «лежит на высоте 975 метров над уровнем моря», что Басра — «крупнейший из городов Ирака», в то время как его столица Багдад имеет в 5—6 раз больше населения, что автор поймал в Ираке «немало редких, не встречающихся в СССР и в Ираке (!) видов комаров и москитов».

К книге приложена карта Ирана и Ирака, но на ней, к сожалению, нет маршрутов автора и, в частности, нет даже глоссы Гарамсара, откуда был начат переезд через пустыню в Наин и Исфаган. Под многими фотоснимками перепутаны подписи.

В целом, однако, это увлекательная и полезная книга.

Н. ЩЕРБИНОВСКИЙ.

★

Правосудие доллара

Американский империализм, стремящийся закабалить всё свободолобивое человечество, является в то же время и злейшим врагом своего собственного народа. Агрессивный курс внешней политики США неизбежно связан с усилением реакции внутри страны. Палачи с острова Кочжедо — кровные братья тюремщиков концлагерей Алабамы или Джорджии.

Вполне понятно, что империалисты США стараются держать в тайне подлинные дела американских выучеников гестапо. Всё же правда о злодеяниях американских карательных органов изредка прорывается через рогатки цензуры и становится достоянием гласности.

В этом отношении несомненный интерес представляет изданная в США книга «Шесть заключённых», содержащая важные, хотя и далеко не полные, сведения о буднях американских судов, полиции и тюрем.

Автор книги — буржуазный психолог и психиатр Вильсон — в течение ряда лет

работал в тюремных больницах США и имел возможность узнать подноготную американской юстиции.

Вильсон пытается убедить читателя в том, что приводимые им факты говорят лишь о некоторых «частных, легко устранимых» недостатках системы американского правосудия. Однако материалы книги неопровержимо свидетельствуют о террористическом, фашистском характере юстиции США, служащей важным оружием диктатуры монополий.

Одной из особенностей американской юстиции, облегчающей правящим кругам расправу с трудящимися, является необычайная запутанность и сложность американского уголовного законодательства. Только за последние тридцать лет отдельными штатами было принято свыше 375 тысяч законов в дополнение к действующим постановлениям и законам, которых насчитывается свыше миллиона. В книге Вильсона помещены результаты своеобразного исследования, проведённого в одном из крупных американских городов. Оно показало, что средний житель этого города, сам того не предполагая, совершает

D. Wilson. „My six convicts“. New York, 1951.
(Д. Вильсон. «Шесть заключённых». Нью-Йорк, 1951).

такое количество «преступлений», что по букве всех постановлений и законов, «нарушенных» им, он должен был бы быть приговорён к 1825 годам тюремного заключения и к уплате более чем двух миллионов долларов штрафа.

Эти «особенности» уголовного законодательства США открывают широчайшее поле для судебного произвола и позволяют правящей клике бросать в тюрьмы десятки и сотни тысяч невинных людей и в первую очередь борцов за мир и демократию. Об этом свидетельствует и книга Вильсона, хотя он тщательно обходит вопрос о преследовании прогрессивных элементов в США и ограничивается исследованием лишь «чисто уголовных» преступлений.

Но и борьбу с уголовными преступлениями продажные американские судьи и полицейские превратили в орудие классового угнетения, в средство запугивания масс.

Не случайно полицейский произвол усилился именно в последние годы, когда американская реакция начала невиданное в истории страны наступление на права трудящихся. Вильсон рассказывает, что в 1942 году в 1200 крупнейших городах США было произведено пять миллионов арестов, а в 1948 году в 1654 городах страны число арестов достигло уже сорока пяти миллионов.

Сам Вильсон вынужден признать, что основным фактором при вынесении судебного приговора является не столько тяжесть совершённого преступления, сколько имущественное положение обвиняемого. «Нельзя осудить миллион долларов», — так, по словам автора, руководящий принцип продажного американского суда.

Наиболее опасные преступники, связанные обычно с заправками монополий, продажными политиками, ускользают от наказаний. Ссылаясь на официальные отчёты о преступности в больших городах США, Вильсон указывает, что крупные преступники в 85 процентах случаев избегают ареста, в 98 процентах — предания суду и в 99 процентах случаев — осуждения.

По статистическим данным, в США 80 процентов обвиняемых не в состоянии нанять адвоката для своей защиты. А без опытного адвоката в американском суде почти невозможно добиться оправдания.

Таким образом, граждане США часто попадают в тюрьму только по той причине, что слишком бедны, чтобы доказать свою невиновность.

Американский журнал «Либерти» приводит по этому поводу характерное признание покойного президента Рузвельта: «В США не одна юстиция, а две: одна для богатых, а другая для бедных».

В США наказания за многие преступления предусматривают денежный штраф, заменяемый, в случае невозможности уплатить его, тюремным заключением. В результате, указывает Вильсон, более половины всех заключённых фактически отбывают наказание за неуплату долга, причём 25 процентов из них не смогли уплатить штраф в десять долларов, а 60 процентов — штраф в двадцать долларов. «Это безусловно наказание за бедность», — справедливо заключает Вильсон.

Американские блюстители закона не останавливаются ни перед чем, чтобы бросить в тюрьму неудобного им человека. В ходе следствия они широко прибегают к услугам наёмных провокаторов. Широко известно, например, что на «показаниях» подобных лжесвидетелей было построено всё «обвинение» против руководителей американской компартии. Исключительного распространения достигла в США система допросов «третьей степени», то есть применение запугивания и пыток с целью добиться «признания» в совершённом преступлении.

Вильсон рассказывает, что полиция и следственные органы США широко применяют пытку ярким светом, электрическим током, избивание, лишение пищи и воды, помещение в тесные, душные камеры и т. д. В результате подобных истязаний «невинные люди... быстро учатся сознаваться в чём угодно, лишь бы избежать «третьей степени».

Значительное место в книге Вильсона занимает описание тюремного режима. Ещё до того, как мир узнал об ужасах фашистских застенков, в США была разработана изуверская система физического и морального истязания заключённых.

В 1930 году под давлением общественного мнения в США была проведена тюремная реформа. Распространялась она лишь на небольшое количество федераль-

ных тюрем, но и в них, впрочем, режим фактически несколько не изменился.

В штатах Виргиния и Миссури за невыполнение норм на каторжных работах заключённых подвешивают за запястья. В Пенсильвании и многих других штатах тюремщики морят заключённых голодом, чтобы «экономленные» таким путём деньги положить в свой карман.

В штате Джорджия заключённых нередко избивают специальной плетью весом в два килограмма, каждый удар которой сдирает с тела полосу кожи. В штате Колорадо, как в давно прошедшие времена, к ноге заключённых приковывают цепь с тяжёлым ядром.

Прогрессивный американский журнал «Мэссез энд Мейнстрим» указывает, что «насилие над заключёнными возведено в принцип тюремного режима в США».

На страницы американской печати за последнее время не раз проскальзывали свидетельства людей, бывших очевидцами истязаний либо испытавших на себе кошмарные пытки и издевательства, которым подвергаются осуждённые.

Вот, например, как описывает будни обычной американской тюрьмы, в которой ему довелось побывать, буржуазный американский журналист Спэрроу:

«Взмах плети, удар — пронзительный, душераздирающий крик... На спине юноши-заключённого осталась кровавая, шириной в два дюйма полоса. Один тюремщик нажал коленом на передёрнувшиеся от боли плечи, другой уселся верхом на ноги жертвы. Огромный неуклюжий дети-

на — тюремный экзекутор, ухмыльнувшись, снова занёс двухметровую кожаную плеть...»

В советской печати уже упоминалась книга, написанная после побега одним из узников Скоттсборо, Хейвудом Паттерсоном, пробывшим в каторжных тюрьмах штата Алабама более 17 лет. В этой книге описаны убийства заключённых, зверские избиения, пытки касторкой, страшные карцеры и бесчисленные другие преступления американских тюремщиков.

Совсем недавно американский журнал «Фридом» писал о страшных зверствах, творимых в каторжных тюрьмах на юге США.

Этот бесчеловечный тюремный режим не только узаконен, но и нашёл немало горячих защитников, пытающихся «теоретически» обосновать его необходимость. Вильсон указывает, что одним из наиболее рьяных поборников пыток и истязаний заключённых является небезызвестный Эдгар Гувер — руководитель ФБР. Он не раз заявлял о «пользе» бесчеловечной расправы над осуждёнными, поскольку лишь «жёсткий» режим в тюрьмах может, по его словам, «исправить» преступника, внушив ему страх перед наказанием.

Книга Вильсона не даёт, конечно, полного представления о судебно-полицейском терроре, царящем в США. Однако даже и те сведения, которые вынужден сообщить читателю автор, безжалостно разоблачают лживые басни о «демократизме» государственного строя США.

Ю. АРБАТОВ.

★

История археологии Европы

Книга английского археолога Г. Чайлда «У истоков европейской цивилизации» насыщена большим фактическим материалом и, несомненно, представляет значительный интерес для советских читателей. Кроме того, книга эта свидетельствует в известной мере об уровне археологической

науки, достигнутом прогрессивными буржуазными учёными, стремящимися остаться на объективно научных позициях в области исторических исследований.

К числу таких учёных принадлежит автор рецензируемой книги. Он не пошёл по пути большинства буржуазных учёных Америки и Европы, которые тщатся подвести «научную» базу под реакционно-расистские агрессивные планы американских и прочих претендентов на мировое господство. О научной добросовестности Г. Чайлда

Гордон Чайлд. «У истоков европейской цивилизации». Перевод с английского М. Б. Свиридовой-Грачовой и Н. В. Ширяевой. Под редакцией Т. С. Пассек. Предисловие А. Л. Монгайта. Издательство иностранной литературы, М. 1952.

свидетельствуют и его последние работы: «Прогресс и археология» и «Шотландия до шотландцев».

Рецензируемая работа Г. Чайлда впервые была издана в Англии в 1925 году. В 1950 году она вышла в Лондоне в переработанном виде пятым изданием, с которого и сделан русский перевод.

Собранные Г. Чайлдом материалы по археологии Европы систематически изложены с учётом последних достижений не только буржуазных учёных, но и открытий советских археологов. Главнейшие их исследования, как это видно из книги, автору хорошо известны. На протяжении всей книги он даёт достаточно полный обзор важнейших работ по археологии Европы, вышедших в последние годы, что, несомненно, уже само по себе очень ценно.

Автор устанавливает взаимосвязь различных форм керамических и других изделий, относящихся к культурам разных периодов. Во многих случаях ему удаётся довольно убедительно установить датировку существования тех или других археологических культур в древнейшей Европе.

Отдавая дань многим заблуждениям, свойственным буржуазной исторической науке, Г. Чайлд всё же не только не делает из исторических фактов реакционных расистских выводов, но и прямо осуждает их.

Особенно ясно это видно на примере оценки им роли и значения так называемой «культуры боевых топоров» или иначе «культуры шнуровой керамики», которую немецкие расисты (археологи Г. Косина, О. Менгин и др.) рассматривали как «нордическую», арийскую. Г. Чайлд указывает на широкую распространённость этой культуры по всей Центральной и Восточной Европе. Он разделяет её на существенно отличающиеся друг от друга шесть местных групп и отрицает наличие у её носителей какого-либо «этнического единства». «Нордический миф» родился, по мнению Г. Чайлда, «в густом тумане неправильных представлений и искажений истины». В этом вопросе, правда, с некоторыми оговорками, автор согласен с советскими археологами, считающими, что сходство всех шести местных групп «культуры боевых топоров» возникло не в силу этнического единства носителей этой культуры, а на основе сходных условий их

общественно-производственного развития при переходе от примитивного мотыжного земледелия к скотоводству.

Книга Г. Чайлда имеет ряд неоспоримых достоинств. Вместе с тем Г. Чайлду, как буржуазному учёному, присущи многие серьёзные недостатки в области самой методологии научного исследования, что часто приводит его к ошибкам и заблуждениям.

Г. Чайлд не имеет ясного представления об основных объективных закономерностях в развитии человеческого общества, которые давно уже открыты и изучены марксистско-ленинской наукой. Он утверждает, например, что общей закономерностью общественно-исторического движения является не развитие и смена способов производства, как учит исторический материализм, а процесс диффузии культур, идущий с Востока на Запад.

По мнению автора, восточная культура проникла в Европу сперва через остров Крит в Грецию, а затем из Малой Азии через «анатолийцев», положивших начало раннему бронзовому веку в Македонии». Из Македонии восточная культура, как полагает Г. Чайлд, постепенно продвигалась далее на север в пределы Центральной и Восточной Европы. «Распространение восточной культуры в Западной Европе, — говорит далее Г. Чайлд, — происходило, вероятно, отчасти посредством морских сношений».

Таким образом, обходя вопрос о том, на какой же основе возникли сами восточные культуры Передней Азии и Северной Африки, и принимая их как факт, автор устанавливает (и даже прилагает в конце книги специальные карты) зоны их распространения на Запад. При этом, по его теории, степень влияния этих культур угасает по мере увеличения расстояния от главных культурных очагов Востока, в силу чего, по его схеме, периферийные культуры оказываются самыми отсталыми.

Однако факты противоречат этой надуманной схеме, и Г. Чайлд не может пройти мимо них. Он вынужден отметить, что «Британия представляет исключение из тех принципов деления на зоны, которые мы наблюдали до сих пор. Хотя она наиболее удалена от восточносредиземноморских очагов цивилизации, она опередила в отношении металлургии и торговли такие

промежуточные области, как Южная Франция, Швейцария и Южная Германия, не говоря уже о Северной Европе.

Объяснить удовлетворительно этот факт с позиций своей теории Г. Чайлд не может. Утверждение его о том, что распространение восточной культуры на Запад происходило не столько в порядке миграции (переселения) её носителей, сколько главным образом благодаря торговым морским связям, звучит для эпохи каменного века и бронзы по меньшей мере не убедительно.

Г. Чайлд не отрицает — и это надо поставить ему в заслугу, — что восточная культура в пределах той или другой зоны своего распространения не оставалась застывшей, а получала некоторое развитие на местной почве. Однако этому развитию он придаёт второстепенное значение, а причины, вызывавшие его, понимает неправильно. Он пишет: «Плотность населения всё более увеличивалась... что повлекло за собой переустройство жизненного уклада»; «Рост населения... требовал перехода к новой системе хозяйства и освобождал достаточно рабочих рук для ремесла и торговли».

Конечно, рост населения и его плотность влияют на развитие общества, но это влияние само по себе ещё не может вызвать смену старых общественно-производственных отношений новыми. «...Рост народонаселения, — говорится в Кратком курсе истории ВКП(б), — имеет влияние на развитие общества, облегчает или замедляет развитие общества, но он не может быть главной силой развития общества, и его влияние на развитие общества не может быть определяющим...»¹ Такой силой марксистско-ленинская наука считает, как известно, «способ производства материальных благ — пищи, одежды, обуви, жилища, топлива, срудий производства и т. п., необходимых для того, чтобы общество могло жить и развиваться»².

Изучая памятники материальной культуры прошлого, Г. Чайлд рассматривает развитие различных видов и форм керамики, производственного инвентаря и пр.

в отрыве от тех общественно-производственных условий, в которых жили творцы этих изделий. В силу этого может создаться ошибочное впечатление, что эти формы развиваются сами по себе. Г. Чайлд в этом вопросе оказывается на идеалистических позициях.

Г. Чайлд почти не делает попыток установить на основе исследования уровня производства той или другой эпохи характер соответствующего ему общественного строя, то есть выполнить главную задачу археологии. Автор проходит в данном случае мимо известного указания К. Маркса: «Таковую же важность, как строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций... Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд»¹.

В тех немногих случаях, когда автор касается общественных отношений племён в эпоху неолита и бронзы, он обнаруживает полное их непонимание как отношений родовых, где ещё нет частной собственности на средства производства и отсутствуют классы. По Г. Чайлду получается, что в ту эпоху «распространение предметов производства находилось в руках целого класса странствующих купцов-ремесленников». Появление этого странного класса купцов и одновременно ремесленников автор объясняет опять-таки избытком населения, который находил себе применение в торговле и ремесле. Не имеет под собой научной базы и утверждение автора о том, что «основным толчком к накоплению богатств служило суеверное стремление обеспечить себе соблюдение установленного погребального обряда».

Ошибочным является и мнение автора о том, что в ту эпоху «борьба за землю приобрела характер войн» и что «вследствие этого мужское население общин получает превосходство над женским». Положение мужчин и женщин в обществе определялось в то время вовсе не войнами, а производственными условиями.

¹ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 113—114.

² Там же, стр. 114

¹ К. Маркс. Капитал. Госполитиздат, 1949, т. I, стр. 187.

Таковы основные недостатки книги Г. Чайлда. Они лишний раз показывают, что подлинно научное изучение общественно-исторического развития человеческого общества возможно только с позиций марксизма-ленинизма, с позиций исторического материализма.

Книга написана достаточно популярно и читается, несмотря на ряд специальных терминов, легко. Предисловие, несомненно, будет способствовать правильному пониманию труда Г. Чайлда советскими читателями.

Кандидат исторических наук
М. СОЛОВЬЕВ.

★

Небесные камни

В своей новой книге лауреат Сталинской премии Е. Л. Кринов рассказывает о двух крупнейших метеоритах, которые известны человечеству. Это Тунгусский и Сихотэ-алинский метеориты, упавшие на территории нашей Родины.

В первых главах книги автор кратко знакомит читателей с падением обычных метеоритов, их химическим составом, сообщает о метеоритных кратерах.

Наряду с другими грозными явлениями природы падение крупных «небесных камней», сопровождающееся мощными световыми и звуковыми эффектами, вызывало в прежнее время суеверный страх, а сами «посланцы небес» становились объектами религиозного поклонения. До сих пор, например, святыней у мусульман считается «чёрный камень Каабы», находящийся в Мекке. Камень этот не что иное, как метеорит.

Хотя метеориты были известны человечеству с древних времён, наука о них возникла сравнительно недавно. Первый научный труд о метеоритах увидел свет в 1794 году в нашей стране. Это была книга, написанная членом-корреспондентом Российской Академии наук, чешским учёным Э. Ф. Хладным. В ней доказывалось космическое (внеземное) происхождение известных тогда метеоритов, в том числе «Палласова железа» — глыбы, найденной в середине XVIII столетия в Сибири и доставленной академиком П. С. Палласом в Петербург.

В советский период работы академиков В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, А. Н. Заварицкого, В. Г. Фесенкова, а также Л. А. Кулика, И. С. Астаповича,

Е. Л. Кринова выдвинули отечественную метеоритику на первое место в мире. При Академии наук СССР имеется специальный Комитет по метеоритам.

Научное значение метеоритов исключительно велико: это единственно доступные нам куски небесных тел, которые можно подвергнуть непосредственным лабораторным исследованиям.

Все метеориты по их химическому составу делятся на три группы: железные, состоящие почти целиком из никелистого железа, каменные, в составе которых имеются главным образом окислы кремния и железа, и, наконец, железо-каменные (пример — «Палласово железо»), представляющие собой как бы губку из никелистого железа, пустоты которой заполняет оливин — минерал, состоящий из силикатов магния и железа. Метеориты состоят из тех же химических элементов, которые встречаются и на Земле. Это ещё раз доказывает материнское единство Вселенной.

Метеориты бывают самого различного веса: от долей грамма до многих десятков тонн. По подсчётам учёных ежегодно на земной шар падает не менее десяти тонн метеоритного вещества, большей частью в виде мельчайших частиц. Они распыляются на большой высоте в результате сопротивления воздуха. Более крупные массы прорезают толщу атмосферы и, зачастую дробясь на части, достигают земной поверхности. При этом наблюдается полёт как бы огненного шара и слышатся звуки, напоминающие артиллерийскую канонаду. Скорость падения метеорита в плотных слоях воздуха замедляется, и поэтому метеорит обычно неглубоко зарывается в землю.

В исключительно редких случаях на земной шар падают гигантские метеориты с

Е. Л. Кринов. «Гигантские метеориты». Ответственный редактор академик В. Г. Фесенков. Издательство Академии наук СССР. Научно-популярная серия, М. 1952.

Массами в несколько тысяч тонн и скоростями в десятки километров в секунду. Огромная энергия метеорита при его встрече с земной поверхностью переходит в тепло. Метеоритное тело достигает температуры в несколько тысяч градусов и превращается в раскалённый газ. Происходит взрыв, иногда очень большой силы, о чём свидетельствуют следы падения гигантских метеоритов на землю — огромные воронки или метеоритные кратеры.

В штате Аризона (США), в местности, получившей название «Ущелье дьявола», был обнаружен метеоритный кратер с поперечником в 1207 и глубиной в 174 метра. Вокруг кратера было найдено большое количество мелких осколков железного метеорита. Показательна для США история изучения этого явления природы. После того как в осколках метеорита были обнаружены платина и другие драгоценные металлы, организовалась «Компания Аризонского метеорита». Начались буровые работы, сулившие в случае удачи большую прибыль. Но как только выяснилась нерентабельность этого предприятия, работы были прекращены. Не научные интересы, а волчий закон прибыли определяет направление и развитие науки в капиталистической Америке.

Известные на земном шаре метеоритные кратеры образованы падением метеоритов в незапамятные времена. Но 30 июня 1908 года люди впервые стали очевидцами падения гигантского метеорита. Это произошло рано утром в районе реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. Масса небесного тела, вторгшегося в атмосферу Земли со скоростью более 50 километров в секунду, достигала по подсчётам учёных миллиона тонн. Когда метеорит врезался в почву, произошёл сильнейший взрыв, услышанный за тысячу километров от места падения. Волна землетрясения обожгла весь земной шар.

В 1927 году первая научная экспедиция, возглавляемая советским учёным Л. А. Куликом, достигла места космической катастрофы. В экспедициях в Тунгускую тайгу, организованных Л. А. Куликом в 1929 и 1939 годах, его помощником был автор рецензируемой книги Е. Л. Кринов.

В 1941 году Академия наук СССР проектировала новую экспедицию на Подкаменную Тунгуску. Начавшаяся война по-

мешала этому делу. Л. А. Кулик погиб, защищая Родину.

Просто и доходчиво Е. Л. Кринов знает комит читателей с историей изучения Тунгусского метеорита и с задачами, стоящими в этой области перед советской наукой.

Автор справедливо осуждает тех лжепопуляризаторов, которые рассказ о достижениях науки подменяют сенсационными выдумками и ложной «занимательностью». Некоторые молодёжные журналы представили свои страницы под фантастические домыслы Б. Ляпунова и А. Казанцева о том, что Тунгусский метеорит является якобы ракетно-атомным кораблём, прилетевшим не то с Марса, не то с какой-то неведомой планеты. Эта выдумка, не имеющая ничего общего с наукой, выдавалась за серьёзную научную гипотезу. Основная посылка Ляпунова и Казанцева о том, что взрыв произошёл в воздухе над тайгой, начисто опровергается исследованием, проведённым Е. Л. Криновым по материалам аэрофотосъёмки.

В 1947 году Метеоритный комитет предполагал возобновить исследование района падения Тунгусского метеорита, но этому помешало... падение другого гигантского «небесного камня», изучение которого потребовало много сил и времени.

12 февраля 1947 года, в 10 часов 36 минут утра по местному времени, на Дальнем Востоке, в отрогах горного хребта Сихотэ-Алинь, упал гигантский метеорит — железная глыба поперечником в несколько метров, весившая более 1500 тонн. В Метеоритном музее в Москве можно увидеть картину падения Сихотэ-алинского метеорита, нарисованную очевидцем этого явления художником Медведевым. За ярким огненным шаром тянется разноцветный хвост, переходящий в серый дымный след. Этот рисунок приведён в рецензируемой книге.

В 1947—1951 годах состоялась пять экспедиций Академии наук СССР к месту падения Сихотэ-алинского метеорита. 37 тонн осколков метеорита было доставлено в Москву (для сравнения следует указать, что общий вес всех метеоритов, собранных Академией наук за 180 лет, составил менее двух тонн).

Осколки Сихотэ-алинского метеорита чрезвычайно разнообразны по величине. Самые большие из них весят 300, 500, а

один даже 1745 килограммов. Автор сообщает об осколке, весящем 0,18 грамма, который он обнаружил на сухом листке в месте падения.

Опросом очевидцев удалось установить, как двигался метеорит в воздухе. Это дало возможность вычислить его орбиту до встречи с земным шаром. Результаты соответствующих расчётов, произведённых академиком В. Г. Фесенковым, приведены в книге. Исследования Сихотэ-алинского метеорита продолжают, обогащая наши знания о Вселенной.

Книга Е. Л. Кринова написана на высоком научном уровне и в то же время живым, образным языком. Научные термины автор обязательно разъясняет. Сложные явления и процессы становятся

понятными даже малоподготовленному читателю.

Автору следовало бы хоть кратко рассказать о современных взглядах на происхождение малых тел солнечной системы, к которым относятся и метеориты.

Книга снабжена многочисленными иллюстрациями, схемами, фотографиями, рисунками. Это помогает восприятию материала.

В конце книги помещена библиография, в равной степени интересная для читателей, стремящихся расширить свои знания по метеоритам вообще, а также для желающих ознакомиться со специальной литературой по Тунгусскому и Сихотэ-алинскому падениям.

О. ЭРАСТОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Сентябрь — октябрь 1952 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. 96 стр. Цена 1 р.

И. В. Сталин. Речь на XIX съезде партии. 16 стр. Цена 15 к.

Г. Маленков. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). 112 стр. Цена 1 р. 25 к.

М. Сабуров. Доклад о директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы. 48 стр. Цена 55 к.

Н. Хрушев. Доклад об изменениях в Уставе ВКП(б). 32 стр. Цена 30 к.

Л. Берия. Речь на XIX съезде ВКП(б). 31 стр. Цена 30 к.

Н. Булганин. Речь на XIX съезде ВКП(б). 24 стр. Цена 25 к.

А. Микоян. Речь на XIX съезде ВКП(б). 24 стр. Цена 20 к.

Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы. 32 стр. Цена 35 к.

Устав Коммунистической партии Советского Союза. 32 стр. Цена 25 к.

Резолюции XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. 64 стр. Цена 70 к.

Б. Абрамов. Партия большевиков — организатор борьбы за ликвидацию кулачества как класса. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

Г. Ф. Александров. Труды И. В. Сталина о языкознании и вопросы исторического материализма. 512 стр. Цена 7 р. 70 к.

В. Векшегонов. Сталинский план преобразования природы претворяется в жизнь. 72 стр. Цена 65 к.

К истории плана электрификации Советской страны. Сборник документов и материалов (1918—1920 гг.). 590 стр. Цена 9 р.

А. Костин. Большевицкая газета «Вперед». 136 стр. Цена 1 р. 65 к.

П. Мстиславский. Неуклонный подъем благосостояния советского народа. 148 стр. Цена 1 р. 80 к.

О диалектическом материализме. Сборник статей. 416 стр. Цена 6 р. 25 к.

И. Петров. Шестой съезд большевистской партии. 64 стр. Цена 70 к.

П. Рысаков. Агрессивная политика США в Северной Европе. 176 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. В. Самыловский. Турция — вотчина Уолл-стрита. 80 стр. Цена 95 к.

Д. И. Чесноков. Советское социалистическое государство. 632 стр. Цена 9 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Семён Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды. Роман в двух книгах. 612 стр. Цена 11 р. 70 к.

Александр Бартэн. Творчество. Роман. 276 стр. Цена 9 р. 25 к.

Тю Сон Вон. Слово корейца. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с корейского. 124 стр. Цена 2 р. 60 к.

Борис Горбатов. Обыкновенная Арктика. Рассказы. 320 стр. Цена 5 р. 55 к.

Вл. Григорьев. Григорий Шелихов. Исторический роман. 596 стр. Цена 9 р. 50 к.

Виталий Закруткин. Пловучая станица. Роман. Цена 6 р. 25 к.

Всеволод Кочетов. Журбины. Роман. 424 стр. Цена 6 р. 70 к.

Ю. Либединский. Зарево. Роман. 844 стр. Цена 13 р. 30 к.

Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Роман. 276 стр. Цена 5 р. 50 к.

Алексей Сурков. Миру — мир! Стихи. 216 стр. Цена 3 р. 25 к.

Николай Черкасов. В Индии. Путевые заметки. 148 стр. Цена 3 р. 10 к.

Сонеты Шекспира в переводах С. Маршак. 195 стр. Цена 3 р. 85 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Оноре Бальзак. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Перевод с французского. Том 3. Человеческая комедия. Сцены частной жизни. 672 стр. Цена 15 р.

Былины. 134 стр. Цена 1 р. 45 к.

Самед Вургун. Избранное. Авторизованный перевод с азербайджанского. 416 стр. Цена 10 р. 30 к.

Виктор Гюго. Избранные произведения в двух томах. Перевод с французского. Том первый. 928 стр. Цена 17 р. 75 к. Том второй. 876 стр. Цена 14 р. 75 к.

Сергей Есенин. Избранное. 272 стр. Цена 6 р. 30 к.

Н. Ляшко. Рассказы. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

Лесь Мартович. Хитрый Панько и другие рассказы. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

Степан Олейник. Избранные стихи. Авторизованный перевод с украинского. 108 стр. Цена 4 р.

Румынские рассказы. Перевод с румынского Ю. А. Кожевникова и Е. С. Покрамович. 120 стр. Цена 1 р. 40 к.

Леонид Соболев. Рассказы о моряках. 128 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Ширванзаде. Избранное. Стихи. Перевод с армянского. 792 стр. Цена 11 р. 65 к.

Элляй. Избранное. Стихи. Авторизованный перевод с якутского. 152 стр. Цена 5 р. 10 к.

Гевогг Эмин. Весенние воды. Стихи. Авторизованный перевод с армянского. 183 стр. Цена 4 р. 90 к.

Илья Эренбург. Сочинения в пяти томах. Том первый. Падение Парижа. Роман. 516 стр. Цена 12 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Михаил Вубеннов. Белая берёза. Роман. Книги 1 и 2. 672 стр. Цена 14 р. 70 к.

В помощь слушателям начальных комсомольских политкружков. 320 стр. Цена 4 р. 35 к.

Н. Корольев. На ринге. Литературная запись М. Александрова. 315 стр. Цена 4 р. 45 к.

Юрий Левитанский. Наши дни. Книга стихов. 104 стр. Цена 2 р. 65 к.

Н. Полянов. На востоке Германии. Очерки. 216 стр. Цена 4 р. 80 к.

Ю. Шамшурин. У студёного моря. Рассказы. 183 стр. Цена 3 р. 20 к.

Е. Шевелёва. Подруги. Стихи. 86 стр. Цена 2 р. 60 к.

Ю. Филонович. Молодёжи о комсомоле. 86 стр. Цена 95 к.

ДЕТГИЗ

П. Ангелина. Люди колхозных полей. Литературная запись А. Славутского. 200 стр. Цена 4 р. 40 к.

А. Андреев. Ясные дали. Повесть. 192 стр. Цена 4 р. 5 к.

В. Баныкин. Весной в половодье. Повесть. 80 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Варнин. Руда. Исторический роман. 640 стр. Цена 8 р. 30 к.

Венгерские народные сказки. Редактор-составитель А. Гидаш. Перевод с венгерского А. Красновой и В. Важдяева. 128 стр. Цена 3 р.

Г. Ганейзер. Река в пустыне. 160 стр. Цена 3 р. 65 к.

Н. Глейзаров. Наши праздники. Стихи. 24 стр. Цена 2 р. 20 к.

И. Гринберг. Новые друзья. Повесть. 148 стр. Цена 4 р. 35 к.

Г. Гулна. Горная сказка. 16 стр. Цена 75 к.

Гульчечек. Татарские народные сказки. Перевела с татарского Г. Шарипова. Составители Г. Ваширов и Х. Ярмухаметов. 128 стр. Цена 3 р. 10 к.

Два жадных медвежонка. Народные сказки стран народной демократии. 32 стр. Цена 55 к.

А. Дорохов. Страна строит. 128 стр. Цена 2 р. 90 к.

Н. Забила. Маленькая школьница. Стихи. Перевод с украинского З. Александровой. 12 стр. Цена 1 р. 35 к.

Миру — мир! Стихи и рассказы. Составители Л. Бочарникова и О. Хузе. 320 стр. Цена 3 р. 80 к.

Новая тайга. Песни, сказки и стихи народов Севера. Составил В. Кривошей. Обработка сказок для детей Н. Колпаковой. 100 стр. Цена 2 р. 75 к.

Н. Носов. Повести и рассказы. 424 стр. Цена 7 р. 80 к.

О Ленине и Сталине. Стихи советских поэтов. 48 стр. Цена 4 р. 85 к.

В. Осеева. Васёк Трубачёв и его товарищи. Повесть. Книга первая и вторая. 240 стр. Цена 5 р. Книга третья. 368 стр. Цена 9 р. 5 к.

М. Прилежаева. Над Волгой. Роман. 512 стр. Цена 10 р.

Б. Раевский. Только вперёд. Повесть. 264 стр. Цена 5 р. 40 к.

В. Ряховский. Евпатий Коловрат. Историческая повесть. 136 стр. Цена 3 р. 30 к.

Л. Семин. Вторая весна. Рассказы. 58 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Серафимович. Рассказы. 128 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. Н. Студитский. Повесть о великом физиологе. 432 стр. Цена 9 р. 65 к.

И. Турчин. Марка. Рассказы. 52 стр. Цена 90 к.

А. Фадеев. Молодая гвардия. Роман. Дополненное и переработанное издание. 584 стр. Цена 13 р. 15 к.

П. Цвирка. Соловушка. Рассказы. Перевод с литовского под редакцией З. Шайшовой. 112 стр. Цена 2 р. 20 к.

Н. Шундик. На Севере Дальнем. Повесть. 384 стр. Цена 6 р. 80 к.

Ю. Яковлев. Знамя над отрядом. Поэма и стихи. 56 стр. Цена 1 р. 65 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. Белицкий. Бацилла № 0,78. Повесть. Сокращённый перевод с польского (Библиотека военных приключений). 167 стр. Цена 1 р. 70 к.

Беседы о советской военной гордости. Сборник статей. 382 стр. Цена 6 р.

А. А. Космодемьянский. Николай Егорович Жуковский — отец русской авиации. (Научно-популярная библиотека солдата). 136 стр. Цена 2 р. 15 к.

А. Малхасян. Герой Советского Союза Унан Аветисян. 19 стр. Цена 35 к.

Сборник материалов по вопросам воинского воспитания. Выпуск 1. 324 стр. Цена 6 р. 40 к.

И. Стаднюк. Максим Перепелица. Рассказы. 166 стр. Цена 2 р. 95 к.

А. Твардовский. Василий Тёркин (Библиотека солдата). 240 стр. Цена 5 р. 55 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. Всеволожский. У нас на флоте. 294 стр. Цена 6 р. 15 к.

В. Дивин, К. Фокеев. Адмирал Д. Н. Севянин. 116 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Жаров. Ходили мы походами. Стихи, песни, поэмы. 160 стр. Цена 2 р. 75 к.

Б. Лавренёв. Стратегическая ошибка. (Библиотека матроса). 72 стр. Цена 95 к.

Слово о Родине. Книга для матросского чтения. 637 стр. Цена 18 р.

ГЕОГРАФИЗ

В. В. Бодрин. Венгерская народная республика («У карты мира»). 96 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. Н. Гончаров. Мексика («У карты мира»). 48 стр. Цена 85 к.

Б. Б. Полюнов. Географические работы. 400 стр. Цена 15 р.

Д. И. Щербаков. По Крыму, Кавказу и Средней Азии. Путевые очерки. 295 стр. Цена 6 р. 5 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

С. В. Вонсовский. Современное учение о магнетизме. 440 стр. Цена 12 р. 50 к.

В. П. Зенкович. Морской берег. (Научно-популярная библиотека). 71 стр. Цена 1 р. 5 к.

С. Д. Клементьев. Электронный микроскоп. (Научно-популярная библиотека). 47 стр. Цена 65 к.

В. А. Парфёнов. Крылатый металл. (Научно-популярная библиотека). 39 стр. Цена 60 к.

С. Р. Расиков. Пластмассы. (Научно-популярная библиотека). 45 стр. Цена 70 к.

М. С. Тукачинский. Как считают машины. (Научно-популярная библиотека). 63 стр. Цена 1 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. Е. Арбузов. Избранные труды. 755 стр. Цена 43 р.

Л. О. Бланки. Избранные произведения. 394 стр. Цена 9 р. 50 к.

С. Ф. Веселовский. Стеклодувное дело. 250 стр. Цена 11 р. 75 к.

С. Н. Виоградский. Микробиология почвы. Проблемы и методы. 702 стр. Цена 48 р. 75 к.

Вопросы космогонии. Том 1. 285 стр. Цена 13 р. 70 к.

Вопросы травопольной системы земледелия. Том 1. 404 стр. Цена 18 р. 25 к.

Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. 494 стр. Цена 27 р. 20 к.

Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том XII. Письма. 1842—1845. 711 стр. Цена 25 р. Том XIII. Письма. 1846—1847. 562 стр. Цена 25 р.

И. И. Жуков. Избранные труды. 482 стр. Цена 27 р. 80 к.

«Литературное наследство». Том 58. Пушкин — Лермонтов — Гоголь. 1055 стр. Цена 60 р.

Н. А. Максимов. Избранные работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений. Том II. 294 стр. Цена 19 р. 30 к.

Материалы по истории земледелия СССР. 630 стр. Цена 25 р. 25 к.

Материалы и исследования по археологии СССР. М. Е. Фосс. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. 278 стр. Цена 23 р. 80 к.

Обнищание и массовое разорение крестьянства стран Западной Европы. 182 стр. Цена 6 р. 60 к.

Орошение сельскохозяйственных культур в Центрально-чернозёмной дожде РСФСР. 173 стр. Цена 9 р. 95 к.

Положение и борьба рабочего класса капиталистических стран Европы после второй мировой войны. 466 стр. Цена 19 р. 20 к.

Ф. Я. Полянский. Очерки социально-экономической политики цехов в городах Западной Европы XIII—XV вв. 273 стр. Цена 11 р. 70 к.

В. С. Расторгуева. Очерки по таджикской диалектологии. Выпуск 2. 320 стр. Цена 10 р. 20 к.

Творчество Маяковского. Сборник статей. 479 стр. Цена 13 р. 65 к.

Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений. Том 1. 779 стр. Цена 30 р. Том XI. 704 стр. Цена 30 р.

А. Е. Ферсман. Избранные труды. Том 1. 862 стр. Цена 54 р.

Философские вопросы современной физики. 575 стр. Цена 22 р. 80 к.

Е. А. Чудаков. Советский автомобиль. 503 стр. Цена 26 р.

М. М. Шейнман. Краткие очерки истории папства. 190 стр. Цена 3 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перейра Гомес. Лишённые детства. Перевод с португальского. 186 стр. Цена 4 р. 80 к.

Артур Кан. Выскажись! Америка хочет мира. Перевод с английского. 263 стр. Цена 5 р. 30 к.

Конституция и основные законодательные акты Корейской Народной Республики. Перевод с корейского. 396 стр. Цена 12 р. 30 к.

А. Мейе. Основные особенности германской группы языков. Перевод с 5-го французского издания. 165 стр. Цена 7 р. 50 к.

Владислав Рымкевич. Освобождённая земля. Перевод с польского. 78 стр. Цена 2 р. 10 к.

МАШГИЗ

А. И. Александров. Первая водяная турбина (Из истории техники). 76 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Н. Богачёв, П. П. Аносов и секрет булата (Из истории техники). 140 стр. Цена 4 р. 5 к.

Ф. И. Бойко. Замечательные русские механики Черепановы (Из истории техники). 84 стр. Цена 1 р. 35 к.

И. И. Валуцкий. Машины и оборудование для забивки свай (В помощь строителям коммунизма). 144 стр. Цена 2 р. 65 к.

С. Д. Пономарёв и др. Основы современных методов расчёта на прочность в машиностроении. 862 стр. Цена 38 р. 85 к.

Скоростное резание металлов. Опыт заводов. Сборник 1 (Оргмашприбор). 144 стр. Цена 4 р. 75 к.

Н. М. Юрьев. Техпромфинплан машиностроительного завода. 310 стр. Цена 12 р. 30 к.

Д. А. Яснев. Шагающий экскаватор ЭШ-14/65 (В помощь строителям коммунизма). 60 стр. Цена 1 р.

МЕДГИЗ

Э. Р. Геллер, А. П. Калашникова. Общая биология. 420 стр. Цена 6 р. 60 к.

А. И. Доброхотова. Детские инфекционные болезни. 56 стр. Цена 90 к.

Я. Э. Нейштадт. Новые источники света и их действие на человека. 172 стр. Цена 5 р. 80 к.

Руководство к практическим занятиям по физиологии. Под редакцией Г. Н. Зилова. 280 стр. Цена 6 р. 50 к.

И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Н. Е. Введенский. Физиология нервной системы. Нервные центры и нервная регуляция органов чувств. Книга 1. Под редакцией К. Быкова. 356 стр. Цена 16 р. 80 к.

ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Достижения сельскохозяйственной науки — в колхозное производство. Сборник статей о научных достижениях сельскохозяйственных опытных учреждений Воронежской области. Под общей редакцией А. Г. Пескарева. 144 стр. Цена 5 р. 60 к.

Творчество молодых. Сборник произведений молодых писателей. 128 стр. Цена 2 р. 35 к.

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

П. Дугин. Пробуждение. Повесть. 135 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. Лобко. В логове. Повесть. 195 стр. Цена 4 р. 20 к.

КРЫМИЗДАТ

А. Коверга, М. Чернова. Никитский ботанический сад им В. М. Молотова. Путеводитель. 146 стр. Цена 2 р. 70 к.

М. Мигунова. Степная глушь. Повесть. 64 стр. Цена 1 р.

А. Соркин. Лечение больных костным туберкулёзом на курортах. 110 стр. Цена 1 р.

А. Чумаченко. Человек с луны. Повесть о великом русском путешественнике Миклухе-Маклае. 98 стр. Цена 2 р. 95 к.

«КУЗБАСС» (Кемерово)

А. Косарь. В краю сокровищ. Стихи. 96 стр. Цена 2 р. 10 к.

Кузнецкие металлурги. Сборник. 204 стр. Цена 8 р. 50 к.

Михаил Небогатов. Солнечные дни. Стихи. 96 стр. Цена 1 р. 80 к.

Сталинский Кузбасс. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. № 4. 208 стр. Цена 6 р. 50 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. Винкман. Тайна гор. Повесть. 136 стр. Цена 2 р. 20 к.

Казимир Лисовский. Следопыт Севера Низифор Бегичев. Повесть. 56 стр. Цена 95 к.

А. Куликов. У трёх утёсов. Рассказы. 48 стр. Цена 75 к.

Илья Мухачёв. Хатка над водой. Стихи. 28 стр. Цена 85 к.

М. Михеев. Лесная мастерская. Стихи. 32 стр. Цена 1 р. 40 к.

«РАДЯНСКИЙ ПИСЬМЕННИК»

Н. Строковский. Левый берег. Роман. 342 стр. Цена 7 р. 55 к.

**САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Г. Соловьёв. Трудное плавание. Повесть. Книга 1. 176 стр. Цена 4 р. 50 к.

**ХАРЬКОВСКОЕ КНИЖНО-ГАЗЕТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Борис Когляров. Обращение к другу. Стихи. 72 стр. Цена 90 к.

**ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Воспитание дошкольника. Из опыта работы детских садов Челябинска. 127 стр. Цена 1 р. 70 к.

Скоростное резание металлов. Из опыта заводов Челябинской области. 258 стр. Цена 5 р. 40 к.

С. Л. Ушков. В заповедном лесу. Рассказы. 63 стр. Цена 1 р. 10 к.

Южный Урал. Литературно-художественный альманах № 7. 208 стр. Цена 5 р. 90 к.

**ЧИТИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

А. Синев. На огневой позиции. Рассказы. 87 стр. Цена 1 р. 65 к.



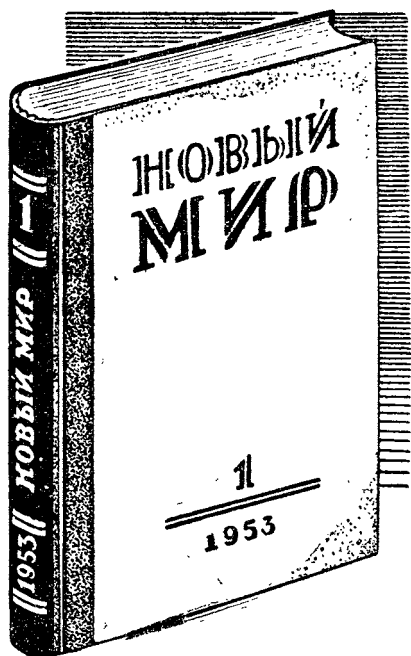
Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-06-96.

Сдано в набор 12/IX-52 г. Подписано к печати 10/X-52 г.
Л 06856. Формат бумаги 70 × 108^{1/2}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 130.000. Заказ 1850.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА



НА 1953 ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

**Н О В Ы Й
М И Р**

★

Журнал „Новый мир“ выходит
в переплёте и без переплёта

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1953 год:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплёта	84 р.	42 р.	21 р.
В переплёте	108 р.	54 р.	27 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

«Союзпечатью», всеми почтовыми конторами
и уполномоченными железнодорожных
издательств на транспорте.

Цена 9 руб.